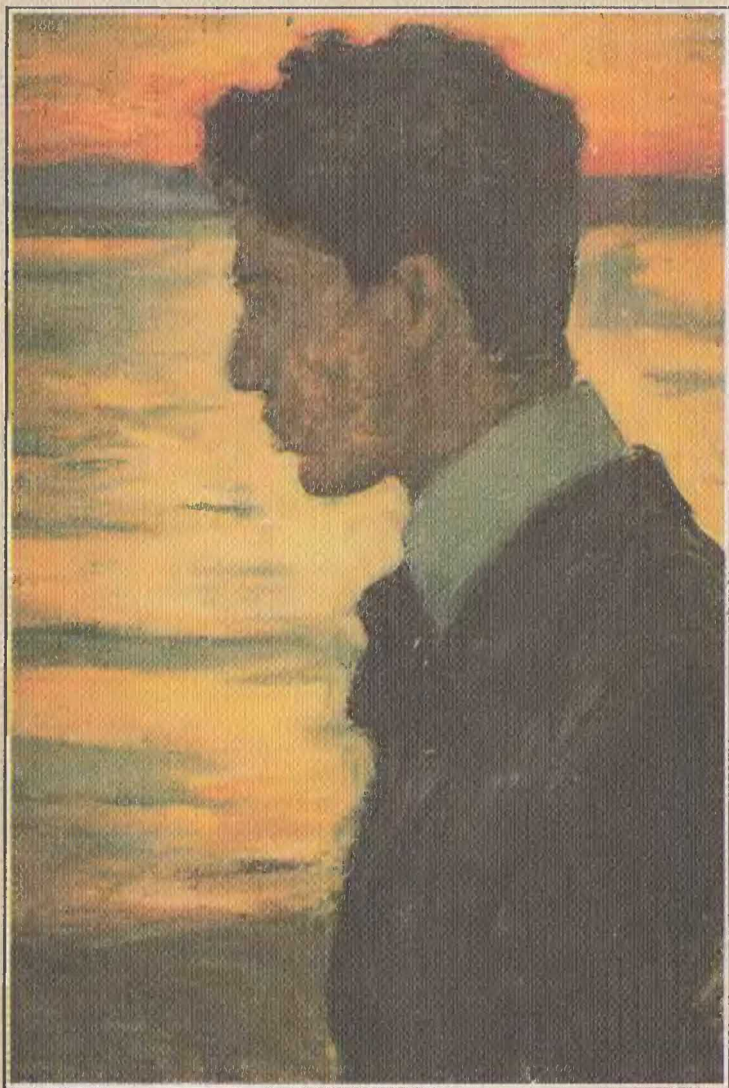


Борис Пастернак



Пожизненная привязанность

*Пожизненная
привязанность*

Перепуска с О. М. Фрейденоберг

АРТ-ФЛЕКС
МОСКВА, 2000

УДК 821.161.1–6Пастернак

ББК 84(2Рос-Рус)6–4

П 19

ISBN 5-93253-004-9

- © Тексты писем – наследники Б. Пастернака, 2000
- © Письма О. М. Фрейденберг – Мандрыко О. А., 2000
- © Портрет Б. Пастернака на обложке работы Л. О. Пастернака, «Pasternak Trust», Oxford, GB., 2000
- © Составление, вступление, примечания – Е. В. и Е. Б. Пастернаков, 2000
- © Оформление «АРТ-ФЛЕКС», 2000

ВСТУПЛЕНИЕ

Старый спор Москвы и Петербурга еще в прошлом веке переместился в область литературы и нашел свое оформление во взглядах славянофилов. Многоукладность и разношерстность Москвы противопоставлялась классической строгости Петербурга, подчиненного идеям и прихотям государственности. В развитие этой традиции мы любим делить поэзию и прозу на петербургскую и московскую, проводим различия и анализируем особенности той и другой.

С этой точки зрения представляется несомненной московская укорененность Бориса Пастернака, ставшая основной чертой его характера и поэзии. Ею объясняются особенности его лексики смешения стилей, до сих пор коробящие вкус некоторых ценителей «хороших» стихов. При всей убедительности такого соотнесения интересно отметить горячую влюбленность Пастернака в Петербург и пожизненную тягу к нему. Недаром его стихотворение о Петербурге 1915 года стало определением творческого гения, «поверх барьеров» преодолевающего любую ограниченность человеческих возможностей.

Двоюродная сестра Бориса Пастернака, выдающийся исследователь личной литературы, фольклористики и мифологии Ольга Михайловна Фрейденберг — яркий представитель классического стремления к определенности и окончательности, которая характеризует петербургскую строгость мысли и стилистическую стройность языка. Четкость и нелицеприятность ее оценок, суровость по отношению к человеческим слабостям и недостаткам составляют полную противоположность мягкости и необязательности суждений Пастернака, уступчивости и широте его взглядов и мнений. Доброта и искреннее желание примирения одерживают верх над резкой и порою недоброжелательной строгостью его сестры и делают их переписку ярким примером победительной силы детской верности и искренней привязанности друг к другу. Их письма охватывают огромный период с 1910 по 1954 год, то есть без малого всю творчески значимую биографию этих людей, и исключительны соизмеримой одаренностью обоих корреспондентов, равных по силе и редкой душевной близости при всем различии их характеров и образа жизни.

Время, выпавшее им на долю и отразившееся в их переписке, пришлось на страшные годы нашей истории, сложило их жизнь и основное

ее содержание — работу. Письма содержат взаимные отчеты того, что им удалось сделать, желание поделиться друг с другом результатами достигнутого. Отчетливо сознавая тюремные, унижающие человеческое достоинство условия, особенно ожесточившиеся во времена воцарения Сталина, они стремились во что бы то ни стало оставить достойный след своего существования в науке или литературе. Пафос истории, как памяти, в которой хранятся и продолжают жить высокие достижения человеческого духа, толкают их обоих на подвиг воссоздания в слове пережитого опыта: у Пастернака в «Докторе Живаго», у Фрейденберг в ее записках, названных «Пробег жизни». Ни тому, ни другому не дано было увидеть и оценить полностью результаты этого подвижничества, совершаемого в условиях ежедневно подкрадывающейся страшной опасности, — они оба, не сговариваясь, посвящали своему труду последние годы и силы. «Доктор Живаго» теперь уже давно приобрел славу высокого свидетельства эпохи, смелости и высоты подвижничества, записки О. Фрейденберг, подготовленные исследовательницей и публикатором ее научных работ Н.В. Брагинской, ждут своего издателя.

В книгу переписки Б. Пастернака и О. Фрейденберг мы позволили себе включить отрывки из этих записок, в первую очередь относящиеся к воспоминаниям об их встречах и письмах, и во вторую — как некую замену несохранившихся писем самой Ольги Михайловны. Непозволительную вольность обращения с текстом этих отрывков, порою усеченных и контаминированных из разных мест, мы оправдываем надеждой на скорое полное издание записок.

Ольга Фрейденберг принялась писать их в страшные 1930-е годы. Первые тетради посвящены воспоминаниям детства и юности, но по мере приближения сюжета к современности повествование приобретает характер дневника. Даются нелюбезные оценки сотрудникам по университету, появляются смелые и откровенные характеристики времени. Автор вполне отдает себе отчет в том, что живет в эпоху тотальной подозрительности, слежки и повальных арестов, и будь обнаружены эти записки, всей семье грозит неперемнная гибель. Но понимание необходимости закрепления событий во всех деталях толкает Ольгу Фрейденберг, как ученого и как человека, на этот подвиг. День за днем она фиксирует события, связанные с арестом ее брата и его жены. Особым пафосом страдания и обличения насыщены страницы тетрадей, посвященные блокаде Ленинграда.

«В России мы все ненадежны, есть ли блокада или нет. Она всегда есть; человек всегда в осаде; ни о ком нельзя сказать: завтра его не арестуют, завтра не поглотит его гибель»¹.

Ольгу Фрейденберг не останавливала возможность пропажи ее записок, ею владело чувство долга и веры в будущее, которое она называла историей:

«Может быть эти тетради погибнут... Не обыск, так взрыв... А с каким душевным усилием я это пишу? Что могло бы заставить меня, кроме единственной оставшейся у меня веры в историю, так страдать и писать?»²

Записки чудом уцелели, они пережили своего автора и по воле ее наследницы были перевезены в Оксфорд в архив любимого дядюшки Л.О. Пастернака. Задержка с их изданием на родине объясняется объемом книги и колоссальным охватом событий, теперь уже нуждающихся в подобных комментариях. Будем надеяться на их скорое появление в печати, что будет великим памятником не только самой О.М. Фрейденберг как автору, но и всем замученным и удушенным в эту страшную эпоху.

* * *

Семья Пастернаков, в которой росли Леонид Осипович (отец Бориса) и Анна Осиповна³ (мать Ольги Фрейденберг), жила в Одессе суровой, аскетической жизнью. Дети Роза, Екатерина, Александр, Анна и Леонид спартански приучались к самостоятельности, к тому, чтобы ни от кого не зависеть и не быть ни перед кем в долгу. Мальчикам удалось дать образование, из девочек только Ася, самая младшая и способная, училась в гимназии.

Еще будучи гимназистом, Леонид Пастернак познакомился с Михаилом Филипповичем Фрейденбергом⁴ и был привлечен им к иллюстрированию одесских юмористических журналов «Сверчок» (1879), «Маяк» и «Пчелка» (1881–1889). Это был талантливейший изобретатель-самоучка, бродяга, журналист и воздухоплаватель, основатель драматического театра в Евпатории, исколесивший всю Россию и Европу. В детстве брошенный родителями, он убежал из приютившей его семьи, и, перепробовав различные способы заработка, оказался в Париже корреспондентом одной из одесских газет. Вернувшись в Россию, он играл в театре комедии и водевиля, писал пьесы, эпиграммы, стихи. Он сделал из коленкора воздушный шар и поднялся на нем над одесской базарной площадью.

Прирожденные веселость и темпераментность младших детей семейства Пастернаков нарушали пуритански строгую атмосферу дома. Родители не могли принять также сватовства Фрейденберга к Асе, она бежала из дома, рассорившись со старшими. Однако дружба и родственное тепло оставались неизменными между семьями Леонида Пастернака и Фрейденбергов.

Окончив почти одновременно Мюнхенскую академию художеств и Юридический факультет Новороссийского университета, Леонид Пастернак⁵ с молодой женой, уже завоевавшей известность пианисткой,

Розалией Исидоровной Кауфман⁶, в 1889 году покидают Одессу и обосновываются в Москве. Через год, в 1890 году, у них родился сын Борис, а в 1893 году — Александр (Шура)⁷.

Все летние месяцы, пока были живы старики-родители, до 1902 года, по-прежнему неизменно проводились в Одессе. У Фрейденбергов к этому времени было уже трое детей, из которых младшая дочь Оля была ровесницей Бори. Детские годы на даче, которую Пастернаки снимали на Большом Фонтане, запомнились им обоим на всю жизнь. В своей переписке они неоднократно возвращаются к запечатлевшимся в памяти переживаниям одесского детства. В это время были заложены основы безусловного взаимопонимания, ощущения близости вкусов и ставший жизненной необходимостью интерес друг к другу.

Старший брат Оли Сашка⁸ рос в полном пренебрежении ко всяким установлениям и запретам. Уже в детстве проявились фантастичность и непредсказуемость его поступков.

У Пастернаков к этому времени уже было четверо детей, в 1900 и 1902 к сыновьям прибавились девочки Жозефина и Лидия⁹.

Лето 1901 года омрачилось смертью семейного любимца Жени Фрейденберга.

«Это рос чудный человек, — писала Ольга Михайловна в своих записках, — мудрый, отмеченный талантом и душой. В семье был его культ. Он рано стал писать, рисовал и слагал стихи; тихий, кроткий, созерцательный, одухотворенный — вот какой он был уже в 9 лет...»

Лето, как всегда, Оля проводила на даче у Пастернаков, а Женичка умирал в больнице от гнойного аппендицита, и «умирал, как святой. Он отдал маме кошелечек с пять копеек, и там монетка. Что осталось от него? — фотографическая карточка, стихотворное поздравление ко дню рождения и ключ от могильной ограды.

Жене было 14 лет, когда он умер, а мне 11».

Смерть сына оставила неизгладимый отпечаток на жизни семьи. Анна Осиповна много лет не снимала траура и решительно оборвала свои занятия музыкой, к которой у нее были выдающиеся способности. Михаил Филиппович рвался вон из Одессы и сначала один перебрался в Петербург, а в следующем году переехала туда вся семья.

Первое лето, когда Пастернаки не поехали в Одессу, было лето 1903 года, последовавшее за смертью отца Розалии Пастернак. Ее мать Берта Самойловна Кауфман переехала в Петербург к дочери Кларе, которая была замужем за инженером-путейцем Александром Лазаревичем Маргулиусом¹⁰.

Первую половину лета на снятой Пастернаками даче под Малоярославцем с ними, как обычно, прожили Анна Осиповна Фрейденберг с детьми. Сашка увлекался фотографией, и на его снимках отражены многие сцены этого лета.

В Петербурге Фрейденберги занимали просторную квартиру в большом доме на Екатерининском канале, сразу за Казанским собором. Из окон был виден Банковский мост. Внизу росли молодые тополя. Обставились, провели электричество, что было новостью и роскошью по тем временам. Михаил Филиппович добился известности как изобретатель первой в мире автоматической телефонной станции и видный журналист.

Но внутренне их жизнь складывалась нелегко. Как изобретатель Фрейденберг не всегда мог найти приложение своих сил. После четырехлетних испытаний телефонной станции в Париже и Лондоне он продал ее фирме Эриксона. Ему принадлежит также изобретение ручной наборной буквоотливной машины (линотип). Постоянно приходилось изыскивать средства для изготовления моделей своих изобретений. Агент, продвигавший его открытия за границей, оказался аферистом и дочиста его разорил. В 1910-х годах Фрейденберг работал над созданием подводной лодки, которая должна была способствовать усилению военных сил России и отказался от выгодной продажи своего изобретения иностранцам. Неутомимый труженик, он был вечно полон разных проектов, писал фельетоны, издавал газеты и все это при абсолютной неуверенности в завтрашнем дне.

Дома главным действующим лицом была Анна Осиповна, в высшей степени наивная и прямолинейная без обиняков, не склонная ни к каким уступкам и компромиссам. Во все времена неустроенности и бытового разлада она оставалась консервативной в своих моральных критериях и обстоятельной в технике домоведения. Порядок в доме всегда царил образцовый, чистота голландская. «Порядок и порядочность», — говорил о ее укладе Борис Пастернак.

Роль матери в жизни Ольги Михайловны огромна, что видно из ее писем Пастернаку. Оля училась в одной из лучших петербургских частных гимназий, в которой приобрела своих подруг на всю жизнь и любовь к учительнице литературы Ольге Владимировне Никольской, дочери которой, Русудан Рубеновне Орбели, завещала потом свой архив.

Во время своих наездов в Петербург Борис Пастернак погружался в атмосферу этого дома и часто становился объектом веселых шуток Олиных подруг. В автобиографическом очерке «Люди и положения» он вспоминал свое первое впечатление от Петербурга.

«Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в

Петербург на Рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским»¹¹.

Театр Комиссаржевской открылся в сентябре 1904 года, что позволяет уточнить время этой поездки. Борис учился тогда в пятом классе. Гимназические каникулы начинались 19 декабря. Михаил Фрейденберг снабжал его контрамарками, Оля была его спутницей и с юмором наблюдала за его отрешенностью и рассеянностью.

Пастернак вспоминал потом, как возмутило его, что Михаил Филиппович, как сотрудник консервативного «Петербургского листка» должен был на страницах своей газеты непременно ругать Комиссаржевскую и ее театр. «Это потрясло его и казалось таким предательством, что он не мог больше оставаться, уехал от него», — записал рассказ Пастернака в 1943 году историк театра Н.Н. Чушкин.

После окончания гимназии Ольга Фрейденберг некоторое время посещала вольнослушательницей Высшие женские курсы, на которые были приняты ее подруги. На Рождественские каникулы 1909 года Борис вновь приезжал в Петербург и жил у Фрейденбергов. Он оказался в распоряжении Оли и ее шумной и веселой компании. Это были подруги по гимназии Елена Лифшиц и Мария Малоземова, их братья и знакомые.

А в последних числах февраля 1910 года Ольга приезжала в Москву и пробыла пять дней. Гуляли по улицам, ходили в Третьяковскую галерею, и Борис знакомил ее с Москвой, как она его в свое время с Петербургом. После отъезда они обменялись открытками, в которых сквозь шутовскую маску проглядывают душевное родство и сходное одиночество. Это же чувство вызвало неожиданный взрыв полного доверия и откровенности, резко толкнувший их друг к другу после совместного возвращения из Мерреклея, где Пастернаки проводили свой летний отдых. Поездка на поезде и на извозчике через город стала для них обоим символом незабываемой на всю жизнь душевной близости, которая взволнованно вспоминалась ими потом и переживалась в разные моменты их растянувшегося на полвека разговора. Именно там и тогда был взят ими верный тон на всю дальнейшую жизнь, названы и обозначены темы, сказано то самое главное, что связало их навсегда. И если в какие-то периоды этот тон менялся и фальшивил, то звучащий в душе камертон вновь возвращал их к тональности этого лета.

Заметим, что эти письма порой трудно читать, их переполняет не находящее себе словесного выражения огромное лирическое содержание. Этим они близки первым литературным опытам Б. Пастернака и более поздним по времени, ранним научным работам О. Фрейденберг.

Но приоткрывшаяся тогда близость была тут же резко и неожиданно оборвана Ольгой Фрейденберг, что имело для Бориса Пастернака серьезные психологические последствия. Ее отказ приехать в Москву был воспринят как недоброкачество всего того, что составляло его внутреннюю жизнь и необходимость «коренного самоперевоспитания» для приближения к классическому миру «Петербурга», миру Оли и ее отца, — как писал он через два года своему другу А.Л. Штиху². Обрыв отношений был понят как непризнание его, и предполагаемая дисциплинарная работа означала «отдаление от романтизма и творческой и вновь творческой фантастики, объективацию» впечатлений и их выражения.

Через два года, проходя летом 1912 года курс немецкой философии в Марбурге, Пастернак узнал от Ольги Фрейденберг, что он ее не так понял, и что по ее милости он свернул не на ту дорогу, посвятив себя рационализму и самообузданию чувств. Письмо Ольги Фрейденберг, написанное после их свидания, открывало Пастернаку путь литературных занятий, которые он ранее возбранял себе. Последовавшая за Марбургом поездка в Италию к родителям и знакомство с горячими источниками европейского искусства подтвердили правильность его выбора и укрепили его решение.

Времени юношеской тоски, разочарований и поисков пути Ольга Фрейденберг посвящает в своих записках несколько тетрадей. Из них мы знаем, что Высшие курсы были вскоре решительно и с презрением отвергнуты как суррогат образования. Она полюбила покой и свободу, мечтала о независимости.

Оля много и серьезно читала. Чтобы читать в оригинале, были нужны языки. Отец поощрял занятия языками. К ней ходила француженка. Несколько позже были одновременно англичанка и итальянка, занятия испанским, португальским и шведским.

В письмах 1910 года обсуждается зародившаяся тогда и сохранившаяся на всю жизнь любовь к Мопассану и вызвавший взрыв разнообразных чувств роман Е.П. Якобсена «Нильс Люне». Пастернак всю жизнь относил прозу Якобсена к явлениям, определяющим историю новой европейской литературы, и даже в 40-х годах говорил о таящихся в ней неиспользованных возможностях.

В семье Фрейденбергов воспитывалось презрение к официальному образованию, — самостоятельно достигший высоких знаний в самых разнообразных областях науки и искусства и сталкивающийся в своей деятельности с тупоумием высокопоставленных чиновников и видных ученых, Михаил Фрейденберг считал университеты пустой тратой времени, которая только наносит вред живым человеческим способностям и выращивает узких, ограниченных специалистов, не видящих жизни, не способных к развитию и не желающих ничего знать. Эти взгляды по-разному нашли свое выражение в жизни и занятиях его детей и были близки Леониду Пастернаку, подтверждение этому мож-

но найти в отношении Бориса к ученым-философам в Марбурге, которых он в письме к Штиху называл «скотами интеллектуализма»¹³. Этим объясняются пререкания в письмах 1910-х годов Оли Фрейденберг и Бориса по поводу его занятий в университете. Именно М. Фрейденбергу писал Пастернак зимой 1913 года, разрывая с философией.

Дома для Оли в это время было очень тяжело. К заложенной с детства повышенной впечатлительности добавилась страсть к переработке впечатлений. Увлечения сменялись увлечениями, литературные герои становились вехами душевного развития. Отец не вмешивался в ее воспитание. В периоды обеспеченного существования, он покупал ей в самых фешенебельных магазинах модные шляпы, элегантные туфли, заказывал у первых портных английские пальто. Периодически, когда они бывали очень бедны, Оля пыталась помогать отцу, секретарствуя у него, работала, давая уроки. Но хождений по объявлениям и найма в качестве учительницы Оля не выдержала психологически. Ее угнетали впечатления от квартир и хозяев, чувство ущемленного самолюбия. Она пробовала сделаться переплетчицей, помогала отцу в издательском деле, знакомилась с работой журнальных репортеров.

Домашнее уединение Ольги Фрейденберг чередовалось с зарубежными поездками, особенно участившимися в связи с открывшимся у нее туберкулезным процессом. Она любила путешествовать, свободное владение иностранными языками и широко предоставлявшееся ей для этого отцовские средства давали возможность бродить, где вздумается, попадать в неизвестные места, теряться, заводить неожиданные знакомства, в полной мере наслаждаясь свободой.

В полную противоположность этому Борис Пастернак ограничивал себя во всем и, оказавшись в Марбурге, благодаря материнскому подарку, тратил деньги только на оплату семинаров и курсов, отчитываясь перед родителями в каждой израсходованной марке. Замечательно ярко описывает О. Фрейденберг их свидание в ресторане, — невзрачность его вида вызывает в ней чувство стыда и досады, она торопится уйти с ним подальше от чужих глаз.

Начало мировой войны застало Ольгу Фрейденберг на севере Швеции в полюбившемся ей маленьком городке Эльфдалене, где она уже собиралась выходить замуж. Тревожные телеграммы родителей звали ее домой. Но Швеция была уже отрезана от России, и, купив билеты, через Финляндию, долго и мучительно, в переполненном беженцами поезде, она возвращалась в Петербург.

Колоритную зарисовку жизни Фрейденбергов в первые месяцы войны мы нашли в письме 1977 года Филиппа Гозиассона к сестре Б. Пастернака Лидии. Он был сыном двоюродной сестры Ольги и Бориса — Густы Гозиассон и впоследствии стал известным французским художником¹⁴. Застигнутые, как и О. Фрейденберг, начавшейся войной, они с

матерью возвращались тогда из поездки по Европе через Швецию в Одессу и зашли повидаться с родственниками.

«Жили Фрейденберги на одной из очаровательных петербургских улиц с каналами. Дверь открыла маме и мне тетя Ася — и с ней была Оля. После поцелуев она сказала: Ну, Филя, ты почти однолетка с Олей — она тобой займется. <Оле было тогда 24 года, Филиппу 16>.

Оля взяла меня за руку и сказала: Пойдем в мою комнату. Это хождение было очень долгим — анфилада комнат (потом я узнавал такие квартиры у Достоевского) и в каждой комнате сидели или лежали люди, не обратившие на нас ни малейшего внимания. Мне, одесситу и западнику, это показалось странным.

Я спросил Олю: Кто эти люди? Она ответила: А почему я знаю? Либо папины знакомые, либо брата (он был студент).

У себя в комнате Оля спросила: «Что ты читаешь?» Узнав, что я люблю поэзию, особенно новую, она поразила меня предложением: «Хочешь, пойдем после ужина в Тенишевское училище — там Вячеслав Иванов читает лекцию «От Канта к Крупну» и ты увидишь, вероятно, и других поэтов».

Я был сверх-счастлив: увидеть живых поэтов, чьи стихи я когда обожал!

Ужин был для меня (и мамы) курьезен: человек 30 за столом — и мало кто с кем был знаком. For odessites it's been very russian, I mean, odd*.

После ужина Оля повела меня в пышный зал Тенишевского училища, где самый торжественно декоративный поэт Вяч. Иванов («Мы два грозой зажженные ствола — два пламени полудночного бора» и т.д.) удивил меня прозаическим пенсне под золотыми кудрями и козлиным голосом. Его лекция мне мало понравилась: ура-патриотизм невысокого стиля. Из обещанных Олей других поэтов, Оля показала мне только высокого молодого человека с очень еврейским бледным лицом и огромным кадыком, как-то странно прямо державшегося. Оля сказала: Это молодой, очень многообещающий поэт — Осип Мандельштам. Его называют в наших кругах «мраморная муха». — Я нашел это прозвище весьма удачным».

* Для одессита это было, я думаю, слишком по-русски (*angl.*).

Тогда же, в ноябре 1914 года, Ольга Фрейденберг стала сестрой милосердия, в чем нашла для себя возможность служения людям, с которыми ее сближали простота и открытость общения и отсутствие условностей. Ее обязанности не касались медицины, то была благотворительность и как она сама называет «культурно-просветительная работа среди раненых».

В октябре 1915 года Пастернак на несколько дней приезжал в Петербург. Воспоминанием о его встрече с О. Фрейденберг, полностью в это время погруженной в свои отношения с ранеными, и восхищение ее деятельностью отразились в словах из «Охранной грамоты»:

«Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья... Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населения в обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры»¹⁵.

У Ольги Фрейденберг с ранеными завязывались хорошие отношения, основанные на полном душевном равенстве. Глубоко переживаемые потери ставших близкими людей накладывали на ее сестринскую работу печать одержимости и неугасимого горения, полного самоотречения.

Печальное время военных поражений протягивало между людьми какие-то внутренние нити понимания и сопереживания.

Опустошенной и внутренне разбитой чувствовала себя О. Фрейденберг к концу своей патриотической деятельности. К старому образу жизни уже не было никаких путей. Революция открыла женщинам доступ в университет. Вопреки желанию отца, она в своем сестринском платье пошла и подала бумаги. Она надеялась, что образование и наука дадут новое направление приложению ее сил.

Она долго примеривалась, выбирала, пока наконец не остановила свой выбор на классическом отделении, где после оборвавшихся занятий русской палеографией и апокрифами у профессора А.К. Бороздина стала заниматься у С.А. Жебелева, И.И. Толстого и Г.Ф. Церетели. Ко времени окончания университета в 1923 году у нее уже была написана диссертация, впервые заявившая о зависимости агиографии от греческого эротического романа. Единственным средством обнародования своих трудов при отсутствии изданий, была защита диссертации. Но дореволюционная система ученых степеней была упразднена. В борьбе Ольги Михайловны за право защиты своей работы принял участие академик Н.Я. Марр. В институте литературы и языка, где проходила защита, О.М. Фрейденберг познакомилась с И.Г. Франк-Камнецким, близкая дружба с которым заняла в ее жизни огромное место.

Объяснение того, почему, вопреки отцовскому воспитанию, она стала заниматься наукой, и отталкивание от самодовольства и ограниченности, налагаемых узкой специализацией, нашли выражение в предисловии к диссертации, так никогда и не опубликованной:

«Людам, желающим подходить к науке спокойно, с меркой раз навсегда установленной и непременно бесстрашной, я работы своей не предлагаю: мои пояснения обращены лишь к тем, для кого наука есть прежде всего проявление жизни, ею питаемое, от нее берущее добро и зло и возврат свой направляющее опять к ней, в ее враждебное лоно»¹⁶.

После окончания университета О. Фрейденберг не могла найти работы, Борис Пастернак предлагал ей свою помощь и свои издательские знакомства. Он договорился с А.Н. Тихоновым, фактическим главой издательства «Всемирная литература», что О. Фрейденберг предложит ему перевод первого тома «Золотой ветви» Дж. Фрезера. Он намеревался устроить Ольгу Михайловну на прием к председателю ЦКБу (Комиссии по улучшению быта ученых) М.Н. Покровскому, чтобы помочь ей найти место и возможность получать продовольственный паек высшей категории. Но чаще всего его попытки содействия, разговоры по ее поводу с А.В. Луначарским, С.Ф. Ольденбургом (непременным секретарем Академии наук), Н.Я. Марром, В. Аптекарем (об издании книги при Ком. Академии) и другими оказывались ненужными, ни к чему не приводили и служили поводом к упрекам и недовольству самой Ольги Михайловны, ее матери и распространялись на старших Пастернаков в Берлине.

Трудности и общественная незащищенность научной биографии О. Фрейденберг накладывались на невыносимо тяжелые бытовые условия. Зарабатывал в доме один Саша, старший брат Ольги Михайловны, взбалмошный и недисциплинированный. Он, как отец, знал все ремесла, к тому же хорошо играл на рояле, лепил, рисовал. Скромный и застенчивый по существу, он в то же время не признавал ничьего авторитета и никому не желал подчиняться. В его глазах не различались ни чины, ни возрасты.

Укоренившаяся в нем с детства страсть к сопротивлению всему тому, что считало себя правомочным, в том числе и ко злу, — делала его совершенно необычным. Он глубоко и нежно любил мать и сестру, но его язык и поведение, его попреки куском хлеба делали невозможной совместную жизнь с ним.

Потом, когда он женился и привел в дом жену, тяжесть и гнет этого существования усилились до предела. Вот почему в письмах Ольги Фрейденберг сквозят упреки в адрес «пиявки-Сашки», а его отъезд в 1927 году воспринимался ею как освобождение.

В дальнейшей жизни дома Саша участвует лишь в случаях крайней необходимости, в судебной тяжбе из-за квартиры, печатании Олиной диссертации или переездах на дачу. Последовавшая в 1937 году страшная гибель его семьи (арест его жены М. Шмидт, а затем и его самого), обратила их обоих в объект горячей жертвенной любви Ольги Фрейденберг, во искупление бывшего недостатка семейной близости. Так, вмешательство произвола и насилия в судьбу людей освящало их ореолом мученичества.

После работы в различных научных учреждениях О.М. Фрейденберг в 1932 году становится главой кафедры классической литературы Ленинградского университета и собирает вокруг себя весь цвет античной филологии. В 1935 году она защищает докторскую диссертацию, опубликованную под названием «Поэтика сюжета и жанра». Трагическая судьба этой книги, вскоре изъятой из продажи, прослеживается в общих чертах в переписке с Б. Пастернаком.

Вероятно, последним свиданием Ольги Фрейденберг с Пастернаком оказался его приезд в Ленинград на обратном пути из Парижа с антифашистского конгресса летом 1935 года. Отделившись от делегации, возвращавшейся в Москву, он застрял у Фрейденбергов, ослабленный после полугодового недосыпания, возникшего у него от тяжелого нервного кризиса. Он явно не хотел ехать домой, и взволнованная этим жена, сама приехала в Ленинград и положила конец грозившему затянуться родственному визиту.

В эти годы в переписке брата и сестры появляется тема возможного возвращения семейства Пастернаков из Германии в связи с распространением фашизма.

Горячее желание увидеться с родителями после долгой разлуки и беспокойство за них наталкивались на неразрешимые затруднения, связанные с тем, что родители не понимали степени неблагоприятия жизни в Москве, а дети не могли составить себе реальное представление об опасностях в нацистской Германии. Было очевидно, что бытовые условия в России заведомо хуже немецких, — отсюда керосиновый аспект приглашения (приготовление пищи на керосинке и примусе), — квартира была занята уплотнителями, тогда как Леонид Осипович ставил условием переезда отдельную квартиру с мастерской, что было практически неосуществимо.

Картины были уже упакованы и стояли в советском полпредстве в Берлине, где со дня на день ждали насильственного выселения русских.

Ситуация разрешилась самым неожиданным и счастливым образом. Младшая дочь Лидия вышла замуж за англичанина, работавшего вместе с ней в лаборатории в Берлине, Элиота Слейтера, уехала в Оксфорд, и выписала к себе все семейство.

Но чуть только старики оправились от переезда и волнения, снова возникла мысль о возвращении в Россию. Внезапная смерть Розалии

Исидоровны в августе 1939 года оборвала эти планы, уже в то время губительные, поскольку в России полным ходом шла страшная пора политических репрессий и арестов, и даже переписка с заграницей становилась все более и более опасной.

В страшные годы войны и оккупации Ленинграда Ольга Фрейденберг находила в себе силы записать и оформить прочитанный перед войной курс лекций по античному фольклору, написать книги о Гомере, о Плавте. Жуткие картины блокадной жизни, описанные ею в то время и выборочно приведенные нами в книге, дают представление о железной выдержке и воле этой женщины, которые подвергались ежедневному испытанию.

В 1950 году, в связи с широко развернувшейся кампанией антисемитизма, ярко обрисованной ею в записках, О. Фрейденберг была вынуждена уйти из университета, и с этого времени ее работы совершенно исчезают из научного обихода.

Только в 1970-х годах начинает проявляться поначалу робкий, но постепенно возрастающий интерес к ней. Начало ему было положено публикацией Ю.М. Лотмана в Записках Тартуского университета, сопровождаемой списком ее неопубликованных работ, содержащим более четырех десятков названий. Теперь многое из этого списка напечатано, ее творчеству посвящаются диссертации, пишутся большие исследования. По мнению Т.В. Цивьян, отозвавшейся на издание монографии О. Фрейденберг «Образ и понятие» (М. 1978), ее мысли теперь «нашли для себя гораздо более прочное и органичное место, чем несколько десятилетий назад, когда они были написаны»¹⁸.

Основной материал исследований Ольги Фрейденберг — мифология и основы мифологического мышления, ее главный интерес — возникновение литературы как искусства, то есть как эстетической точки зрения на мир. Новизна ее метода и смелость интуиции постоянно вступали в конфликт с традиционными взглядами узких специалистов, с раз навсегда установленной меркой.

«Спорность ее идей, — пишет Н.В. Брагинская, — неизбежный спутник врожденного своеобразия, унаследованного от отца, и художественной, не дискурсивной природы таланта, которая роднит Ольгу Михайловну с матерью и Пастернаками»¹⁹.

Чтобы обозначить основную трудность восприятия работ О. Фрейденберг, воспользуемся ее собственными словами из письма к ее пожизненному другу О.Н. Никольской 9 октября 1953 года:

«Моя научная судьба была бы для меня гораздо счастливее, и сама я была бы гораздо счастливее, если бы умела переводить язык интуиции на язык логической мысли... Мне всегда каза-

лось, что я нахожусь со своими работами в русле чего-то значительного, которое обнаружится впоследствии, в своем целом, и тогда я лучше пойму звенья своей работы. Скажу Вам на старости, что это чувство меня не обмануло, может быть, единственное среди всего того, в чем я оказалась обманута жизнью. Оглядываясь назад от звена к звену, я вижу, что шла как бы по комнатам, каждая из которых была темна, но получала освещение, когда открывалась дверь в следующую»²⁰.

Здесь обращает на себя внимание метафора, характеризующая научное движение мысли О. Фрейденберг своим сопоставлением с проходом по большой квартире на Екатерининском канале времен ее юности. Кроме этого, надо сказать, что обнаруженные за последние десятилетия новые факты и археологические открытия, о которых сообщает Вяч. Вс. Иванов в своей рецензии на издание книги «Миф и литература древности», подтверждают созданные до них исторические реконструкции Фрейденберг, что свидетельствует в пользу верности ее метода²¹.

* * *

В довоенной жизни нашей семьи присутствие бабушки Аси и тети Оли ощущалось постоянно, несмотря на то, что жили они в Ленинграде, а мы в Москве, и я был у них только в бессознательном детстве, в полугодовалом возрасте, когда меня возили на мою первую дачу в Тайцы под Ленинградом. Именно с этого времени они прозвали меня Дудляком, именем, образованным от младенческого звукосочетания, которое они запомнили, пытаясь тогда разговаривать со мной. Я плохо помню также короткий приезд тети Оли летом 1928 года, когда она останавливалась у нас. Недостаток встреч, однако, не снимал чувства присутствия их в нашей жизни, все известия от них неизменно обсуждались всеми нами.

До войны я не был в Ленинграде, но мама ездила довольно часто, и ее рассказы дополняли ощущение значительности и семейной близости их существования. Во время войны беспокойство за их судьбу и ожидание их приезда к нам в Ташкент, на что все время надеялся папа, не оставляли нас в течение всей блокады, смерть бабушки Аси была тяжелым семейным горем.

Весной 1950 года я был вынужден уехать из дому и оказался в небольшом украинском городке на берегу Днепра. Гарнизон-

ная самостоятельность была не по мне, и осенью, получив отпуск, я решил съездить в Ленинград, чтобы попытаться найти место преподавателя в одном из тамошних учебных заведений.

Выйдя в едва намечавшийся ленинградский рассвет, и, еще ничего не успев сообразить, я сговорился с каким-то человеком из привокзальной толпы, и он отвез меня на стоявшей за углом машине «Скорой помощи» к оказавшейся совсем недалеко Каланской площади и объяснил, как пройти на улицу Плеханова. Парадный ход дома с канала Грибоедова был закрыт со времени войны.

Было уже совсем светло, когда я поднялся на третий этаж по сводчатой черной лестнице с желтыми, стертыми посередке ступеньками и позвонил в дверь под № 4. Удивительно мелодичный голос спросил, кто это, затем послышался звук отпираемых засовов, и в дверном проеме, ведущем в полутемную, наполовину заложенную дровами и заставленную странными техническими устройствами большую кухню, я наконец увидел тетю Олю.

Небольшого роста, отяжелевшая и отечная, как все женщины, пережившие блокаду, она с интересом разглядывала меня сквозь толстые комплексные стекла очков. Мы расцеловались, и она сразу, в чисто семейном стиле, объяснила мне, что я не должен ничем стеснять себя ради нее и что она тоже собирается заниматься своими делами. Спросила, есть ли у меня определенные планы и отправила меня мыться холодной водой в ванную, поведав тут же историю семейного столового серебра, спрятанного ее отцом незадолго до смерти и найденного случайно спустя много лет под дубовой рамой большой эмалированной ванны.

Машины в кухне оказались моделями изобретений Михаила Филипповича Фрейденберга, подготовленными тетей Олей к отправке в музей. По стенам висело несколько дедушкиных работ. Стояла итальянская ремесленная скульптура, привезенная из зарубежных путешествий. За окнами шумели высокие тополя.

Уже за завтраком тетя Оля заговорила о папиных письмах. Меня поразило, как она сказала: «Они ведь такие удивительные». Рассказывала, что уходит из университета, бросает созданную ею кафедру, говорила о судьбе своих неизданных работ и предполагаемых наследниках.

Боюсь, что я не был достаточно участлив. Меня тянуло в приоткрывшийся мне город..

Хлопоты мои оказались неудачными, и через день я уехал. Мы увиделись еще раз через год, когда я ненадолго приезжал вместе с мамой.

После смерти тети Оли я спрашивал у папы о судьбе ее архива, но он сказал, что у нее есть друзья и ученики и что с этим будет все в порядке, просил меня, пока он жив, не заботиться об этом.

Вскоре не стало и его. Мы нашли Олины письма при разборке его бумаг. Я сразу вспомнил о пачке его писем к ней, перевязанных золотой ленточкой, и начал поиски.

В Ленинграде о их судьбе ходили легенды, Ольга Михайловна кое-кому из знакомых читала выдержки из них. Мы обошли небольшой круг ее друзей и узнали о сделанном ею завещании в пользу Русудан Рубеновны Орбели. Вскоре мы подружились с этой женщиной удивительного благородства, ума и мужества. Она сказала, что давно ждала нас, чтобы решить с нами судьбу архива Ольги Михайловны, хранившегося у нее в сундуке под роялем.

Работами Ольги Михайловны и воскрешением ее научного имени тогда начала заниматься Н.В. Брагинская. Зная условия хранения в государственных архивах и трудности работы с ними, мы посоветовали ей передать этот сундук в руки Н. Брагинской, как заинтересованному ученому и преданному человеку. На дне этого сундука среди учебных планов, библиографических карточек, юношеских тетрадок стихов, конспектов, фотографий и пахнущих лекарствами бумаг, остававшихся на рабочем столе Ольги Михайловны после ее смерти, нашлась и пачка папиных писем.

В эпилог составленной нами книги мы включили часть переписки Бориса Пастернака с Марией Александровной Марковой (урожденной Маргулиус)²², его двоюродной сестрой со стороны матери, которая после смерти Анны Осиповны Фрейденберг постепенно стала самым близким человеком для Ольги Михайловны и ее помощником во время болезни, по мере возможности облегчая ей одиночество и тоску по семейному теплу и воспоминаниям детства.

Письма к М.А. Марковой хранятся теперь у ее внука А.В. Курсина, любезно предоставившего нам их фотокопии.

Е. Б. Пастернак

ГЛАВА I

Летом я всегда у дяди Ленчика на даче¹. В комнатах пахнет чужим. По вечерам абажур. Тысячи мошек кружатся вокруг света. Кушают чужое, не так, как у нас: грешневую кашу, например.

Боря очень нежный, но я его не люблю. Тетя все время шепчется с дядей и мамой, и есть слух, что мне придется выйти за него замуж. Это меня возмущает. Я не хочу за него, я хочу за чужого!

Но Боря любит и прощает. Я гуляю с меньшим кузенком, Шуркой, и тот, затащив меня в кусты, колотит, а выручает всегда Боря; однако я предпочитаю Шурку.

Мы играем в саду. Запах гелиотропа и лилий, пахучий, на всю жизнь безвозвратный. Там кусты, и в них копошимся мы, дети; это лианы, это дремучие леса, это стены зарослей и листья... Как непроходимы чащи кустов! Сколько близости с травой и цветами!

Там — первый театр. Я сочиняю патетические трагедии, а Шурка, ленивый и апатичный, нами избиваем. Мы играем, и Боря и я — одно. Мы безусловно понимаем друг друга.

Мы проводили лето с Пастернаками в Калужской губернии². Рядом жили Скрябины³. Боря был культурный, очень развитый мальчик. Он уже читал Спенсера и Смайлса⁴ и, как мы шутили, проверял систему своего воспитания. Я ссорилась с ним невероятно. Втайне я тяготела к игре в бирюльки и качелям, а Боря изучал законы метрики и стихосложения.

— Вот вздор! — говорила я. — На свете есть тысячи размеров.

— Ну, назови! — предлагал он. — Дактили, хорей, ямбы, анапесты (шло перечисление)... Какие же ты знаешь еще?

— Да миллион! — отвечала я. — Есть миллионы стихов!..

Но Боря был добр и юродив, как все Пастернаки. После ссоры и моей брани он заходил в детскую (у него уже были две сестрички), становился посередине и с надрывом восклицал:

— А все-таки я тебя люблю!

АНКЕТА ОЛЫГИ ФРЕЙДЕНБЕРГ

1908 год.

Какие цените качества? – Гуманность, искренность.

Любимое занятие? – Работа мысли во всех видах.

Отличительная черта характера? – Позитивность.

В чем счастье? – В том, чтобы познать смысл природы.

Несчастье? – В разъединенье общего.

Будь Вы не вы, кем бы хотели быть? – Аскетом.

Где жить? – В пустыне.

Профессия? – Сестра милосердия.

Главная книга? – Библия.

Предмет отвращения? – Бессознательный цинизм мысли и слова.

К какому пороку наиболее снисходительны? – К сознательному.

Девиз? – Совершенствоваться.

Любимый цвет и цветы? – Оливковый. Иммуортили...

Ежегодно зимой приезжал в Петербург дядя для устройства своей выставки, и останавливался у нас. Лето я проводила обыкновенно с ними. Наезжал и Боря; мы уже давно были большими и близкими друзьями. Промежутки заполнялись интенсивной корреспонденцией; кроме Сашки и Шурки – (брат Бори, флегматичный, моложе, чем Боря), вся семья наперебой писала друг другу. Я привыкла к Бориной любви и нежности, к преувеличенным похвалам и гиперболам чувств, оценок меня, признаний.

Мне было 20 лет, когда он приехал к нам не по-обычному. Он был чересчур внимателен и очарован, хотя никаких поводов наши будни ему не давали. В Москве он жил полной жизнью, учился на философском отделении университета, играл и композиторствовал, был образованным и тонким. Казалось, это будет ученый. В житейском отношении – он был «не от мира сего», налезал на тумбы, был рассеян и самоуглублен. Его пастернаковская природа сказывалась в девичьей чистоте, которую он сохранял вплоть до поздних, сравнительно, лет. Пожалуй, самой отличительной Бориной чертой было редкое душевное благородство.

Я возила его на Стрелку, и мы любовались одинокой поэзией островов. Мы куда-то ходили и ездили, и он был очарован, и не отходил от меня ни на шаг. Я таскала его за собой, как брата, он ходил за мной, как влюбленный.

У Лившицев была где-то у черта на куличках своя бельевая лавка⁵. Мы поставили Борю за прилавок, и он продавал кальсоны и лифчики, рекомендовал, божился, зазывал прохожих с порога. Хохот, молодость дикие взгляды и смех покупателей!

Наконец, Боря уехал. В марте того же года, я была у них в Москве. Он провожал меня и с вокзала прислал две открытки разом.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [1 марта 1910]

I. Ты понимаешь, конечно, что я пишу из химико-бактериологической лаборатории, куда меня отвезли после страшного приступа баязетовой болезни⁶. Я корчился на перроне, в судороге произнося твое нежное, дорогое имя. Потом я лихорадочно влез на дебаркадер. За мною полез жандарм и сказал, что уже 12 часов. Я посмотрел на часы. Публика рыдала. Дамы смачивали мои раны майским бальзамом. Кондуктор хотел меня усыновить.

II. Как глупо! В таком состоянии, и тратить 8 копеек! Нет, серьезно, мне грустно. Так вот, я приветствую тебя! С приездом! Здесь стоит старушка, она готова меня убить — я у ней взял карандаш. У меня на это ведь есть перонный билет! Дорогая Оля, ты, может быть, думаешь, что за этим кривляньем — Мясницкая, 21⁷ и спокойная комната после ужина? *Quelle idee?** когда эта открытка — замаскированная погоня за тобой, и все это на вокзале!

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. 2 марта 1910

Боря, я не сомневалась, что ты с вокзала попадешь прямо в химико-бактериологическую лабораторию: ты так глазами пожирал курсисток, что твой желудок неминуемо должен был «решительно запротестовать»...

Омерзительнее моего путешествия ничего нельзя себе представить. Воняло, было адски холодно, темно и угрюмо. Да и места у меня не было. Только после моей угрозы лечь на рельсы или проглотить флакон из-под уксусной эссенции — мне отвели 1/100 места. Вагон был битком набит; спали даже на полках (честное слово!), а лежать на верхней скамье — значило «находиться в бэльеэтаже». В том вагоне, где ехала Тараканова со сви-

* Что за мысль? (фр.)

той, была устроена вечеринка — с едой, вином и студентами. Пели, трывкали на балалайке и пили. Тараканова получила «в порядке дня» «маленькое слово», и по этому поводу что-то долго и горячо «выясняла». Потом студенты перешли в наш вагон и внесли оживление, ничего общего с благонаравием не имеющее. Один из жертв науки пел — долго и сипло пел о черных и голубых глазах, и эта «цветная» привилегия так меня возмутила, что я громогласно потребовала гимна глазам бутылочного цвета. Как элемент благоразумный, я не принимала никакого участия в попойке и «товарищеском общении» со студентами. Напротив, я была настроена лирически; и, сидя в темноте с одной девицей, говорила ей стихи. Эта девица так расчувствовалась даже, что предложила мне девиз из «Чайки»: «Приди и возьми мою жизнь» (вус, вер, вен)⁸ и была страшно опечалена, когда узнала, что моя жизнь принадлежит мне и никому никогда отдана быть не может. О, проза!..

А ночью случилось нечто в твоём духе: одна девица, все время сосредоточенно молчавшая, вдруг заговорила... о синопском сражении!⁹ Воображаю, если б на моем месте лежал ты! Конечно, ты ответил бы ей тирадой на тему о преимуществе венской мебели над мягкой, а она продекламировала бы что-нибудь из Андрея Белого или Саши Черного... что это была бы за прелесть!..

Или такой курьез: свитная фрейлина Таракановой, социал-демократка, все искала «Русское Знамя». Найти не могла. И вот ночью, когда все спали и сама она лежала под потолком на полке, вдруг я слышу ее жалобный, тихий голос: «Полжизни за «Русское Знамя»... Это было смешно до бесконечности!..

Сегодня началась попытка: надо передавать свои впечатления. Стараюсь издавать дикие звуки или просто мычать. Но в мою невменяемость никто не верит, даже после того, как я клятвенно уверяю, что провела пять дней под одной кровлей с тобой... Находятся даже люди — и это не выдумка — которые... что бы ты думал?.. верят в твою нормальность! Когда у меня спрашивают: «А как вам понравилась Третьяковская галлерей?» — я отвечаю кратко: «Я была там с Борей» ...

Ах, все изменчиво. И вот я опять в своей комнате и в Петербурге. Ужасно нехорошо, когда мечты осуществляются. Недаром сказал Надсон¹⁰, что «только утро любви хорошо»: приятны не результаты желаний, и даже не сами желания, а только

их преддверие. В этой абстрактности есть прелесть. Вот Мопассан — у него желания всегда осуществляются, а между тем, нет писателя более грустного, пессимистического, прямо безнадежного. Мне еще не приходилось с тобой говорить о Мопассане; если б слово любовь не было так бессодержательно и условно, я сказала бы, что люблю его, страшно люблю. Но это все в скобках.

И подумать, что завтра я пойду на курсы, где Сиповский скажет: «Итак, господа, такова была драма», а проф. Погодин будет два часа говорить, что старые слова нужно заменять новыми...

Боря, ты приезжай непременно. Я хочу тебе сказать, чтобы ты не занимался философией, т.е., чтобы не делал из нее конечной цели. Это будет глупостью, содеянной на всю жизнь. Сейчас я очень устала и совсем не могу писать. Столько впечатлений! Надо все это замкнуть в себе и забросить ключик. Это гоже свинство, когда человек впечатлительный; лучше бы смотреть на жизнь не как на театр, а как на кинематограф: посмотрел и пошел дальше.

Я уже рассказывала о тебе моей веселой подруге; комната моя оглашалась хохотом...

Твоей книги я еще не раскрывала: трясутся руки, бледнеет лицо. Но не бойся, прочту: я с сегодняшнего дня принимаю бром.

«Подарки» приняты мамой мрачно...

Иду спать. Доброй ночи!

Ольга

Была на курсах, имитировала Тараканову; курсистки ржали от восторга.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. 10 марта 1910

Боря, спасибо за «Нильса», я его прочла¹¹. Ничего о нем не скажу — это очень долго; интересная повесть, интересная психологически. Меня раздражало только настроение автора, которое он все время навязывает читателю; это утомительно и нудно. Знаю, почему ты мне дал читать эту повесть, и чем она тебе нравится... Жаль, что поговорить нельзя; писать, повторяю, долго.

Мне нравится, что ты мне не ответил — серьезно; это указывает на искренность. Ибо «отвечать» на письмо так же глупо и неестественно, как и на посещение. Если я захочу тебе писать, меня не смутит твое сосредоточенное молчание...

Ольга

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

[Галон почтового перевода 55 р. Москва, 8 июня 1910]

Дорогая Оля!

Так как этот клочек картона уже без моей приписки стоит 55 р., то мне остается прибавить очень мало. Это деньги за рояль, и они тонут в маминой благодарности. И я буду стоять в почтамте в длиннейшей очереди перед «приемом переводов» и, честное слово, не буду проклинать тебя.

Помнишь, в этом году был снег, ах, как это давно было; я еще тогда получил от тебя два письма, одно за другим. Зимой, а потом весной я порывался писать тебе, но когда попадал на тему 1) о Нильсе, 2) о том, что мне нужно и можно заниматься философией, то страницы застилали горизонт и мне делалось тоскливо.

Дорогая Оля, я тебе напишу еще.

Очень целую всех.

Лето Пастернаки проводили на берегу Балтийского моря, в живописном Меррекуле.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Е. ЛИВШИЦ

Петербург. 29 июня 1910.

Выражаясь более торжественно — «У меня насморк». И хороший, верь! Но этим еще дело не кончается, напротив, тут дело начинается только. За насморком идет животик. Ну угадай: уже и живот болит, то какая следующая ступень?

— Боря приезжает. Ну??! Понимаешь, один насморк или один животик, или один Боря — это еще куда ни шло: но все разом!! — Перед смертью принято писать завещание: Я, друг...

Понимаешь, утром мама получает открытку от своего Пастернака № 2, где он пишет, что он ищет в Москве Сашку, но тщетно. Открытка, вообще, полна «поползновений» на остроумие, но, как всегда, бедному мальчику это дается туго. Волковыская (Оречкина то-ж) назвала бы это послание «идиотским», ибо читали его все: мама, я, папа, даже Варя, но вус вер и вен никак нельзя понять.

Но каков был наш ужас, когда мы дошли до «роковых слов»: буду скоро у вас, не пишите только об этом родителям, ибо еду к ним послезавтра (!!!) инкогнито. О, это мы поняли все, судо-

рожно схватились за живот, папа изрек что-то очень умное и умеренное, а мама... О, эта классическая мама! Мама залпом бросилась к столу и начала быстро писать: мой дорогой, золотой Боря, я тебя обожаю, но ты не приезжай, то есть, ты приезжай, но не раньше июля (!?!), ибо у Оли болит живот (перечеркнуто), ибо Оля гостит сейчас в Петергофе и страшно злая (зачеркнуто) и жаждет тебя видеть, и когда узнает, что ты приехал, спрячется (соскоблено ножом), обидится, что ты не дождался ее. А потому жди.

При этом, ты догадываешься, не пояснено: чего жди, кого жди, где жди, когда жди. Ну-ну. И ведь я вот пишу и смеюсь, смеюсь, что это похоже на шарж, но ведь все правда, суцая правда!..

Пока что утро у нас было очень веселое, что и навело меня на мысль откатать тебе письмо. Ведь ты понимаешь, если Боря приедет, то не минует тебя чаша сия. Впрочем, это-то я и смакую. Жаль, что не знаю наверное дня его приезда¹², а то позвала бы тебя: верно, произойдет превеселая встреча, не похуже Шуркиной, помнишь? Кстати: 30-го приезжает Сашка, неужели не придешь? Вчера я получила от него из Москвы открытку и письмо — опять интересное; мама знать его не хочет — ведь он и поклона ей не шлет, ссскотина!..

Б. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Мерреколь [7 июля 1910]

Дорогая Оля!

Я не могу писать. Идут целые стопы объяснений: их нельзя довести до конца. Все это так громоздко. И три письма последовательно друг за другом пошли к черту. Цель их была возвести в куб и без того красноречивый многочлен доводов в пользу твоего приезда сюда.

Дорогая Оля, ради Бога приезжай сюда и поскорее. Тебя, наверное, рассердило мое зимнее безмолвие и вообще ты убеждена против таких самоочевидных и простых максим, как например, необходимость твоего присутствия здесь. Что мне делать?

Два слова о зимнем безмолвии: тогда тоже письма шли к черту; и это были большие письма, о Мопассане и Нильсе и о тебе, и этих писем было три. (Это у меня предельная цифра.) Это совсем не интересно. Только я не молчал. И если можешь,

не сердись. Мне так хочется видеть тебя, что боюсь сказать. Я сюда приехал на две недели. Три-четыре дня я уже здесь. Мне немного осталось. Знаешь, что мне представляется? Большие, только здесь возможные, интересные прогулки с тобой; я нарочно прикусываю сейчас же «язычок». Но поверь мне, Оля, что все это может быть восхитительным. Скорее, скорее, завтра выезжай.

Мама вероятно так убеждена в успехе моих молений, что просила помолиться и за нее. Занятый сейчас ее четками, я вдруг вспоминаю, что есть подушка и одеяло твои, которые ты должна привезти; и потом один фунт грибов: белых, сушеных, без корешков, еще раз белых, первый сорт. И может быть они не будут червивы? Тогда вообще на кухне будет светлое воскресенье.

Дорогая Оля, как ты только поймешь, что даже будучи *неприятно настроена* ко мне или к кому-нибудь из здешних, ты все-таки многое выиграешь от этой поездки в чудную местность со сказочными условиями, как только этот призывный посев взойдет в тебе аксиомой, ты тотчас пожни его на телеграфе. Ради Бога телеграфируй о номере поезда и дне. Я тогда выеду на станцию встретить тебя. Если ты решительно противишься* такой встрече, подпишись на телеграмме Ольга вместо Оля. Оля будет пропуском на станцию. Оля вообще будет громадным пропуском. Оля дорогая, едь скорее. Станция «Корф». Это будет так хорошо. Я прямо не верю.

И не собирайся. Ради Бога *завтра же!* Я тебя тогда расспрошу о том, почему у тебя на подозрении философия. Я тебя хочу о многом спросить. Обними тетю Асю. Я хочу ей ответить на днях. Я почти обижен. Все-таки это издевательство. «И ты, Брат, тоже?! ты тоже в заговоре и улыбаешься?»¹³

Да! Конечно, это не почтовая бумага. Слава тебе, Господи. Ведь я тоже не слепой и вижу. Но это и не та, которой ты, может быть, готова окрестить ее. Упаси Боже. Ее назначение если и не литература, то и не музыка. Просто это оберточная бумага в столетний юбилей Магницкого¹⁴.

* В письме стрелка, указывающая на слова «неприятно настроена».

Дело в том, что стопку с Меркурием¹⁵ охраняет сейчас родительский храп. Ну и сейчас еще раз, последний раз серьезно и с нажимом: Оля, дорогая, приезжай. Умоляю.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. 12 июля 1910

Боря, у меня прошел период «острого помешательства» – и я снова хочу вас видеть, с вами говорить, к вам ехать. Остался, правда, горький осадок в виде воспоминания о моей открытке – такой скверной после твоего хорошего письма.

Я могла, конечно, выдумать какую-нибудь причину своего нежелания ехать или совсем его замаскировать; но неправда меня шокирует, а особенно в отношении к тебе. Мне казалось, что ты не станешь «обижаться» и вообще приложишь совсем другую мерку ко мне. Подумай: что стоит вся философия и все твое «я» со всеми порываниями etc., etc., если... тебе нельзя написать правды, самой малой?

Моя мама была крайне недовольна формой моего отказа: «как, мол, можно» – и т.д.; но я не забывала, что пишу тебе, а ты знал, что пишу это я. И потом мне было очень плохо и совсем не до поездки в «чудную местность», говоря твоими словами; распространяться об этом не люблю, и потому ограничилась несколькими словами.

Впрочем, у меня и сейчас лежит на столе письмо, написанное тебе, но на мотив «из другой оперы». Судьба наших писем, вообще, интересна: писать – пишем, но не отсылаем. Да это и понятно: хочется поговорить, но ведь настоящий разговор не обрубок. Разрастается мысль, рождаются слова, появляется известная связь, ассоциация – и то летишь вперед, то возвращаешься; между строк, над бумагой что-то вырастает. А тут вспоминаешь, что ведь мы любим друг друга в кредит и больше догадываемся, нежели знаем. И вот нужно вводить новые пояснения, уклоняться в сторону или забегать вперед; это порождает новые мысли, хочется сказать что-то выше слов, – поднимается чувство, напрягается ум, и становится больно от этого хаоса и сознания своей беспомощности. Письмо выбрасывается под стол... И летит в ответ несколько слов, самых существенных и необходимых, но очень далеких от духа твоего; и как должно быть тоскливо, когда получатель не понимает происхождения этих сжатых фраз... В сущно-

сти, наша переписка оттого так плачевна, что мы мало знакомы друг с другом: утомительно наше желание все разом втиснуть в узкие рамки письма. Это физически неосуществимо. По крайней мере, мне трудно писать только одному тебе: разве я тебя знаю? Разве ты меня знаешь?

Повторяю: твое молчание как зимой, так и в любое время года, мне вполне понятно. И хочется верить, что тобою поняты некоторые мои эксцентричности, хотя бы в виде последней открытки. Если мы увидимся и я расскажу тебе, как ехать не могла и не хотела, — ты «поймешь и простишь». Бывает в жизни столько того, что не поддается определению, учетам, даже переводу на человеческий язык; а в моей жизни последних лет этого много, очень много. Я оттого «спокойна и молчу», как сказал ты в недавней открытке к маме. Вот, вот — опять мысль хочет меня увлечь и начинает «чесаться язык»; но нет, надо же послать хоть это письмо!

Мама говорит, что «теперь Боря к нам не придет, и все из-за тебя». Я не смею верить такой нелепости, Боря. Господи, Господи, как вообще грустно. Но я опять не о деле. Да, так ты не освятишь этой пошлости из всех пошлостей, правда? Конечно, ты приедешь или нет — смотря по желанию и только. Если мне было тяжело тогда, то почему же мне делать еще на зло? Потом, я уезжаю за границу; когда-то мы увидимся?

Теперь мне уже хочется к вам приехать. Ей-Богу, у меня есть воля: я себя переломила — и снова я стала собой. Ну, когда же мне привезти вам белых грибов? Я согласна на все, если на меня не рассердились за «дерзновение»...

Напиши мне что-нибудь, все равно — что! С чем черт не шутит, — ты еще, может, обижен?..

Милый, чтобы просить прощение, я готова олицетворить собою воплощенный лиризм...

Ольга

Этим лоскутком бумаги я поставила письму естественные границы. Марка — Шуре.

Я поехала в Меррекюль и провела там несколько дней. Боря меня встретил и проводил, и уже от нас поехал в Москву.

Мое пребывание в Меррекюле сломило наши с Борей привычные отношения. Он был сдержан, серьезен, щепетилен в обращении со мной. Мы много были вдвоем, вдвоем гуляли, как он писал и хотел. Но

он держался без обычной любви и веселости; мы шли на расстоянии друг от друга, и если случайно натыкались, он резко сторонился. Ночью он хотел, чтоб мы оставались в комнате, а я мечтала о звездном небе, об уходе от семьи, о поэзии ночи; тетя следила за нами с беспокойством. Когда же Боря, нехотя уступил мне и мы остались на террасе, ничего поэтичного не вышло. Он сидел поодаль и философствовал, стараясь говорить громче и суше обычного, а я скучала и чувствовала разочарование. На другой день, когда мы проходили у заставы, я попросила его рассказать мне сказочку, и он промолчал.

Общий романтический склад сближал нас. Он говорил, обычно, целыми часами, а я шла молча. Признаться, я почти ничего из того, что он говорил, не понимала. Я и развитием была неизмеримо ниже Бори, и его словарь был мне непонятен. Но меня волновал и увлекал простор, который открывали его глубокие, вдумчивые, какие-то новые слова. Воздвигался новый мир, непонятный, но увлекательный, я вовсе не стремилась знать точный вес и значение каждой фразы; я могла любить и непонятное; новое, широкое, ритмически и духовно близкое вело меня прочь от обычного на край света.

Наконец, меня потянуло домой; но чувствовалось, что мы не можем расстаться. Я все время молчала, но во мне происходили какие-то сдвиги, и я переживала что-то необъяснимое, но значительное. Боря, по обыкновению, много говорил.

Поездка вдвоем еще больше слила нас. Люди, которых мы встречали, и названия станций (Вруда, Тикопись, Пудость и т.д.) казались нам какими-то особыми, у Бори было красивое одухотворенное лицо, и ни один смертный не был на него похож ни видом, ни душой. Он всегда казался мне совершенством.

В Петербурге мы уже не могли оторваться друг от друга. Он уезжал с тем, что я приеду в Москву, а потом он проводит меня в Петербург. Пока он ехал и писал мне, я не могла найти себе места и ждала до беспомыслия, ждала до потери чувств и рассудка, сидела на одном месте и ждала. И он едва мог доехать, и в ту же минуту написал мне громадное письмо.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФАЙДЕНБЕРГ

Москва [23 июля 1910]

Помнишь ли ты еще полдень с кричащей собакой и пропадающими Ангелями¹⁶. Вечер наступал быстрее, чем мы; вообще мы почему-то ленились; мне хочется, чтобы ты помнила и то, что мы свернули с этой независимо обсаженной дороги влево и, оказалось, сказочку должен был я рассказать тебе, это когда мышь улеглась и Ангели пропали. Если ты даже совсем, совсем гаки шутила, то это одно и то же; ведь и шутя, ты оставалась

правой: я все больше и больше становился должен тебе; и это был *сказочный* долг; тогда я хотел рассказать тебе сказку о заставах, о той самой заставе, где я находился в тот миг, где улица такая простая, привыкшая к себе, прямо погребенная под какой-то мощеной привычкой тротуаров, такая простая и привычная в центре, — переживает на проводах больших дорог, где кончается город, глубокое потрясение, где она взволнованная машет клубами пыли горизонту на зеленой привязи, где она изменяет себе и оставаясь теми же раскатами города, начинает сентиментальничать одноэтажным и деревянным, как элементами высшей нежности.

Это легко принять за провинцию, как легко спутать нежность с простотой или наивностью; но весь аристократизм такой заставы в том, что тут замирает от полноты грохот рассуждающих площадей и мостовых и эта музыка одаренной тысячной, миллионной жизни, что тут молчание, а не косноязычие; но это все неважно; вообще я отошел в сторону и слава Богу, ты дальше увидишь, как невыносимо тяжело мне не уклоняться от главного. Так я еще «уклонен»: о заставе духа, о заставе, где сходятся улицы, где они своим свиданием обязаны границе, начинающей невымощенные словами духовные «пространства» и где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускающимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю; и о заставе, где весь рассуждающий перекатывающийся грохот громад охватывает нежность приобщенности к одному и тому же рубежу. Я тебе наверное когда-нибудь покажу эти «Заставы», то, что сделано и что еще будет¹⁷.

Итак, я мог бы рассказать сказку о двух волчках, которые запели и закружились одновременно, как их пустили на заставе. Но я не хотел рассказывать, знаешь, я был немного озлоблен: я знал, вот ты, рядом, такая чуткая, что в чуткости твоей можно потонуть, вместе со мной переживаешь, это *наступление* окружающего, то, что еще больше волнует, чем красота, и что в тебе нагорает преданность, почти посвященность этой поступи наступания; то, что мы называем так коротко: лиризмом; когда чувствуешь, что и сам наступаешь; и когда хочется отсчитывать этот такт спокойного, нетрагического (почти вызывающего радость принадлежности чему-то) фатума. Отсчитывать в при-

знаниях о наступлениях в природе и в себе. Наш долг был однороден, у тебя и у меня, один и тот же долг радостной преданности; но только я должен был гасить этот долг, а ты идти, и слушать, и это было несправедливо еще и вот почему: ты и не поймешь, как шириясь, наступала ты сама далеким, далеким долгом во мне. Это как-то называется, такое состояние.

Ты понимаешь, ты была свободнее меня; ты принадлежала только своему миру; а я больше всего принадлежал тебе, тебе как беззвучному событию, которое спрашивало одним своим появлением только; ты только являлась, молчала и не спрашивала. И вот сейчас, сегодня я хотел тебе сказать, что эту сказку рассказала ты мне. Она началась в вагоне; это почти иступленная сказка; это — шестисотверстная ночь у окна, где столько мест, вскочивших в фонарях, где по разному глубже и ровнее, внезапно или «гипнотизирующе» нет тебя, где ты не можешь наступить, хотя бы как событие, и где приходится считать и различать одно и то же твое отсутствие, и сейчас, этот надтреснутый, полый город!

Что сказать мне тебе, родная Оля? И разве письмо, которое я посылаю тебе с этим — единственное письмо? И почему оно лучше других, из которых ты должна была узнать, что на всех станциях я подбегал к тому последнему wagon-lit*, который стоял твоим сновидением, помнишь, ты сказала, — он будет сниться мне сегодня. И знаешь, он ни разу не попал на платформу, и всегда нужно было выйти из-под навеса; там кончался асфальт, и стояли твои героические бочки, и был кусочек выщипанной черной травы, она гербом лежала на песке; все линии вагона были зарыты в какую-то оседлую, невокзальную ночь, этот вагон был оторван, принадлежал твоему сновидению, стоял и снился тебе; на пятиминутных остановках никогда не стоят за поездом и водокачкой, там, где на человеческий рост отпал вагонные дверцы. Вот отчего я как-то не относился к этой ночи — регону.

И разве не разыгрывали что-то зарницы? Они ложились подолгу в облака, зарывались, мотыльками трепетали в них, или протирали всю линию облаков, как запотевшую в фантастических пятнах стеклянную веранду. И чем? Бело-голубым пла-

* Спальный вагон (фр.).

менем, которое расшатывало будки и попадало со своими черными обгрызенными нитками палисадников, ящиков и переходящих пути сторожей мимо рельсовых игл, в которые нужно было вправить эти далекие нити. Но к чертям эти огрубелые копавшиеся ладони туч, перебиравших полустанок и равнины. Разве не разыгрывали что-то и звонки, русыми отшельниками заходившие на станции; тогда из зал бежали люди без шляп, с поднятыми воротниками, не своей походкой, и прямоугольные экскурсии ламп разделяли эту толпу, и в каждом наделе лампы выгоняли тени под колеса, под буфера на водопой. Да все отметала, отметала в сторону эта невыносимая ночь.

Я тебе писал в вагоне; в Чудове или под Чудовым я бросил его в реку. Потом это ужасное состояние стало до такой степени острым, что я на какой-то станции пошел за алкоголем ради отупения; но даже эта значительная доза не изменила ничего и вообще не подействовала, я продолжал стоять у окна, и присел только утром у самой Москвы.

А Москва? Она меня ничуть не тронула, ничего не разгладила, напротив, отшатнула от себя тем, что здесь удаление от Петербурга стало апогеем (и то, что я сказал — пошлая неправда) — и особенно ненавистны и чужды были мне все эти места своим незнанием о тебе, безотносительностью к тебе; (и вот только это — правда); мне не нужно было распаковывать корзину и совсем равнодушно вспомнил я об оставленном ключе¹⁸; вскрыли, я вошел, знакомый запах, связанный с прошлыми приездами и первой музыкой первых осенних свиданий с городом; этот знакомый запах накатывает прошлое, как валики по-твоему «сейчас», и вот хочется прильнуть к музыке и отпечататься лирическим шифром. Это я и делаю. Выходит что-то вроде предания; я прямо поражался тому, сколько небывалых перекрестков и закоулков в этой музыке импровизаций, — вечернем городе, такими неизвестными фигурами спотыкающемся над твоим извозчиком.

Извозчик грустно размыкает все толпы на углах, как живые, ползучие замки, и складывает и раскладывает фасады, как кубические дверцы нестораемых касс. Нестораемых, хотя, прыгая с пивной на пивную, их лижут лампы и рожки. Извозчик закрывает за собой стены и площади и плывет с одного вокзала на вокзал, который — на другом конце города. И вот, импровизируя, я сейчас так же в полусне правил на «тот конец» музыки; и вся эта

импровизация была как лирическая пересадка и может это был Измайловский проспект. Словом, я искал чего-нибудь связанного с тобою; я перечел письмо в Меррекюль. Там ты говоришь о другом письме, которое еще на столе и на тему из другой оперы; мне стало больно, но не так просто больно, а так, что я убежал из дому, при мысли, что я мог попросить его у тебя в Петербурге и не сделал. Федя¹⁹ был за городом. Иначе я вызвал бы много «догадок» у него односторонним рассказом о лете, рассказом о тебе. И все нарастала невыносимая тоска. Я поехал к Сереже, на край города²⁰; он сидел у окна; но я вдруг понял, что решительно «никто» и «ничто» живут и существуют в Москве; я не зашел даже и уехал; я подходил к ресторану, кинематографу, книжному магазину, своим тетрадам, ко всему — и не входил.

Тогда я вдруг стал ребенком и лег совершенно без сил на матрац и плакал, как в одесском детстве. И наконец, чудовищно медленно, но сделалось поздно. И я только ужасался, что же будет дальше, что это будет за жизнь? А теперь уже пятница. Доброе утро, Оля, как ты поживаешь после прогулки по самым страшным суткам в моей жизни? А ты не покидала ни одной секунды в них. А теперь ты спросишь о том, что же это такое? И вот что я тебе скажу.

Я говорил тебе о детстве внутреннего мира, которое связывало нас. И даже не говорил, а может быть слушал твои воспоминания об этом. Но постепенно эта романтика духовного мира, которая отличает детство и кульминирует в 15-16 лет, захватывает внешний мир, который до этого момента мы просто наблюдали, схватывали характерное, имитировали, умели или не умели выражать. Теперь, на этой новой стадии, город, природа, отдельные жизни, которые проходят перед тобой, реальны и отчетливо сознаются тобой *только* для той функции духа, при помощи которой ты *считаешься*, так сказать, с ними, реальны, пока ты имеешь их в виду как данные, пока они только даются твоей жизни. Если бы ты захотела, я точно и ясно определил бы реальность как этап лишь.

Но для этого нужно много фраз, которые сюда не относятся, потому что я хочу лишь выяснить для тебя и для себя эту боль по тебе. Но разве я только считаюсь с окружающим? Иногда предметы перестают быть определенными, конченными, такими, с которыми *порешили*. Которых порешило раз навсегда об-

щее сознание, общая жизнь, та жизнь, в которой спасается Маргулиус. Тогда они становятся (оставаясь реальными для моего здравого смысла) нереальными, *еще не* реальными образами, для которых должна придти форма новой реальности, аналогичной с этой прежней, порешившей с объектами реальностью здравого смысла; это форма — недоступная человеку, но ему доступно порывание за этой формой, ее требование (как лирическое чувство, дает себя знать это требование и как идея сознается). Оля, как трудно говорить об этом!!

Помнишь, это было у меня (и у тебя, кажется), когда мы оказались в Питере. Тогда на извозчике, этот город казался бесконечным содержанием без фабулы, материей, переполнением самого фантастического содержания, темного, прерывающегося, лихорадочного, которое бросалось за сюжетом, за лирическим предметом, лирической темой для себя к нам.

Если ты готова признать особенность и исключительность таких восприятий города, вообще всего объективного, и если ты живо чувствуешь эту особенность, ты поймешь меня, если я скажу, что творчество с таким настроением не отмечает характерное, не наблюдает, а только так или иначе констатирует факт, что и глаголы и существительные переживаемого мира, воплощенные существительные и глаголы стали прилагательными, каким-то водоворотом *качеств*, которые ты должна отнести к носителю высшего типа, к предмету, к реальному, которое не дано нам²¹.

И не к предмету религиозного чувства, а к предмету лирически творческого восторга или грусти (т.е. они даже тождественны в своем главном определении: лирическое). Я уже говорил тебе, что, как мне кажется, сравнения имеют целью освободить предметы от принадлежности интересам жизни или науки, и делают их свободными качествами; чистое, очищенное от других элементов творчество переводит крепостные явления от одного владельца к другому; из принадлежности причинной связи, обреченности судьбе, как мы переживаем их, оно переводит их в другое владение, они становятся фаталистически зависимыми не от судьбы, предмета и существительного жизни, а от другого предмета, совершенно не существующего как таковой и только постулируемого, когда мы переживаем такое обращение всего устойчивого в неустойчивое, предметов и действий в качества, когда мы переживаем совершенно иную, качественно

нную зависимость воспринимаемого, когда самая жизнь становится качеством.

И, чтобы раз навсегда бросить эти скучные рассуждения, я скажу тебе, что так же, как есть одиночное вдохновенье, есть вдохновенные восприятия объективного: тогда все эти гуляющие на Стрелке или вечер на Измайловском проспекте делаются покинутыми, брошенными, грустными, поэтому и легендарными качествами без предметов. И эта беспредметная фантастика фатальна и преходяща, а ее причинность — ритм. И она наступает, и ее отменяет время и вновь и вновь наступает. (Обыкновенно я был один за всем этим, всех людей, которые приходили (а некоторых из них я сильно любил и люблю), всех людей я находил там, в объекте. И это даже отождествилось: такое отношение к романтике качеств и любовь.

Так что я влюбился в Петербург и в вашу смешанную семью, особенно в тебя и в папу; в какую-то глубокую фантастику нерешенных для меня характеров; я тебе говорил об этом чувстве. Но ты не знаешь, как росло, росло и вдруг стало ясным для меня и другое, мучительное чувство к тебе. Когда ты так безучастно шла рядом, я не умел выразить тебе его. Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я любили одно и то же, одинаково безучастное к нам, почти покидающее нас в своей необычной неприиспособленности к остальной жизни. И вот я говорил тебе о какой-то деятельности, сменяющей наблюдение, о переживании жизни, ставшей качеством предметов, покинувших предметность жизни (о как скучно это для тебя, и как трудно выразить это); разве не владело это и тобою? И тогда, Боже, что это было за сектантство вдвоем!

Теперь отбрось все. Я не скоро, верно, привыкну к тому, что и один могу любить и думать обо всем этом. Мне совсем нестерпимо, когда я вспоминаю о том, что, подавленный этой посвященностью, принадлежностью к жизни, приходящей за высшей гемой, своеобразно посвященной городу и природе — всему, я в этом чувстве также женственен, т.е. зависим, как и ты; и что ты в нем также деятельна, сознательна и лирически-мужественна, как я. Я не знаю, так ли все это, и я хотел бы получить на это ответ. Но понимаешь ли ты, если даже и далека от этого всего, от чего меня так угнетает боль по тебе, и что это за боль? Если даже и от любви можно перейти через дорогу и оттуда посмотреть

на свое волнение, то с тобой у меня что-то, чего нельзя покинуть и оглянуться.

Ах, Оля, вот я тут написал много, много слов. Я хотел этой артиллерией защититься от недоразумения, которое было бы горько. А ведь ты бы могла подумать что-то другое, если бы я только сказал, что все стали чужими, что я задрожал, увидавши на окне клочок *Петербургской* газеты, и что я умоляю тебя что-нибудь написать мне, даже открытку (!!!), но скорее, сейчас, и приехать в Москву!

Оля, напиши, можно ли *так* писать тебе? И не бойся огорчить меня. Если ты другая, нужно это сказать; я ведь немного высказался, – тебе, может быть, легче будет писать. Может быть, все это было признанием. Признанием в том, что я влюблен в Меррекуюль, нашу поездку, первый вечер, дяди Мишин день (когда я искал помощи у тебя), Стрелку, Петербург, тебя во всем этом, в вокзал, во все, что непрерывно задавалось *мне и тебе вдвоем* – и вот только в конце вся тяжесть признания, все признание.

Видишь, я не умею писать. Но я многое имел рассказать тебе и о многом спросить; когда я начинал, ты меня не перебивала, не спрашивала, не принимала в этом участия; я замечал, что тебе это не может быть интересно, и быстро покидал затеянное. И теперь я тоже прошу тебя простить мне этот теоретический просеминарий.

Долго, долго жму твои руки и целую.

Боря

Сейчас звонил Зайка²²: один 22-летний композитор, из наших, которого я считал уравновешеннее других, умер от острого помешательства.

Зайка просил меня приехать, я умолял его не приезжать ко мне хоть неделю. Напиши мне хоть что-нибудь.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [26 июля 1910]

Оля, я знаю, посылка такого письма, как мое, требует «мужества» и «непосредственности», чтобы выразиться мягко. Я рад (ты знаешь анекдот с еврейкой, которая умирала, бормоча «ура» проезжавшему государю), да, так я рад, что еще нет ответа от тебя: может быть, еще удастся предупредить его. Все эти дни я по пра-

ву мучаю себя за эти чудные качества, которые я выказал, которым не помогут сейчас и эти псевдонимы непосредственности, наивности и т. д.

Но если я тебе скажу о настоящей (как мне, по крайней мере, кажется) причине такого тяжеловесного и во многом смешного многословия, я, во-первых, дам тебе возможность оставить его без внимания, не отвечать на письмо, что было бы, вероятно, тяжело тебе, и затем, может быть и поздно (что — хуже чем никогда) и наверное неубедительно, постараюсь показать тебе, что такой «непосредственностью», «необдуманностью» и т. д. страдаю не хронически, что это лишь исключение, непростительный эксцесс, что хочешь, но что оно не лежит в моем характере.

По-видимому, на меня слишком сильно подействовал внезапный переход от массы разнообразных впечатлений, перевитых и усиленных неоправдавшейся надеждой на то, что от них, как от общей почвы, можно будет отправляться к личным мыслям и наблюдениям с теми людьми, которые делили со мной эту общую почву, от этих впечатлений (ты ведь и сама пережила их численную смену) к пустой для меня Москве, пустой чисто условно, вероятно; пустой только потому, что в первый момент она означала только конец праздника, каникул, и их апогея — Петербурга — и больше ничего; была границей той отеческой атмосферы воскресных улиц, когда гимназистиком выходишь в гости. И когда даже пасмурный сентябрь: «сегодняшняя погода», как опекун боится твой предстоящий диалог.

И вдруг настали будни, совершеннолетний учебный день, когда все отвернулось и нет опоры во всех этих неодоушевленных опекунах; вот и все. И даже на таком уравновешенном и трезво-рационалистическом характере, как мой, при этом максимуме самообладания, должны были сказаться результаты такого перехода. Это и дало себя знать в письме. Надеюсь, ты извинишь мне его. И затем, ты стала в верную, единственно возможную (как мог я надеяться на другое?) и справедливую позицию по отношению к нему, если нашла это письмо смешным и в «лучшем случае» странным. Во всяком случае безусловно искренно здесь то, что я себя до физического отвращения ненавижу сейчас.

А теперь поблагодарим нацию, школы, миллионные населения городов, тысячи профессий за то, что они создали такие

удобные, легко постижимые понятия и, выработав такой точный и содержательный язык, тем самым приняли благосклонное участие в этом интимном объяснении, и принесли, так сказать, сильную помощь, и простимся прежними разъехавшимися родственниками.

Кланяйся, пожалуйста, всем. И если будет солнечный день, когда ты схватишь подходящую интонацию для упоминания о Феде и для приветствия Карлу²³, зайди, пожалуйста, к нему и серьезно кланяйся от меня; скажи ему, что я в его Элевзинских подтяжках чувствую себя окрыленным на лиловый лад, что это — мистерия (и это опять серьезно) воспоминания о невыносимой духоте, которая могла быть незаметной и становилась такою иногда, о милой иронической лавочке, которая не хотела знать, что юмор дальше от меня в подобные минуты, чем даже сама лавочка... и ты ведь слишком умна, чтобы не понимать, что я, по-видимому, вновь испытываю переход или что, ради всех святых, что я наговорил тебе там? Ну так это самое я очевидно переживаю вновь, и еще того и гляди явится посыльная²⁴, как говорят там, на дереве, на нашем родовом дереве, посыльная помощь. И кланяйся тоже Лившиц.

И Карлу, если он страдает в той же мере Федишизмом, как теть Ася, скажи, что я переговорил с Федей; он готов быть похожим на Карла. Но все это при условии, чтобы Казанская площадь оплывала топленным небом. Разве полдень не грустнее лунных разных там ночей, которые представляются мне минерально железистыми круглыми пилюлями, голубыми пилюлями²⁵ нервности, которые несколько раз в месяц нисходят в городские глотки, в остальном нечувствительные. Да, так не скупись на поклонь. Тете Асе я хочу написать.

А теперь, что сказать мне тебе, Оля. Вот, разве еще нужно повторять, ты стоишь на верном пути, если, как я думаю, я вижу твою спину. Теперь оглянись, и посмотри, что это за прелесть издали, эти уходящие заграничные подтяжки! И это даже не грубо, так уходят в жару в Европейских городах. И наконец addio, я измучен этой глупой болтовней.

Что сейчас? Утро понедельника.

Твой Боря

Есть точка, на которой ты можешь считать это сегодняшнее письмо несуществующим, ненаписанным даже, имей это в виду.

Но это только возможность, такая радостная! Есть такая одна точка. Но *ее нет*, вот в чем дело.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. [25 июля 1910]

Ты предупреждал, что не напишешь мне из Москвы — и я не имела оснований тебе не верить. Но я ждала твоего письма, ждала все это время; и только сегодня ожидание сменила уверенность. Это не было даже предчувствие — я ему не верю, оно всегда обманывает меня. Но иногда вдруг находит какое-то просветление, словно дух отходит от тела: это всегда верно.

Это минуты откровения, когда все понятно, и видно далеко, далеко. Собственно, я здесь ни при чем: что-то вне меня, надо мною. Я уже много раз предсказывала что-нибудь близким людям, и всегда внезапно; и свою судьбу я тоже знаю, и что ждет меня, и чего не будет. Это не предчувствие, а скорее болезнь духа, грань к сумасшествию. Мне казалось иногда, что я окончу душевной болезнью; но потом я поняла, что нет, что именно все будет себе нормально, очень естественно. Это не слова; у меня есть прямо зачатки болезни в виде страшной сердечной тоски, тоски беспричинной и такой мятущейся, словно она хочет засосать меня всю, и овладеть мною, и уничтожить меня. У меня бывали даже припадки: я куда-нибудь пойду или уйду, и вдруг сразу меня схватит тоска, но, Боже, какая страшная, жуткая!.. Разум, рассудок совершенно в стороне: они работают, и я все отлично взвешиваю и сознаю, но это нисколько не помогает. Меня начинает болезненно тянуть домой — и сейчас, сию минуту, и так тянуть, будто я знаю, что там несчастье, Бог знает что! И я, в сущности, не «беспокоюсь»: я не боюсь ничего, я не думаю ни о ком и ни о чем в отдельности; меня даже, собственно, не интересует самый дом с мамой, отцом, Сашкой. Это мой больной дух, в своей беспричинной тоске, апеллирует к рассудку, а он, чтоб к чему-нибудь придраться, отсылает ее к дому: ибо вне меня, вне мира, есть только «дом».

И какой ужас я переживаю! Прибегаю домой страшная; дома все на месте, но я все вижу впервые. Мама! Вот какая она, мама... Иду по комнатам — как странно все, так условно, и все стоит себе, и все на месте. Помню, раз я заметила в зале зеркало: как оно висит! Стоят, застыв, кресла. И все, все так ново-странно.

Мама пугается меня, успокаивает; я сажусь возле нее, и мне так страшно, и так я дрожу. Сердцу больно, оно бьется и тоже дрожит; и я чувствую, как что-то во мне сгущается, мучает меня и угрожает. Тоска. О, это слово, это чувство! —

Припадок проходит медленно, и от ласки; но в нем столько символического, столько обобщения в этом бунте слабого человеческого духа, что нельзя его назвать одним каким-нибудь словом. Это мучительно; только боязнь, что мама боится (бессознательно этого боится), заставляет меня призвать всю свою волю и успокоиться, хотя «дом» мне не помогает. Но раз я почувствовала такой припадок далеко от дома и мне нужен был переезд по железной дороге. О, этот переезд; еще час, два и я могла бы сойти с ума.

Но чего ради я вдруг вспомнила все это? Ведь я говорила о твоём письме и о том, как я его ждала. Ты тогда его писал, когда я ждала; и меня грызла тоска, конечно, оттого, что ты в это время бродил по Москве и тосковал тоже. Помнишь как? Хотелось зарыться куда-то, выбросить самое себя за пределы себя же, освободиться, что-то вырвать. Ни читать, ни писать, ни мыслить даже. У тебя — алкоголь (это очень резко), у меня искусственный сон; но и в том, и в ином случае тоска только сгущалась и обобщалась. Ты говоришь, плакал, как в одесском детстве. У меня тоже это было, но раньше, давно, еще до приезда Тони²⁶; это слезы, как таковые, без облегчения, но с болью и мукой на сердце, и чем больше плачешь ребенком, тем тупее безнадежность.

Когда ты уехал и я осталась снова одна, я пошла бродить по городу. Мне цветов захотелось, и страстно. Я их искала, искала; когда усталость связала меня по рукам и ногам, я, наконец, нашла цветы, но красивые и душистые, и накупила на столько, сколько имела денег. В десятом часу пришла домой, и в этих моих цветах было все.

А сегодня и письмо получилось. Знаешь, я раскрыла его, смотрела и держала его, и не прочла: мне захотелось прочесть его не глазами и выслушать не слова. И когда я ощутила его дух и все взяла от него духовно, перечувствовала и передумала, — тогда я стала читать. Меня ничто не удивило теперь; я могла «выслушать» все. Боря, да это «завещание»; и как много, много ты мне завещал!..

Такая ли я, как ты меня представляешь, или другая? Ты это спрашиваешь — да; но я поставила бы этот вопрос, не ожидая тебя. Такая — потому что мне страшно сказать — нет; другая, потому что я не хочу давать задатков и обещаний. Если я скажу, что другая — я освобожу и тебя и себя; ибо это будет абсолютно, и ты не сможешь подходить ко мне ни с какой меркой, ни с каким требованием. Быть же такой — слишком героически; я знаю жизнь, и знаю, верь, хорошо; ты не верь в меня, — я тебя обману; рано ли, поздно, но одним словом, даже молчанием я покажу тебе, что ты во мне ошибался, и причину тебе горе, — потому что никогда не осуществляется до конца возжеланное или задуманное.

И так дорого достается каждый шаг в себе, и все надо отвоевывать — и во всем сомневаться, за всем следишь, а дать себя идеализировать, о нет! Я этого не дам; я такова, какова есть — и слава Богу, что могу себя сознать и измерить; но мне не нужно, чтобы удлиняли меня или укорачивали. Я боюсь, что ты подходишь ко мне с какой-то готовой формой — все равно какой — и хочешь, чтобы я в нее вошла; о, какая это ошибка, ибо, повторяю, какое бы ты ни создал обо мне представление — я его не оправдаю, и когда-нибудь, где-нибудь ты увидишь, что торчит неуместившееся в форму. Я могу поручиться только за то, что не сожму себя нарочно, и ты никогда не увидишь меня там, влезшей искусственно.

Но как тебе узнать меня, когда мы живем далеко друг от друга и видимся раз в несколько лет? Неужели есть только один способ — способ разговора? Но мне он труден, Боря. Я выросла совсем одна; и мне хотелось говорить, и меня мучили разные вопросы, — я человек ведь. Но родители заботливо добывали мне хлеб и в этом толклись; подруги были тупы и жили в другой плоскости, — а больше у меня не было никого. Я была слишком горда, чтобы задавать вопросы родителям, и слишком живуча, чтоб привыкнуть к пониманиям подруг. Потом, все ведь топчется и низводится на уровень житейских воззрений; так не логично ли, что мы таим *завистливо от ближних и друзей надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей*²⁷.

И вот я научилась никого не спрашивать и до всего доходить самой. Слишком сильно мне хотелось прежде говорить и

спорить, чтобы теперь не молчать, и мои поиски ответов и сопереживаний были слишком велики, чтобы не замкнуться в себе, и только в себе не черпать всего, что кроме общности.

И я сильна в себе — это верно; все, все, что во мне есть — это все мое, и мне не надо делиться. Даже если я читаю — сначала иду я, а потом книга: и то, что я хочу, я беру, что не нужно отбрасываю; во мне нет ничего книжного, ни взгляда, ни мысли: себя создала я. Мне анализ почти не дается, — я по природе склонна к синтезу; это мне дает очень много.

Прибавь ко всему этому, что я в жизни пережила очень много горя, и самого реального, житейского; мне и говорить этого не хочется, и я никогда этого не говорю, но ведь это ужасно. Где, когда, отчего — это детали; но главное, что очень страдала. В молодости это прямо губительно — и я давно этим отравлена. В 17 лет я чувствовала страшную усталость.

Если б я рассказала тебе все — ты посмотрел бы на меня большими глазами. Но сейчас я все это говорю, чтобы ты понял одно: я давно разучилась «говорить», и меня не может интересовать слово, как выражение мысли, ибо самое выражение для меня лишне. Я закалена и бронирована в свое молчание — это верно.

Мне кажется иногда, что я вне времени, вне пространства, что я была всегда, и есть, и буду — не в житейском смысле, а иначе. И я ничего не боюсь, даже возможностей: я сама — возможность, и себя мне не страшно. Потом, я так умею отвлечься от себя, что это меня спасает от всего. Я могу всюду жить — если этого потребует жизнь — и быть всем, чем угодно, — и все это будет вне меня, и везде буду только я.

Знаешь, я, например, не представляю себе «несчастья», и в минуты самых реальных страданий я умела отвлечься и обобщить — и я плакала, и мне было очень больно, — но я ни на йоту не отказывалась от своих верований и знаний. Мир, природа и я в них для меня не были звуком и красивой фразой: о, как я их знаю и чувствую — их в себе и себя в них!..

Всем этим я хотела тебе сказать вот что: 1) если я молчу, то это не искусственно и 2) не представляй меня такой, какой меня нет. Ну, «другая» я или нет?

И вот еще что! Ты спрашиваешь: можно ли говорить со мною так, как ты говоришь в этом письме? Да. Я это могу сказать ка-

тегорически. Не ищи для меня специальных слов и пиши словами своими. Я знаю, они бедны и стары, особенно у меня; но они мало меня интересуют, и потому не бойся этих выражений, многозначительных в житейском смысле, — этот смысл так далек мне. Я пойму их иначе — совсем, совсем.

Четыре часа ночи. Спят — и тихо; в окно смотрит бутафорский блеклый свет. Ноют пароходы на Неве — гулко, жутко... а моим часам все равно — стучат, стучат. Пришел папа со службы, спит тоже. Или думает? Если да — я почти знаю, о чем; папа — да, он мне папа. Ты подошел к нему, посмотрел на него — и сразу этим придвинулся ко мне. В этом было что-то фатальное, что именно ты и именно в этот приезд заглянул папе в душу. Ах, здесь идет целая область. Это совсем вне жизни, вне слов — и этот папа, и наши отношения. Ну, вот — ночи уже нет, уже утро, рассвет; как хорошо... Что мне будет сниться? А потом — завтра. Ах, скорее бы осень, моя осень: я уеду, я уберегу самое себя от себя же; эта тоска меня надрывает, а ведь с ума я не сойду; нет, будет жизнь — и еще много осталось, больше, чем я думаю.

Утро. Извини — я что-то такое пишу, говорю что-то. И ведь письмо получится днем — значит ночью писать глупо.

Знаешь, все эти дни передо мной стояли «международные» вагоны, и столько в них было значения! Верно, ты стоял возле них — и это мне передавалось твое переживание.

Ты здесь говорил — помнишь, на окне — что я относилась с презрением к тому, что было тебе дорого, или безучастно. Это было свинство, и мне было больно. А, тебе нужны слова, вопросы, замечания, но ведь умею же я понять вне слов, и разве не поняла я всего на вокзале?..

Письмо, твое письмо. Я не знаю, как мне быть. Всегда я была одна, — и вдруг, сразу передо мной встал ты, и заговорил, и захотел ответа. Я не хочу миража — не доставало только этой пошлости. Но нужно, чтоб ты меня узнал, — тогда ведь я перестану тебя интересоваться: я и без тебя знаю, что тебя манит «неразгаданность характера». Что ж, отгадывай — ведь я перед тобой. И тогда отойдешь, а я буду «отвлекаться» и «обобщать». Кроме шуток — я не боюсь; но только не разукрашивай меня, не надо.

Скажи, разве открытка к Лившиц — не продолжение твоего письма ко мне?.....

Бедная, она читала — и дивилась...

Ты просил написать «что-нибудь» — что-нибудь я и написала.

Ну, до свидания или прощай? И отошлю ли я тебе это письмо или не отошлю?

Поцелуемся — и я пойду спать.

Скверно, Боря...

Ольга

День, светло.

И письмо отошлю и не скверно.

Фу, еще не отослала письма. Сейчас, сейчас. Мне только хочется... чего?.. я не знаю. Может быть, еще побыть с ним, а может быть, что-то сказать еще... но я опять не знаю чего. Я эту ночь спала только три часа, но чувствую себя такой бодрой, сильной, и мне хорошо. Черт возьми, какая я «жизнеупорная» — это я всегда о себе говорю; знаешь, есть горшки, для которых жар огня ничто. И я горшок своего рода. Мне всегда тягостна эта вечная, вечная жизнь внутри меня и так хотелось бы уютомниться, осесть, но дух мой — Вечный Жид.

Теперь я могла бы писать до бесконечности и, конечно, совсем не то, что писала вчера. И вот мне хочется сказать тебе что-нибудь хорошее, что-нибудь *твое*, мягкое, навстречу идущее. Боже, эти гадкие слова! Как они искажают мои мысли и делают их банальными. Ты думаешь, я сильная? О, нет, слабая, совсем.

Сейчас я пойду к своей литературе и в ней утону. Это она была для меня всем, когда я жила одна, одинокая, — и на нее я перенесла все, что во мне выросло. Ты понимаешь романтику? И я. Я люблю Шиллера — особенной любовью, отличной от других; там в нем что-то совсем другое... Это было давно-давно... За Одессой, за детством, за рождением даже; это предание, дух, сверхчувственное. Я люблю Шиллера за то, что он *старый*, — я сама старая...

Вот что я тебе сказала из всего, что хотелось; мне сейчас так хорошо, я почти не живу. Целую тебя: и как целую...

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [28 июля 1910]

Сначала я писал тебе о том, как трудно (что даже все сознание, все способности противятся этому), как трудно заговорить после того, что ты и представить себе не можешь, как глубоко

ложится все, что ты говоришь; даже слова у тебя какие-то могут спокойные пространства, и ты что-то возводишь, закладываясь; как мне отделаться хоть бы просто от этого мерного ритма ступающей тоски, в котором ты выстроила свое посещение, свое завещание.

Потом я хотел сказать тебе, что ведь есть у меня слух, какое-то глубокое, первично, извечно взволнованное внимание, с которым я ждал всю жизнь, с которым я вскрывал сотни конвертов, и столько встреч, и каких встреч, как конверты, вскрыл я, и я ведь знаю жизнь (ты ведь понимаешь, Оля, что это не то, что называется жизнью и еще в кавычках, а моя жизнь), да, так если бы тебе только рассказать, сколько протянутого мне (иногда я желал этого и сам создавал) вскрыто мною... И вот вчера пришло оно, то, чего не было в этой долгой жизни – получаемых так или иначе конвертов, да, твоего письма искал я, а это были разные почерки. Понимаешь, если это риторический шаг, то оно слишком пошло и грязно даже: тогда это – красноречие приказчика. Но ты понимай это просто, в сантиметрах.

Я хочу сказать, что много большого, редкого и чистого, может быть, даже обогащающего, вдохновляющего шло мне навстречу. Но навстречу. А здесь, ведь, здесь какое-то спокойно величественное «рядом»; ты какая-то участница того самого, от чего мечется в стороны вся судьба моя! И отчего, спрошу я тебя, не обрывала ты меня, когда я говорил тебе такие слишком знакомые вещи, твое «твое».

Может быть, мы пошли бы дальше; а я шел как болван мимо этих елок и говорил тебе о таком существовании, когда живешь через улицу даже от собственной жизни, и смотришь: вот там зажгли огонь, вот там хотят писать прелюдию, потому что пришли домой в таком-то состоянии... и тогда перебегаешь улицу, кидаешься в этого, так или иначе настроенного, и пишешь ему это прелюдию²⁸; может быть, этот пароксизм большого восторга в такие минуты происходит от того, что прекращается это объективное «через улицу», и все обрушивается в субъект, в это чистое, твое, Оля, чистое духовное существо. Ну так это неважно. А ты слушала столь знакомое тебе!! Понимаешь ты, это странное «рядом». За несколько дней до твоего приезда я потянулся за одним дорогим, долго не прибывавшим, конвертом, и многое сказал об этом слове.

И вдруг это произошло с тобой. У меня нет ничего, что пришлось бы к тебе, туда через улицу; если даже и есть, то это несущественно: существенно то, что ты ничего не прибавила, не обогатила меня, как это бывало у меня, или я не замечаю этого за тем бóльшим, что как мистерия, за которой хочешь следить, как следишь за музыкой, голосовыми мускулами «символически активно»; за тем бóльшим, что должно быть выражено, как это ни трудно. Итак, ты не прибавила ни единой монеты к тому, что передо мной; но ты первая действительно сделала эти металлические условия живым глубоким богатством. Меня как-то необычно утомило какое-то недельное соучастие с тобой в том, где я всегда был одинок.

И вот такое минование мимо жизни, природы, которое так родственно у нас, *именно это* имели (как какую-то ценность) в виду денежные знаки жизни, условное богатство, идеальным и необходимым условием которого является то, что поставило нас рядом. Понимаешь, если ты даже и положила там целые пригоршни золотых, и я их увижу и уже переживаю, то это ничтожно, незначительно в сравнении с тем, что ты реализировала их, что все это потеряло условный характер; прибавила ты или нет страничку к этой книге, я не знаю, слишком поразительно то, что этот переплетенный куб сделала книгой ты.

Как я тебе сказал, у меня нет ничего, что имело бы смысл для тебя, было тебе интересным, ценным; и это потому, что слишком поразило меня твое письмо; оно — как до высшего maximum'a увеличенное Я. Эта «жизнеупорность», это покидание жизни, это: «Я сама возможность и себя мне не страшно», все это подавило меня своим родством со мною и превосходством размеров; но я хочу все время до боли какого-нибудь движения, посвященного тебе, носящего твое имя; и вот мне хочется продолжаться, — как будто я — твой вид, маленький вариант, который не может пойти навстречу, или встретить, а лишь продолжает, специфицирует родовое, что за ним, и что в нем как родное.

Ах, ведь я только хотел сказать тебе, что написал тебе много листов, где было раскаяние и бесконечная, не дававшая передохнуть благодарность. Я хотел отправить письмо на вокзале курьерским поездом, чтобы сегодня же утром задушить то преступное, гадкое письмецо²⁹. И как мог, торопливо, я просил тебя вчера по-

нять эту гадость. Боже, как часто, если не почти всегда, приходилось мне делать этот духовный реверанс, как это отвратительное письмо, написанное с горечью и ложью; знаешь, я терпеть не могу оставаться непонятым, не оттого, что жалею собеседника или друга, нет, тут эгоистическая причина, я боюсь подозрения в претензии на оригинальность, несходство с другими и т.д.

И вот, я говорил тебе, что живу как-то «например», приходяще, как бы только для того, чтобы пережить ряд мыслей как идеальный скелет своих чувств, даже самых дорогих, и вот я рассказываю такому Сереже какое-нибудь новое свое «прозрение» и слежу за ним; он увлекается этим высказанным, но так, так шаблонно не понимает главного, из-за чего вообще только стоит трогать как-нибудь общую всем собственность, так увлекается этим, что я вдруг тушу все огни; нет, сегодня не мое рождение, я обманул вас, или мне, наверное, показалось, что я родился на несколько шагов дальше, или я даже прочел это или выучил или я болен, туп, нарочно подстроил это и т.д., давайте говорить о другом, сегодня будни.

Оля, пойми буквально: слишком невероятно то, что было как чайные и оправдало себя, то, что мы, считая общезначительные, неподчеркнутые свои движения, значительными, символическими и читая (еще зимой) в этих движениях, читали то, что другой вписал туда, не вписывая. Ты говоришь, что поняла все на вокзале: у тебя значит больше: ты понимала и была уверена в том, что все это стоит там, в тексте движений. Я только понимал, только постигал, до меня доходило все, все; я жил его многозначительностью, но было невероятно, чтобы это не снилось, что это так на самом деле.

И хотя я не мог не послать всей этой «артиллерии», — но после вдруг я вспомнил о том, как все это может стать смешным в чужих руках... и сделал этот ужасный отрицающий жест. Против рук твоих, рук первой сестры согрешил я. Прости меня, а то мы заразим друг друга этой виной. Но Боже мой, ведь это невероятно, что эти руки не снятся.

Ты говоришь о каком-то ложном представлении. Ах, нет, его не может быть, так абсолютно реальна вся ты сейчас! Ах ты такая, такая! Это возмутительно, что ты еще не знаешь о полной несоединимости, нерастворимости всего твоего и банального, даже с внешней стороны; я понимаю твою учительницу теперь:

твое письмо на границе музыки, я его читаю вполголоса, оно как-то падает, нисходит.

Потом я писал тебе о том, как зимой, в дни обращения моего пишущей братией³⁰, я задумал такую фавулу. Композиторская бессонная ночь над нотной бумагой, какое-то наитие, в котором после долгих страниц набрасываются истерически небывалые, но как-то спокойно и бесповоротно явившиеся строчки, и потом долгий экстаз чистого духа (о котором столько говоришь ты и который ты чище и больше и чаще переживаешь, чем я), когда случайно и проблематично все, родные, жизнь, город (странно, язык остается, он не случайный); прогулка по комнате, и потом порыв: зарегистрировать, отметить навсегда все вокруг: пляшущие мысли, состояние просветления, обстановку, имя, все, чем можно отметить, пометить даже этот миг.

Это набрасывается у окна, масса листков, а пока просыпается улица, потом уже вполне расцветшая, утренняя осень хлопает дверями за окном, внизу (все это можно так описать, что дождь будет течь по строчкам), идут в школу дети и не дети, курами и в одиночку; в экстатической комнате отпирается окно, потом дверь... и он уходит в булочную. А листки на подоконнике. Сквозняк и вдруг все эти белые приметы «одиночества в экстазе» летят за окно и на уровне последних этажей вальсируют над слякотью, а внизу проходят в школу дети и не дети, они стоят и ждут. А потом это падает, и разные жизни бросаются за этими «симптомами ночи».

И много несущественного, школьных выходов и потом другая нешкольная жизнь, подобравшая листки, мало постигшая, но отобравшая у остальных эти, пока еще иероглифы для нее. Потом, порывисто идущее развитие, может быть, влияние даже этих подобранных фраз, и масса своего, оригинально-одинокого, потому что это — влияние по-своему комментированных знаков; и затем встреча оригинала с переросшей его копией, даже не копией его, может быть, даже антитезой.

Я не сказал тебе о главном, ради чего конструируется эта фавула, о постоянном фатальном чувстве объективности, зависимости, которая проникает через дополнение и заставляет его постоянно согласовывать все свое развитие и его этапы — переживания с незнакомым ему, странно любимым подлежащим.

Все целиком — сложный случай, когда жизнь в роли художника, когда портрет пишется элементами психическими, целыми, своеобразно формирующимися наклонностями и воззрениями, только мнимо несамостоятельными и тем более субъективными и независимыми, что их преследует постоянное сомнение «героя»; мне было интересно это как вид, где и психическое, как краски и звуки, становится средством в творчестве, средством выполнения задуманного.

Но вся эта повесть о quasi — заказанной жизни совершенно ни к чему здесь, если бы я не хотел сказать тебе, что у меня такое состояние сейчас, как будто я когда-то на рассвете шел и ждал падения твоих листков; так много такого у меня, что принадлежит тебе! Но я припоминаю, нет, ведь не подбирал я ничего, Оля? Что же это?

Вот с поездом хотел я многое отправить тебе. Наступило 11 часов, я простился с тобой, и о ужас, я был заперт в собственной квартире. Пойди, стучись здесь! Уже сегодня выяснилось, что я по рассеянности не прикрыл двери и провел целых полдня в настежь открытой квартире. Швейцар, осматривавший вечером классы, не знал вероятно, что мой ключ в Меррекуле, и «исправил» мою оплошность.

Ты знаешь эту боль, когда волнуешься, смотришь на часы, зависишь от этого освещенного вокзала, куда прибежишь, как будто можно повидаться — и вдруг дверь, плоская — и дверь до последних мелочей... Сегодня утром я так мило орал на весь двор, чтобы меня отперли, и как долго нужно было объяснять это все!

Я перечел письмо и положил его в камин, как положу и это, если не брошу сейчас. Потому что все это так мало, и так трудно писать, Оля, ты же знаешь, как я жду тебя, но не пиши мне, если и тебе это так мучительно трудно, я же боюсь своих писем к тебе и не буду писать. Но если бы ты приехала к Тоне!!!

Не пиши мне таких писем, они столького требуют! Надо стать подвигом, твоим подвигом, прочитавши тебя. А я! Я отвечаю! Оля, родная, это гадкое письмо из Вруды; и сейчас, эти фразы человека, пораженного пудостью, и вообще вся эта тикопись после твоего письма!

Правда ли, что мы передавали друг другу этих: кондуктора, извозчика и этого дорогого морского жителя³¹, который искал соли и тоже находил сказочное в Меррекуле! Он ведь едва, ед-

ва сдерживал ресницами целый взрыв романтического смеха или какой-то веселой погони за чем-то... и все это висело на рыжем волоске!! Я ведь ими, их присутствием, заменял прямое выражение какой-то строгой нежности к тебе.

О, как ты страдаешь! И я хотел бы успокоить тебя, но не потому, что старше и сильнее. Ты старше, ты сильнее. Но может быть, можно успокоить слабостью.

Ведь мы еще раз увидим друг друга? Мне это матерьяльно невозможно, но если и ты не можешь, я поеду в Петербург, если хочешь через месяц. А теперь дай мне руки свои; простят ли они меня?

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. [вероятно 30 июля 1910]

Я тебе пишу, потому что ты ждешь моего письма, потому — что иногда нельзя молчать. Но ты прав: завещания пишутся раз, и каждый раз прощаться с жизнью и становиться потусторонним — тяжело. Но, знаешь, после завещания обыкновенно делаются некоторые приготовления для «будущего» и, кроме того, устраиваются земные дела.

Итак, я хочу с тобой поговорить на самую житейскую тему. Приехать в Москву? Я приехала бы, но сейчас затрудняюсь сказать, когда именно. На будущей неделе я отвезу маму в Меррекуль; ты себе представляешь с какой охотой, но сделаю я это по той же причине, по какой ты — помнишь — начал наносить знакомым визиты. Мама пробудет в Меррекуле очень недолго, а я там останусь; кстати, бабушка³² уедет, и я буду возле девочек, если только твоя мама этого захочет. Но девочки — это единственная возможность жить в Меррекуле и не надрываться от тоски. И если б там не было так хорошо; а то опять этот избыток счастья — и тоска, тоска. Когда же я приеду в Москву? Конечно, до переезда с дачи твоих, а то опять у меня будут спрашивать «почему» и делать из меня чудака.

Я все-таки надеюсь, что приеду в промежутке между Меррекулем и выездом оттуда твоих родичей, но все это гадательно. И потом, независимо от этого, мне очень хотелось бы, чтоб ты приехал к нам в сентябре. Я нарочно осталась на этот месяц здесь, чтобы пережить еще одну петербургскую осень; сентябрь и Петербург — это очень много. Потом я хотела бы познакомить тебя с некоторыми своими друзьями; у меня есть друзья, хоро-

шие и любимые, и до такой степени не пошлые, что даже познакомиться с ними хорошо.

Я написала, наконец, Тоне письмо, и такое патетическое, что было бы дико, если б она не поняла меня. Между прочим, я пишу, что хотела бы встретиться с нею в Москве или заехать к ней в Елизаветино; интересно, как она к этому отнесется.

Знаешь, бывают чисто зрительные воспоминания; так, я вдруг вспомнила, что в прошлом письме, на первой строке, стояло слово «предупредил» и... через ять³³. По этому поводу вчера с Лившиц мы очень смеялись: эта моя неожиданная комбинация страшно ей понравилась и дала повод надо мной смеяться. Да, но мне какво после такого фортеля; одно утешение, что я стала в одну позицию с твоим учеником и его «втечением» — и этим тоже перекинула мостик от себя к тебе³⁴.

Смотри, что за пустяки я тебе пишу после твоего письма. Но ведь это все — приведение в порядок земных дел.

Теперь о твоём «гадком» письме. Я, было, хотела на него ответить несколькими словами, что, мол, понимаю и его, как результат известного рода «переходов» — не тех, так других; но потом подумала, что ты уже получил большое мое письмо и, значит, сам себе ответил. Если же я теперь об этом упоминаю, то только для того, чтобы не замолчать это письмо, а сказать о нем и этим снять с тебя тяжесть.

Одновременно с твоим письмом я получила еще одно, где прочла: «Вы не знаете, как приятно читать ваши письма: какой сочностью, веселостью, жизнью веет от них!» И мне сделалось страшно смешно, когда эти слова обо мне я сопоставила с твоими. Но, кроме шуток, когда это говорится беспристрастно — меня это очень радует.

Радует особым образом; это не удовольствие в настоящем, не льстит моему тщеславию — ей-Богу, нет. Но меня это переносит в то время, когда слово меня опьяняло; когда у меня был большой подъем, и большая вера в себя и в свое слово, и когда я могла писать и упиваться написанным. И теперь это все так далеко от меня, что я часто задаюсь вопросом: был ли это действительно талант? и если талант, то как я могла его убить? То есть, убивала я его сознательно; но как мог он поддаваться?

И ты представить себе не можешь, как дороги все эти простые слова, восстанавливающие мое «что-то», хоть в воспоминании,

хоть в воображении, — что за дело! Но дороги и приятны этой радостью, смешанной с горечью. О, да, я когда-то могла писать — это ясно; при том моем подъеме, близком к вдохновенью, при влюбленности в бумагу даже, в чернила, в перо — не говоря о самом слове; при этом самозабвении и в то же время какой-то клокочущей вере в свое творчество, — не писать я не могла.

И при этом столько вспоминается... Как все это выливалось на бумагу; как, бывало, в простом классном сочинении о жизни Ломоносова или Посошкове³⁵ я давала столько, что сама трепетала и не знала, что с собою делать. Как сочинение — классное — о завещании Владимира (!) учитель держал в руках, переворачивал страницы и говорил, что не знает, какую выставить отметку; как он смотрел на меня и говорил: «Вы... вы... я не знаю, но это удивительно. Надо вам все бросить, заняться только этим... Вами надо совсем особо заниматься»; и смотрел то на меня, то на тетрадь — удивленно и беспомощно³⁶. А потом, год спустя, Никольская, с которой мы были ожесточенными врагами, держала мое сочинение о письмах Карамзина (!!) и говорила, что она поражена, что оригинальность моих мыслей прямо замечательна, что как в голову мне пришло так подойти к Карамзину и ввести метод такой тонкой психологии. Да, как приходило мне в голову? И если бы мне дали развернуться, — а то Карамзин и эти письма из Швейцарии, и даже план, пошлейший план, по которому Никольская велела писать! И многое, многое я вспоминаю теперь, когда все это ушло — и так далеко, что можно спокойно об этом говорить, не испытывая тщеславия.

О, какое это горе, если бы ты знал — это спокойствие вместо творчества!

Но ты, верно, знаешь. Разве не такова и твоя история с музыкой? И вот иногда мне хочется тебе сказать: Не ошибся ли ты? Не бросил ли родное? Тогда оно отомстит за себя: всю жизнь не найдешь ничего, на чем бы успокоился, и — главное — вернуться тоже не сможешь.

Как заговорила, однако! А на дворе осень — холодно и дождливо; скоро пожелтеет лист — и опадет. И будет опять вспоминаться, и не факты, а переживания; еще одна осень, еще одно «увяданье». «Природы — пышное»³⁷, человека — убогое.

«Остальное — молчание».³⁸

Мама говорит, что тебе написала, и что я там фигурирую; советую тебе относиться с некоторой осторожностью к словам, которые мама очень любит цитировать... (не ее). Т.е. мама всегда идеализирует — в ту или иную сторону.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. [2 августа 1910]

Боря, помилосердствуй! 4-го августа приезжает бабушка, и тетя Роза просит меня сообщить Саше Маргулиусу час, в который прибудет поезд в Спб, а поезд, как гласит открытка, «Борин и Олин». Но — увы! — Оля не помнит, что показывала стрелка часов на вокзале милой Балтийской дороги; она тогда не думала о времени. Ты, быть может, помнишь? Ответь мне *сейчас же*: 4-го днем я уже должна переговорить с Сашей. А то, помилуй, скандал: не знать поезда, с которым приехали!.. Это останется за нами как клеймо. И подумать, что бабушка увидит нашего кондуктора и... он ничего не скажет ее сердцу!..

Ольга

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [13 августа 1910]

И это дочь изобретателя? И такого!? Ты хочешь знать способ употребления? Берут одну петербургскую газету с расписанием поездов, находят там что-то вроде 9 ч. 20 м., 9 ч. 40 м. вечера, вообще от пол-девятого до пол-десятого (и это непременно один поезд) и потом эту щепотку опускают в С. Маргулиуса — денатурированный кипяток, где эти сведения варятся в балтийском перегоне. Если там много приходящих поездов такого вечерне-мечтательного типа, то нужно помнить, что бабушкин поезд не тот, что идет из Гатчины или Петергофа, а дальний; но ты конечно понимаешь, что небо завалено сейчас целым благодарственным адресом от меня за то, что оно выпустило тебя в свет с такими выдающимися способностями разрешать затруднения. Ты, по-видимому, так же высока от уровня моря, как и я.

У меня наступает утомление, когда я читаю твои синие строки, утомление, похожее на то, когда смотрят на другую, такую же далекую, но более несложную синеву. Это все вздор! Но ты не можешь себе представить, сколько труда создала ты мне? Ты

ничего не понимаешь? Я тебе это расскажу во второй, московской и третьей, петербургской части наших завещаний.

Знаешь, я начал «Историю одной жизни» Мопассана. Я дочитал до 40-ой — 50-ой страницы и удрал из Москвы, вечером, в дождь к товарищу в имение, куда нелепо и неудобно приезжать в такое время и с такою готовностью «занять» хозяев своим появлением³⁹. Ты ведь знаешь, как мы готовили уроки в школе: поздно ночью, безмолвно, у окна; а в последнем классе с враждебностью против этой небольшой, отведенной для срочного ночью. И все твое, только по своим случайным, не внутренне существенным, а вторичным, производным определением «иностранное» для меня — как те ночные уроки-зачеты.

Не потому, что твое появление загадочно мне, тогда бы я оставил его, но нужно решить его близость и родство. И это трудно!

Я взял себе 35 рублевый урок с девицей по-латыни. Девица — иркутская⁴⁰.

Нужно было выезжать в Москву. Однако я медлила.

И вот тут-то обнаружилось, что мне не хочется... Все, что у меня произошло с Борей в течение июля, было большой страстью сближения и встречи двух, связанных кровью и духом, людей. У меня это была страсть воображения, но не сердца. Никогда Боря не переставал быть для меня братом, как ни был он горячо и нежно мною любим. Какая-то черта лежала за этим... Да, братом... Я не могла бы в него никогда — влюбиться. Когда же у него это появлялось, он становился мне труден... неприятен, не хочется говорить этого о нем, но... отвратителен, — конечно, бессознательно, даже вопреки сознанию и воле, но где-то внутри, в темноте чувств, в крови... Я была ему страстно преданной, любящей — сестрой.

И случилось так, что он предупреждал меня против «недо-разумения», а его-то и не было.

Мне становилось душно от его писем и признаний. Сначала я была в «трансе», и такая лирика могла бы продолжаться и дальше, если б не встала реальность с билетом в Москву и обратно. Она охладила меня. Я стала думать и о других реальных вещах: пыльная квартира; я с Борей вдвоем на 6-7 комнат; он будет поить меня чаем из грязного чайника; как я буду умываться? Что скажет тетя, когда узнает? и т.д.

Уже один этот репертуар вопросов говорил о безнадежности положения. Я умывалась, и ночевала, и жила, когда хотела, в трущобе; я пила, когда хотела, в трактире квас из грязного стакана и пальцами вытаскивала таракана. Когда во мне поднимается тоска по комфорту, значит, в сердце пусто.

К тому же я никогда не любила растянутых сюжетов. Страсти любят законченность, не меньше, чем фабула. Мне хотелось ухода. Я была молода, и самая вечность мне казалась привлекательной при условии ее непродолжительности.

Так я себе говорила. Но дело было проще: я его не любила. И потому, избегая объяснений с ним самим, я (черт его знает, как я могла так грубо, свински поступить!) попросила его *передать Тоне*, что в Москву не приеду... Попросила открыткой, изображавшей один из видов в Меррекуле.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. [13 августа 1910]

Боря, 15-го будет в Москве Тоня; если вы встретитесь, то скажи ей, что быть в Москве я не смогу и прошу ее Одесский адрес (я получила от нее прелестное письмо из «Елизаветина», но уже не успею на него ответить — она уезжает). Знаешь, мама была в Меррекуле без меня и вчера приехала. Посмотри на эти камни: «Чуешь, батько!»⁴¹ 19-го приезжают в Москву твои родители, а 18-го они у нас.

Ольга

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [14 августа 1910]

Да? Ну что ж делать, — я передам Тоне. Бабушка говорила мне о каком-то предполагавшемся письме твоём; как хорошо, что ты прекратила мое ожидание своей милой открыткой. Да, это действительно Меррекуль. Я думал, что наши придут 15-го. Твое сообщение неприятно поразило меня: еще 5 дней одиночества! С моим уроком ничего не вышло, условия неподходящи, так что я не смогу быть в Петербурге. Да, понимаешь ли Оля, у меня болят зубы. О как больно!!

Борис

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. [16 августа 1910]

Ты, очевидно, написал свою открытку в припадке тикописи. И не было тебе стыдно?

Я не верю в фиаско твоего урока, и мысль, что ты сказал мне неправду, огорчает меня больше, чем твой неприезд. А сегодня твой папа переслал маме твое письмо к ней, — и меня поразило не обещание быть в Спб, а резкая разница тона того письма и

этой открытки ко мне. Очевидно, ты снова находишься под влиянием «переходов», и я даже не знаю, каких.

Лучше раскайся и на мой вопрос о правдивости твоих слов чистосердечно скажи: «Вру, да».

Ольга

Когда болят зубы — их вырывают.

Б. ПАСТЕРНАК – А. и О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва [19-20 августа 1910]

Моя дорогая тетя Ася!

Я хотел сейчас же после Вашей открытки благодарить Вас за готовность помочь моей поездке и за сладкое. Но я боялся. Вот напишу, а послезавтра приедут наши, скажут два-три живых слова о СПбурге, и меня прямо захлестнет, заломит в позу Николаевской железной дороги; захочется много писать Вам, и так, что это многое скорее должно будет отнесено к Оле, и к ней захочется писать, но опять-таки буду писать я и такие письма, которые были уже обсуждаемы Вами и ею с иронией и т.д. Словом, я чувствовал несвоевременность ответа и ждал приезда наших.

Они приехали, ...ах, в Меррекуле были такие чудные (может быть, скверные, я не помню) погоды, у детей на маскараде были превосходные костюмы!..

— А Петербург?.. — ах, что у нас вышло с билетами! Боря...

— Нет, нет, скажите, вы видели город и «их»!.. Да, мы видели на вокзале...

Одним словом, как будто это не люди, а овощи, которые были подвергнуты последовательной пересадке из местности в местность. Свойство пастернака расти в земле и обрастать землею; да, таково свойство этого вида. Вы понимаете, для них совершенно закрыт был вид на Екатерининском канале! В этом смысле папа оказался меньше всего пастернаком. Так что жаль, что я не ответил вам до приезда наших.

Один итальянец, Рарини⁴², говорит, что художник делает обыкновенное необыкновенным и обычное необычайным. Значит у меня нет ничего художнического, но моя судьба за то, она-то, вероятно, суфлировала Папине: ибо все, что кажется мне обыкновенным в моих поступках, взглядах, etc., признается «несколько странным».

А вот три дня в вашем городе, это уже далекое прошлое, которое каким-то глухим рупором иногда веет на меня издали; это необычайное из необычайных, которое имеет свои вибрации (прошлое вибрирует сильнее всего на свете) и приближения — оно оказывается самым обычным в глазах наших; самым обычным городом с обычной встречей обычных близких людей и т.д. Но не думаете ли вы, что Лифшиц, распределившая в двух последовательных открытках так удачно в обеих столицах атмосферные осадки (она писала о дождях в Петербурге и Москве и, наоборот), и ее недоумение при моих советах хоть сколько-нибудь изменят мою природу и мои наклонности? Вероятно я останусь тем же, несмотря на ее кузена с его заботами о нравственности кузины, несмотря на всю эту квизизану⁴³ этического.

И, думается, Петербург и дядя Миша и Оля и все останется сложной, притягательной темой, оказавшейся для наших — постройками, людьми, понятным, доступным, оформленным. Если я пишу так глупо, что ничего нельзя понять, то скажу просто: наши поехали из Петербурга в Москву; я, выехавши от вас, поехал в страшно далекий Петербург, но Петербург, а не Москву. Вы видели мою угнетенность в начале этой поездки: это настроение было просто показанием далемера. Меня огорчило, что наши привезли такую румяную простоту после свидания с тем, что заставило меня немного заболеть. Но тут сказалось что-то роковое в судьбе семьи *художника*. Они пережили коллизию с городом на *полотне*... железной дороги. Эта коллизия — скандал с билетами на перроне.

Скоро начинается университет. Я запишусь на высшую математику. Скоро у меня экзамены. Один убийственно интересный! Основной курс чистой логики. Профессор уже знает меня с весны, я поступлю к нему в просеминарий по опытной психологии, но он меня предупредил, что, может быть, я разочаруюсь, т.к. слишком отвлеченно мыслю (это после экзамена по философии)⁴⁴. Я это говорю вам *из-за* тщеславия.

Потом я вспомнил, когда здесь по какой-то строчке поплыла Оля, что урока у меня действительно нет, так что я написал правду, но правду на тикопирующей машине, — в этом она права.

Тетья, что бы Вы сказали, если бы я поручил Вам *передать* Карлу или нет, кому-нибудь еще, что меня исключили из университета или, если Вы не суеверны, что Шура сошел с ума,

я убил человека и заболел коклюшем, Лида занозила дыхательные пути. Жоня поехала в Нарву писать дневник и всю ночь в Кремле били набат, чтобы она могла ориентироваться в своей пропаже... и еще, и еще, такое за душу хватающее, ужасающее, зачесывающее бобриком все фибры Вашей души... и все это *передать*... как-будто бы Вы только калькулируете это известие и не настолько сопереживаете эти катастрофы, чтобы и Вам это передавали, как конечной станции, а не узловому пункту. Я передал, Оля, Тоне о твоём отсутствии в Москве. Фибры ее души... одним словом, я ее чуть не побил... она не царапнула ни одной обои и не дотронулась до пепла, хотя я заготовил к ее приходу целый склад окурков. Но все-таки она была страшно огорчена. У нее еще нет адреса. Она напишет тебе при первой возможности. А Вруда и Тикопись, ты права, — какие-то святые Дары. С ними нужно являться в решительные минуты неверия.

А зубы; — зачем их рвать; они такие чистые! И ведь это зубы мудрости болели; но только нервной болью.

Понимаешь ли ты эту сигнализацию сквозь зубы, Оля?

Мои неоромантики съезжаются⁴⁵. Уже одного видел из Бретани, другого из Парижа. Этот катает наизусть Ад по-итальянски, так что прямо в круг попадаешь. Он это преподносит, как Горацио Картер свой электровалидор от ревматизма. Но хорошие ребята.

Мне так странно лепиться на карнизе моего письма к твоей маме, но ты понимаешь, что *притиска* тебе самопротиворечивое понятие.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Спб. [20-е числа августа 1910]

Это уже старая история, что в конце твоих писем к маме, где-то внизу, у края, между строк, вдруг вырастает Оля — вверх ногами, сдавленная и суженная. К счастью только в письмах... И потом, хорошо еще, что я умею читать между строк...

А ты все еще там разгадываешь меня? Это недурно. Боже мой, как жаль, что я сейчас не так себя чувствую, чтобы дать тебе свою отгадку в той форме, как дала ее одна любящая кухарка любимому куму, — ты это знаешь? Первый слог — кушанье, второй — плод. Вместе: «щислива». Но этот ответ тебя не удовлетворил бы? Зато, как подходит к тебе ответ кума! Он отблагодарил кухарку за *ея* «чувства» подарком и тоже в виде шарады: первое — кушанье, второе — растение. Итого: «суп-

рис». Так вот, и ты тоже вместе с разгадкой себя прислал мне сюрприз, но только — увы — не в значении подарка.

Но это хорошо, Боря, что ты не отказался от приезда в Спб. категорически; ах, ведь наука и надежда одинаково питают юношей...⁴⁶

Знай, я в сентябре опять напишу тебе, и опять тебя буду звать. А если приехать ты не сможешь и тогда, — мы простимся письменно *minimum* на год. Я только немного страшусь этих заветаний, потому что после истинного заветания неминуемо должна последовать смерть — иначе оно не оправдывает своего назначения. И оно так выношено, выстрадано, живо, что остается только написать. Но хочется жить! И вот тебе на практике, рядом с логикой, психологией и философией (правда, они здесь подразумеваются в кавычках) — глупая «жизнеупорность», о которой я тебе уже писала.

Ну, а твои зубы? Я, положим, догадывалась по тому письму, что пострадала мудрость... зубов. Но предложила тебе вырвать оттого, что к этому сводятся все врачевания; и чем чище зуб, тем сильнее боль, ибо к боли физической примешивается боль жалости и любви к зубу, — так не лучше ли его вырвать? А согласишься, что зубы обладают редким и драгоценным свойством: когда они болят, их вырывают...

Чистая логика, опытная психология, высшая математика, — как хорошо все это звучит, и как хорошо, что ты там, в гуще всего этого. Даже университет, профессор, экзамены — и это отлично. А я тут совсем одна в своей комнате — и ничего решительно не делаю, и ничего, кроме Мопассана, не могу читать: так-таки ничего. И ты представить себе не можешь, как хорошо, что ты в университете, и у тебя экзамены, и профессора читают о чистой логике. И, может быть, к лучшему даже тот ужасный факт, что ты в своей комнате не один⁴⁷.

А у нас, в спб. университете преобразован философский отдел и там введены обязательные курсы высшей математики и естествознания. Это по-твоему.

Итак, пока до сентября; шлю тебе бумажное прости. Хотя... Ведь, наверное, тебе мама еще напишет, ты ей опять ответишь, и на ее ответ ответишь снова, — и, кто знает, вдруг мы опять с тобой встретимся где-нибудь у обрыва... не пугайся, твоего письма.

Ольга

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

[возможно, сентябрь 1910]

Вот эти две фигуры!⁴⁸ Сколько мучительных вопросов напрашивается при виде их! Почему они, например, не сидят на скамье?! Что ждет их впереди, как смело, отважно смотрит он, обнаживши голову, в глаза аппарату, с кулачком и галстуком, в то время, как сестра его умывает руки! Кто разрешит эти неотложные проблемы!

Мы давно не виделись с тобой, Оля, даже в том переносном смысле, который способна перенести открытка! (Тетя, здравствуйте.) Я хотел бы очень знать, поедешь ли ты и когда в Париж. Вообще ты доставила бы мне такую радость, если бы написала о себе! Ты и не знаешь, как я буду ждать вестей от тебя, подкинувши на почте тетю и папу. Ты может быть восстановлена против меня чем-нибудь? Но на каких основаниях? Как ты чувствуешь себя? И если тебе плохо, то напиши, я сейчас же отвечу, и вот ты увидишь, как безнадежно симметрично выйдет это.

[Москва, Весна 1911.]

Дорогая Оля!

Я сейчас готовился к экзаменам, но должен был прервать, потому что мне представилось лето в Одессе, в городе, который настраивает на переписку с тобой⁴⁹. Мне трудно подыскать какое-нибудь содержание тому нетерпеливому одушевлению, которое меня сейчас охватило по этому поводу. И потому письму этому суждено носить характер неожиданно-нелепого движения.

[Москва, 20 сентября 1911]

Мне нужно сделать усилие над собой, чтобы писать тебе. Я хотел миновать эти слова, я просто верил в твой приезд или в мою поездку в Питер, тою верой, которую ты мне описала три дня назад в своем письме. Когда я прочел его, я как-то закивал, как будто ты, опередив меня, сказала то, что должен был я сказать. Я закивал, и потом не хотел поверить себе, что тебе надо еще сказать: «Я, Оля, вернулся тогда из Петербурга...»⁵⁰

Москва [20 сентября 1911]

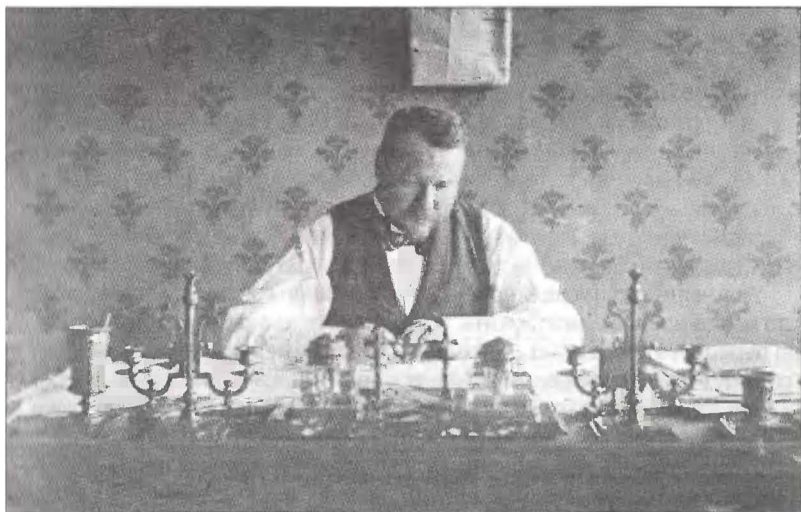
Я не могу пересилить себя. Для того, чтобы писать тебе, мне нужно сделать какое-то неестественное и трудное движение. В нем было бы что-то умышленное — это было бы болью для меня; — ложью — в твоих глазах. Это было бы не письмо к тебе, а какое-то изделие. Но почему моя вера превзошла твою и зачем ты написала все это; *ты*. Потому что *мне-то* оно было нужно: я так пристально и долго любил эти строки, которые написаны так ровно, сдержанно и... вполголоса; эти глубокие страницы и руку над ними. И неужели все это будет здесь, с Москвою, втроем, как тогда?! И ты еще спрашиваешь!

Прости мое многословие. К твоему приезду я хочу покончить с экзаменами. Не оскорбит ли тебя, если у меня все же будет все это — семинарий, философия?

Ах, как я люблю теперь покой, сдержанность, которые нуждаются в переводе, как какой-то из новых языков.



Леонид Осипович Пастернак с женой Розалией Исидоровной. Одесса, 1890-е



Михаил Филиппович Фрейденберг. Петербург. 1910-е гг.

Летние месяцы семейства Пастернаков и Фрейденбергов обыкновенно проводили вместе. Лето 1903 г. Оболенское. Стоят слева направо: Анна Осиповна Фрейденберг, Боря Пастернак и Оля Фрейденберг. Сидят: П. Д. Эттингер, Р. И. Жоня, Л. О. и Шура Пастернаки.

ГЛАВА II

Уже через год после Мерреколя произошло событие, которое внесло много нового в мою жизнь. Я заболела плевритом, который быстро перешел в туберкулез, и наш врач велел немедленно везти меня за границу в горы Шварцвальда. Мама, перепуганная моей болезнью, оставила семью и повезла меня в Германию. Я доехала с трудом, так была слаба. Господин придворный советник, главный врач Шварцвальдского санатория после неудачных попыток лечения усилал меня в Швейцарию, — во французскую, конечно, я в немецкую не хотела. И я с мамой очутились в Глионе, над Монтре, на горах, которые окружали Женевское озеро. Мы поселились в отеле на полной свободе. В голубом, поистине бирюзовом озере, отражался там, внизу, Шильонский замок. И я быстро окрепла и стала поправляться. Через три месяца мои легкие зарубцевались и туберкулез был остановлен.

В одну из следующих зим я ездила в Москву. Боря был ласков, как обычно, и наши старые братские отношения восстановились; бывал он и в Петербурге, привязывался уже больше к маме, чем к отцу, и его сердечная теплота и мягкость, его нежное внимание ко мне носило привычный с детства, родственный характер.

Я была на этот раз более взволнована, чем Боря. Я испытывала разочарование. Мне было грустно, что все так прозаически у нас кончилось. Я ждала еще чего-то, — очевидно, того самого, чего не хотела. Мне казалось, что я глубже Бори, что я трудней вхожу и трудней ухожу, а он поверхностный, скользкий, наплывающий. Время показало, что это было как раз наоборот, и что я капризничала. Но мне было искренне грустно.

Мне хотелось поехать за границу одной, без мамы. Отец, любивший английское воспитание, охотно отпустил меня, но поставил условие, чтоб один месяц я провела в горах Швейцарии, для укрепления здоровья. С тех пор еще три года я ездила за границу преимущественно одна; там застала меня война 1914 года.

Я влюблялась в страны и в людей, и знала, что навсегда их покину. И это делало для меня приятным, легким и максимально-насыщенным каждое увлечение.

Я не боялась ни случайности знакомств, ни двусмысленности встреч и свиданий. Я текла по течению, полудремотная и активная, открытая всем впечатлениям и чувствам.

Как-то раз, проезжая Германию, я нарочно свернула во Франкфурт, недалеко от которого, в Марбурге, Боря учился философии у знаменитого Когена¹. Я остановилась здесь с коварной целью: написала письмо Боре и ждала, не откликнется ли он; если нет, то незаметней уехать с носом из Франкфурта, чем из Марбурга. Мне хотелось повидать Боря, но я боялась набиваться, боялась звать его, потому что за границей как-то особенно ощутила возможность новых волн старого чувства.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ -- Б. ПАСТЕРНАКУ

[Бланк „Hotel Deutscher Kaiser und Kaiserhof, Frankfurt am Main»,

26 июня 1912.]

Среда

Меня отделяет от тебя два часа езды: я во Франкфурте. При таких условиях добрые родственники встречаются. Не дашь ли мне аудиенции? Три дня я провела в Берлине с твоими родичами, и история Лейбница, вторников и пятниц мне известна²; поэтому боюсь, чтоб ты не понял в этом письме намека на завоевание других дней недели. Я свободна, приехать могу в тот час, который тебе наиболее удобен — днем ли, вечером ли, утром. И во Франкфурте я остановилась не для тебя одного, хотя и для тебя, конечно. После Берлина, твоих родителей с их хождениями по магазинам и после Вертгейма — я нечувствительна к сильным ощущениям. Все это ставлю тебе на вид, дабы ты не стеснялся «высказаться» — попросту, не тратить времени и энергии на нашу встречу. Ты знаешь ведь — искренность должна быть максимальной, и твой ответ должен быть решителен. Но ответ обязательно — я жду.

Ольга

В том или ином случае прости мне мое колебание.

Едва я отправила ему письмо, как уже прилетел ответ:

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

[Marburg, 27 июня 1912]

Господи! Вчера ночью в кафе, говорил о той осени одному человеку: сегодня не могу войти в нужную колею; — и вдруг, Франкфурт!!! Отчего же мы не удивляемся, не удивляемся этой последовательности? Ты спрашиваешь день, час? А вот я, — не спрощу!

Итак, существуй под Дамокловым мечом. Я тебя не застаю в гостинице? Ну, так я пойду в Гетевский домик. Там тоже нет? Ну, так я услышу, как трава растет. Словом — я отмстил тебе.

Понимаешь ли ты, что значит: из-за тридевяти земель, из-за тысячи дней наконец добраться до Когена и вдруг оказаться значением того слова, которое, между прочим, не воробей, ибо, когда оно вылетит, то, естественно, его не поймает. Это может, казалось бы, понять ребенок. И вот это слово: Pasternak вылетело у Senior'a* Семинария на вопрос боготворимого мага: кто ему будет реферировать в этот вторник. Отказаться нельзя. Но можно ли удержаться, не растряссти поднос с таким множеством строк как те книги, в которые нужно взглянуть для реферата — при этой килевой качке: Марбург — Франкфурт. Милая, я бегу наконец от морской болезни, и если я перед лицом философии оказываюсь глупым как пробка, — то навигационный характер всей картины делает это качество во всяком случае завидным. Лейбница я уже отвел на место. Мазурка с этикой уже обещана. Но *vogue la galère***.

Оставить тебе место для двойки с минусом?

В конце концов ты не знаешь, что тебе делать? — Ничего. Ты ничего не успеешь. Это — моментальная фотография за пятак. И как всегда, ты себя не узнаешь. Но может быть, тебя оттолкнет мой тон? О нет, я не фамильярен. Я просто раб. И даже без твоего аншлага: «... остановилась не для тебя одного» — даже и без него, говорю я, я тщательно вытер бы ноги, без шума ступал по коврику и перед тем, как постучать, оправился бы готовый встретить оживленное общество у тебя.

Я вообще не понимаю таких предостерегающих замечаний. Разве я так самоуверенно лезу на интимность? -- Хотя, быть может, иногда неудачный тон моих писем давал тебе основания так меня понять.

Мне даже нравится та нотка старшинства, которая против твоей воли вкрадывается в твои письма ко мне. Это как раз та нотка, с которой ты заказывала Шуре цветы. Что ж, я к твоим услугам.

В пятницу к завтраку низко тебя привечу. То есть завтра.

* Старосты (нем.).

** Кривая вывеска (фр.).

Вслед за письмом, явился ко мне и сам Боря.

Я сидела в ресторане своего отеля в огромной летней шляпе, усыпанной розами, и пожирала бифштекс с кровью. Напротив меня стоял лакей, с которым я флиртвала. Я уже привыкла к широкой заграничной жизни, к мужской прислуге, к лакеям, стоящим напротив стола и следящим за ртом и вилкой, к исполнению всех прихотей и капризов. Я привыкла нажимать кнопки и заказывать автомобили, билеты в театр, ванны. На этот раз молодой, шикарный официант на стену лез, чтобы угодить мне. Я любила хорошо поесть — разные черепаховые супы, тонкие вина, кремы, особенно мясо с кровью; мой молодой приятель уверял меня, что повар готовит мне с особым старанием, по его просьбе.

Вдруг дверь открывается, и по длинному ковру идет ко мне чья-то растерянная фигура. Это Боря. У него почти падают штаны. Одет небрежно, бросается меня обнимать и целовать. Я разочарованно спешу с ним выйти. Мы проводим целый день на улице, а к вечеру я хочу есть, и он угощает меня в какой-то харчевне сосисками. Я уезжаю, он меня провожает на вокзале³, и без усталости говорит, говорит, а я молчу, как закупоренная бутылка.

Эту встречу он описывает потом в «Охранной грамоте». У него тогда происходила большая душевная драма: он только что объяснился Высоцкой в любви, но был отвергнут⁴. Я ничего этого не знала. Но и мне он как-то в этот раз не нравился. Я не только была с ним безучастна, но внутренне чуждалась его, и считала болтуном, растеряхой. Я прошла мимо его благородства и душевной нежности и даже не заметила их.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

*[На бланке, Hotel Deutscher Kaiser und Kaiserhof,
Frankfurt am Main, 28 июня 1912]*

Я все-таки очень рада, что встретила с тобой, хотя это свидание монархов история и назовет неудачным. Хотелось бы, конечно, совсем иного; но я заметила, что в наших встречах удача и неудача всегда чередуются, — и уже одно это непостоянство меня очень радует.

За все то время, что мы с тобой не видались, во мне очень многое изменилось, я хочу сказать — была большая смена разных деятельностей (это не то слово, которое нужно, но ты понимаешь); оценить все это качественно я, конечно, могу, но про себя, количественно же это тоже так понятно, что нетрудно подвести итог. Бывают все же периоды более или менее интенсивные; за эти два года во мне произошло многое такое, что исчерпало не только свое время, но захватило еще некоторый промежуток будущего.

К чему говорю я все это? Да, вот что. Мне хотелось сказать, что я ждала от тебя большего. Потому ли это, что прежде я была менее подготовлена к тебе и возводила тебя в степень, большую, чем ты был? Такая теория была бы в твоём вкусе; ты раз очень остроумно назвал ее «духовным реверансом».

И вот теперь в своем письме, говоря об интимности, которая, якобы, кажется мне в тебе навязчивой, ты ссылаешься на «некоторый тон» твоих старых писем: он-де превратно был понят мною. Я этого не люблю. И не хочу, чтоб ты комментировал те письма, как бы глубокомысленно это ни было. И как ты не определяй себя того, петербургского, периода, все же ты не можешь его заслонить этими определениями.

Я, правда, не совсем была подготовлена для «того» тебя; но я боюсь, что ты сейчас не совсем подготовлен для меня. Прогрессия за это время очень увеличилась — и ты не вырос настолько, насколько я ждала.

Ах, это было такое тяжелое, тяжелое время, когда приходилось вырастать в несколько дней, иногда часов и видеть, как от этого уменьшается то, что казалось большим. Эта радость изменчивости, движения вперед и роста всегда сопровождалась горечью все большего одиночества.

Некоторые люди были для меня станциями; я их видела издали, знала, что они далеко от меня, и нескоро я до них доеду. Я даже не верила в то, чтоб можно было поравняться с ними; и тогда они служили мне, как нечто путеводное, как то, к чему надо идти. Потом — сильное движение вперед, невероятное напряжение этой силы — и оказалось, что станции мною проеханы, и я даже не стояла на них. Тогда мною овладевала непередаваемая тоска; не хватало самодовольства, чтоб опьяняться своим пробегом, и только сознавалось одиночество уже сверх нормы — злое, упорное.

В письме все это выходит гладко; но ты должен же почувствовать, как это все было трудно. Что же делать? Не бежать же назад? Я тогда залезла в себя с большей силой — это так естественно; я порвала со своими подругами — и не постепенно, а уничтожила нашу связь обыкновенным письмом за три копейки. Мне все казалось, что у меня воруют время; ко мне ходила итальянка и испанец (учителя), и хотя они мне нужны были, но я им отказала в один день, на что я обыкновенно совсем не способна.

Я была замкнута до последней степени и не переставала «там внутри» работать; когда я разомкнулась — я была закалена. Во мне необыкновенный запас самоуверенности и упорства; я всегда могу расчесть все свои пробелы и расстояние от человека, стоящего надо мной, — но и сама умею смотреть вниз, не скрывая этого.

То, что ты любишь иногда самобичевание — это не то еще, нет — то, что ты любишь уменьшать себя — я называю тщеславной скромностью. У меня этого нет; я знаю, что имею право называть себя собственным именем. И мне иногда думалось: как теперь я тебя встречу? какой пробег предстоит мне теперь? И я создавала мысленно нечто очень далекое, чтоб посмотреть на себя в беге и поймать себя на остановке обессиленной.

Повторяю, я могла выдержать очень большое напряжение и встретить тебя мелькающим из-за дали. Тогда я погналась бы за тобой — и я в себя верю, ей-Богу! — я дошла бы до тебя. И вот тебе все, как следует быть: ты вдали в Марбурге, я на остановке во Франкфурте!

Почему я с тобой не говорила? В Меррекуле — потому что ты чудом невозможное делал возможным, и сам говорил за меня; все, что говорил ты — принадлежало мне. А сегодня — просто от истощения. Я столько готовилась к этой встрече, столько раз ты был мне нужен и тебя не было, что я выгорела, как копеечная свеча.

Когда мне хочется чего-нибудь — ты представить себе не можешь, как это должно быть исполнено, потому что иначе я опустошаюсь от этого желания.

Как хорошо, что ты уехал, не втягивая себя и меня в эту пустоту молчания; и как я могла не понять, что после всей этой тоски по тебе, после сопротивления своему желанию встретиться с тобой и этих дней, которым нет числа — что после всего этого может остаться одно измученное молчание!.. Так суждено мне жить в себе и для себя; и когда я не делаю для себя того, чего хочу — тогда я мщу себе тем, что ничего не забываю.

Да, ты должен перевернуть карту и увидеть, что не ты вдали в Марбурге, а я на остановке во Франкфурте, а наоборот. Догонять тебя я не хочу; скорее тебе придется возвращаться.

Если проедешь Глион, то вот адрес: Suisse, Glion s/Montreux. Hôtel de Glion.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Marburg [30 июня 1912]

Как бы это сказать?.. Мне досадно. Конечно, я вернусь и к твоему письму, и к сознанию тоже вернусь. *В понедельник вечером*. А пока. Мне досадно, Оля, что ты так неосторожно запоздала со своим письмом; оно должно было придти в августе 1910 года. Как раз тогда, когда, вернувшись больным из Петербурга, я был извлечен в одно прекрасное утро на Божий свет одним сердобольным другом⁵, и на его увещания, что так нельзя, что так и погибнуть можно, и что при таких условиях нужно, бросив все, вернуться в Петербург... На все эти увещания — я сослался на преждевременность этой поездки. При этом я с трудом только втолковывал ему, что мне нужно в корне измениться: приходили тети Асины реактивы — где фиолетовым на белом была начертана моя — недоброкачественность; твоего же письма из Франкфурта не было тогда. И вот я решил перевоспитать свое сознание, — (я, Оля, не синтетизирую, а точно обозначаю все) — для того, чтобы быть ближе «Петербургу». —

Правда, цель эта держалась недолго, но первые дисциплинарные приемы мои определили для меня целое направление работы над собой. Являлись иные цели: люди, которые тоже были, как и «Петербург», классичнее, законченнее, определеннее меня... И вот я попросту отрицал всю эту чащу в себе, которая бродила и требовала выражения — в угоду тех, кто... опаздывали, ибо как это ни курьезно, до тебя, этим же летом я услышал тоже запоздавший «отзыв», которого не подозревал⁶.

Я не знаю, поверишь ли ты мне, что меня согрело от того приветливого взгляда, который ты бросила в ту невозвратную даль. Я и сам люблю его, бедного. И потому я не могу не быть тронутым тобой. И мне надо все это. Я тебе объясню в закрытом письме.

Не сердись на меня, Оля, но все это, правда, досадно. Если бы мне время повернуть.

Б. ПАСТЕРНАК — А. ШТИХУ

Марбург. 8 июля 1912.

...Оба реферата удались мне. Второй раз, кроме того, я читал Канта, разбирая с Когеном прочтенные места. Он остался дово-

лен мною. Сегодня он даже пригласил меня к себе на дом. Это пустяки. Но я рад его приему. Это живая маска всего того мира, который уже второй год колышется над моей уединенной работой, эти драгоценные черты — дают мне столько пережить!..

Я не стану его учеником: я опоздал — это последний семестр его преподавания. Но я понимаю хорошо его учение. Если я буду философствовать, то только исходя из его неслыханных сооружений...

Я знаю, я выдвинулся бы среди его любимцев — я это знаю. Я имею чем ответить на его своеобразие. Вообще же в Марбурге не во всей чистоте (за немногими исключениями) понимают Марбургскую философию. Это досадно, что поздно. Я не буду его учеником...

Как же увеличивается досада, когда... Марбург... Коген... 1912... я с рефератом в Марбурге для Когена... — когда, говорю я, это сочетание входит в непредвиденную — запоздавшую связь с ... августом 1910... в Спасском... после Петербурга... с проектом коренного «самоперевоспитания» для сближения с классическим миром Оли и ее отца etc. Отдаление от романтизма и творческой и вновь творческой фантастики — объективация и строгая дисциплина — начались для меня с того комического решения. Это была ошибка!

Ты ждешь разъяснений. Связь между этими двумя моментами создает письмо из Франкфурта, пущенное мне в спину. Оно от Оли, той Оли Фрейденберг, и приходит в Марбург в день первого реферата. Когда я пришел в семинарий, мое сознание было из края в край удобрено этим бесконечным «увы» — которое вызвано было этим письмом.

«Я сплющился; она молчала тогда (1910) потому, что происходило чудо — я говорил — говорил за себя, за нее, за ее отца, за ее жизнь и ее город: и именно так, как я тогда говорил (это было время товарных вагонов и двойников⁷) — надо было говорить — тогда я был выше ее и ей трудно было дотянуться, теперь же — я отстал — она больше, она дальше меня — я сплющился, я потерялся...»

Что ты скажешь на эту «Oratio obliqua»*? Боже, если бы она мне все это сказала тогда; если б я не считал, что предстоит дис-

* Косвенная речь (лат.).

циплинарная обработка — в которой погибло все — в целях уподобления классическому и рациональному; Боже, если бы я тогда держал это франкфуртское письмо в Марбург! Ну что же тогда? О, я послал бы ей все, что я писал — то есть: — я послал бы ей знаки; она бы приняла их, чудо бы продолжалось, — это было бы знаком мне — чтобы допустить то *timicé*, которое создается завтрашней жизнью по отношению к сегодняшней строфе: жизнь училась бы у знаков; нашли ли бы вы меня в Марбурге на уроке? Где вы нашли бы меня через эти два года? Разве не имею я права быть искренним? Разве я не оторвал от себя весь этот мир чувств и их препаратов насильно!

Разве это не наслаждение, когда у пьяного Гафиза есть строфа, с которой он просыпается в кофейне, упершись головою в полдень, с толпой, ступающей, как расплывчатый верблюд⁸. — разве это не наслаждение — *сказывать*, фантазировать, фантазировать, сказывать, окликать, быть окликнутым и — в промежутках слушать, слушать, слушать: ставить палатку в пустыне. О чушь, чушь! Но это не шуточки!! Разве я не насильно сошел с пути!!...

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Glion [первые числа июля 1912 г.]

Все это очень скучно. Менее всего меня интересуют итоги. Вспоминаю, как ты говорил, что я бываю тебе нужна именно во время самоподсчета: в самое скучное для меня время! Очевидно, наши отношения поехали по рельсам нелепости.

Ей-Богу, твоя открытка нагнала на меня тоскующую скуку. Мне стало так скверно, что я даже сразу села тебе писать. Ну, да — ты был в отъезде и теперь хочешь посмотреть, что случилось за два года с твоим покинутым краем. Боже, как ты неопытен; в таких случаях берут билет «*aller et retour*»* и в любую минуту возвращаются по удешевленному тарифу. Ты же с 1910 года взял круговой билет и скачешь с места на место; помнишь, сидя в садике, ты сам сознался, что тебя ждут еще многие места чуждые тебе, но необходимые в силу раз взятого направления. И пока ты не завершишь указанного в билете круга, ты не сможешь вернуться в старые места. Итак, сейчас Марбург; через месяц ты, кажется, обязан его покинуть? А потом куда и насколько?

* Тула и обратно (фр.).

У тебя страсть к определениям; ты всегда очень любезно приглашаешь меня к самоопределению. Но ведь это так избито, что определить значит сузить. Я оттого и выбрала меньшее из двух зол и принялась тебя определять. Но все-таки от этого и я страдаю. Не забудь, что я всегда рассматриваю тебя со *своей* точки зрения: только в связи с собой и по отношению к себе. Это, верно, подействует на тебя, как ушат горячей воды: неожиданно и жарко! Но я говорю это серьезно, хотя и шучу. У нас общая манера серьезничать шутками — и наоборот; мы постоянно шутим. Это должно быть оттого, что нам слишком грустно, когда мы вместе. И это, опять-таки, серьезно. Мне всегда очень грустно при тебе.

Ты поймешь ерундику моего письма, когда узнаешь, что у меня повышенная температура и общее дрянное состояние, которому доверять нельзя: поэтому я пишу противоположное тому, что хочется. Серьезно, я больна, и у меня нет сил; я так привыкла обходиться без их помощи, что нездоровья не замечала бы. Но когда надо сидеть над бумагой и держать вставку⁹ — так их участие необходимо. Уж года два, как наша вражда непримирима: я тогда вполне овладеваю собой, когда вне сил; тогда я лежу или сижу — и все так мило. Оттого и портится мое самочувствие, когда мне надо встать: мне кажется, что это ко мне вернулись мои силы.

Пишу сейчас в такой обстановке: черная ночь. Надвигается гроза — горная гроза с ужасным грохотом и чертовскими молниями. На улице шум и пожарные сигналы труб. Черт, до чего эти ситоены¹⁰ обожают свои трубы! Оттого эти сигналы не беспокоят меня, что я знаю, раз трубы в ходу — Швейцария вне опасности.

У меня какая-то спокойная самоуверенность относительно того, что ты это письмо прочтешь до конца. Патология тебя не интересует? Вспоминаю, что да; ведь ты уже начал, кажется, изучать юридические науки.

Так твой реферат сошел хорошо? Значит, Франкфурт на нем не отразился. А я в тот вечер была изгнана из отеля: у немцев правило об «очищении» (люблю этот термин!) за четыре часа до... до того часа, в который ты приехал, т.е. до твоего законного часа. Это официально; а в обиходе — вещи лежат внизу, а ты в любой из комнат-салонов. Но я оскорбилась, выбро-

сила все свои пожитки, ушла сразу из отеля, и провела четыре часа на перроне. Стояла, сидела или пила *Apollinaris*¹¹.

Вообще меня удручало то, что я при тебе не умела говорить, а ты говорил хорошо и много; чтоб научиться этой удивительной способности, я выпила массу воды и в том числе пять бутылок *Apollinaris*'а. Я не преувеличиваю — пять. Это оценили гейдельбергские студенты: ночью, на вокзале, они устроили дебош на пьяной подкладке, а перед моим окном что-то хрипло пели и размахивали руками.

Я писала в Киссинген, что хочу приехать за Жозей; ответа не получила. Жозя непременно хотела приехать ко мне с тобой, и говорила о твоём посещении Глиона так уверенно, словно здешняя католическая капелла со скамьями была обращена в университет с философским факультетом.

Я все-таки надеюсь, что мама отпустит Жоню, если я за ней приеду по выздоровлении. Если же мне не поверят, что я была больна — то это письмо будет доказательством. Какой сейчас воздух, какое приволье! Так вот — сесть и написать что-нибудь лирическое!.. Но мне нужно лечь; и почему лирика дает только сидя!

В конце концов, не сердись на меня за то, что я подражаю твоему разговору *quand t'eme**. Когда-нибудь встретимся. Когда-нибудь пойдем вдвоем погулять, или в музей, или на вокзал за ближайшим поездом. Когда-нибудь опять напишем друг другу, и опять в високосном году. Словом, я еще исправлю свою ошибку и тем скорее, чем это «когда-нибудь» быстрее повторится. И я ведь деликатна: смотри на какой мягкой бумаге я пишу.

Ольга

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Marburg [11 июля 1912]

Дорогая Оля!

Если бы слова были необитаемыми островами, если бы их не осыпал скрытый в туманах архипелаг предположений, я бы просто сказал тебе, что таким письмом кончить нельзя; т.е. просто словесно нельзя. Вообще я писал бы то, что хочется. А то я должен объяснять тебе, что с философией у меня все обстоит

* Все же (*фр.*).

отлично. Коген был приятно удивлен моей работой; я даже вторично реферировал ему с еще большим успехом. — Так что мое молчанье — совсем не меланхолия после неудачи.

Затем я должен был бы оговориться, что ничуть не предполагаю с твоей стороны какой-нибудь потребности в письме от меня — и это объяснение лишено всякой опоры в виде самоуверенности. И еще много было бы оговорок. —

Но если бы слова падали с неба как неорганические части, — и не разрастались в догадках etc., я бы сказал тебе, что так кончить нельзя; потому что то твое письмо страшно справедливое и чрезвычайно важное, почти спасительное для меня! — было каким-то предварительным. Ты там говорила о своем стремительном развитии.

Я просто дивлюсь той пронизательности, с какой ты уловила что-то чужое, общее и упадочное, что изменило меня. Ты и понятия не имеешь, как я сбился со *своего* пути. Но ты ошибаешься: это случилось сознательно и умышленно: я думал, что у «моего» нет права на существование. Ты писала: я выразил тогда и твой мир. Неужели же ты откажешь мне в том, чтобы теперь дать известие о том, что случилось за два года с тем миром, который ведь был и моим. Я был в отъезде и от себя самого в философии, математике, праве. Может быть, можно вернуться, но я не говорю, что ты в долгу передо мной.

Написать о том мире — это значит написать о себе. Но не так: я развилась, я выросла, я — в разбеге... О, какие полые голы с дипломом!! Ты кажется шутишь словами. У меня ж — серьезные трудные времена.

Б. ПАСТЕРНАК — А. ШТИХУ

Марбург. 17 июля 1912.

...Господи, мне нехорошо. Я ставлю крест над философией. Единственная причина, но какая причина! Я растерял все, с чем срастилось сердце. От меня, явно или тайно, отвернулись все любимые мною люди. Этот разрыв мне не поможет. Меня не любят. Меня не ждут. У меня нет будущего. Я могу сказать цельнее и ближе к действительности: весь мир, из которого я вышел, все, что есть женственного, — исключено для меня. Трогательнее всего было с Жонечкой. Боже, как выросла эта 12-летняя девочка! Я ехал 11 часов в Киссинген. Поехал на один

день: 1-го русского июля — рождение Иды. Высоцкие, наши, Вишневский, Собинов etc. Но к чему это!..

Горести связаны и с оскорблениями. —

Оля: «...Боже, как скучны эти твои итоги...».

Ида: «...Попробуй жить нормально; тебя ввел в заблужденье твой образ жизни; все люди, не пообедав и не выспавшись, находят в себе множество диких небывалых идей...».

Жоня: «...Скажи, Боря, ты стал глупее? Ты стал таким, как все?»

Жонечка хоть спрашивала не с холодным превосходством первых, а с состраданьем на лице. Вечером я застал ее плачущей. Она присела ко мне с причитанием: «Бедный Боря, ты запутался в прежнем и теперешнем, бедный, тебе теперь трудно, в тебе все должно определиться» ... а потом прибавила, что теперь я и сам не пойму таких, каким был когда-то я....

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Glion [середина июля 1912]

Нет, теперь это не столько скучно, как глупо. Оскорбление? Право на оскорбление? Что за возмутительные слова?¹² Вот у тебя надо спросить — откуда взялась в тебе эта любовь к словесным фейерверкам? Не виновата же я, если у тебя такой удачный ассортимент знакомых, что каждое мое слово ты можешь раскладывать по группам слов своих знакомых. Тебя там, может быть, оскорбляют и без права на оскорбление, но я далека от таких жестокостей.

Ты назвал в открытке свой теперешний период «чужим, общим и упадочным», Я этого не думаю; не думаю, что у тебя упадочное время. Скорее у меня. И ты мог не оскорбляться — потому что я только могла сказать, что даже и этот период для тебя важен, и ты, конечно, пройдешь его.

Если что и могло огорчать меня во всем этом, то только я одна, потому что я не знаю, чужд ли ты сейчас самому себе, но мне ты чужд. Что же в этом оскорбительного для тебя-то? Я тебя не трогаю; я даже согласна признать, что так оно и должно быть. Но позволь же мне, когда я хочу, посторониться: просто мирно отойти от тебя на другую сторону. Я это и сделала. И - - повторяю — можно говорить сейчас обо мне, а не о тебе; здесь все сплошь мое личное дело. Я даже не смотрела, чужой ли ты или

упадочный; я сразу заметила, что в тебе появилось это «общее» — ты удачно нашел это слово. С меня было этого достаточно; остальное меня не интересовало. Остальное интересовало тебя.

Ты не доволен, что я тебе пишу? Но я не могу примириться с твоим письмом. Мало ли о чем ты можешь просить; не ответить на твое необыкновенное письмо было бы еще более нелепо, чем его написать. И мое здоровье! Ты начинаешь повторять собою С. Маргулиуса: он тоже советовал тебе пить молоко и есть яйца на даче у Осипа¹³ — и это тогда, когда ты сидел у нас в Петербурге и говорил о разных близких тебе предметах. Вспоминаю твои слова во Франкфурте: ты стал делать то, над чем прежде смеялся.

Как мне подписаться? В единственном числе или во множественном? Ах, как глупо, когда подумаешь, что я говорю то, что твои знакомые уже сказали тебе или скажут. Ты пишешь им такие же письма, как мне? И они тебе, наперекор стихиям, отвечают?

То, что ты едешь в Россию, очень хорошо; я тебе завидую¹⁴. А то ты, бедный, уже ездил в Киссинген. Курорты до добра не доводят; то-то ты написал мне такое добродетельное письмо, соль которого годится только для ванны.

Ну, прощай, Боря. Желаю тебе всего хорошего. И все-таки рада нашей встрече.

Я обещала Пастернакам заехать к ним в Марину ди Пиза, где они снимали виллу на берегу Средиземного моря.

Л.О. ПАСТЕРНАК — О.М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Марина ди Пиза. 7 августа 1912.

Среда.

Дорогая Олюшка!

Пишу на пляже дивного моря — как хорошо, хорошо, восхитительно. Ждем, ждем, ждем!! Получил сейчас письмо твое! Есть для тебя комната — все есть и не на неделю приезжай, а сама не захочешь отсюда. Просто, мило, хорошие русские люди!! Из иудеев — ты одна здесь будешь!..

До Пизы как хочешь — насчет парохода не знаю (на Ливорно?) «Марина» наша между Пизой и Ливорно.

От Пизы идет трамвай паровой до Marina. Дай знать, может, Шура за тобой приедет в Пизу. Pension наш собственно называ-

ется M-me Albini (Wissotsky – меньше знают), и пиши так адрес.

Ну, addio!! Все целуем и ждем.

Твой дядя.

У дяди меня встретили с восторгом. Только Боря держался отчужденно¹⁵. Он, видимо, переживал большой духовный рост, а я – что я была рядом с ним? Ему не о чем было со мной говорить. По вечерам черная итальянская ночь наполнялась необычайной музыкой – это он импровизировал, а тетя, большой и тонкий музыкант, сидела у темного окна и вся дрожала.

Мы поехали с Борей осматривать Пизу – собор, башню, знаменитую падающую, но не упдающую, колонну, о которой неизвестно – падает ли она или нарочно так построена. Я хотела смотреть и идти дальше, охватывать впечатлением и забывать. А Боря с путеводителем в руках, тщательно изучал все детали собора, все фигуры барельефов, все карнизы и порталы. Меня это бесило. Его раздражало мое легкомыслие. Мы ссорились. Я отошла в сторону, а он наклонялся, читал, опять наклонялся, всматривался, ковырялся. Мы уже не разговаривали друг с другом. С этого дня ни единого звука Боря со мной не проронил; мы жили вместе, рядом, в полном бойкоте.

Семейная обстановка и южная, слишком роскошная красота природы, утомляли меня. Я мечтала удрать. За мной следом тянулась переписка, голубые конверты, телеграммы. Я, сидя под Пизой, назначала с легкостью свидания на вершинах гор и за тридевять земель, точно это был угол Канала и Гороховой.

Однажды тетя «по ошибке» вскрыла телеграмму, которая начиналась по-французски – словами «я буду совершенно один...», и шло место свидания, день и час. Я стала быстро собираться. Хотя смысл содержания этой депеши был очень невинный, она была от Жозе-де-Союза, поджидавшего меня в Швейцарии, – но я придралась к возможности обидеться и уехать: дома у нас святость переписки была первой заповедью, а в «ошибки» я не верила.

Издевались надо мной ужасно! Шурка называл Жозе-де-Союза «сусом» и прекрасно острил («под каким бы соусом тебе ни телеграфировали...»), а Боря не достаивал меня словесами. Он еще в начале осудил меня за встречу и поездки с Винченцо Перна (я не скрывала своих походов), и очень остроумно называл этого уроженца Павии «твой павиан». Но это было весело, хоть и враки!

Б. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

[*Marina di Pisa 22 августа 1912*].

Дорогая Оля.

Вот уже среда, и еще будет четверг, а я все еще не еду: ключи от жилой Москвы оказывается у папы¹⁶: надо ждать. Ты может быть еще не заметила, что Домби с сыном продолжают лежать все в той же хирургической клинике, куда я их положил в целях выпрямления? Книга уже разглажена, ты припоминаешь, она скомкалась в чемодане. Мы тебе перешлем ее из Москвы.

Вот опять страдаешь из-за меня!

Завидую твоей поездке и той радости, с какой ты вероятно прибыла в In<terlaken>.

Б. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

[*Москва. Декабрь 1913 г.*]¹⁷

Я о тебе не думал ни разу больше года, кажется. Но сегодня мне пришлось вспомнить о тебе и так, что это воспоминание погнало меня из дому, и я вернулся только для письма. Я не стану рассказывать тебе об этом состоянии, ведь не вызывать же мне в самом деле соответствующих впечатлений в тебе. Но иногда ощущаешь время, как порыв каких-то пассатов в прошлое, и это прошлое кажется тебе только что оторванным, как ставень в бурю, и отнесенным в сторону и кинутым поодаль, в те сроки. Мне кажется, я был еще так недавно с ним и только сейчас испытал мгновенное разоренье. И как не сказать тебе о нем?

Это письмо попадет в Петербург и его перешлют тебе оттуда. Да ему и нужно побыть в городе воспоминаний, этому «нынешнему» письму.

Ты не поняла вероятно моего летнего упрека, хотя в той форме, как я его высказал тебе из Марбурга в Швейцарию — он был тяжеловесен и не говорил о жизни. Но это было просто недостатком выражения. Ты еще помнишь?

Однажды утром, в обстановке немецкого университета, куда меня привел разрыв с иным, совершенно несходным прошлым, которое тогда казалось мне заблуждением, я узнал, что оно было живою истиною. Если до этого заявления я страдал просто непривлекательностью чуждых мне занятий, навыков и интересов, к которым я приневолил себя силою, как к некоторой обязательной норме, чтобы не быть таким смешным, лиловым,

и таким одиноким, чтобы приблизиться к тем немногим дорогим мне людям, которые заставляли меня произносить длинные речи без конца и без ответа, и, очевидно, ждали другого языка, при котором они могли бы стать собеседниками; — то теперь к этому мученью присоединилось сознание, что все это было ни к чему, и что их бывшее молчание скрывало в себе согласие и было знаком единомыслия.

Да, это случилось раз в Марбурге. Я бродил с письмом, которое запоздало на два года слишком и все перепутало в моей жизни. Было так ясно: предстоял новый разрыв, и я не остановился перед ним. Хотелось многое восстановить. Ты вероятно приписываешь мне разные эффектные побуждения и, отделив меня мысленно ими, не можешь не смеяться затем над этим банальным и бедным образом.

Но я тут не причем.

Мне надо оговориться. Нужно быть справедливым и благодарным. Твое письмо, то осеннее, из Петербурга, после Меррекуля, длинное, длинное, благодатное, в которое можно было уйти до самозабвения, и которое не закрывалось для тебя при твоём приближении; может быть, оно только и припомнилось мне сегодня и опрокинуло меня.

Ты думаешь, я вот сижу сейчас и роюсь в старых воспоминаниях и старчески кашляю над вытягиваемыми ящиками стола? А между тем я перебираю способы, какими можно было бы испытать твоё существование сейчас помимо того, больного и почти невыносимого воспоминания.

Б. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

[Надпись на книге «Близнец в тучах»]

Дорогой Оле с любовью и признательностью за одну летнюю встречу...

до следующего свидания на подобной странице

Боря

20.XII.1913

Б. ПАСТЕРНАК — М. Ф. ФРЕЙДЕНБЕРГУ

[Москва. Декабрь 1913]¹⁸

Дорогой дядя Миша!

Вот явился наконец повод заговорить с Вами из того почтительного и смущенного далека, в котором я всегда находился

относительно Вас. Вы помните те беспомощные и стесненные движения, в которых выражалось мое восхищение перед Вами, когда я, как-то вечером оказался в Вашей квартире вместе с Олей, вернувшейся от нас. Сейчас, позволяя себе говорить Вам все это в глаза, я знаю, что добровольно себя обрекаю на величайшую в мире пошлость. Но Вы так странно, таким особняком стоите в жизни, — и такими необычными сумерками собирается она вокруг Вас, что это дает какую-то решимость нарушить установленные формы в обращении к Вам.

Я с какой-то благодарностью думаю о Вас. Мне будет трудно объяснить Вам это, в особенности, если Вы сочтете все, что я скажу Вам сейчас, одним из тех видов метафизики, на которой не стоит останавливаться со вниманием. Итак я за что-то глубоко и исключительно благодарен Вам.

Вы заметили, как жестоко мы платимся во вторичных встречах с людьми за то, что в нашем сознании они стали прошлыми, наполовину сказочными? Но замечательно, что и при первых столкновениях мы могли бы предсказать это предстоящее разочарование. Дело не в качествах людей, которые соответствуют или не соответствуют нашим представлениям о них. Но дело, может быть, в особом даре нескольких редких людей, который я бы назвал даром времени.

Люди захвачены настоящей минутой, которая никому не принадлежит и обнимает их общей бесцветною средою «данного времени» — действительности. Непрерывно наступает все новое и новое настоящее, столь же мало принадлежащее кому-либо, как случайность, постигшая без различия всех. И только прошлое по-видимому множится в интимные ряды.

Однако, я встретил несколько личностей, которые как бы дышат своим собственным временем, у которых показанья их часов, может быть, только — уступка общественному порядку. Что это означает? Это означает, во-первых, некоторую черту бессмертия, проникающую их движения. И затем это говорит о какой-то одинокой их близости со своей судьбой. Судьба эта нисколько не порабошает их. Но она как-то неизменно родственна им, как близнец — обязанный тому же, как и они, происхождению. Это какая-то уж судьба самой судьбы — быть их судьбою.

Такие люди могут быть примерами, на которых можно наглядно развивать религиозность. Присутствие этих людей как-

то прерывает действительность, относительно них разочарование невозможно: с ними говоришь и уже как будто воспоминание твое повествует о них, вероятно потому, что они никогда и не вступали в безразличную среду общего настоящего. —

В таких выражениях трудно дать об этом представление. Гораздо счастливее была бы попытка жизненно или художественно запечатлеть свой энтузиазм перед ними. И если бы такая задача была по силам мне, я неизменно думал бы о Вас.

Я думал бы о том, как невозмутимо и с каким странным неведением об этом завладеваете Вы тем хаотическим и близким к грезе впечатлением, которое оставляет по себе Петербург, как город — дух.

И о том, как словно выполняя какое-то недошедшее до нас предписание Бальзака, фантазируете Вы над своими станками, вечером, с бескровною пустою далью окна за спиной.

И о том, как заражается этой, драматически разыгранной Вами жизнью мир предметов вокруг, вся эта тайна обстановки и комнат.

Может быть, нужны живые имена для того, чтобы связывать с ними пережитое. Вы не можете и представить себе, как легко и вольно моему прошлому вместе с Вами. Вот за что я хотел Вас благодарить.

Безделицы, которые прилагаются при сем, относятся к тому счастливому времени. Так досадно, встречать эти запоздалые осуществления того, что было уже готово годы тому назад и было пресечено по собственному легкомыслию, вместо того, чтобы развиваться.

Преданный Вам *Боря*

Дорогая тетя!

Вы вскользь и меня назвали... Так с Новым годом же Вас!

ГЛАВА III

Я поступила в Петербургский университет. Стояла осень 1917-1918 учебного года. Университет еще имел старый вид. Знаменитые старые профессора читали открытые публичные лекции. Я помню амфитеатры, профессоров в черных сюртуках, читавших с кафедры. Революция породила вольность. Интеллигентная публика свободно слушала кого хотела. В университет я пришла разбитая бурями пережитого. Как иннок я молилась и служила. Это было мое убежище.

В марте я уже училась по-настоящему, по отделению филологии, но еще не знала какой. Я чувствовала великую силу своей зрелости, которая позволяла, как мне казалось, лучше постигать существо науки.

Свобода университетского преподавания чудесно формировала мой кругозор. Профессора отличались друг от друга, имели свое умственное лицо, объявляли курсы, какие им хотелось. Я слушала всех философов.

1919 год был для меня очень важным. Самым важным. В этом году я начала заниматься у Жебелева¹ на классическом отделении.

Тем временем я писала Боре:

Наши жизни несоизмеримы: ты цвел в соку, а я сосала сок из собственного пальца. Я никогда никого не имела. И это повело к моей самостоятельности и выработало целую технику открывания Америк; но это же научило меня многому и развило «мускулатуру ног». И научило учиться. Я учусь страстно, и все, что меня учит, ударяется сейчас же о мою благодарность, которая лежит сплошным покровом по всему сердцу...

...Рефлектор событий освещает только классическое отделение, и я стою в полосе яркого света с таким чувством, что все эти краски — не мои, и от поворота руки я могу попасть в полную темноту.

В ноябре я заболела и слегла. Мы все переехали в одну комнату, где дымилась маленькая жестяная «буржуйка». Мама хлопотала на кухне, которая была для нее семейным очагом.

Сашка переехал к нам. Я лежала. Отец в шубе и шапке, подпоясанный (все подпоясывались для теплоты в ту суровую зиму, голодные тела мерзли), отец, привлеченный убогим теплом буржуйки, сидел и спал. Страшные дни! Жизнь пустела. Профессора умирали. Живых арестовывали. Университет перестал функционировать, покрывался пылью и тлением. Все боролись, как на войне, дома. Занятия распались.

М.Ф. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Л.О. ПАСТЕРНАКУ

Петроград. 1 января 1920.

Милый Ленчик.

Признаться, я недавно написал тебе большое послание, да не отправил по назначению. И вот почему. Писалось оно урывками, вышла нескладица, а главное — дрянной почерк мой злит. Я всегда возмущался тем, что люди зачастую пишут неразборчиво и тем затрудняют понапрасну своего читателя. Ведь, это просто не деликатно. Все равно, что к тебе обратился Имярек и пошел что-то шамкать, сюсюкать. Из его рта черт знает что вылетает, а ты — разбирайся...

Так вот, милый Ленчик. Зная свой недостаток, я зачастую пишу левой рукой, которая тоже письменности обучена, но все-таки выходит плохо. И я, словом, то письмо забраковал. А так как сегодня первое января, и я не так занят, то и сел за машинку.

Это — прическазка, милый Ленчик, а сказка впереди.

Дело в том, что я хотел тебе написать еще тогда, когда тебе отвечала Оля. Но ее ответ прошел мимо меня, и это меня огорчило, потому что я хотел тебе сказать, что твои строки о том, что ты еще на капитанском мостике, взволновали нас всех...

Теперь подумай в каком положении я, я, не владеющий кистью, отставной литератор, всегда стоявший в стороне от всего, что отдавало партией, кружковщиною? Припомни мою деятельность: разве я не мог, — ну, хотя бы как этот «Не-буква»² шуметь на всю газетную округу и волновать муравейник почище многих знаменитостей, которых я же благословил «на оный путь, журнальный путь»? Дионео, Юшкевич, Айзман, Жаботинский³ и пр. Кто возился с ними вначале их деятельности? От кого зависело в свое время отбить у них всякую охоту к писательству или приободрить? Но мне претило всякое сектантство. Я в своей писательской деятельности был один, всегда один, да и вся эта слава меня весьма мало занимала. И вот теперь, в 60 лет, когда впол-

не законно желание выйти из круга, на котором кипит борьба, и уже больше не думать о том, где раздобыть средства на обед или сапоги — теперь ... с утра тащись по очередям и с содроганьем думай о семье, которую необходимо содержать, по возможности не посвящая ее в состояние твоего кармана... Как же быть? Что предпринять? Не знаю. Знаю, что третьего дня я заплатил за картофель 90 р. фунт, мясо — 725 р., крупу — 400 р. А Оля была нездорова (инфлуэнца) и надо ее подкормить...

Нет, Ленчик, это кошмар. Это состояние, которого пережить пемыслимо. Это даже не капитанский мостик, а просто кораблекрушение, борьба с пучиной, которая тянет тебя в свои недра.

И вот, когда я это говорю, мысль моя переносится в Лондон, где все эти герои на час — разные дипломаты и политики — потирают руки от удовольствия по поводу блестящих результатов придуманной ими блокады несчастной России, и спокойно ожидают сведений: сколько еще тысяч человек погибло жертвою их системы. Знаешь, Ленчик, я уважаю англичан, уважаю их за все, что они дали человечеству. Я и сам жил в Англии — и опять хотел бы там жить. Все это прекрасно. Но английская внешняя политика, но манера Англии обращаться с другими народами — этого я никогда не мог перенести...

Чуть ли не столетия Джон Буль стерег момент, когда можно будет броситься на Россию и положить ее на обе лопатки. И поймал. И держит. И каждый раз от нее оттяпают кусок... То Польшу оттяпали, то — Финляндию, то — Кавказ, то — Бессарабию, то — Камчатку, то — Прибалтику. Спору нет, самоопределение народов, интересы цивилизации, историческая необходимость и все такое прочее, десятое. Но... но... как все это печально, безотраднo и жестоко. Выходит и на самом деле, что нас хотят обратить в удобрение для других народов...

У нас, слава Богу, все по-старому. Я служу в Отделе Изобразительных искусств, Саша — по автомобильной части (и много работает). Оля поправляется от инфлуэнцы, а Ася — ну, ее ампула тебе хорошо знакома...

Ася, Оля, Саша целуют вас всех. Так пиши, Ленчик, — хоть два слова...

А я все лежала и лежала.

Действительно, у меня никаких перспектив не предвиделось: после гриппа температура не падала

Перед заболеванием я читала в семинарии Жебелева апокрифические деяния апостола Павла и Феклы. Жебелевская книга с греческим текстом так и застряла у меня. Я, от нечего делать, вчитывалась в этот текст. Он пленял меня. Еще бы! Деяния начинались с того, как Фекла замороженно внемлет своему учителю, Павлу. Апокриф говорил мне. Я ощущала его любовный, языческий аромат, его художественность. Бороздин, Жебелев, Толстой, Буш⁴. Мои учителя. Все привело меня к Фекле и поставило у ее окна.

В марте я начала ходить, но была очень слаба.

Апокриф о Фекле, оставшийся у меня на руках так случайно, сыграл такую же решающую роль в моей жизни, какая часто бывает у случайностей. Я стала им заниматься.

Я работала в рукописном отделе Публичной библиотеки. Задача у меня была текстологическая. Я изучала рукопись, сличала, обрабатывала; выяснилось, что важные для меня рукописи находятся в Москве. Проделав всю здешнюю работу, я доложила о ней Бушу... Он был поражен и заставил меня сделать доклад на своем семинарии.

Подумать только, что я получила на дом бумагу, подписанную самим президентом Академии, и каким! — Шахматовым!⁵

Вот она:

«26 мая 1920 г.

Милостивая государыня, Ольга Михайловна. Имею честь уведомить Вас, что Отделение русского языка и словесности, по ходатайству В. В. Буша, постановило выдать Вам тысячу рублей на поездку в Москву для ознакомления с несколькими рукописями, содержащими апокрифическое сказание о св. Фекле».

Но каково было мое душевное состояние, когда это письмо, и деньги, и доверие пришли ко мне, смертельно больной!

Потому что в мае я заболела снова. Появился кашель, ночной пот, температура, сильная слабость. Пришлось пойти к профессору. Раздев меня, продекламировав из Гомера по-гречески и ощупав под мышками, он воскликнул: «Туберкулез». Затем он заговорил о скоротечной чахотке, о том, что в данных условиях никаких советов у него для меня нет. Уехать? Не поможет. Срок моей жизни он определил примерно в один месяц.

И в это время — письмо от Шахматова. Ни о какой поездке уже нельзя было и думать. Я лежала без сил. Но самое главное — я потеряла работоспособность. Подъем, надежды, бескрайние горизонты и новое открытое счастье рухнули внезапно, сразу навсегда...

Отец был смертельно болен, лежал в постели, не вставал. Он страдал жаждой и вкусовыми капризами, которыми терзал маму. Ужасно было ее положение с двумя тяжелобольными, без денег и перспектив

1 августа 1920 года папа скончался.

У меня не было настоящего великого горя. Оно было поглощено ужасом пережитых лет, месяцев, дней, последнего свидания с ним в больнице.

Л.О. ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва. 11 сентября 1920.

Дорогая Ася, дорогие Олюшка и Саша!

Отчего вы не пишете? Отчего ты, Ася, мне не напишешь?! Здоровы ли вы? Олюшка, ты могла бы сделать усилие над собою и написать — от Сашки я не требую — он написал мне — он занят. Мое письмо вы, верно, получили... Все же имею основания и данные в такое и без всего — тяжелое время — быть осведомленным хотя бы в форме внешне-официальной. С какой угодно точки зрения, дорогая Ася, я не могу ни понять, ни оправдать твоего ко мне отношения в этом смысле. Мы с тобою не в том возрасте, не в такое время живем и взгляды на самые важные моменты жизни и естественный, — а у многих желанный ход вещей, — чтобы оправдать невозможность общения с людьми столь близкими даже по прошлому нашему — моему с покойным Мишей, быть может, единственным после покойного Карлуши, — истинным другом по родству нашему. Я не знаю — или время и возраст это делают — но я только как-то иначе стал воспринимать — потери близких и друзей — вести о которых то гут, то там приходят ко мне. И быть может, это потому, что я считаю это за благо. Я уже много раз писал тебе об этом... Это сознание, которое, вероятно, не покидало покойного в последнее время — величайшее достижение и утешение, с каким он нас покинул — на время...

Целую вас, да хранит вас Бог! Ваш *Леонид*.

Л.О. ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва 18 января 1921.

Дорогие Ася, Олюшка и Сашка!

Неужели никто из вас не может найти минутку для 2-3 слов. Пишу это как открытку. Мы все, слава Богу, живы, как и раньше и все по-старому, с той разницей, что расход переваливает уж и за миллион. У меня, слава Богу, достаточно всяких заказов, собственных затей и т.п., но все это выеденного яйца не стоит — это только нули, и страшные цифры миллион это только

сто рублей или меньше, а потому я всячески воздерживаюсь от продажи своих работ...

Жоничка, Олюшка, уже не служит вот второй месяц — напрасно ты думала, что я этого хотел, я всячески, пока еще могу, хочу, чтобы девочки учились. И они учатся, что это за ученье? Жоничка не довольна, и ей хочется за границу, она даже думает снова на службу, чтобы за границу с миссией и т.д. Я думаю, что это трудно и ей не удастся...

Начиная от бабушки, все-все вас целуем и тебя, Олюшка, прошу написать нам и да хранит вас Бог. Ваш Леонид.

Л.О. ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва. Весна 1921

Дорогие Ася, Олюшка и Сашка!

С праздниками, весной вас! М-лле Лифшиц передала нам лучшие приветы и уверенья, что ты, гадкая Олюшка, обманщица и надувательница, какими бывають только исключительно филологические образованные исследовательницы мифов, анекдотов, апокрифов и других никогда не бывалых вещей!.. Если ты унаследовала хоть частицу пастернаковского чутья улавливать на лицах собеседников, что за словами скрыто, ты по лицу М-лле Лифшиц уловишь, как мы тебя все ждали, ждем и будем ждать. И так ты докажешь в ближайшие дни, что приезд твой не легендарен, не мифичен и не апокрифичен, и без разговоров больше на эту тему!

Да! Вообрази — я и забыл — у девочек комната нанята на даче — если тебе в городе будет с нами скучно и ты захочешь непременно слышать настоящего соловья, то будешь с одной из них там. Ну — с тобой довольно: вешаю тебе на шею образок и благословляю на путешествие в Москву к белолицым, но красной крови.

Теперь речь моя к другому краснокожему — к тебе, дорогая старушка моя... Сколько я тебе нараскажу — приезжай обязательно к нам. Лично нам — мне то есть, ты будешь в помощь — как хозяйка и будешь помогать Розуле, она ведь больна часто и т.д. Ну, словом, мы еще поговорим. Спервоначала ты, Олюшка, к нам, а там и маму вытащим.

У нас, слава Богу, все и всё благополучно. Жоня все хлопочет на счет заграницы — но страшно трудно. Я также не бросил надежды поехать туда. Работаю много и наполняю этим жизнь.

Всех вас, дорогие, целуем. Ваш Леонид.

Мама порвала с дядей Ленчиком. Она не могла простить ему, что он после смерти папы не заехал к нам и, легально покидая Россию, не нашел возможности повидать маму и проститься. Правда, получив письмо, адресованное рукой Сашки, он понял его страшное содержание и предложил нам с мамой переехать к ним в Москву и жить с мальчишками (т.е. у Бори и Шуры).

С какой горькой гордостью мы отринули это приглашение!

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [Весна 1921 г.]

Дорогая Оля!

М-ше Лившиц все тебе передаст на словах. Когда мы увидимся, я скажу тебе, отчего я постоянно так отмалчивался. Если бы я стал распространяться о причинах в этом письме, я бы его доехал так же, как те, и его бы не стало. Но ты должна знать, что приехать тебе *обязательно надо*. Нам, узко, — нам вдвоем и нам, шире, семьей, надо о многом поговорить. Мне кажется, я мог бы тебе быть практически и житейски полезен. Лившиц говорит, у тебя командировка, и ты на этот раз серьезно к нам собираешься. Смотри, не раздумывай и поскорее приведи это доброе намерение в исполнение. Было бы непоправимо глупо и непростительно, если бы ты этого не сделала.

Не хочется ни о чем «говорить», как принято образно выражаться в письмах, в виду скорого бескавычного разговора. Ни о чем не пишу, потому что думаю, что Лившиц все, что нужно, расскажет.

Крепко целую тетю и Сашку.

Твой Боря

В 1921 году Петербург лежал пустой провинцией.

«Петербург прекрасен в заброшенности, — писала я Боре 15 мая, — с пустыми своими улицами, травой и полевыми цветами по бокам тротуаров. Длительные несчастья сделали меня оптимисткой. Как странно, что запустение родит приволье, из которого пробиваются цветы».

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, Волхонка 14 кв. 9 [29 декабря 1921]

Дорогая Оля!

У меня до сих пор лежит летнее письмо мое в ответ на твое издевательское и жестокое. Ты меня тогда не поняла и жестоко

высмеяла. Но я так устроен и так люблю твой *Humour* (это шире ведь, чем юмор?), что полез к папе и сестрам хвастаться тобой: каково, мол, отхлестала! И нашим нравилось, как ты меня отчехвостила, несмотря на то, что моего письма к тебе они не читали и следовательно судить о справедливости твоей карикатуры не могли. Т.к. для тебя не было бы приобретением усвоение более правильного взгляда на все то, что я в своем письме тогда разумел, а ты для меня не делаешься хуже от того, как на меня смотришь, то больше не будем этой темы касаться, а вот что.

Немедленно же, немедленно, прошу тебя, напиши мне, как вы все поживаете, тетя Ася и ты и Сашка, как живете и что ты делаешь. И ради Бога попроще (прости за варваризм). Промедление в этом отношении с твоей стороны очень меня бы огорчило и даже взволновало. Ради Бога, садись писать, не откладывая.

Где же я был до сих пор, скажешь ты, если мне так загорелось все это узнать? Оно и правда, да мне и самому неясно, зачем я предпочел месяцы провести в неосновательных пожеланиях вестей о вас и от вас, ни разу не сделав попытки заложить для этой мечты оснований. Не будь же строга в меру моей глупости, избери ее в мерку своей снисходительности.

Пусть тур эпистолярного контрданса замкнется до истечения года, я прошу тебя, поскольку это в силах — возможностях почты. А если новогодняя ночь ляжет промеж привета и ответа, то вот тебе и тете и Сашке мой поцелуй за всех шестерых, крепкий и молчаливо до краев налитый всей терпкостью невыразимого в его глухой силе пожелания, того, которое братается с фатумом и в своей фатальности сбывается, того, которое в живой своей горечи дает богатую цену правдоподобного оптимизма, того, которое видит будущее за теми, к кому обращено.

С Новым годом, Олечка!

Прости, что пишу тебе только сердечно, а не и содержательно вдобавок. Прости за небрежность. Я пользуюсь перерывом между двумя порциями новообразовавшегося за последние мои годы глухонемого безделья. Как глухонемые, эти приступы безделья и идиотичны кроме того. А я не хотел, чтобы письма к тебе пошли от идиотов.

Оля, прошу тебя, садись писать сейчас же. И не пиши *ответ* на письмо: т.е. не считайся с ним; что оно-де тебя огорчило или тебя порадовало. Оно ни на мизинец не должно урезать твоего

письма, став хотя бы вводной его темой, приступом, поводом или придиркой.

Пишут ли вам наши из-за границы? Ты знаешь, они ожили там, и письма родителей моложе адресатов и их глаз, которые тут их читают, стыдно сознаться. О себе не пишу. Это либо в скорости в очередном письме (за твоим), либо же еще как-нибудь.

Мне не хочется целоваться с тобою и тетей после того новогоднего объятия, которое было почти калечащим по иллюзии: оно размягчило мой почерк и заставило руку плясать.

Твой Боря

[Надпись на книге «Сестра моя жизнь»]

Дорогой сестре Олечке Фрейденберг
от горячо ее любящего

Бори

16.VI. 1922

Москва

Боря, женившись на Жене, приезжал с нею в Петербург к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее.

Боря приезжал к нам, всегда охваченный странной нежностью ко мне, и вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики. На этот раз он уже был женат, и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

[25 июля 1924]

Тайцы. Балтийской. Воскресенье.

Олюшка, дорогая моя сестра!

Ради Бога, не торопись говорить мне подлеца, не зови негодяем и выслушай. В минувшую среду от поезда к поезду я был в Петербурге и, не надо говорить, как меня подмывало повидаться с тобой. Физически это было возможно. У меня было три часа времени. Но я был неуверен в том, как ты, и в особенности тетя, встретите меня. Если уже от этих нескольких слов веет здоровьем, устойчивостью и благополучьем, то я просто писать не умею. Ничего подобного нет. Ничего нет, ничего не было.

Если бы я пришел, ты это прекрасно знаешь, то никогда не с тем, чтобы показывать и рассказывать что-нибудь. — Я ведь не

допускаю мысли, чтобы тебе или тете как-нибудь недоставало меня, но только оттого, что это чувство испытываю я к вам, оттого, иначе сказать, что в этой большой, далеко вглубь прошлого уходящей, еще продолжающейся, заторможенной на десять лет, тяжелой, невыносимой повести, которую мы признаем за нашу жизнь, вы — лучшие, любимейшие, глубочайшие главы. Я пришел бы, мы поговорили бы втроем, и я *засуществовал* бы вновь, с вами, за вас, ты все это знаешь.

И вот я боялся, что вместо этого всего будут Мони, Яши, Берлины⁶, обидные темы, недостойные комнат на Канале — и, дорогая Оля, о неужели заслуженные мной? В три же часа успеть подготовить письмом и потом прийти нельзя было, и я эту возможность упустил, обалделыми глазами следя за тем, как мимо трамвая бегут улицы города, который для меня летом есть город Оли, — город Оли и никакой другой.

Помнишь, тринадцать лет тому назад возвращались мы из Меррекюля. Помнишь, как звучали названия станций Вруда, Пудость, Тикопись? Мы их потом никогда не вспоминали. Они попадались, впоследствии в датировках Северянинских стихов. А ты мне тогда о нем рассказывала, на извозчике кажется, по дороге с вокзала. Помнишь? Помнишь все? Как тебя тогда папа, дядя Миша встретил! Как я любил его в этот вечер! Помнишь, Оля? Я поворачиваю голову в сторону и вглядываюсь в эту страшную даль. Точно недавно ударившим ветром это все за край поля отнесло, подбежать — подобрать.

Слушай, как чудно, как безрадостно чудесно. Я пишу тебе из Тайц, со станции, смежной с Пудостью. Ты — петербуржка, тебя этот язык Балтийской дороги не может удивить и привести в возбужденье, ты летами вероятно возобновляла прямо или косвенно звучанье этих чухонских заклятий. Но можешь себе представить, что делает этот словарь со мной. Вот как это случилось. К весне Женя измучилась и истоцилась до невозможности: надо тебе знать, что у нас ребенок, мальчик, зовут также Женичкой, она малокровна, кормила, изнервничалась, и материальные обстоятельства всю зиму у нас были прескверные. Вот она и отправилась к своей матери, где тоже свои незадачи, болезни, трудности. Летом ей сняли верх в две комнатки в Тайцах.

Я остался в Москве, чтобы поработать, написать Илиаду, Божественную комедию или Войну и мир и таким образом ра-

дикально поправить дела надолго. Надо ли говорить, что я с таким самочувствием и до Аверченки⁷ не поднялся, т.е. попросту ничего не сделал.

Тем временем я успел захворать, болел пустяковойшей ангиной, которая однако отозвалась на сердце, страшно скучал по Жене, и все никак не мог достать денег, чтобы оплатить квартиру за несколько месяцев, разделаться с долгами и к ним съездить. Теперь я наконец попал к ним в Тайцы, и вот тебе объяснение моего трехчасового пребывания в городе.

Первой мыслью моей было просить тебя погостить у нас, об этом бы я стал просить тебя на коленях, принимая на себя все обидные слова и клички, которые ты написала в Берлин. Скажу искользь, наверное ты права, наверное я мерзок, я этого не чувствую, не знаю за собой, но тебе лучше знать, что с того, что в моем опыте с тобой и с тетей ничего от неловкости, оплошности и т.д. нет, а только всегда порыв, волнение, интерес и преданность. Но это мимоходом.

Я собирался в город вчера, в субботу, но опоздал на поезд. Мне хотелось завезти тебя на воскресенье. Дело в том, что по приезде в Тайцы я увидел, что поселиться просто у нас тебе негде будет (ты сама увидишь), т.е. что тебе тесно будет, неудобно и отдыха никакого. Тогда же Женя стала подыскивать для тебя комнату поблизости и одна уже есть на примете, точно узнаем на днях.

Письмо это преследует одну цель. Напомнить о себе и о том, что пишет письмо не собака. Начинать с этого при встрече было бы тягостно. В середине недели (среда, четверг) днем буду у тебя. Был бы и раньше, но как сказано, до письма боюсь.

При проезде же настоящей причиной того, что не зашел, была невозможность видеть кого бы то ни было до своих, я по них сильно стосковался. Теперь они тут, и, начав письмо, об этом, забыл.

Крепко целую тебя, тетю и Сашу.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

[4 августа 1924]

Тайцы. Понедельник.

Дорогая Олюшка!

У меня болит горло и несколько повышена температура (37,4). В другое бы время я не обратил на это внимания и приехал в точ-

ности в назначенный час, тем более, что это для меня одно удовольствие и счастье победить твою несговорчивость насчет издателя⁸ и поездки к нам, но летом я очень провозился с ангиной, трижды возвращавшейся и отразившейся на сердце, что и делает меня до смешного осторожным. Слово тети о тяжести понедельника таким образом сбывается с неожиданной стороны.

Я приеду в город в следующий приемный день Современника⁹, т.е. в пятницу в три часа, как предполагал сегодня. Не сердись же на меня, если тебе из-за меня пришлось потерять два-три дневных часа, и ради Бога не наказывай меня за движение бактерий, которое не в моей воле.

Вот на всякий случай наш адрес: Тайцы Балтийской ж. д. Евгеньевский пер. 3, дача Карповского. Если бы ты собралась к нам до пятницы, это было бы для нас большой радостью. Жене мало тебя, она еще очень просит тетю и горячо вас обеих целует. От вас на Балтийский ходит трамвай № 2, остановка на углу Садовой и Гороховой, как ты мне говорила.

На сегодня у меня был такой план. Если бы мне удалось уломать тебя на завтра (вторник) к нам в гости приехать, то мы бы отправились с тобой на поезде, отходящем из города в 9 часов утра (по городскому времени) и для того, чтобы не проспять его и вовремя поспеть, я бы к вам ночевать напросился. Следующий к сожалению идет только во втором часу (1.40) по городскому, а это поздно, половина дня пропадает.

Ах, Оля, как жалко, что я тебя сегодня не увижу. Но если два часа назад у меня еще были колебанья и некоторая надежда, что может быть я все же поеду, теперь об этом и говорить нечего: у меня жар увеличивается.

Итак, если Бог даст, — до пятницы.

Целую тебя и тетю.

Поклон Саше и его жене.

Твой Боря

Окончив университет и перестав быть учащимся, я потеряла «социальное положение», без которого жить при социализме не допустимо.

Я металась в поисках опубликования своей работы¹⁰. К кому я могла взывать?

Марра¹¹ человек не интересовал. Он жил своей теорией, и человек становился ему виден, когда шла речь об этой его теории. Он прекрас-

но ко мне относился, и я у него бывала, и он читал мне свои работы, но ему не было до меня, как до живого человека, никакого дела.

Я писала с исступлением Боре, писала ему слезами и кровью. Я умоляла его помочь моей работе. Луначарский, наркомпрос², и Покровский, наркомпрос (не помню их соотношенья) хорошо его знали.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [Сентябрь 1924]

Дорогая Олюшка!

Не думай, что я о твоих делах забыл. Я с первого же дня стал наводить нужные справки, но пока ничего, на мой собственный взгляд, стоящего упоминанья не узнал. Твои предначертанья я исчерпал на третий же день по приезде.

Председатель Цекубу не Покровский, а Лавров, лицо мне неизвестное и совершенно для тебя непригодное, т.к. судя уже по тому, где и по каким делам он принимает, он в ученых, а тем более специально филологических, вопросах совсем некомпетентен. Мне сказали, что принимает он в учреждении, ведающем муниципальным и национализированным имуществом г. Москвы, т.е. это больше касается местных передряг по квартирным делам, нежели твоего дела. Но я ведь взялся не только тебя слушаться и по твоей записке жить, вот отчего и предпочел бы ничего тебе пока не писать. Если я еще не посылаю тебе телеграммы о выезде, то только оттого, что сейчас почти все нужные люди в отпуску. Я говорил с Женей о том, что всего лучше было бы тебе сейчас уже к нам приехать, потому что походя, при разговорах и упоминаньях ты возбуждаешь тут большой интерес, а вообще говоря среда моих частных знакомств непосредственно и постепенно переходит в ту, которую составляют люди с полномочьями и влияньем.

Женя меня разбранила, говоря, что как ты тут во всякое время и на любой срок желанна, должно быть известно и маме и тебе, и что не в этом дело, а в том, что ты с тетей Асей без экстренных оснований разлучаться несогласна. Если дело действительно так обстоит, то это очень жалко. Если же ты могла бы отлучиться недели на две, то я был бы на седьмом небе от счастья и стал бы тебя звать уже и сейчас.

Между прочим твое недовольство Кубу разрешимо по установленной форме. Можно протестовать о дисквалификации. Заявленье о повышении квалификации подается в местное

Кубу (значит ЛенКубу) с приложением отзыва двух членов Кубу по данной специальности не ниже 4-й категории.

Но мне хочется для тебя совсем другого, и хотя я ясно не представляю, чего именно, но продолжаю действовать в принятом направлении, в котором и надеюсь достигнуть обязательно чего-нибудь радостного, конкретного и по размерам вполне тобой заслуженного. На днях напишу тебе еще и о том, как мы приехали. Все в наилучшем порядке.

Крепко тебя и тетю Асю целую.

Твой Боря

Женя будет на меня сердиться, что отправляю письмо без нее и ее приписки. Но это и не письмо вовсе, и пишу я второпях. Поговорим по-человечески в следующем. Но ты знай, что каждый день занят чем-нибудь и из твоих дел.

1924 год был, как известно, годом наводнения. Это тоже принесло ужасные переживания. С утра пушки объявили о приливе воды. Ветер страшной силы ревел и бушевал. Наш канал наливался изнутри, снизу, водой. Она рвалась волнами и металась в узких стенах водоема. Почему-то все люди кинулись в булочные, и среди исступленных была и я. Наполнялся водой двор, наполнялись улицы. С канала уже нельзя было войти. Я еще успела, с бьющимся сердцем, пробраться через Казанскую (наш дом – проходной). Мама с ума сходила в поисках меня во дворе. Вот канал расплескался по набережной. Город стал обращаться в сосуд. Вода поднималась со дна к небу. Мы стояли у окна и видели, как исчезали этажи. Хотя наша квартира на четвертом этаже, чувство ужаса было непередаваемо. Не верилось в пределы. Мне казалось, что либо дом рухнет, либо вода ползет вверх беспредельно. Мама волновалась больше по части вселения. Я умоляла ее отправиться к соседям выше, на пятый этаж. Хотелось людей. Отдельными точками карабкались по воде несчастные человеческие фигурки. Позже появились лодки, но их было очень мало. Страшное чувство рождалось при мысли, что человек бессилен, что никакое государство не может организовать помощи во время такого бедствия.

Никогда не забуду утра следующего дня. Стояла райская идиллическая погода. Голубое небо. Солнце. Безветрие. Покой и радость в природе... Я ходила по улице в полном опустошении от пережитого. Гармония жестокой стихии потрясла меня не меньше, чем ее разнуданная свирепость. Я не умела прощать мучительства. Мостовые лежали наизнанку, улицы трепетали. Каким страшным и коварным казался садист-небо!

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 28 сентября 1924

Дорогая Оля!

Как сильно и выразительно ты пишешь! Не бывши там, я с твоих слов все увидел и пережил и потрясся! Странное совпадение. Точно столетний юбилей того наводнения, что легло в основу Медного всадника. И это совпало со столетием ссылки в Михайловское.

А тут — бабье лето, по зною и духоте не уступающее настоящему. И сквозь пыль, летящие бумажки, серые бульвары, вновь поехал в полные зною, сору и бестолочи комиссарьяты — твоя правда — во главе экспертной комиссии — Покровский. Но ты очень заблуждаешься, если думаешь, что это что-нибудь для тебя значит. По каким дням принимает? — Никогда и никого не принимает. — ?? — А по какому делу. — Излагаю, приблизительно, с дозволенной степенью приближенья. — Подать заявление в местное Кубу. Если речь идет о Ленинградском, то тем паче: оно обладает и компетенцией высокой и полномочьями, равносильными Цекубу — это все провинциальное отделение. — Да я не про то, да вы послушайте и т.д., и т.д. Посоветуйте Вашим знакомым написать в экспертную комиссию сюда, если, как видно из Ваших слов, это дело исключительное; тогда, в меру исключительности, оно, быть может, дойдет до Мих. Ник-ча. Мы рассмотрим.

К чему я пишу это тебе? К тому, чтобы ты не упорствовала на своем отношении к этому делу, вернее, на одной детали своих планов или предположений. Чтобы ты знала, что такого порядка, который готов, и тебя ждет и эмбрионально заключает возможность разрешенья твоего дела — нет.

В моих расплывчатых, и, может быть, требующих недели времени, и твоего присутствия представлениях гораздо больше опыта, знания обстановки и чутья, чем ты думаешь. Приезжайте вдвоем с тетей Асей! Ну чем это невозможно или трудно! У вас будет отдельная комната. Мы будем действовать с тобой во всю. Представь, я мог бы ворваться к Покровскому. Но этот прорыв имел бы смысл только с тобой. Когда ты будешь тут, мы многого, мы и многого другого добьемся.

Вот мы хотим тут все порядки Кубу вверх ногами поставить, а для твоей поездки, что, объективно рассуждая, гораздо легче, требуется повод, зацепка, основание, вызов. Но ради Бога, выезжай без вызова, — завтра, послезавтра. Стань на ту точку зрения, что ты отправляешься пожить у нас и познакомиться с той частью Москвы, с которой тебе познакомиться будет полезно. Твой взгляд на очную ставку, на красноречивость внезапного визита вполне правилен. Но тут-то ты только или я с тобой и увидим, кому и когда и какие визиты надо нанести, т.е., иными словами, почвы щупать тут не приходится, все готово, и я бы даже мог соврать тебе с преспокойным видом: Покровский дескать принимает по средам от двух до трех, — и в среду утром на Волхонке 14 кв. 9 (вход со двора, трамвай 34), обман бы этот обнаружился, а в пятницу вечером мы бы пошли к Луначарскому или не к Луначарскому, потому что до пятницы мы еще бы кого-нибудь увидели, и у того бы блеснула гениальная мысль, и этот «тот» бы, конечно, был во всяком случае коммунистом, сведущим, знающим и пр. и пр. Это построенье тем естественно вырастает передо мной, что ты мне всячески запретила идти путем ходатайств и просьб за человека, с целью улучшения той или иной его участи. Что речь идет о деле, говорящем за себя и о человеке, ни о чем другом говорить не желающем.

Вначале ведь и тебе это все представлялось в таком свете. Ты помнишь, как говорила о том, что впоследствии за пятнадцатым сентября. Потом изменилось. Да кстати, если на этот вопрос ты мне не ответишь уже устно, с глазу на глаз, — скажи, напиши, что нового у тебя с диссертацией? Вернулся ли Марр? Когда ты будешь защищать ее? Или все осталось в той формулировке, за какой мы с тобою расстались?

Если Покровский — виденье Жанны д'Арк, то ему конечно надо довериться. Я в навязчивость таких представлений верю и сам многим их силе обязан.

Как странно, что ты еще не тут! Какая глупая переписка! Но отпуск ты должна взять минимум недельный. А что б тебе тетю Асю уговорить? — Но какие вы малoverы! Это мы-то забыли вас?!

Итак, — Б. Конюшенная, второй или третий дом по левой, с Невского, стороне, городская касса Октябрьской жел. дор., 2-й этаж, окошко, кажется, 21, плацкарту на *спальное жесткое место* до Москвы в *ускоренном*. В Москве, конечно, остановка трам-

ния 34, несколько левее выхода вокзального, против смежного с Николаевским, Ярославского вокзала.

Против ваших, в особенности тетиных, ожиданий въехали мы в квартиру, олицетворяющую чистоту, порядок, внутренний мир и тишину, и сделано это было как раз руками соседей, и никаких у них нет бород, и ничем у них не пахнет, и все это было, когда еще чистая сволочность нашей породы не знала никаких смесей и мерила были непоколеблены. Теперь же, на мой грешный и еще немного сволочной глаз, наша квартира Лицей Στοα ποικυλη*, пропилен в сравнении с Ямской. Здесь ждал меня сюрприз, в форме случайной и неожиданной, обостренной предшествующим контрастом.

Когда с остатком от проданной медали в кармане¹³, с договором с Ленгизом на книжку прозы, для которой я должен написать новый рассказ (и тогда окупится все старое), которого я не напишу, потому что перестал понимать, что значит писать, когда с этими отрадными вещами и ощущениями в левом боку я подскакивал на телеге с десятью местами багажа и глядел на Москву, словно ветром вытащенную в сентябрь из мукомольного амбара — смертельно жаркую и серо-белую, всю в глицериновых каплях мух и пота, я собственно не понимал, зачем я гут и что все это значит. В сумерки мучной характер миража сменился мышинным, измученность взяла над нами верх, мы впали в стадию святости и легкой походки, какая бывает после бессонницы.

Естественно, что с этим Тютчевским «изнеможением в кости»¹⁴, толкнувшись к друзьям и знакомым, среди которых много всякого такого от «юного племени», я пооткрывал, что дело дрянь — кто поохладел, а кто и вовсе врагом стал, — знаешь ты это ощущение, когда вдруг кажется, что начатая глава кончилась и, словно без тебя, в твое отсутствие ее дочитали, и надо новую начать, тебе надо, и будет ли — так вот, в таких духах я встретил первый вечер. И всегда я теперь боюсь Сашкиной нумизматики. Что твой упадок тебе вычеканят с полной художественностью, и твою грусть поймет лучше всех и разделит (на себе ощутив) твой кошелек. Надо ли говорить, что я тут разумею то, как флюиды отражаются на бюджете? И твое душевное

* Цветной праздник в Афинах (*греч.*)

состоянье станет *физической* действительностью для двух ни в чем не повинных Евгениев.

Прескверная и неотвратимая метаморфоза. — На другой день утром по телефону я узнал, что вещь, о которой я давным давно и думать позабыл, перевод пятиэтажной, сорокаведерной, во сто лошадиных сил, похожей по объему на оба дома на Троицкой, комедии Бен Дженсона (171 стр. в лист ремингтонного шрифта) принята к изданию в Украинском Госиздате (Харьков)¹⁵. Это несколько освежило нумизматические центры. Я отправился *sur le champ** в представительство Издательства.

Сходя с трамвая, я инстинктивно взялся за голову. С афишного столба на меня глядел «Алхимик», выведенный аршинными буквами. Он же смеялся надо мной с заборов. Я подошел к столбу, откашливаясь, в убежденьи, что где-то кто-то ставит комедию, о которой я сейчас бегу договариваться через три дома налево, конечно, как бывает, как *должно* быть, *не в моем* переводе. Но как очистились и освежили упомянутые центры, когда рядом с именем режиссера я увидел свое!¹⁶

Замечательно, что эти факты ни в какой связи между собой не находятся, ничего общего между постановкой и печатаньем нет, и друг о друге они даже и не знают. Я готов поспорить, что это совпадение, что эту чепуху породила за ночь моя беспросветная неутешность, и я сделал большую ошибку, успокоившись после афиши. Не расстанься с пессимизмом я и тут, я убежден, душевный мрак стал бы порождать случай за случаем, подобные названному, и, может быть, за исчерпанностью форм применения, Алхимика стали бы в этот день пить, курить, употреблять в качестве шин для автомобилей, ставить в кино, применять в политике и в виде почтовых и гербовых марок. Но я поторопился успокоиться.

Когда по многим личным основаниям, в связи со справками для тебя, с особенною же легкостью на генеральной репетиции, ко мне вернулось утраченное сернистое настроенье, оно уже оказалось стерильным и неплодным. Алхимика не только не разыгрывают в лотерею, не только не шпигуют им гусей, но и ставить-то его вероятно будут недолго, и во всяком случае с убывающей частотой: он поразительно скучен и глуп на сцене,

* Тотчас же (*фр.*)

несмотря на то, что режиссер сделал из него фарс, и фарс этот актеры играют совсем недурно. Вероятно виноват бедный Бен. Перевод мой хорош. По моему крайнему разумению все, что мог, сделал и режиссер. Но вещь не сценична. Это та форма домольеровской комедии, все движенье которой сводится к последовательной экспозиции характеров и фигур. С этой стороны вещь, и особенно в чтении, обладает крепостью своего рода. Но я кажется забываю, что пишу письмо, и, может случиться, что предисловье к изданию начну словами «Дорогие тетя Ася и Оля! Часто ли к вам ходит Юлиус?»¹⁷ Бен Джонсон, современник, приятель и литературный антипод Шекспира и т.д., и т.д.».

Приезжай, Оля, вот все, что можно сказать, приезжай, и думаю, мы об этом не пожалеем. Свиданья с Покровским, я думаю, мы добьемся, в особенности при твоём убеждении, что это правильный путь, и что «войти» к нему ты сумеешь. Во всяком случае я твоего дела не оставляю, и если у тебя еще нет билета на поезд, напишу на днях. Ты же в свою очередь извести меня о состоянии своей диссертации, и не раздражайся, если что в моем письме тебе покажется недостаточно живым и порывистым. Я пишу в конце дурацкого дня, немножко устал и вообще — писать не умею.

Дорогая тетя Ася! Спасибо за золотые строки! Все мы крепко обнимаем вас обеих и любим.

Ваш Боря

В последний приезд Бори я умоляла его помочь мне хотя бы переводом Фрезера. Он взял меня к Тихонову, который ведал чем-то большим. Но представил он меня так, что тот не обратил на меня ни малейшего внимания. Боря как раз находился в периоде бесплодия, ныл и жаловался. Ему было ни до меня, ни до кого на свете. Вскоре я ему писала:

...С Тихоновым чушь. Была относительно Фрезера. Его нет; секретарша сказала, что ответ из Москвы гласит: ничего нельзя говорить пока о «Козле отпущения», ибо надо посмотреть, как я переведу «что-то золотое», на перевод которого я, мол, тоже подавала заявление. Ничего толковей сказать она не могла, хоть лопни. Золотое что-то — это «Золотая ветвь», но все его работы носят это общее заглавие, имея и подзаголовки. Я иных заявлений (кроме того, что велел Тихонов) не подавала. Мне ли пору-

чен перевод первого тома? Какова моя роль? Она объяснить не может, до А.Н. не добраться. Как ты полагаешь мне поступить?)...

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 6 октября 1924

Дорогая Олюшка!

Что же ты не едешь? Каждое утро около 11-ти мы ждем, вот постучатся, откроем, и ты войдешь. Прием у Луначарского тебе обеспечен, к Покровскому не советует человек, очень близкий Луначарскому. Кроме того узнал, что ваш Кристи¹⁸ большой друг Луначарского. Ты во всяком случае письмо от него к кому бы то ни было из них получишь. Итак, приезжай не откладывая. Женья и то меня бранит, что все тебя нет, словно я виноват.

Не мешало бы тебе захватить рекомендательное письмо (или осведомляющее) от акад. Марра: ты не становись на дыбы и выслушай. Дело в том, что я эту публику знаю и знаю, насколько *привыкли* они к чудесам во всемирном масштабе; только этим они и занимаются ведь все семь лет; вот почему им и примелькалась исключительность, как разряд, они верят тебе и не верят. Тебе кажется, что самого указания на факт *докторской* диссертации достаточно, чтобы сделать из этого должный вывод. Они могут не желать этот вывод делать по своей воле, и ради экономии энергии было бы неплохо, если бы этот вывод о значительности твоей работы делался ими под давлением чьего-нибудь компетентного суждения или во всяком случае стимул для вывода исходил не от нас, для того, чтобы с тем большей свежестью мы могли добиваться всех остальных практических заключений.

Кроме того обязательно захвати с собой работу. Ведь ее надо издать. Легко может статься, что здесь зайдет об этом речь. Требование это совсем очевидное и не нуждается в объяснении. Есть ли у тебя «Золотая ветвь» Фрезера? Если есть, привези ее обязательно и «Козла».

Я не пишу тебе ни о Госиздате, ни о Кубу, надеясь на твой скорый приезд, которому помешать может одна лишь защита диссертации. Не сердись за промедление в переписке: не привожу причин. Ты приедешь и сама увидишь, как я живу и как у меня проходит день.

Целую тебя. До скорого свиданья.

Твой Боря

Дорогая тетя Ася! Что же Вы не гоните Олю в Москву? Если в ее академической судьбе не приключилось какой-нибудь от-радной новости, которая ее привязывает к городу, то ей давно следовало бы быть здесь. Перед ее поездкой, взгляните здраво и объективно на то, чего ей в первую голову хочется добиться, и логика, чутье и знание жизни подскажут Вам, как ей следует ехать. Являться, например, без работы или сведений о ней, значит продешевлять или ронять себя.

Но ведь разговаривать с Вами разумно, значит быть заподоз-ренным в холоде или измене. Ну, Бог вам судья. По счастью, Оле достаточно приехать сюда, как и с чем угодно.

Итак, мы ждем ее. Комната ей давно готова.

Крепко Вас обнимаю.

Ваш Боря

Крепко целую тетю Асю. Олечка, приезжайте поскорее.

Женя.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 11 октября 1924

Дорогая Олечка!

Что же это все значит? Здоровы ли ты и тетя? Прошу тебя, ответь поскорее.

13 октября 1924

Я собственно не знал, что дальше писать, и это должно было бы скорее служить текстом телеграммы или во всяком случае и всего прежде — почтового перевода. Я очень хорошо и скоро по-нял, что мерзко с моей стороны слать тебе письма с запросами, и увидел, у какого почтового окошка место мое в этой переписке о переезде. Это фатально, что до сих пор я перед это окошко встать не волен.

Сегодня пришло твое письмо, которое, несмотря на свою высо-кую содержательность и насыщенность сюрпризами, ни в какой мере не было для меня неожиданностью. Из него я вывел заключе-ние, что через неделю-другую ты заявишься к нам, — таков смысл приписки, с другой же стороны и у меня за эти полторы недели, быть может, несколько прояснится горизонт. Мне больше ничего прибавлять не хочется, желаю тебе от всей души полного и заслу-женного успеха. Побывать в Москве тебе обязательно надо, и, судя по твоим заключительным словам, это не за горами.

Назначенье настоящей записки сказать тебе, что твое пись-мо во всем и по всем статьям дошло по принадлежности. В са-

мом непродолжительном времени я, может быть, сообщу тебе что-нибудь более ...* и отрадное. Ты и сама не знаешь, какая счастливая случайность, что ты мне написала это письмо и так написала. Знаменательный по исчерпывающей отчетливости и определительности документ. Его значение еще как-то или в чем-то скажется.

Итак, до скорого свиданья, до ближайшего отчетного (с моей стороны) письма, где будет уже дело, а не чувствительная словесность.

При всей скромности наших трудов и дней нам однако не на что жаловаться. Мы здоровы и благополучны, хотя призрак всевозможных болезней похаживает вокруг да около, в непосредственной близости от мальчика. Не посчастливилось той комнате, которую я в этом году поступил для молодого поколения¹⁹. Несколько дней в ней лежала прислуга соседей, больная брюшным тифом. Ее сменило трое вселенных студентов, из которых один похож на водолаза, так как у этого Митрофанушки голова сплошь обмотана полотенцами и лицо скрыто марлей у него экзема по всему бытию. А комната эта, уставленная теперь койками и благоухающая смесью естественнейших запахов с махоркою и карболовой кислотой — проходная на пути в кухню, к воде и пр. и смежная с мальчиковой.

Вчера, хлопоча за одного невинно сосланного мальчика²⁰, попал в Кремле в квартиру, где дифтерит. Однако, как говорили в старину, Бог милует и проносит.

Мальчик охрип, ежедневно на все лады выводя «тотя Уоля». По странности у него образовалась прочная ассоциация: 1) тети Асиной фотографии у нас на стене, 2) яблока и 3) слов тудль дудль. Мальчик совсем уже вырос.

Крепко тебя и тетю целую.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва. 2 ноября 1924

Дорогая Олечка!

Что у тебя нового и как вам живется? Последний вопрос очень меня тревожит. Как твоя диссертация. Хотя, кажется, и не полагалось мне писать до твоего циркуляра, но вовсе не из

* Край листа оборван.

повиновения тебе я был все это время так молчалив. Я и сейчас не прервал бы молчанья, когда бы не беспокойство за вас и желание узнать, как твои дела. Писать же, значит писать о себе. Всего менее я стал бы это делать сейчас. Опять это не та жизнь, которую я себе наметил.

А все началось так чудесно. Я нашел работу, которую не назыву службой только оттого, что она — сдельная, и я не включен в штаты. Во всем же остальном это самая настоящая должность. В своем роде она даже приятна. Я получил работу по составлению библиографии по Ленину, и взял на себя иностранную часть. Для этого хожу в библиотеку Наркоминдела, где получается большинство иностранных журналов, и тону в них и захлебываюсь статьями, рецензиями и публикациями с десяти до четырех.

Того, что от меня требуется, всего в них меньше. Но мимоходом просматриваю множество интереснейших вещей: по отношению к которым «Современный Запад» с Прустом и Сати лишь отражение в малой капле. Так было с месяц назад, когда я соразмерил все потребности жизни и свои собственные чаянья с величиной этого заработка, с размером остающегося досуга и со сделанными долгами, с двумя договорами, по которым я должен был получить деньги из Харькова и Петербурга, и очень порадовался возможностям и вероятиям, представившимся мне при том.

Я тут же раскрыл Гамлета и принялся за его перевод, — замысел, который у меня откладывался годами. О предположеньях оригинальных не хочу говорить — их смутным ощущеньем всегда бываешь полон. Но тут это не было похоже несколько на пассивное и темное колыханье непроверенной потенции. Нет, вновь, как когда-то очень давно, все это представлялось делом каждого дня, перспективой постоянных и регулярных, ежевечерних осуществлений.

И вот еще Горацио не успел усомниться в действительности появления тени, как из Харькова, а вслед затем и из Петербурга, пришли отказы от договоров, из которых один находился в стадии заключения (на Алхимика), а другой на прозу, был уже и подписан Ленгизом и мной, в мою бытность у вас — оставалось только рассказ один им дослать и деньги получить. Ты легко себе представишь, насколько тверды были мои расчеты на эти поступления: что может быть надежнее аффирмированного договора, — так было по крайней мере до сих пор. С «годо-

вой росписи» скинули таким образом до 100 червонцев, в общей сложности.

Ты сама догадаешься, что со дня получения таких известий я и внешне изменился и из Наркоминдела стал приходиться в 9-м часу, — хорошо еще, что там библиотечарши сменяются и читальня с 10 до 8-ми открыта. Было бы прямо спасением, если бы принцип сдельности проводился на манер чистых математических пропорций. Но боюсь, что тут имеются абсолютные критические пределы, выше которых отработанного не исчисляют. Боюсь также, что критический этот предел просто совпадает с тем, что мне было предположительно предложено. Думаю, что больше ста двадцати рублей в месяц мне не отработать и при двойной работе.

Но так как все равно дома после пяти я ни о чем, кроме как о вероломности случая, думать не в состоянии, то я предпочитаю забивать эти часы еженедельниками, трехмесячниками, ежегодниками и прочим. Вот как обстоит у меня дело, и когда я возвращаюсь домой, то «обои» Жени уже ложатся спать. Конечно, я все усилия приложу к тому, чтобы это положение изменить и дело поправить; да и хотя не хотя, все равно придется, библиографией мне и долга Фене (Жениной няне) не покрыть: я ей, не считая жалованья, должен 120 рублей.

Чтобы сразу с этой темой покончить, прибавлю, что жаловаться мне не на что. Я сам во всем виноват, на службу следовало уже поступить прошлую зиму. И еще скажу, что несмотря на все «вышеописанное», я внутренне себя чувствую так хорошо, как уже давно не запомню.

А теперь, таким образом, избавившись от ваших вопрошающих взглядов и их удовлетворив, кончу тем, с чего начал. Напиши про себя и про свою работу. Все, когда-то сказанное тебе о твоём приезде и прочем, остается в силе и в ней только еще приобрело. Никакого отношения моя информация до наших осенних планов не имеет. Чем грустнее мне, тем больше вероятия, что эта грусть при твоём появлении пройдет. Чем больше у меня причин возмущаться широтою госиздатовских телодвижений, с тем большим возмущением я брошусь в разговоры о тебе и за тебя.

За сим, как писали, прощай. Крепко тебя и тетю целую.

Я защищала свою работу 14 ноября 1924 года. Оное событие происходило в холодный петербургский день, в университете, в зале совета, который тогда находился на третьем этаже главного здания.

Зал полон незнакомых людей.

Я в первый раз вхожу в ученое собрание. Никогда не бывала и не видела никаких заседаний. Никогда на людях не читала. Никогда не видела прений.

Держусь спокойно, в том высшем спокойствии, какое стоит волненья.

За большим торжественным столом члены совета, вся старая профессура, далекая, страшная, непонятная. Меня просят сесть напротив, спиной к публике и лицом к президиуму и оппонентам. Холодно. Все одеты.

Марр, очень хмурый, садится посредине. Рядом Ильинский, ученый секретарь, зачитывает документы. Я произношу краткое слово на чисто теоретическую тему.

Начались прения. Первым говорил Жебелев, очень спокойно, домовито, по-хозяйски. Он начал со своего профанства, сразу отгородившись от ответственности. Я резко разоблачила своего учителя. Зал натянулся, как пузырь. Вторым говорил Толстой. Он все отрицал в моей работе, все порицал.

Возражения Толстого пробудили в Марре все его внимание. Он жил, дышал, участвовал каждым биением своего пульса в происходящем. Он усмехался, мне подмигивал, в Толстого бросал реплики.

Тогда взялся распарывать мне кишки Малеин²¹. Со злобой, издевательски, он принялся уличать меня в ошибках, — я настаивала на том, что он, как и Толстой, принимают за ошибки новые принципы. К этому времени зал был полностью наэлектризован.

Официальные оппоненты кончили. Теперь идут страсти из публики. Уже несколько часов шла борьба неравных сил. Когда слово взял Франк-Каменецкий²², я почувствовала страх.

Эти не были страшны. Страшен только он.

Он сказал: «Если бы это я прочел десять лет назад, вся моя научная работа пошла бы по совершенно иному пути».

Он говорил умно, светло, научно, всецело поддерживая меня. Марр счастливо и жадно слушал, весь — сплошное одобрение.

И вдруг я поняла, что это друг, что это высокая похвала — мне. Как краска заливает лицо, так горячее счастье залило мое сердце. Я поняла, что выиграла эту битву в каком-то очень большом и настоящем плане. Остальное меня не интересовало.

Марр бесцеремонно закрыл прения. Он встал и зачитал написанные им самим слова резолюции. Там, в сильных выражениях говорилось о том, что «принимая во внимание совершенно новые, прогрессивные»... я уж не помню что, — но принимая во внимание что-то необычайно хорошее, ученый совет присуждает...

Я ничего не успела запомнить, как Марр, зачитывавший это стоя, сам (вместо ученого секретаря) в мгновение ока кивнул налево и направо, сказал «возражений нет» – и закрыл собрание. Никто не успел опомниться.

Л.О. ПАСТЕРНАК – Б. ПАСТЕРНАКУ,

Берлин, октябрь 1924

Так как я хотел тете Асе что-нибудь уделить, то пока пошли сто рублей ей – (сразу мне больше трудно, да и ее это отпугнет; еще лучше было бы, если бы не от меня – а если бы тебе удалось сказать, что от тебя – ты-де получил за свою старую работу – что-нибудь в этом роде. От меня ей будет очень трудно взять – а потому пусти в ход всякую хитрость).

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [19 ноября 1924]

[Отрезной купон к почтовому переводу на 100 руб.]

Дорогая тетя Ася!

В закрытом письме я более подробно напишу о том, как папа меня упрасивал скрыть от Вас происхождение этих денег из боязни, что Вы его обидите и их не возьмете. Живое чувство подсказало мне его в этом отношении не слушаться. Уже с месяц назад он поручил нам продать одну его картину, и только теперь это удалось сделать. Вырученная сумма в частях получила разное назначение. Сто рублей он просил переслать Вам.

Что у Вас и у Оли слышно? Скоро напишу.

Целую. *Ваш Боря.*

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 ноября 1924

Дорогая Олечка!

Спасибо, что ты тотчас же написала мне. Я твое письмо прочел с большим волнением. Ты молодчина, что смотришь на все стрясшееся как надо. Я легко, по личному опыту, представляю себе, с каким чувством ты думаешь о Марре и Франк-Каменецком. Но сколько тебе пришлось выстрадать в этот день! Мысленно сравнивая тебя с собою, я с радостью нахожу в тебе твердость и мужество, мне в такой форме и в такой степени не свойственные.

Если я верил в тебя раньше, если картина диспута, в своей природе понятная и естественная, эту веру поддерживает и объективно подтверждает, то она особенно возрастает от того, как ты на этом позорище держалась и как судишь, вспоминаешь и пишешь о том. Завидная преданность своему назначенью и в своей непоколебимости — знаменательная и многообещающая. Так и почти всегда только так открываются поприща с большим будущим, — ты это не хуже меня знаешь, потому что читала во всяком случае больше моего.

Вероятно ты теперь отдохнешь и некоторое время никаких планов строить не будешь. Я хотел тебе предложить на это время приехать к нам. Если хочешь и тебе удобнее провести его дома с тетей, а приезд к нам связать с возобновленьем этих планов, будь по-твоему. Мне очень тебя хотелось бы видеть, и ты знаешь, как я тебе буду рад. То же и о Жене. —

Что касается меня, то я мало и редко бываю дома и томлюсь по воскресеньям, когда представлений не даю. Мне нравится мой быстрый, механизированный машинный день, свинченный из службы, из дел и занятий, связанных с ней и из множества других хлопот, с ней не связанных, и касающийся до дома, до сношений с людьми, исполненья всяких просьб и поручений и пр. Я как игру переживаю всю эту гонку и с увлеченьем, словно фигурируя в каком-то сочиненном романе, изображаю взрослого, вечпо торопящегося, лаконического, забывчивого и скачущего из ведомства в ведомство, с трамвая на трамвай. Вот о чем я говорил тогда у вас, я вовсе не «слиянья» хотел, а именно этого.

Я получаю 15 червонцев в месяц, если бы не долги, это было бы три четверти того, что нам нужно. В будущем, думаю, мне и работать удастся. Дай Бог, чтобы в этом отношении я не ошибся. А пока что, должен сказать, я провожу день в непрерывных наслажденьях, ибо, повторяю, наполненность дня густою сетью несложных и стремительных пустяков меня чарует. Бездарная эта горячка все-таки больше похожа на бывалую горячку духа, которая сделала меня поэтом, нежели то вынужденное бездействие, в какое я впал в последние два-три года, когда узнал, что индивидуализм ересь, а идеализм запрещен. Но полно о чепухе такой речь заводить.

Вчера я перевел вам по просьбе папы 10 червонцев. Он так пространно и сложно и наивно умолял меня Вам их переслать

без обозначенья источника, что будет преступлением с вашей стороны, если вы хоть чем-нибудь оправдаете его опасенья. Оля, золотая, прошу вас, не надо — примите.

Боря

Напиши все-таки, когда думаешь к нам собраться.
Крепко целуем тетю.

Чтоб скрасить картину, Боря выслал нам 100 рублей, якобы от дяди. О, как мы волновались! Эти деньги мы поклялись с негодованьем отправить обратно. Но наша нужда была так велика, что деньги начали, как прогнившая ткань, расходиться под нашими пальцами. Я хотела задержать этот процесс — и не могла.

Но принять эту подачку, эту затычку, эту плату за поруганные надежды — о, нет! Со слезами я взяла нашу последнюю опору, мамину золотую цепочку, и отнесла ее на продажу. С каким трудом, с каким чувством утраты я возвращала Борису его подлые сто рублей — все деньги, вырученные за прекрасную цепь; с каким искушеньем, с каким трагическим сожаленьем! И так, Боря вверх нас в дополнительные горести.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Е. В. ПАСТЕРНАК

Ленинград, 27 ноября 1924

Дорогая Женечка!

Пишу Вам, а не Боре, потому что настал тот час, о котором мы говорили летом, и мне нужно твердое слово *Ваше*, а не зыбкое Борино.

Настал час, говорю: за плечами отзвывы, диспут, взвешиванье сил, пробный хлебок из чана с ядом... Все уже перевалило, все уже испытано. Настал час действовать. И мне нужен Ваш «завет верности», признание летних слов, — чтоб я знала, одна я или с Вами.

До сих пор — Вы свидетель — я не только ни о чем не просила Борю, но останавливала его и охлаждала; сберегла ли я тем его внутренний напор — сомневаюсь. Вот вся моя история за это время; я просила о справке о Покровском, остальное отодвигала до сегодняшнего дня, — не так ли? — Да, но не такова история Бори. Она совсем другая.

Боря с первых же шагов вопреки мне, следовательно, совершенно добровольно стал что-то делать и о чем-то отписываться. Что? О чем? — Не знаю, как и Вы, вероятно. Он сразу взял тон таинственный, с недомолвками, многообещающий. Он, ничем не вызываемый мною, стал писать, что ежедневно занимается

моими делами, что-то подготавливает и вот-вот о чем-то возвестит. Он сделал из своих писем анонсы, заставлял *ждать* их (и как мы ждали!), поддерживал беспрерывно нарост внимания, обещал и не называл своих обещаний.

Женечка, я достаточно Вас знаю, чтоб не сомневаться, что Вы меня хорошо поймете: неправда ли, как духовно нецеломудренно всякое *обещание*, какой дряблостью чувства оно вызывается, как женской сильной натуре, знающей страсть беспересадочных *действий*, оно претит! Но ладно, — он обещавался. Какой же конец? — Молчание. До него — слова о моем письме, как о человеческом необходимом документе, пришедшем с фатальной нужностью, о чем-то радостном и большом, о последующем «отчетном деловом письме». Потом молчание — я все жду. И, наконец, мирный апофеоз с «ничем».

Кому это было нужно? Ему или мне? Вам или маме?

Выжидательный период, прошедший в словесном «воздержании», был бы чище и содержательней. Я, повторяю, ничего за это время не возлагала на Борю и ничего не ждала. Но *сам он* настойчиво обострял мою наблюдательность, наводил эксперимент на самого себя, и я клянусь Вам, что ни я, ни моя любовь к Боре не виноваты нисколько, если все неотвязней и отчетливей его образ переходил в Хлестаковский.

Мама — иначе. Она выбаливала Борю. И эти деньги! Заключить невыполненные, оборванные в клочки обещания, родственной подачкой! Как это бестактно само по себе! Если б Вы знали, какая горечь, какая жгучая боль в этой сторублевке! Мама так рыдала, так возмущалась; я переживала чувство чего-то фатального — за что такое нагромождение одних горестей?

И опять поднимаешь голову, опять начинаешь принимать жизнь, продолжаешь ее опять и опять.

В конце концов, когда вкладываешь в жизнь героическое содержание, отбиваешься беспрестанно от ее гротесков, смотришь ей прямо в глаза своей нуждой, своим нежелающим передышки упорством — о, как тогда мерзка кажется и преступна чья-то невыполненность! Разве Боря не понимает, что моя жизнь уже стала биографией? Что ее страдания давно перешли за норму реальности и сделались приемом искусства? Это уже стало частью эпоса — скажите ему; давать мне *обещания* — значит не иметь литературного чутья.

Оттого я отвечаю не ему, а Вам. Для меня настал час действовать, подготовленный моими трудами и созревший до высшего предела в безысходности моих неудач. Ответьте же мне: ждать мне чего-нибудь или нет? Если нет, имейте мужество это сказать; только, ради Бога, без обещаний.

Я поняла очень скоро, что то, чего я не могу, не может и Боря; в Кубу я не могу попасть – и он не поможет; к Покровскому попасть не могу – и он нет, и пр., и пр. Это все я отбрасываю, – хотя грех Бори в том, что он не отклонил мои надежды, а я сама разбила их о него же.

В таинственность и многообещанность я уже не верю. Мои желания стали ограниченные и потому точны: я хочу напечатать свою работу, которую диспут очень осветил в смысле ее новизны и научной революционности, во-первых, а затем я хочу места, которое в самой незначительности и мизерности спасет меня от «вольной профессии» и от пивяки – Сашки. Жить при такой насыщенной длительности всех и отовсюду лишений я больше не в состоянии. Узел из Сашки, вольной профессии и абсолютной нужды – должен быть разрублен.

Это мой *minimum* к СССР. Но и теперь я не стану обременять Борю просьбами; ни одну из своих забот не перекладываю на него. К нему – вот что: может ли он устроить мне прием у Луначарского или нет? Переговоры, изложение дела, etc. я беру на себя; мне нужна только услуга – огромная, разумеется – в устройстве приема.

Повторяю, пишу Вам потому, что Вы женским чутьем уловите серьезность моего тона и положения. Вы честно и прямо ответите мне – да или нет.

Поехать в Москву мне денежно очень трудно. Но пружина моя еще туга достаточно, чтоб все-таки приехать. Если Вы писать не любите, заставьте Борю, – это все равно будет для меня ответ Ваш.

Я буду ждать очень сильно. Если Вы найдете, что прием я могу получить (за его исход Боря не понесет ответственности) – то я приеду сейчас же по получении письма от Вас или Бори. Злосчастные деньги я привезу, в ином случае переведу.

Крепко и горячо Вас целую.

Ваша Оля

Е. В. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30 ноября 1924

Олечка, за что? За что Вы Борю? Он просил Вас приехать, что и как он мог без Вас сделать? Он Вам писал, вероятно, о своей готовности, о своей заинтересованности и любви к Вам — и это правда. Кое-что он предпринимал. Но поймите, так мой Дудль ходит, бежит по комнате и не знает, где остановится, на что обопрется. Ваш приезд собрал бы все движения, направил бы их.

А потом, Оля. Как Вам не стыдно, да и маме тоже, почему Вы готовы видеть в человеке гадость, что Вы не видали Боряных глаз, не слышали голоса, не поняли, как он вас слушает. Почему, раз почувствовав вас, я бы не посмела на вас обидеться, считала бы это кощунством. Это я про деньги, какая тут связь между обещаниями и деньгами? Я тоже получила от Леонида Осиповича немножко денег на нужды Женички, что мне обидеться, обидеться за себя, за Борю, за то, что это похоже на подлачку. Да я не смею, это неправда.

Почему вы меня не выгнали вон, когда я вам свежих яиц достала, потому что просто от всего сердца. И тут так, и вы не смеете обижать. Но простите меня, Олечка и тетя Ася, и не подумайте, что я расхорохорилась, я вижу вашу боль, я вас обеих очень люблю и помню, как тогда, когда Вы, Оля, вернулись от какого-то профессора, мама была замкнутая, бледная и страшно опечаленная, — тетя Ася, Вы бы просто Борю ругнули, как это делали, когда он к Вам приходил: «Ты все врешь, Боря».

Крепко вас целую. *Ваша Женя*

Олечка, Луначарский Боре до сих пор никогда в приеме не отказывал, поэтому Боря говорит, что спрашивать заранее, пригласит ли, это вызывать в нем какие-то подозрения. Будете здесь, значит должен будет принять. Мы ждем Вас очень, и еще до Вашего письма о том, что Вы пока не приедете, бывали дни, когда Боря, уходя из дому, наказывал мне, что «вот мол, если тут придет Оля...»

До свидания.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [30 ноября 1924]

Дорогая Оля!

Выезжай. Я тебя просил об этом в каждом письме, и теперь очень рад, что и у тебя самой приезд стоит на очереди. Дело в том, что я на свои письма смотрю иначе, чем ты, и если в каком-нибудь из них есть что-нибудь о приезде, последуй тем советам, что там имеются. Из того, что помню: захвати обязательно с собою работу, если можешь, то в двух экземплярах. Если это удобно и не вне твоих планов, то посоветуйся с Марром, чего и как тебе добиваться, и возьми у него письмо к Луначарскому. Только не сердись и не отчаивайся.

Твой диспут был реальным фактом и в реальной обстановке. Неужели ты думаешь, что в реальные условия поставлена ты одна, я же нахожусь в пространстве, насквозь пропитанном симпатическими токами и построенном в согласии с моими взглядами, чувствами и намереньями. Единственное, что было и остается в моих силах, это вывести тебя и твое дело из зависимости от меня и того, что с нами делается. Что это значит, узнаешь, когда приедешь.

Между прочим мне не раз бывал нужен Луначарский, и я воздерживался от встреч с ним, потому что берег его про тебя. Твое письмо меня естественно очень огорчило. В нем сказались признаки такой несправедливости, которая по своим размерам указывает, что ее источники субъективны. Тем нетерпеливей я тебя жду. Л<уначарский> нас примет. Это я тебе гарантирую.

Крепко тебя и тетю целую. Счастливой дороги.

Протелеграфируй, я или Женя тебя встретим.

Твой Боря

P.S. Олечка дорогая, и если только это возможно, то не откладывай поездки в долгий ящик, — мне Л<уначарского> и самому надо неотложно видеть — на этой неделе обязательно будь. И не мудрствуй. Обнимаю тебя.

Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. и Е. В. ПАСТЕРНАКАМ

Ленинград, 3 декабря 1924

Дорогие Женечка и Боря!

Большое вам и сердечное спасибо, что ответили тотчас же. И я делаю тоже, чтоб не задерживать визит Бори к Луначарскому.

Я в Москву не приеду. Пожалуйста, не принимайте этого на свой счет. В сущности, имей я деньги, я приехала бы, но чтоб обнять вас обоих и Дудля и доказать вам свое миролюбие, — а затем уехать. Если хотите — я очень утомлена жизнью; начинать экспедицией новую главу я сейчас не в состоянии.

То, что ты, Боря, советуешь мне захватить записку от Марра, раскрывает мне характер твоей протекции. Во-первых, никогда я не научусь в ученом видеть влиятельного человека, никогда не начну форсировать научное доброе отношение к себе и менять его на звонкую монету. Никогда. А во-вторых, если Марр так влиятелен, что его имя надо присоединять к экспедиции за жемчугом, то не проще ли ориентироваться на него одного? Чудак, чудак ты, Боря! Да если б я внутренне могла брать записки у ученых, была б ли такая у меня жизнь! Но как скроено природой: берущие записки ничего не дают сами, а дающие — не берут!

Тебе, впрочем, может показаться (или показалось уже), что я впадаю в тон величайшего самомнения. Я о скромности тебе говорила: что люди называют скромностью. Но я убедилась и в том, что такое самомнение и гордость: чувство концентрации, то, что Ницше гениально называл «пафосом дистанции», в глазах толпы есть самомнение и гордость.

Я достаточно резка и откровенна, чтобы очиститься перед вами в подозрении недоговоренности. Еще раз: у меня нет ни малейшей обиды или неосуществившихся претензий к тебе, Боря. Я, в конечном итоге, сердилась только на твой духовный темперамент, — а как раз это и есть свойство врожденное, непроизвольное. Упаси Боже, — разве в твоих обещаниях меня раздражала их неосуществленность? Это грубо и не точно во всяком случае. Нет, я сама слишком сурова и насыщена (орфография сознательная!), чтоб простить в близком человеке одну потенциальность; об остальном речи нет. Ты не сжат, ты импульсивен — за это ведь нет права обижаться, можно только

бунтовать против этого an und für sich* — что я и сделала. Все житейское при этом выключается.

Но то, что я не приеду в Москву, совершенно диктуется не этим и ничего скрытого не читай между строк, затаенного не ищи. Причина лишь та, что маршрут трамвая не совпадает с моим путем; я убеждаюсь, что идти пешком мне будет легче. Да, я утомлена самой жизнью, и, быть может, взбунтовалась и против тебя рикошетом. Я хотела бы служить приказчицей в чужом и частном предприятии, где ответственность несет хозяин, я хотела бы складывать работы в письменный стол и скрывать их от мифических издателей; запоздавший поезд с летними планами уже не застает меня. Я утомлена мирщиной, шарадностью истины, понимаемой каждым по-своему, зыбкостью слов, черепными перегородками и тютчевским «сочувствием», которое дается нам в виде «благодати»²³.

Конфликт оказался сложнее, чем суфлировала житейская инсценировка. Коллизия не только двух миропониманий, но хуже гораздо: даже и с тем лагерем коллизия, и на берегу противоположном.

И как ни трудна жизнь человека, но жизнь личности еще труднее.

Кроме того, на улице поймал меня профессор-иранист и целый час не отпускал, облобызав сердце и заморозив ноги. Я и так была до и после (и во время) диспута отчаянно простужена.

Мои враги воспитывают уже новое поколение в ненависти к моей книге. Ходят по университету и говорят гнусности. Но дурное, все же выветривается, а самый факт «Магистрата»²⁴ остается, и, в конце концов, всякий, пожимая мне руку, будет помнить об ученой степени и больше ни о чем. Следить за их психологией — какая трагическая отрада! Карты перемешиваются тем, что среди единомышленников у меня завистливые враги, среди традиционных ученых — сердечно относящиеся доброжелатели. Это так мучительно и сложно! Куда сложнее диспута, прошедшего для меня легко, как двенадцатые роды. Меня тянут во все стороны, — а я хотела бы уйти от всех и от всего.

Широта моей специальности тоже осложняет дело — вместо десятка врагов у меня их будет сотня. Пока злы одни классики —

* На себя и за себя (псм.)

по близка очередь ориенталистов, и тех как раз, которые лелеют меня на своей груди. Трагедия моя еще и в том, что при революционно настроенном научном мышлении у меня овечья мирная натура. Я счастлива, когда меня не трогают.

И все же должна сказать, что подготовленная враждебность на диспуте несколько разряжается, и голоса в мою пользу раздаются все больше. Но и в этом беда: враждебность лучше цементирует научные свойства, чем дряблая доброта.

Занимаюсь много, сама, за исключением грузинского у Марра, который очень воспламеняет меня. Делаю у него успехи. Кончаю санскрит и древнееврейский, переходя уже к чтению; санскрит кошмарно труден, что-то невероятное, почти цирковое. С Рождества начну ассирийский. Надеюсь, с помощью богов, за зиму окончить подготовку фундамента для следующей, формально-докторской работы, по замыслу и материалу уже разработанной.

Живу «по ту сторону». От скверной стороны жизни спасаюсь и возрождаюсь в этой. Выхожу, освеженная и радостная, все принимающая легко и емко.

Чего и вам желаю. Разживусь деньгой, приеду к Вам, заговорю с вами по-вавилонски. А вы растите Дудля и готовьте его в академики.

Крепко вас целую!

Ваша Оля

Теперь напишу вам нескоро.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [Начало декабря 1924 г.]

Дорогая Оля! Что ты наделала! Это уже шестое письмо тебе в ответ, — такие темы не по мне, — не могу, делай что хочешь. Разбирать, убеждать, доказывать? Какая чепуха. Все было ясно как день, обо всем было говорено больше трех месяцев, и вдруг оказывается, что дело не в тебе было и не в твоей работе, а просто ставился психологический опыт со мной. Ну и поздравляю.

Только не стоило столько нервов на это тратить. Я бы подписался под любой твоей или тетиной аттестацией с самого начала, как в конце концов всегда и делал. Вы не можете жить без галереи мерзавцев, ну и чудесно, — коллекция пополнилась мною. Как это все тонко и похоже на правду. И для всего у тебя есть блестящие формулировки (вроде сопровождения к деньгам).

Были живые чувства, были живые планы, мы уже видели тебя приехавшею, я в каждом письме об этом писал, ты и сама знала и чувствовала, что за твоим приездом и за твоей работой все дело стало, но поездка откладывалась до диспута, наконец эта причина отпала и надо было либо приехать, либо в чем-то себе и другим честно сознаться, либо же наконец искать новых причин, чтобы не сделать простейшего и действительно-необходимого шага.

И самым удобным тебе показалось искать их во мне, в каких-то моих недостатках, словно для исправности Николаевской жел. дороги и для надежных перспектив, исключительного по качеству научного труда требуется наличие в Москве совершенного ангелоподобья. Да ты и успела бы еще разочароваться во мне, приехавши и осмотревшись.

Вот этот пункт изумляет меня всего больше и доводит до отчаянья. При чем тут я и мои качества, когда ты ничего не желаешь делать и по-видимому весь наш летний разговор — сплошное недоразуменье. А если это так, то на что я тебе дался, и отчего *ты сама*, Оля, не остановишь мамы, или сама не объяснишь Жене: что Вы дескать мало в это посвящены, а я понимаю, — Боре *ничего* вообще делать без меня и моего языка, и моих потребностей и моего труда.

Оля, Оля, как тебе не стыдно так играть правдой! Ведь вся эта история только (отчасти) ясна мне и — вполне — тебе. Жениной же маме, Жене самой и пр. можно говорить, что угодно, это аудитория удобная. Я и этой потребности не понимаю. Я негодай, пустослов, бахвал, мерзавец — ты — естественная этому противоположность, все это я принимаю без спора; — но мне казалось, будто речь шла не об этих легких победах и поражениях и вообще — вне детской комнаты — моей или твоей — отчего же это все вдруг настолько изменилось и отчего ты вовремя не объявила мне и другим, что переносишь дело в детскую?

Так вот. Столь же живо, как живы эти мечты, должна ты была съездить к нам. С верою, с готовностью проездить зря, как ездит живой человек в твои годы. Вместо этого, как воск на огне, видоизменялись и таяли переговоры по поводу приезда. Ты словно торговалась со мной или с судьбой. Скажите на милость, иначе ты не можешь!

А я, помню, *требовал* этого, *такого* приезда. При неформальности (фатальной и объяснимой, как у всех, и у меня) твоих претензий и потребностей в настоящих условиях, надо было и поступать так, т.е. добиться всего неожиданно, мимоходом, за чаем, где не ожидали. —

Ах, если этого не желать понимать, то к чему и объяснять! О чем говорить? В близкой связи со всем происшедшим, я могу только об одном. Что было задумано *живое* дело. Поездка твоя в Москву, в административный центр, где ты бы у нас жила, с нами бы, при желании, свои планы обсуждала и приводила в исполнение, где я бы тебе своими знакомствами помог (когда я дохожу до этого пункта я не знаю как выражаться: ты болезненно самолюбива). Отсюда. 1) Я выражаюсь бледно; тогда ты в этом усматриваешь слабую увлеченность тобой — пустословие и пр. 2) Я выражаюсь отчетливее; тогда ты отстраняешь меня и указываешь точные границы: узнать часы приема у Покровского; ворвешься же ты сама. И врываешься.

Ввиду того, что это намеренье еще не осуществилось, то его то только и осталось осуществить. В этом отношении ничего не изменилось. *Только* в этом направлении я и вижу тебя и тетю, и способен думать с вами и на близкую вам тему. Вот отчего я и не отвечаю на твою выходку: это область ошибок, микробиотики, неприбранных комнат, маленьких драм и, словом, тот край, куда лучше не соваться — тоска без форм, без сметы, вроде паутины, — тронуть, — не оберешься, не исчерпаешь.

Так что все, что вне твоего приезда — осталось за флагом. Плюнь на все, Олечка, и езжай. Мы с тобой надо всем этим посмеемся и так, в лучшем настроении, отправимся к Луначарскому. Без тебя я не пойду, так и знай. Такой уж я мерзавец. Чудно было бы, если бы приехала ты на Рождество, самое и для дела время. Глупо было, что ты деньги отослала, тебе приехать падо было бы на них, потом бы, при первом авансе от издательства, возвратила. Ты на мгновенье сильно упала в моих глазах, я подумал о том, как я бы поступил в твоём случае. Так карьеры не строят и путей не прокладывают. Езжай же, Оля, умоляю тебя, а то ничего из тебя не выйдет, если тебе до Москвы доехать такое дело мудреное.

Говорил о тебе с Марром и Ольденбургом²⁵. Когда приедешь, расскажу, что про тебя говорили.

Ах тетя, тетя! И Вы все это видите и не защитите меня! Да гоните ее к нам, ей приехать надо, вот что. А папа прав был, я Вашу простоту и широкость переоценил.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград [Декабрь 1924]²⁶

Две вещи верны в твоём письме: дело не в тебе, а во мне; у меня не хватило «веры и готовности приехать, как у живого человека». Ты прав и в том, что «так карьеры не делают». Я ведь говорила тебе, что твоя озабоченность моими делами сладка мне уже тем, что иго мое готов взять на себя ты, некто «не я». У меня совершенно атрофирована жизнеспособность. За ее счет увеличена духоспособность, как печень при некоторых болезнях.

Ты прав и в том, что я сама не знала, чего добивалась. В конце концов, чтоб мама не стирала и не мыла полов. Но ведь нельзя же было этого требовать у Покровского!

Я готова была на все, хотя не знала на что. Тем упоительней, что ты знал. Что в неясных и томительных выражениях ты разливал запах надежд. Что от письма к письму ты ткал какую-то обетованную *воплощаемость* — то, что атрофировано у меня. Ты все брал на себя, и логический субъект — ты.

Ах, именно потому, что я не жизнеспособна, слова так свято и глупо глотаются мной, словно небесная манна, и несбывшееся слово переживается, как катастрофа. Ведь в той нежизненности, где я пребываю, только и есть, что слова. Но там они — полные орехи.

— Да, ни веры, ни готовности у меня нет, чтоб поехать в Москву. Но ты ли требуешь их? Что, как не вера, есть примета таких нежизнеспособных людей, как я? О Боже мой, я, словно провинциальная актриса, играю «нутром», — когда техника так легко взяла бы все трудности без затраты сил. Но можно ли столичному премьеру упрекать такую актрису в отсутствии души?

Помнишь ли ты историю Давида с царем Саулом. Она всегда тревожит меня. Почему Давид должен быть чист, почему должен безостановочно оправдываться перед злобным Саулом? Почему жизнь должна вырывать из-под моих ног всякую почву, а я должна реабилитировать себя верой? Разве у меня нет права на презрение к Сашке, на ненависть к Жебелеву, предавшему меня на

диспуте, на людей вокруг, убогих и самодовольных, интригующих и увенчанных? Разве должна я, знающая иные чаянья и цели, брать подачки от гарпагонной²⁷ жизни и уплачивать мелкими процентами веры? Нет, дорогой Боря, ни «веры» не жди от меня, ни «готовности». Не так девственна моя душа. Она познала отчаянье, а это все равно, что прикосновение смерти.

Да, я не жизнеспособна. Я даже не хочу печататься. Эта остановка на жизненном желании встала и упала. Кому? Для кого? Ведь доказательства не доказывают, факты не убеждают, истина с каждым говорит на языке его собственных мозгов. Моя книга преждевременна. Ее не поймут, как уже не поняли Евангелия — это дешево стоит; для этого довольно и «Безбожника». А научной мысли моей не примут, как никто в Европе не принимает Марра.

«Сколько лет вы боролись за вашу теорию?» — спросила я у него. И он ответил: «Тридцать лет. Защитив магистерскую и даже докторскую диссертацию, я не получил от профессуры ни права преподавать, ни заикаться о яфетизме». А я подумала: «Тридцать лет! Они прошли, и его истина очевидна, и он прирожденный боец, воюющий за себя изо дня в день. И вот он стар. Кто принял его? Кто понимает? Человека четыре, и то вместе со мной».

Мама — вот очерченный круг моей жизнеспособности, моей связи и моих отношений с жизнью. Моя работа — вот импульс, все берущий от меня и ничего не оставляющий ни для чего иного. Что будет через месяц с нами? Не знаю и не думаю об этом.

Моя воля направлена на завершение моих научных мыслей, на вторую часть моей работы и общее введение, на отдельную циклизацию, которая была бы цельной и смогла бы жить без меня. Вот из-за чего я тащу телегу и не делаю последней остановки. Труд моей жизни не доделан и ждет моего усердия.

Жаловалась ли я на тебя Жене и ее матери? Ведя семейные разговоры, громили и тебя, не так я, как мама. Все это входит в программу жизни: нужно, чтоб мы бранили друг друга, падали в глазах один другого, вели недостойную переписку. Потом все это покроется временем, и останется только то, с чего мы начали, — с родственного рождения, — да томики книг, на разные темы и в разных формах. У меня нет к тебе никаких векселей.

Л.О. ПАСТЕРНАК — Б.Л. ПАСТЕРНАКУ.

[Берлин, начало декабря 1924 г.]

Я должен поделиться с Вами великолепной обильной дозой Шампуня (которую, вероятно, и ты, Борюша, получил от Олюшки...). И в какой это форме — вероятно неловко что ли ты это сделал... Ах, гордые жреческие отпрыски Абарбанела²⁸...

Я все же не реагирую и минуя все это, счастлив, получив от нее великолепное письмо, пушай шампуньское — но с порадовавшей меня вестью о блестяще прошедшей ее диссертации и получении ученого звания — написал ей самое хорошее доброе письмо, которое ее примирит опять — я уверен. И ты не исполняйся злобой или там обидой, а наоборот будь к ним добр и особенно поспособствуй реализации ее сочинений. И не оправдывайся. Пушай будет, как свершилось. Исключительная порода людей (несовременная)!!

В феврале 1925 года дядя прислал мне из Берлина чудесное письмо, эпохальное для меня. Это был ответ на длинейший конспект моей жизни за последние шесть лет, который был вызван пресловутой сторублевкой от Бори и открывал дяде живой кусок моей души и моей науки; он показывал дяде, почему эти деньги были невыносимы. Они пришли в апогей крушения всех моих чаяний, и я должна была ввести во все это дядю.

Его письмо было замечательно по непосредственности, любви и благородству участия, и в нем содержалось то, чего не доставало Боре:

Большое, родная моя, спасибо за письмо и за первую возможность увидеть тебя во весь твой рост, столь внушительный, столь прекрасный и достойный, увидеть тебя, хоть чуточку в той знаменательной обстановке этих ужасных лет, не сломленной ни «под Сашкой», ни «постоянной чередой» мучительнейших невзгод, подвижнически, геройски, не падая духом.

В марте я с гордостью писала Боре об этом письме, исполненном такой веры в жизнь:

Жизнь моя идет несколько иначе. Я два месяца не толкучу, продав сразу книги и еще кое-что. Делаю не вторую часть работы, а ее введение, разработку теории сюжета. Научная работа во мне возмужала за это время, я поняла ряд своих ошибок, вызванных горячностью и верой, что $A=A$ во всех случаях жизни. Я

охладилась, свернулась, но зато и концентрировалась. Занимаюсь физикой, алгеброй, философией, особенно Спинозой.

В университете продолжаю филологические занятия, перенося их больше туда, чем на дом. У меня отстоялись мизерные желания, но освещенные надеждой выходить за границу. Что-нибудь правовое плюс хлебное, вот все мои ожидания к России, го и другое в минимуме даже. Без бумажек не получить права на проживание.

Л.О. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Берлин. 2 июня 1925.

... Но больше всего меня возмутил по открытке твоей сейчасной поэт наш Боря! Это чорт знает что! В кого эти черти уродились: вы видите нас обоих — как мы не только уж о своих — но к чужим как спешим всякую просьбу исполнить — а вот эти волхонские свиньи наши... — Сколько у нас, то есть у меня и мамы — было таких фактов с ними — мы уж просто махнули на них рукой! Что это такое, чем это объяснить? Жизнь ли у них такая — что ли? Ах, что за свинья этот Боря!! И неужели он причиной будет. Что тебя не напечатают или что он пропустил!! Нет слов, нет слов!! Сколько у меня с ними таких конфликтов: и добро бы мне нужно было, а то ведь часто для их же пользы — не добьешься иной раз ответа просто «да или нет»... Если бы это не было для вас неприятно же своими последствиями — я бы такую задал бы ему головоломку за тебя, дорогая Олюшка — что он бы помнил всю жизнь — да, я без твоего разрешения — не заикнусь. Скотина — он!..



Анна Осиповна и Ольга Фрейденберг. 1903 г. Оболенское.



О. Фрейдберг. Рис. Б. Пастернака.

В Оболенском 13-летний Борис Пастернак регулярно рисовал. В небольшом альбомчике, сохраненном его отцом, есть набросок Оли Фрейдберг, датированный 16 июля 1903 г.

ГЛАВА IV

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 10 мая 1926

Дорогая, дорогая Оля!

Ты попала в точку. Спасибо за пифическое письмо. Судьба, обнаруживавшая в последнее время случаи обостренного ясно-виденья, в твоём, — дала его пароксизм в кругу семьи. Не возмущайся, — тетя Ася его однажды очертила. Она сказала как-то: «Что с тобой будет, меня не занимает, хоть совсем не работай, мне важно, что будет с ней». Так как это касалось Жени, и целого ее периода, то замороженный тетиной теплотой к близкой мне девочке, я проникся ее словами, как внушеньем.

Я не говорю, что ее слова что бы то ни было определили сами по себе, но они дали формулу тому самоограничению, которым я жил два года, предшествующие разговору, и два, за ним последовавшие. Нет человека на свете, который, зная меня, и многое еще другое, и зная по-настоящему значенье тех звуков, которые произнесла тетя, повторил бы их. —

И вот, последний год, и главным образом к весне, пошли и скопились, главным образом из-за границы, слова не меньшей теплоты, чем тетины, но значенья совершенно обратного. Мне кажется, они и человечнее и мудрее тех, которые слышишь в семье. Это — отзывы и переводы иностранцев, статьи в лучшей, т.е. не черносотенной эмигрантской печати¹, и множество проявлений большой, высокой, облагораживающей любви, рассеянной во времени и пространстве, и этою сеялкой очищенной до греческой, до вечной чистоты.

Я не только этого никому не показываю, но я и живу-то насчет этих волн с большим трудом и не умело, по вине семьи, где на этом веществе иногда лежал налет хвастовства. Крепость этих устоев сказалась и в тете. Той весной, что стала сбываться

моя судьба, точь в точь, как она выясняется периодами и в жизни всякого человека, и я *только об этом* вам рассказывал, тете привиделось, что я приезжал к вам побахвалиться и, в этом смысле тряхнуть родовой стариной.

Ах, Оля, есть Бог на свете, нет, лучше скажем, есть, в противовес земному тяготенью, в противовес падучей — тяга ввысь, тяга своеобразной, самооглушенной формы к форме форм. Ты, того не ведая, написала мне, что если я полагаю, что семилетний мой период нравственной спячки миновал, то это не сновиденье. Ах, Оля, остаток моей жизни будет похож на давно прожигую половину, отделенную от меня этим пустым перерывом. Тут молчу, нечего говорить, рано говорить. Какое у тебя чутье, Оля! Я показал твое письмо Жене, безмолвно, без комментария. Она заплакала, увидав: срок придет, все случится.

Не ищи растолковать мои слова. Не надо и нельзя. Я сам все скажу через год или позже. Цель сегодняшнего письма: обнять тебя и горячо поблагодарить за породу, сказавшуюся в этом прорицаньи втемную, таком безошибочном.

Главное же, мы опять брат с сестрой, и ты на меня не дуешься. Обнимаю тебя и тетю. Не ходи на такие доклады. Ведь это позор. Все это делалось и было закончено тогда, когда и тротуары были поэтами. А с тех пор ведь (семь лет!) ничего своего и нового.

Боря был мне благодарен за то, что я предсказала ему возврат вдохновенья.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 21 октября 1926

Олюшка, дорогая моя!

Давно прошло лето, а мы так и не повидались. Сказать по совести, я и не знаю, на что оно у меня ушло. Окна нашей комнаты поперек спуска к набережной. Мостовая прямо ложится на оба подоконника. Все лето они у меня стояли настезь, и вот, мне кажется, что три месяца я только и знал, что вытирал пыль и подметал пол. Только уборку и помню, да несколько неотвеченных писем² и недочитанных книг. Работалось же через пень колоду.

Не знаю, говорил ли я тебе в свое время, что в квартире у нас мне негде заниматься, что в результате ряда передвижений, комбинаций, приращений и других метаморфоз, у меня третий год не стало отдельной комнаты. Это б еще с полбеды: прошлую

зиму всю я проработал в комнате Шуры и Ирины³, зачастую с ними вместе, когда же это их стесняло, то перебирался в переднюю, служащую нам в то же время и кухней и столовой. По некоторым причинам и такой способ стал недоступен.

И вот есть внешний, объективный признак, превращающий внутреннюю и, может быть, спорную невозможность заниматься в одной комнате с Женей, Женичкой и няней, в никем не оспариваемый факт: я много курю за работой, закуривать же детскую нельзя. Мы решили в комнате поставить перегородку.

Не странно ли: все это я рассказываю тебе в объяснение причин, почему пишу тебе именно сегодня. А внешний повод таков. Женя привезла мне из-за границы блок почтовой бумаги и обновить его я хочу тобой.

Ты помнишь бывшую папину мастерскую. Это, по размерам, сущий манеж. Мне пришлось искать плотников и рядиться с ними, как любому непосвященному: Шура и Ирина, как архитекторы, мне помочь не могли. Они с утра до вечера заняты. Шура — на постройке, Ирина — в строительной конторе. Стоимость перегородки исчислили мне в 200 с чем-то рублей. Хотя рабочие и дерут с меня несколько против меры, все же источник этой торжественной и ужасной цифры не в их жадности, а в размерах помещенья.

Они должны были сегодня с утра начать возить материал. Вчера, после их ухода, я был обнаружен на общей кухне в состоянии глубокого и молчаливого рассеянья. На вопрос соседей, зашедших минут пять спустя, чего я ищу и не нахожу там, я пресерьезно ответил, что вот, дескать, беседовал с Мурзилкой (соседской кошкой), где мне достать эти деньги; но и на нее это подействовало так угнетающе, что она забралась от меня за кухонный стол. Я говорил это почти что не шутя, т.е. я никого смешить не собирался. Я находился во власти прискорбной и умиляющей бессмыслицы, и вариации ее были мне безразличны. Один абсурд другого стоит, немислимость кошачьего совета немислимости нашей затеи не слабей.

Потом — вопрос со штукатуркой. Плотники уверяют, будто бы за неделю при жаровнях и постоянной, по несколько раз в день топке печей, она усохнет. Люди же посторонние и незаинтересованные говорят, — кто — две-три недели, а кто и месяц.

В моем кухонном столбняке шуршали не одни червонцы. Гакже и стояли сквозняки, шел мокрый снег, и его заносило в комнату, и по обе стороны темносерого, текучего известкового компресса клубился горячий, сдобренный раскаленным железом угар. Ты это себе представляешь, и жизнь неизвестно где, пока капризничает сырая каменная каша, заваренная впрок, к поноселью, на насморках, ревматизмах и прочих прелестях.

Нет ничего удивительного, что после таких видений я почти не мог уснуть. Я ворочался в постели и думал о разных разностях. Когда я перешел на людей, то первыми вообразил и живо увидел вас, тебя и маму. Утром первым делом мне хотелось напompить вам обеим, какие вы золотые и как я вас люблю.

Есть у человека потребность родовая и распространеннейшая, прямым образом связанная со всею музыкой сознания, и она так обща, так свойственна всем, что для нее верно существует и название, и только сейчас оно улетучилось у меня из памяти, а завтра же, когда я отправлю письмо, будет на языке. Идут годы, меняются основанья и приложенья собственного недовольства, несовершенные слагаемые городятся одно на другое, взгляд вперед чает совершенств и теряется в этих гаданьях, и ног, пожалуй, лучшие из мгновений этой движущейся живой задачи на сложенье — те, когда все частности перевешивают чувство живущей за всем этим беспокойной, ворочающейся суммы. Когда хочется дорассказать именно до нее, т.е. начать болтать о себе, как раз так, чтобы эту болтовню, веселую или грустную, обняла, повалила и встала над ней общая кантилена бытованья, человеческая повесть, больше того — ее закон.

Потребность эта обманчива. Она редко удовлетворяется всерьез. Человек, являясь с вокзала после долголетней разлуки, раздражается восклицаньями и говорит отрывочными, малозначущими фразами. Романа от первого лица за ним не запишешь, да и этой дичью слишком тормозилась бы жизнь. Наплыв памяти настоящего времени не останавливает и ему не помеха.

Потребность эта — величина воображаемая, однако без ее воображаемости формула души и ее роста обессмыслилась бы и распалась. Так вот, цельней всего потребность эта пробуждается во мне представленьем четырех окон на канал, сейчас и в прошлом, а может быть, и в вечности. Отчего же не образцом родителей и родных сестер? Тут удовлетворенье общительнос-

ти оголено во всем противоречьи и настоящим полно до предела. Слишком реальна и велика близость.

Какое дурацкое письмо! Тем не менее, я его не обрываю.

Если надумаешь писать, непременно сообщи, здорова ли тетья и как ты сама. —

Неладья наша с Женей отошли в область преданий. Они не кажутся мне вздором оттого, что о них уже начинаешь забывать. Я только может быть глупо писал о них в самом их разгаре. Уже и тогда я понимал, какая роль отводится доброй, благоразумной воле в зрелом возрасте, и к какому скромному значенью низводит себя судьба и случайность. Со своим значеньем она, конечно, всего меньше растает в этом перемещеньи. Но с переднего она отступает на задний план. Или, может быть, перестает играть, а становится поприщем игры, т.е., по-видимому отсутствуя, целиком присваивает себе всю сцену. Игрою же и ее темой овладевает воля. Понял я это, разумеется, не вчера. Но часть наших препирательств именно к тому и сводилась: связывать ли нам нашу волю воедино, во благо ли это обоим, или же расстаться. Думаю, мы не раскаемся в принятом решении, — дай Бог.

Они чудесно провели время за границей. У Жени был даже целый месяц отдыха от ребенка, который она прожила одна в местности, о которой рассказывает сбивчиво и восторженно, на берегу озера, близ Тирольских Альп, с экскурсиями в горы, лодками, купаньем и романтикой новых знакомств⁴. Тут, по старинному рецепту тети, мне должно бы хотя бы нахмуриться.

На свете иногда ходят такие фразы. «Может быть, я вообще никого не люблю и любить не умею». И еще афоризмы о творчестве, об одиночестве и его холоде. Мой случай проще всех этих истин. Думаю, теплотой и обычностью чувств я не ниже нормы. Ревность, — не на ревности ли стоит все, вообще говоря, воображенье, — ревность я знаю слишком хорошо и пристально, чтобы барахтаться в ней, как в мутном и ослепляющем водовороте. Я люблю хорошую, благородную объективность и если эти слова имеют смысл, она мне платит взаимностью. К ней я не ревную, и страшно ревную ко всему, что хуже нее, что не она.

Местность, в которой жила Женя, и ее времяпрепровождение были именно таковы, и люди, по всем признакам достойные, растворялись в грандиозной объективности щедрого горного пейзажа. Я рад, что при мне, т.е. в мою бытность в Жениной ис-

гории, у нее есть, отдельно от меня, отрывок, к которому она будет возвращаться, и не исчерпает в воспоминаньях. Вот из каких атомов должны бы мы состоять.

При многосемейности и дружности квартиры, я знал, что тотчас после встречи, на перроне же, мы сразу окажемся в гостях, и из них уже больше не выйдем. Чтобы немножко побыть наедине, — (типическая московская подробность), — я поехал навстречу едущим в Можайск. И вот, *два часа жизни*, проведенные у Жени с мальчиком в купе, это, по контрасту такой оазис, что получилось бы новое и нескончаемое письмо, начни я их описывать.

Жениной маме, проболевшей десять месяцев опухолью спинного мозга (распространяющийся с конечностей на все тело паралич), вырезали пять позвонков незадолго до приезда Жени. Операция, очень сложная и опасная, по началу будто удалась. Она уже было стала поправляться, как вдруг заболела чем-то тяжким и сорокаградусным, что одновременно и заражение крови и гнойная лихорадка, и целый ряд каких-то других неопределенных воспалений. В промежутках температура падает и к больной возвращается сознание. Состояние это, почти не оставляющее никаких надежд, длится вот уже третью неделю. Это удивительно и ужасно. У организма, верно, есть цель, и в какой-то мере вероятная, раз он так сопротивляется. Ее болезнь в этом смысле почти загадочна.⁵

Крепко тебя и маму обнимаю. Тудль-Дудль — большой мальчик, чудной и занятный, который начинает явно умилять и меня. Тайно, разумеется, он и всегда так на меня действовал. Жени сейчас дома нет, она в клинике. Отправляю без ее приписки, последней дожидаться нескоро, сейчас же в особенности, когда ей действительно не до того.

Твой Боря.

Л.О. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Берлин. Октябрь 1926

... И вот из сегодняшнего разговора я узнал: что он⁶ очень внимательно прочитал и вынес о тебе самое лучшее впечатление настоящего ученого, с огромнейшими знаниями по своему предмету, захватывающему огромную сферу знаний; с огромными знаниями языков несомненно («которых я не знаю, к сожалению, восточных» и пр.), с стремлением к синтезу (вообрази, Олюшка, это все ты мне в свое время писала и вообще он

говорил как раз то, что ты предвидела и насчет его правоверности и твоей «левизны» и их немецкой традиционности и «строгой дисциплины» ихней, которую он несколько раз подчеркивал и противопоставлял...), с стремлением, значит, к синтезу ориента mit der Antike* и «у нее это на очень обширных источниках и больше в сфере религиозных культов — («в которых я не так авторитетен и лучше меня есть, как этот проф. Кюмон»); что «она с большой фантазией... и с запасом новых идей, которые может выведут на новые пути, чем на которых мы, немецкие ученые, до сих пор стоим», и тут он стал долго как бы оправдываться, что он вовсе не реакционный педант, не признающий «новых всходов» и новых открытий (...точные его слова: «Sie ist ideenreich und Erfindungen reich»)**, наоборот, он готов признать, что иначе наука бы не шла вперед... «но не могу пока что оставить свою традиционную базу и следовать за ней» — в этом роде смысл его слов был. И я слушал, чтобы не прерывать, чтобы перейти к моему нужному: печати и наметить журнал. Он конечно сейчас мне сказал, что ты верно знаешь, какие журналы (тут я уж конечно ввернул, что ты недавно на днях написала мне ряд их: Hermes, Museum, Archiv für Religionswerke и т.д.): «если куда можно бы, то уж никак не в Hermes, ни в Музеум — а в Архив; но я откровенно вас предупреждаю, что ни один из них ни за что не поместит этой статьи, по тем же соображениям, что я вам сказал о себе, я хорошо знаю их редакторов... Но поищите другой путь, ибо мне хочется вам быть полезным». Словом он вдруг предложил: в Лейпциге его приятель проф. Haas, по религиозным изысканиям какой-то институт, он его Leiter***; у них кажется журнал имеется, он узнает точный адрес его: «пошлемте ему рукопись и вы и я ему напишем — может он напечатает; а если и он не рискнет, то надо найти Verleger'a (издателя) на свой счет издать, это будет стоить пустяки и тогда большое преимущество перед журнальным помещением, что на нее всюду появятся рецензии (чего на журнальные не бывает) и о работе ее будет ученый мир знать».

* С античностью (нем.).

** Она богата идеями и открытиями (нем.).

*** Руководитель (нем.).

Так как Олюшка, это совпало и с моим планом, о чем пока я тебе не писал, то я в конце концов так и поступлю, ибо я дал себе слово — напечатать тебя здесь и пусть о твоём новом слове узнают...

Теперь конечно — чихать на всяких Norden'ов (как ты все предугадала наперед); жалко столько времени на него пропало, но что было делать — меня винить нельзя — я все хотел сделать возможное, не останавливаясь ни перед чем, как и впредь буду также идти!⁷...

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 9 сентября 1927

Судьба хочет, чтоб ты получил от меня еще и это письмо. Но я забыла начать: дорогой Боря!

Из него ты узнаешь, что Сашка уже уехал, что все комнаты мною заселены, что огромная работа и тяжесть уже за плечами. И что сегодня газеты опять возвращают нам неограниченную дополнительную комнату. Ты безмерно мудр словами о «ложной трезвости». Но разве мы не отдаемся ей с самозабвением оттого только, что ей не верим? Как борьба с собой и как всякая измена, сладка эта трезвость; выпрыгнуть из себя, обмануть себя — чтоб, в конце концов, самоощутиться в далеких глубинах. В такие часы вся жизнь и весь мир ее опыта, а что же и есть в нашем фонде властнее его, — кажется дымкой и обольщением. Горько, горько бьешь себя по голове и по сердцу логикой и считаешь себя прозорливым только в эти часы. Ночные, большей частью. И потом они побеждаются слабой полоской дня.

Как я знаю смысл твоих слов, развернутых в жизнь. И перед их значеньем этот ничтожный квартирный вопрос еще ничтожней. Но пьешь ли ты жизнь так, как я? Если хочешь, возьми палимпсест этого же события и выведи из-под него секретный текст, писанный химическими чернилами. Это та же великая жизнь, только иначе начертанная. То же было и с Сашкой. Долгие годы мучительств, лента, не доходящая до конца. Бывало, думалось: уж не в этом ли идея моего существования? Нельзя же, нельзя не осмыслить такого непрекращающегося содержания дней; оно есть, оно дано; как данность, пусть и состоящая из малого и мелкого. Но теперь я уже знаю наверное. Конечно, идея именно в этом не моя, если, то моей биографии. Оглядываясь на свои дни, вижу единый знак, под которым они шли. И Сашка — тоже знак.

Его можно подставить значеньем, и тогда ляжет этап работы подготовлений духа, встречи с бытом и его ступенчатости: шаг за шагом вверх, как решение длинной задачи.

И вдруг — воздух. Ты на свободе. Невыполнимое достигнуто. И я мою пыльные рамы, а кругом нахлобучены вещи и раскрыты все двери. Счастлива ли я? Вот вопрос в свободе, как и в любви. Но там ответ готов: не знаю; может быть, да; по всей вероятности; где-то там, на периферии духа, валяется и счастье. Но минута сильна, и его не видишь. И здесь то же жизнеощущение — ты помнишь еще из наших меррекульских «завещаний» — оно поглощает меня сверху донизу. В немом и наглухо закупоренном ощущении жизни, с закрытыми глазами чувств, я отдаюсь тому, что есть. Ты полагаешь, я думаю в своих работах? Чувствую в своих счастьях? — Дышу, и только. Как процесс дыхания — процесс моих впечатлений и откликов на них. Моя жизнь не больше, как порыв; я до ужаса бездумна в умственной профессии науки (даже не хочу сказать в умственной стихии) и абсолютно лишена чувств в любви или в свободе.

У меня сданы четыре комнаты трем научным работникам — египтологу, специалисту славяно-византийского орнамента и специалисту по китайскому искусству. Они так корректны, тихи, чистоплотны и во всех отношениях идеальны (сами обслуживают себя, без прислуги), что бедная мама, — вполне закононо...⁸

На этом месте, как говорится, «рукопись обрывается». Не могло до бесконечности тянуться наше нелепое сожительство с Сашкой и его бугафорской женой. Я просила его освободить нас, и его жена хотела того же, и изменившиеся условия оплаты квартиры этого требовали. Тяжко покидал свой дом Сашка. Он молча страдал. Жизни с чужими он вынести, казалось, не сможет. Но день настал, он уехал в глубоком горе. А я — словно двери передо мной открыла жизнь. Теперь «главой дома» становилась я, с огромной квартирой на руках, с большой ее оплатой, я, нищая. Стояла весна. Я открывала нежилые комнаты, открывала зимние рамы, одна убирала, одна передвигала мебель, готовяла будущие комнаты по найму. Я мыла окна, и в доме стоял великий тарарам, когда вдруг приехал из Москвы Боря, влекомый нашими письмами и нашей близостью. Я восприняла его приезд, как символ. В день моей свободы и Дантовской *vita nuova**.

* Новая жизнь (*ит.*)

Но сразу почувствовалось, что он привез с собой свое старое чувство, и я не только не отвечала ему, но испытывала отталкивание, как две капли воды похожее на отвращение.

Мы ходили, гуляли. В это время у Бори начинался разлад с Женей. И он тянулся ко мне.

Я все просила Боря, чтоб он подарил мне свой «1905 год», только недавно вышедший. Боря обещал, отмалчивался. При отъезде, когда он раскрыл мне объятия, я сдержала руки и по-сестрински поцеловала его. Он заметил, отступил. Когда же он уехал, и я подошла к своему столу, я нашла под бумагами засунутый томик «1905 года»; пораженная, вынула его, и прочтя на первом листе крупное «Любимой», поняла все. Ниже, более умеренным почерком, стояло мое имя. Я не могла не поддаться силе, с какой это большое и застенчивое сердце открылось мне. Только Боря мог говорить таким языком вещи и почерка. Мне трудно передать, каким ярким жестом сказала мне о любви его рука, спрятавшая признание в глубину моих бумаг.

[Надпись на книге «Девятьсот пятый год»]

Любимой сестре Ольге

Боря

28 сентября 1927

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Л.О. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград. 6 сентября 1927.

Ах вы разбойнички этикие мои дорогие, чего вздумали! Сегодня и письмо второе ваше пришло, а через полчаса и доктор с вашими подарками. Мы обрадованы вашей лаской и самими подарками, но огорчены, что вы наделяете себе столько хлопот и тратите святые дядины деньги. Ай тетя, тетя, родная моя! Совестно читать, как вы весь «рыдван» поволокли, видано ли дело — дядю за юбками тащить, Лидка отрывать от нафталина ее ученого, — уже Гарнак и Норден, и те были «портативней». И далась я вам для хлопот! — ей-богу, мне совестно. Ну, делать нечего, жду платья⁹, уж коли на то пошло.

Никак Вы, моя сердечная тетечка, вздумали выдавать меня замуж, не иначе, с Вашими заботами о моем туалете. Да и Ваш прелестный платочек тоже, знаете, того... Дездемоной пахнет во как! Мама торжествует, а то я ей не давала, боюсь сердца. Мы обе написали вам ответ на ваше первое письмо и лишь еще дописываем. Там с новосельем сердечно вас поздравляем¹⁰ и желаем вам здоровья и благоденствия, — хорошо, что до подарков,

а то приняли бы их за чаевые, так же только «кофейные». Радость ваша карточка нам доставила огромную. Но подробней обо всем в письме. Еще раз сердечно благодарю вас троих и лобызаю, увы, подкупно.

Ваша (еще бы!) Оля.

С новосельем! Счастья, здоровья Вам желаю и сердечно благодарю за кофий! По получении платья напишем больше. Спасибо.

Ваша Ася.

Б. ПАСТЕРНАК — Л.О. ПАСТЕРНАКУ

[Москва. 30 сентября 1927]

... Вчера я приехал из Ленинграда. Я ездил туда с единственной целью повидать теток и двоюродных сестер¹¹. Вы видите, что поездка ближайшим образом отразилась на наименовании города: трудно после повседневных сношений с трамваями, редакциями и железнодорожными билетами помнить, что он — Петроград, или Петербург.

Так как в Москве даже и высокий заработок кучится в тесных и загроможденных квартирах, совершенно неопикуемых, рождаются дети, появляются няни и слуги, частые и многочисленные посетители и пр., — то неудивительно, что простор и чистота решительно всех виденных петербургских квартир производили на меня грустное впечатление опрятной и благой бедности, приблизительно по тому закону, по которому осень кажется тем печальнее, чем она тише и золотее. Везде, на московский взгляд, открывались комнатные перспективы, охваченные непривычным для москвича покоем, и казалось, что по ним, и именно там, где у нас начинаются соседские примуса, бродит нужда в проседи и чистом белье.

Объективно же, вне этого сочувственного освещения, справляются с трудностями и тут. Призрачный же и неземной налет исходит как раз из петербургских преимуществ, нам недоступных...

Болела перед тем тетя Ася. Но я застал ее выздоровевшей. Она немного постарела, так мне показалось в первый миг. Но потом я это чувство бесследно утратил за ее шутками и смехом и разговорами. Сашка недавно выехал от них, и они сдали половину квартиры троиm жильцам, молодым одиноким ученым, разместившимся в трех комнатах, ближайших к парадной лестнице. И это опять не московское уплотнение...

Оля готовит новую большую работу. У ней есть друзья и враги, ее ждет большое ученое будущее. Она — та же Олюшка, что и раньше, и лицом не переменилась. И естественно, что те же чувства к ним обеим и у меня, а вы их знаете.

Но все меньше и меньше в моем отношении к людям, и к ближайшим, участвуют те активные формы, которые сами они нашли для своего существа. Они и не подозревают, насколько их собственное сырье ближе и роднее мне той оправы, которой они думают его облагородить. Часто равными мне я воспринимаю только их неудачи и вообще все то, чего они стесняются, рассказы же их об удачах принимаю только из умиления, вызванного их самолюбивыми умолчаниями о препятствиях, тенях и преградах. Если вы не согласны, что всю совокупность дарований, составляющих природу их дома, пронизывает тема неутоленной или надорванной гордости, то я вам напомню о Сашке, где направляющая магистраль этих качеств оголена до крайности. Фантазирующее самолюбье разрослось тут до вихря. Оно носит его по морю бесплоднейшего нигилизма. Без удивляющегося слушателя этой жизни нельзя вообразить.

Как во всякой семье, здесь мрачатся и умываются друг другом два разных мира. Я не знаю, что из этой меняющейся и движущейся смеси надо отвести на счет покойного дяди Миши. Может быть, я буду несправедлив и дам лишку, сказав, что авторство этой темы восходит к твоей крови, папа. Но толчки и барахтанье ее помню в себе. Я догадываюсь, как свертывал ты шею этой чертовщине, которая унижает человека и делает смешным, если дать ей волю. Я знаю, как расправлялся и расправляюсь с ней я сам.

И вот: трактовку успеха приходится прощать даже и Оле, несмотря на то, что по сравнению с Сашкиными рассказами ее рассказы — ангельская чистота, горный воздух, органная музыка. И вот я слушаю их, ее и тетю, и люблю, и трогаюсь, и восхищаюсь, и они не знают, что действует на меня не место их среди людей, а только то, что частью растеряв, частью донеся, они волокут за собой на это место. Я их люблю так, точно их написал: это не сверхчеловечество, тут нечем хвастаться, это невымысленная психологическая странность...

В январе следующего года я получила от него сильное письмо, заставившее меня пережить вновь мою меррекульскую молодость.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 3 января 1928

Дорогая Оля!

Твое письмо дочитывал со слезами на глазах. Ты не можешь себе представить, до чего мне нестерпимо бывает читать твои печальные письма. Если бы ты была моей женой, с которой я жил, т.е. от любви которой все взял, и потом бросил, в мое огорчение наверное не столько замешивалось бы роковой тревогой и *раскаянья*, как когда я читаю твои страницы, в которых утоплена такая бездна горделивой задушевности и почти беспристрастного, почти пластического, т.е. не нуждающегося ни в ком и ни в чем, ни даже в разумной причине, страдания!

Боже, каким непосильным и давно мною утраченным воздухом ты дышишь! Он разреженно, — нет, убийственно чист, в нем нет ни пылинки того облегчительного, уступочного сору, который мы привносим к возрасту, чтобы вынести парадокс бессмертия среди болезней и сделать его мыслимым и правдоподобным. Ты же ослепительно гибка и молода сердцем, и этого нельзя видеть, не потрясаясь, даже и не будучи братом.

Ты не всегда писала мне, как сегодня, но ты сама всегда такова. С таким ощущением тебя, твоей матери и твоей крови, твоей комнаты и твоего дара, твоего дьявола и твоей судьбы, т.е. в таких чувствах я ведь и переступил порог вашего дома! И хотя я достаточно знал, каким оттенком сдержанной властности ограждаетесь вы обе от всяких любвей и пониманий и тому подобного, и значит, в наивысшей пассивности, на какую был способен, нес себя в ваше, т.е., лучше и вернее, твое распоряжение, но и эта мера безинициативности показалась мне недостаточной при первых тетиных словах.

Помнишь, ты сказала мне, что обычно я более веселым и шумным приезжал, чем на этот раз? Вы должны были себе представить, что моим настроеньям есть причины, коренящиеся во мне или оставшиеся в Москве, что у моего приезда есть какие-то деловые цели. А между тем я приехал только к тебе, и вошел к вам *только* взволнованный, за исключением же этого волнения, во всем прочем весь начисто посвященный встрече, как только что для зарядки взятая светочувствительная пластинка.

Это — о причинах моей грусти и сдержанности. А теперь о «деловых» целях. Я просто приехал сделать все, о чем ты меня попросишь и последовать всюду, куда ты меня позовешь. Все это вранье о Царском Селе и Гатчине было тем минимумом активной мечты или предвосхищения, который я привез с собой и который, как я говорю, мне показался еще не довольно малым.

Но что мне не к кому было в Питере, как только к тебе и маме, я и так без всякой пользы и радости для тебя, доказал. У меня литературных друзей пол-Ленинграда, и ведь я не видал ни Ахматовой, ни Кузьмина, ни Чуковского, ни десятка других менее милых, хотя почему же менее, этого, может быть о них нельзя сказать. Единственным исключением был Тихонов¹², но ведь это же почти младший брат мне. —

Не знаю, как и благодарить тебя, что ты не попрекнула меня моим свинским молчаньем. Ты знаешь или легко догадаешься, что первые дни по приезде меня так и тянуло писать тебе и благодарить тетю за ласку. Но просто и не сказать, сколько наполнило отовсюду разнообразных неотложностей. Однако обстоятельства сложились так несчастливо, что сейчас, когда я пишу тебе, их еще вдесятеро больше.

Дело в том, что почти все это время я проболел. Я разорвал себе плечевые связки на левой руке и на это, т.е. на неопишемые мученья и потом постепенное овладение отхворавшей и атрофировавшейся рукой ушел месяц. Тогда же болел и весь дом и, как вы его зовете, — Дудлик, представь, — воспалением почвенных (как он говорит) лоханок. Потом по истечении недельной передышки схватил я грипп и кончился он на самое Рождество — флюсом, так что Новый год встретил я... чрезвычайно надуту.

А работать и надо и хочется. А писем, писем! Олечка, замечательные были среди них о «1905-м». От Горького. От лучших и независимейших из эмиграции.

Конечно права ты, а не Канский¹³, но никому этого не говори, говорю я достаточно. Статью в «Печ<ати> и Рев<олюции>» конечно, знал до приезда к вам. Статья прискорбная, но нельзя ее ругать: автор очевидно желал мне блага и вынужден был сделать это в «терминах эпохи». Он москвич и я его даже в лицо не знаю¹⁴. Но если эти статьи тебе что-то по-сестрински дают (обстоятельство это меня волнует до крайности), то найди

способ достать где-нибудь у вас июльский номер консервативного английского журнала «The London Mercury» за этот год (July 1927). Там статья князя Святополк-Мирского о современной русской литературе, и хотя оценка, которую он мне дает, незаслуженно преувеличенная, но это — единственная, о которой тебе не придется «спорить с Канским». И потом я тебе о Цветаевой рассказывал. Там тоже удивительно хорошо о ней. Но прочти *всю* статью.

Я и эту статью читал еще летом, как и «Печ. и Ревскую», — я знаю, что не ответил тебе на письмо. Прости. Горячо тебя за все благодарю и целую. Так же и маму. Жени тоже.

Да, о *настоящей* радости, которой хотел поделиться с вами обоими, не написал ни слова! Папина выставка в Берлине протекает блестяще и встречает баснословный прием¹⁵. По моей давно забежавшей вперед просьбе, он выслал мне три газетных вырезки из лучших берлинских газет, при записке, прямо начинающейся восклицанием. Успех небывалый! Таким образом, мою стихийную, т. е. элементарную радость по поводу его победы сопровождает еще и другая, идущая от сознания того, как он, в таких летах, еще несогбенно молод, и как я, несмотря на мои годы, фатально стар, т. е. *добровольно сед*. Какое живое, почти детское по непосредственности *доверье к радости* сказалось в этих словах, в моей судьбе немислимых, даже и наедине с собою! Но за этой простой, молодящей параллелью вскрывается другой роковой пласт, и тут — только реветь да руками разводить. Дело в том, что он недооценивался всю жизнь и недооценен и по сей день настолько же, насколько меня преследует переоценка. Гордитесь, тетя, братом и своей костью, и давайте обнимемся и поплачем втроем.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [17 февраля 1928]

Дорогой мой друг!

Вероятно мое письмо показалось тебе темным или обидно коротким в ответ на всю глубину и силу твоего, и ты не рассчитала того, что я еще на большей каторге, чем ты, и едва себя держу в руках, чтобы все не посыпалось, не поползло и не поскокало. Мне трудно, дорогая и родная моя, потому что все дер-

жится на памяти, на нервах, ведущих в былое, — и сейчас ничем живым не компенсируется.

Сейчас я к тебе с просьбой, которой мне стыдно, — но начав с твоей легкой руки собирать вырезки, я стал их коллекционировать с чужих слов и передач — то один, то другой скажет и укажет источник. А на днях натурщица в Жениной школе¹⁶ сказала ей, что в пятницу что-то читала в Красной газете. Это либо от 10.2 либо от 9-го. Газета — ваша, вечерняя. Не достанешь ли, Олюшка? Прости и не смейся надо мной и, если любишь, напиши о себе.

Целую тебя и тетю крепко, крепко.

Твой Б.

Я уже полным ходом писала свою Поэтику, которую назвала Прокридой: я хотела поставить во главу угла мысль о различиях, которые оказываются тождеством. В Прокриде я впервые дала полную систему античных семантик. Я брала образы в их многообразии и показывала их единство. Мне хотелось установить закон формообразования и многообразия. Хаос сюжетов, мифов, обрядов, вещей становился у меня закономерной системой определенных смыслов.

Философски я хотела показать, что литература может быть таким же материалом теории познания, как и естествознание или точные науки. Что до фактического материала, то тут у меня было много конкретных мыслей, много новых результатов: происхождение драмы, хора, лирической метафористики. Вскрывать генетическую семантику и находить связи среди самого разнородного — на это я была мастер!

Впервые я выдвинула по-новому проблему жанра и жанрообразования, освободив их от формального толкования.

Если над жанром никто в моем духе не работал, то иначе вышло с сюжетом. Интерес к сюжету у Марра и у Франк-Каменецкого всецело определялся семантикой, в то время, как для меня, семантика была целью определения морфологии, — закономерности формообразования.

У меня есть претензия считать, что я первая в научной литературе увидела в литературном сюжете систему мировоззрения.

В сущности, речь шла о гносеологии. Сюжет получал у меня характер произвольный, непосредственно выражавший первобытное образное (мифическое) мышление. Он имел свои законы и в области формообразования, и конкретного содержания, потому что являлся исторически обусловленным мировосприятием, которое складывалось по законам образования.

В 1928 году Прокрида уже была закончена.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 19 февраля 1928

Дорогая Олюшка! По-видимому, моя открытка вышла в одно время с твоим письмом и встретились они в Бологом. Стыжусь и благодарю.

Спасибо большое за радостные вести о твоих работах. От души желаю тебе спокойствия и самообладания при дописывании второй диссертации: сознание, что она на корню предназначена для Академии Наук, вообще, в дальнейшей судьбе предрешена — будет тебе помехой, и дай Бог тебе справиться с этими перебоями завтрашнего живого дня в сосредоточенном движении нынешнего. Мне очень нравится заглавие и широкий интерпретационный круг, который вокруг него раскидывается¹⁷.

Не делай только *за работой* последних напрашивающихся выводов о самой себе: они всегда язвят, нервируют и растравливают без проку. Они опускают все деловые промежуточные звенья и разом переносят к субъективно-тревожному итогу, упирающемуся в чувство и судьбу.

Говорю прекрасно известные тебе вещи, говорю потому, что знаю по себе.

Целую и поздравляю. Поцелуй тетю.

Твой Б.

Не сердись, что открытка. Это, чтоб поскорей.

Под Академией наук он разумел вот что. Как только книга была мною написана, напечатана на машинке и сброшюрована, я взяла ее и повезла в Академию материальной культуры Марру.

Я попросила его напечатать Прокриду. Он обещал. Я попросила его прикрепить Прокриду к Яфетическому институту для докторской защиты. Он обещал. Я уехала от него, несмотря на обычный дружелюбный прием, без всяких надежд.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 10 мая 1928

Дорогая Олюшка!

Жалею, что не было меня дома, когда звонил Мг. Лившиц¹⁸, — он с Шурой говорил; расспросил бы я его по-своему и побольше. Все же знаю, что готовишься ты к осенней защите и день ото дня идешь в гору.

Болезнь началась с гриппа, кончилась скверным осложнением. Только тут, смущенный странной точностью и упорством головных болей, и обратился я к врачу. Оказалось — воспаление лобной пазухи (есть и такая), т.е. полости, находящейся под височной костью. Слава Богу, обошлось без трепанации, — и выздоравливаю, а то бы не писал тебе.

Больше месяца ничего не делал, да и сейчас берусь за работу с большой опаской: а ну, как опять стрельнет в висок и все пойдет сначала. — Сидим пока без денег, но я их, разумеется, добуду.

Когда поселяешься на лето тут, под Москвой, кругом только и говорят, что о дешевизне Кавказа или Крыма. Справляются о деньгах, зарываемых где-нибудь в 60-ти верстах от Москвы, приходят в ужас и доказывают, что за них вчетвером по Кавказу можно доехать до Персии. Так с осени Кавказ пускает глубокие корни, по закону озимых посевов, зимой о нем не думаешь, весной же оказывается, что дело зашло так далеко, что вся твоя семья давно уже в Кабарде или Теберде, и только остается эту галлюцинацию дополнительным образом оформить.

— Я много болел этой зимой и мало чего сделал. В двух-трех работах, которые мне предстоит довести до конца¹⁹, я теперь дошел до очень тяжелой и критической черты, за которой находится, по теме, — истекшее десятилетье — его события, его смысл и прочее, но не в объективно-эпическом построении, как это было с «1905-м», а в изображении личном, «субъективном». т.е. придется рассказывать о том, как мы все это видели и переживали.

Я не двинулся ни в жизни, ни в работе, ни на шаг вперед, если об этом куске времени себе не отрапортую. Обойти это препятствие, занявшись чем-нибудь другим, при всех моих склонностях и складе значит обесценить наперед все, что мне осталось пережить. Я бы мог это сделать только, если бы знал, что буду жить дважды. Тогда я до второй и более удобной жизни отложил бы эту ужасную и колючую задачу. Но нужно мне об этом написать, и интересно это может быть лишь при том условии, что это будет сделано более или менее искренно. Ну вот.

А ты знаешь, террор возобновился, без тех нравственных оснований или оправданий, какие для него находили когда-то²⁰, в самый разгар торговли, карьеризма, невзрачной «греховности»: это ведь давно уже и далеко не те пуританские святые, что выс-

тупали в свое время ангелами карающего правосудья. И вообще — страшная путаница, прокатываются какие-то, ко времени не относящиеся волны, ничего не поймешь. Вообще, — осенью я не того ждал и не так было грустно.

Я боюсь, что попытка, о которой говорю выше, и без которой я не могу закончить двух вещей, принесет мне неприятности и снова затруднит мне жизнь, если не хуже. Но это — в естественной последовательности должного и предопределенного, вовсе не из задора какого-нибудь или чего-нибудь в этом роде. А может быть, все обойдется благополучно. Скорее верю в последнее.

20 мая. Дорогая Олюша! Вот всегда так. Письмо лежит десять дней. Я его не кончил, потому что тем временем пришло тети Асино, замечательное, на которое хотелось и надо было тут же ответить, но в котором заключались вопросы, ответ на которые, как мне казалось, придет в теченье ближайших двух-трех дней, но эти вопросы задержались и до сих пор не получили разрешенья: мы все еще не знаем, что предпримем летом.

Кажется, я на месяц отправлю Женю с Женичкой на Кавказ, а сам в городе останусь, по их же возвращеньи поселимся где-нибудь тут на даче. Но все это еще в предположении. Во всяком случае, где бы то ни было, ты всегда будешь желанной гостьей (хоть на Кавказе). Если же (или — когда) мы поселимся под Москвой, то я очень бы хотел, чтобы пожила у нас и тетя.

Крепко тебя обнимаю. Не сердись, что не отвечал тебе. Часть объяснений почерпнешь из письма, всех же не перечешь.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 мая 1928

Дорогая тетечка!

Вы знаете ведь, или должны знать, как меня растрогали своим чудесным письмом. А так как к числу Ваших главных достоинств относится осуждение излишних сентиментов, то, вероятно, Вы даже и не позволите мне много распространяться на эту тему.

Я не ответил Вам тотчас, потому что только в истекшую пятницу могло выясниться, достану ли я денег и сколько достану; не далее как вчера мы ездили к Оке в Каширу на предваритель-

ную разведку: — словом, у нас относительно лета ничего еще не решено, и как только решится, я не только буду звать к нам Олю, но, конечно, не менее горячо и Вас. Задержка в ответе произошла потому, что я со дня на день ждал разрешения всех этих колебаний, но пока что, в своих надеждах обманываюсь.

Женя неописуемо худа и если в чем делает успехи, то только в умалении своего веса и ухудшении самочувствия. Это меня огорчает и беспокоит. Ей надо поправиться. Это вполне достижимо объективно, но в субъективной части, т.е. той, которая зависит от нее самой, никогда не удается.

Мальчик, хотя и при няне, растет в какой-то общей и расплывчатой дикости. Он и озорник и в то же время отъявленный меланхолик. Эгоистичен до бессердечья, но притом и женственно ласков. Вероятно избалован, хотя я не могу уследить, кем, собственно, и чем. Живется ему, при современном устройстве московских квартир, ничуть не сладко. И то же самое устройство мешает мне понять, в чем его недостаток, или чего ему не достает. Пугано очень и тесно, и разобраться в том, что делается с тобой рядом и вмешаться воспитательно также трудно, как заняться настройкой рояля среди расстроенного колокольного звона. Утешает то, что он будет жить *со своими* современниками, а они в большинстве вырастают на таких же колокольнях.

Вы спрашиваете о Жоне и о наших. Там все более или менее благополучно. Похварывала мама, теперь ей лучше. Несравненно лучше и Жонечке. Я оттого не имел от нее давно писем, что и сам больше полугода ей не пишу. Перестал я ей писать как раз, когда узнал о ее болезни и по причине именно ее состояния. Я не знал, как и не знаю и сейчас, что именно было с ней, и давно научился не касаться вещей неясных, причем эта осторожность тем больше у меня, чем эти вещи ближе мне и дороже. Если бы я был там, я не щадя сил постарался бы понять, что лежит в основании ничего не значащего и суеверно-научного обозначенья: «нервы», которым с легкой руки докторов, все время они отписывались. Объяснить же что-нибудь во весь рост и достойно наши не мастера, потому что они все истерики, а не философы. Иногда истерия безмерная, прорывающая границы дома, по своей интуиции заменяет ясное и большое вниманье. Тогда эта истерия так же самоотверженна, как ум, и не щадит самое себя, потому что в себе не заинтересована. Но у

них истерия домашняя, частновладельческая, т.е. такая, которая ничего кроме путаницы, при рассуждениях не родит. Печального тумана этого я и не трогал, чтобы не заставить их еще его сгущать.

Но вчера я видел живого человека, выдавшего всех их дней десять тому назад, и он мне о них рассказал подробно и восторженно. Все там, слава Богу, благополучно.

Очень Вы меня огорчили сообщением о Вашем посещении окулиста. Знаете ли Вы, тетя, что и папе было так же сказано лет восемь тому назад?²¹ Конечно, он в постоянной печали на этот счет, но, вот видите, работает все, и как хорошо!

Я не так-то скоро их увижу. Мечта о поездке остается в силе, но все откладывается. В настоящее время я верю, что, наконец, все-таки зимой соберусь, но как часто я уже обманывался!²²

Крепко Вас обнимаю, горячо люблю и благодарю без конца.

Ваш Б.

Женя читала Ваше письмо со слезами на глазах, и оно на нее имело действие еще большее, чем на меня, насколько это вообще мыслимо. У ней сейчас зачеты и всякие другие хлопоты.

Простите, что пишу на клочках: кончилась бумага обоих сортов, хорошая и плохая.

Среди многих невзгод этого времени особенно тяжелая заключалась в том, что у мамы началась болезнь глаз. У мамы оказалась катаракта (бедный дядя скрывал это, уже один глаз у него был потерян — у художника!). Много ужасного я пережила в связи с этим. Все врачи говорили, что оперировать ее нельзя из-за каких-то привходящих причин. Десять лет я провела под невыносимым, вечно преследовавшим меня гнетом.

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 5 июня 1928

Дорогая тетя!

Час от часу не легче. Вы меня решили загнать в угол своей нежностью. Я приперт к стене. Ну что мне сказать, как ответить? Письма Вашего нельзя читать без волнения. Так именно читала и перечитывала его Женя. И Вы вся в нем, живая, так прямо и видишь и слышишь Вас. Не знаю, как и благодарить Вас за приглашенье, больше же еще за то, как оно делается. Оно так заманчиво, что в тот же вечер, что я о нем прочел, я его уже

и принял и у Вас поселился. Однако за полуторамесячную задержку в его исполнении я готов поручиться. Может быть, в середине июля мне удастся сочинить какое-нибудь дело до Лениги, чтобы попасть к вам, как я всегда это делал. Это очень вероятно. Сейчас же мне надо быть тут обязательно. —

Два часа тому назад отбыла в Геленджик (Северный Кавказ) Женья с мальчиком и прислугой. Я остался тут. Не только потому, что на всех бы не хватило денег, но и потому, что для дальнейшего их поступления мне надо и поработать и походить в здешние издательства. Я сейчас не напишу Вам ничего путного, как не смогу ответить и Оле, которую горячо благодарю за письмо. Тут за время болезни набежало много дел, еще же больше вызвал отъезд Жени, и надо спешно работать.

Если Оля хочет наверняка заручиться от меня ответом, то пусть оставит меня без писем, и лишенье скажется, и насильно заставит меня написать. Если же можешь, родная Олюшка, то прости мне его. Но вот я и отвечаю тебе; не о чем говорить, я чист перед тобою. Как догадаться мне о втором плане биографии по тем недосказанностям, которыми ты его касаешься²³. Ужасно жаль, что я не могу повидать тебя завтра и расспросить напрямик. Что же тогда дорогого на свете, если не твое душевное спокойствие и счастье? Благодарю и тебя за приглашение и гостеприимство. В июле я наверное воспользуюсь им. Теперь же крепко обнимаю вас обеих. Пустое письмо, я пишу его лишь из боязни промедленья, при таких откликах, как ваши, недопустимого.

Tout à vous deux*.

Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 19 июля 1928

Дорогая Олечка!

Прости за новое свинство: на твой привет из Царского и приглашение, переданное через Канского, до сих пор не ответил. Но, друг мой, если бы ты знала, что это была за гонка, что за каторга! Конечно, человеку постороннему достаточно на меня только взглянуть, чтобы по ввалившимся щекам сразу до-

* Преданный вам обним (фр.).

гадаться, что я не у вас в Питере провел этот трудный месяц. Но успел ли бы я столько, если бы за это не заплатил долей здорovia, тоже вопрос.

Что это именно была за работа, долго рассказывать. Это и переделка старых книг, вроде «Поверх Барьеров», которые обезображены были опечатками да и независимо от этого достаточно дики²⁴, и многое другое.

Друг мой, Олечка, если хочешь взглянуть, как я просто стал писать, достань 7-й номер «Красной нови», это продолжение одного моего романа в стихах, но самостоятельная часть, и ее можно читать, не зная начала; в крайнем случае посмотри № 1 того же журнала за этот год²⁵.

Уезжаю, совершенно истомленный, и тебя и тетю страшно люблю.

Геленджик, ул. д-ра Гааза 22.

Обнимаю вас обеих. *Весь ваш Б.*

Я писала Боре о пережитом, в виде итога. Мне хотелось сказать ему, наконец, что мое сердце занято, хоть и несчастливо. Он писал мне в конце октября, после холодного молчания, вызванного этим известием:

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 22 октября 1928

Оля дорогая, я наверное потерял тебя и тетю, и этого уже ничем не поправить, вы вправе навсегда отказаться от меня и забыть, тем более, что мне нечего выставить в свое оправдание.

Я не знаю, что это у меня было во вторую половину лета и всю осень, но в этом состоянии, которым я несколько не тяготился, я не ответил бы тебе и в том случае, если бы твое письмо состояло только из двух первых четвертушек, и не было третьей, в которой ты говоришь о своей «регенерации» и, как бы успокаиваясь, смягчаешь остроту неотложности, к которой взывает начало письма. Вот видишь ты, насколько я виноват, и не знаю, не жалеешь ли о доверии, которым меня подарила.

Все остальное (в отношении допущенного свинства) совершенные пустяки: и то, что приехали мы 16-го, и письмо твое «все равно» не по моей вине пошло, так сказать, в лежку, самостоятельно ее открыло; и то, что нашли мы квартиру в состоянии ремонтного разгрома, а это всегда колеблет ощущение времени, во всех отношениях, и особенно в отношении нрав-

ственной ответственности; и то, наконец, что до твоего письма в этой полосе безнадежно усталого и блаженного «рукомахательства» (от: рукой махнуть) — были еще более вопиющие прецеденты.

Сейчас я пишу тебе без надежды услышать что-нибудь в ответ: такая неожиданность меня бы даже смутила и пристыдила, мне бы этого не хотелось. Я придрался к случаю. Тут человек один привез полный чемодан подарков от наших, где есть вещи и вам и нам, и в разные города²⁶. Вдвойне рад этой посылке, как поводу заговорить, наконец, по-человечески.

Ах, Оля, Оля, точно ты не знаешь, в виде правила, не меняющегося ни от времени, ни от чего другого, что видеть тебя для меня всегда большая радость, пока к несчастью все еще остающаяся мечтой? И кстати. Вот когда я почувствовал роковые последствия своего молчания. Весной только и разговору было о том, чтобы снять дачу под Москвой и тебя с тетей сюда законтрактовать насильно, либо же тебя вызвать на Кавказ. Удивительно, что Женя этого не вспомнила и вам не сказала.

Теперь о том, что ты пережила. Но если бы ты и не внушала мне, что этого не надо касаться, как вещи, якобы отошедшей в прошлое, я бы не знал, как об этом заговорить. Ты и себе, насколько я могу судить, всякие счеты с этим затрудняешь, как только можешь; ты переводишь то, что наполовину в твоей воле, в безраздельное веденье судьбы; по-видимому, тебе ничего «этого» (т.е. вторжения чужой жизни) в последней волевой глубине не хочется. И кто тебе тут судья и советчик?

Странно тебе будет это от меня услышать, но, думаю, ты должна слепо довериться собственному *упрямству*, т.е. тому, что отдает, так сказать, часами с большим заводом, все равно старые ли это и знакомые тебе часы или новые, нелепые, но упрямо навязчивые в своей неожиданности. Потому что вопрос не в доводах разума или чувства, и не в их вескости, а в той силе, которая обещает остаться в тебе по принятии решения и перемене... если на пути, то хотя бы жизненных привычек. Но, наверное, я ломлюсь в открытую дверь или грубо заблуждаюсь. Потому что я как будто бы говорю о каком-то житейском шаге, пусть и в предположении, ты же, не рассказывая, рассказала мне о чувстве, которое всегда, конечно, не соизмеримо больше всякого такого шага.

Вероятно тебя можно уже поздравить с окончанием «Прокриды», т.е. с приведением работы в окончательный, дорожно-отпускной вид. Разрешились ли все те вопросы, которые предшествуют сдаче ее в печать, ты мне их в конце письма торопливо перечислила. Вижу и знаю, как напряженно трудно тебе в последней установке осуществлений, в той, уже не требующей ни мысли, ни нового наплыва чувства, «уборке жизни», которая требует от людей легкости и других недостатков, и становится неопишимо трудной не столько от внешних неудач, сколько от прирожденных достоинств.

Не пиши мне, пожалуйста. Дай, — уладится тут кое-что у меня, и я сам тебе напишу. Ты увидишь, что я переживаю много с твоим сходного. Но открытку ты все же пошла мне, о здоровье тети. Женя видела ее простуженной, в состоянии легкого гриппа.

Хотя я этого не заслужил, однако неизбежно и механическое извещение о получении посылки. Вот тут ты и скажи мне о тетином здоровье и о своей работе. Крепко вас обеих обнимаю и люблю. От всех поклоны и поцелуи.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16 ноября 1928

Дорогая Олюшка!

Прости еще раз и наверное не в последний. Но было много чего, а главное на прошлой неделе скончалась Женина мама. Хотя перед этим всякие другие огорченья бледнеют и кажутся пустыми, но нервное существо человека продолжает их воспринимать и суммировать, как ни кощунственен такой подсчет на взгляд сердца. Так оно и с Женей.

Потрясение это застало ее в полубольном состоянии, после поездки в Питер и небольшого заболевания по возвращении в Москву. Она не только изошла слезами в эти несколько последних дней, но и как-то вообще потрясена и уничтожена. Ее испугала и ожесточила та быстрота, с какой природа и традиция (тление и обряд) спешат убрать с дороги жизни то, что было жизнью и ее дало. Но это ничего не передает, и я зываю к твоей догадливости и воображенью. В двух словах этого не скажешь. Я видел в первый раз в жизни, как хоронят евреев, и это ужасно.

И как бы варьируя эту тему устрашенья, судьба в те же дни послала ей новое испытанье. Вы помните Феню, по наследству перешедшую к ней от стариков и два года бывшею няней при Жене. Мы с ней расстались давно. Некоторое время она служила у Жениной сестры (здешней), помогая в уходе за больной госпожой Лурье. С течением времени ее замкнутость и упрямство стали несносны и для людей, сжившихся с ней, как с родным человеком, и они ее рассчитали. Она поступила на другое место. Потом его сменила новым.

Ездил на родину к себе, но не прижилась, и приехала несчастная, улыбающаяся и загадочная. С ней стали происходить какие-то странности, незадача сменялась задачей. Дня за два до смерти своей бывшей госпожи, дождливой ночью, она постучалась к нам, грязная, промокшая, с несомненными признаками жара, улыбающаяся и загадочная, ее тотчас уложили спать и она моментально уснула, с градусником под мышкой, показавшим что-то около 40 градусов.

А утром оказалось, что незадолго перед тем, перевоза свои вещи на новое (и которое по счету!) место, она выволокла тяжелую корзину с трамвая на тротуар, и тут ее оставив, с тем, чтобы потом подхватить, належке с адресом в руках (она неграмотная) пошла разыскивать своих новых хозяев. Когда найдя их, она вернулась к трамвайной остановке, корзины, разумеется, и след простыл, а в ней были ее документы и 300 рублей денег.

А потом в ребяческой последовательности шли подробности о дальнейшем, о какой-то землячке, затем о простуде, затем о том, что накануне вечером она больная пришла домой к хозяевам и те отказались отпереть ей дверь. Мы ее приютили. Она страшно неопрятна, ходит босиком и с распущенными волосами, подбирает у соседей по подоконникам селедочные хвосты и затем, заняв у кого-нибудь пятирублевку, заказывает в кондитерской торт Наполеон, со сбитыми сливками, и угощает кухню и всю многолюдную квартиру.

Вчера она в сумерки ушла к Жениной родне и вернулась сегодня утром. Она не помнит, как название той деревни, где она провела ночь. Туда завез ее трамвай, на который она села в направлении обратном тому, в котором требовалось, и это было близ какой-то железной дороги, она пропустила восемнадцать поездов мимо себя, с гордостью призналась она, и потом при-

зналась, что будь при ней деньги, она бы домой не вернулась, так ее потянуло вдаль.

Сейчас Женя пошла с ней к психиатру, а я с утра начал хождение по разным местам, где надо восстановить все, утраченное и утраченное ею по корзинам и неизвестным деревьям, по местам ее многочисленных служб и по ее карманам, с подкладкой в давленных яичных желтках и подсолнухах.

Страшнее всего то, что для Жени в этом воплотились две вещи, мучительные по своей бесконечности, т.е. по неизместимости, по тому, значит, что им нельзя положить границ своими руками и в то же время своими же руками надо положить: расплывчатость нравственного долга и расплывчатость жизненной угрозы, скорчившей живую гримасу прямо вслед за тем, как она показала ей (и какую, т.е. *чью!*) маску мертвеца.

И опять, что я пишу, что я себе позволяю! Отчего я считаюсь с тобой, и отвечаю тебе, зная, что писем писать не могу и не должен. Но это временно, этого и с тобой скоро не будет. Это оттого, что в моем чувстве к тебе я еще доверяю твоей потребности в ответе и ей подчиняюсь, хотя должен бы уже знать, как призрачна эта потребность, если не ошибочна.

Твое и тетиню порученье я исполню послезавтра, в воскресенье, вечером, хотя я не совсем его понимаю и не уверен, надо ли это именно так, как вы задумали, и приятно ли это будет Струве²⁷. Но это ваше дело, и насколько я понял суть вопроса, буду просить о том, чтобы музей ограничился одним экземпляром книги, с тем, чтобы сойтись, может быть, на двадцати пяти.

Сохрани вас Бог писать об Эфросе²⁸ папе. Это его заклятый враг, *c'est sa bête noire**. Когда-то Эфрос писал о выставках в «Русских Ведомостях» и позволял себе возмутительный тон по отношению к папочке и главное, о как несправедливо и слепо! А ведь папа был и есть живой человек, со всеми слабостями действительно живого, самолюбивого, на своем месте и в свое время — яркого существования, не то, что я с моим «почти что ханжеством», как говорят все близкие люди, т.е. с чертой характера, которая выросла не из меня, а все более и более в меня вростает из того сочетанья, в какое вошла моя жизнь с окружающим, с временем,

* Исчадь ада, источник ужаса (фр.)

с планами, и пр. и пр.... И как его все это *чисто* язвил! Точь-в-точь, как *запутанно* оставляет *рассеянным* меня.

Дорогая тетечка, видите, что у нас делается, а я не рассказал ведь и половины, потому что ни словом не обмолвился о себе. Горячо Вас благодарю за письмо. При виде Вашей подписи Женя умилилась до слез, это ничего, и может быть, хорошо, что так все совпало. Но на ней лица нет, кожа да кости, ей надо бы в дом отдыха на месяц, и это было бы очень легко сделать, но она не соглашается, — вперед ей надо Феню устроить в больницу и затем поработать, потому что больше полугода она не трогала кистей. И просто не знаю, что с ней будет.

А Эфрос не далее как вчера меня очень расстрогал своей речью об одном французском поэте, сейчас находящемся в Москве. Это была прекрасная речь и очень в точку: вечер был посвящен творчеству этого гостя, прекрасного, между прочим, поэта, Ромэн Роллановской «человечной» складки²⁹. И теперь, благодаря Вашей просьбе, я воспользуюсь приглашением на воскресенье вечером, а он-то и не будет знать, что я у него обедаю на «египетском» основании. А я бы не пошел, хотя он умница и интересный человек, потому что больше дома сижу.

Зачеркнул о результатах врачебного осмотра из суеверия, пока не подтвердилось анализом³⁰.

Не сердитесь, когда не пишу. Вот видите, какова жизнь. Оттого и тороплюсь и скуплюсь на время и считаю каждый день подарком. О результатах разговоров с Эфросом сообщу отдельно.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 21 декабря 1928

Дорогой Боря!

Мне суждено поздравить тебя с праздниками и пожелать всего лучшего перед наступлением Нового Года. Ведь ты знаешь, что переписка наша такова, что я могу тебе писать только по деловым поводам. Сейчас он таков.

Секретарь литературного отделения Института истории искусств Борис Васильевич Казанский³¹, добрый мой приятель, просит, чтоб я передала тебе просьбу института и его. Институт выпускает о тебе исследование Бухштаба³², и у них принято, чтоб в начале книги шла статья самого автора. Она может быть автобиографическая (примечание мое: ради бога, без Одесс и

т.д.), либо принципиальная, либо о поэзии вообще или о своей и т.д. Так вот, просят тебя прислать им такую статью и спешно, кажется (не помню).

Эпиграф я забыла надписать: «благослови вас бог, а я не виноват». Не могу отказать милому Борису Васильевичу в его невинной просьбе, и исполняю ее механически. Мне в этом деле нечего ни прибавить, ни убавить. Сам Б.В. тоже тебе напишет, т.к. я отказалась брать на себя функции более делового характера. Почему он хотел моего посредничества — для меня непонятно; возможно, что он слишком ценит мои слова и переоценивает письма.

Мы ждали Женечку и одно время были приподняты мелькнувшей возможностью ее приезда.

Крепко вас целую.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 27 декабря 1928

Дорогая Олечка!

Ах, если б ты знала, как мне плохо, как безысходно-неопределенно-трудно последнее время. С самой весны я как-то справлялся с житейскими нуждами, ничего же нового и живого не сделал. Виноват в этом не я один, а также и время, т.е. официальные его настроения.

Сейчас ничего не могу тебе ответить на предложение Института, вероятно инспирированное тобой, со дня на день собираюсь засесть за дело, что только меня и спасет душевно, и только отсюда, из вновь отвоеванного круга этого, не только теперь, но и извечно обреченного чистосердечья, способен буду сообразить, что написать и сделать. Но, думаю, писать теперь в эти дни, стал бы лишь об этом: о невольном самоограничении «попутчиков», ставшем их второй природой и об искажении, которому подвергается оценка их исторической роли в самое последнее время. Но если ты знаешь Бухштаба лично, передай ему, чтобы он цитатами из моей второй книги «Поверх Барьеров»³³ не пользовался, не справясь у меня: эта книга испещрена опечатками, она вышла без моей правки, в год, когда я был на Урале.

Крепко целую тебя и тетю.

Невозможность ни опубликовать «Роман», ни пристроить второе свое дитя, «Прокриду», табуирование и «суд глупца»³⁴, вылились у меня в сильное волнение, когда я, желая познакомиться с официальным диалектическим материализмом, нашла в книге «самого» Деборина, правительственного философа и диктатора мыслей³⁵, — все нашла, что практически проводила в своих работах. В состоянии одержимости я написала Деборину, вся сотрясаясь от волнения и чувства предела:

Ленинград, 4 января 1929 г.

Глубокоуважаемый товарищ Деборин!

К Вам обращается человек в очень тяжелый день своей научной жизни. Если Вам приходилось бороться и испытывать крайние пределы отчаяния, если вообще Вам известен путь научной биографии — Вы простите волнение письма, которое в такой именно форме апеллирует к Вам.

Разрешите мне сейчас обойти фактические основания моего обращения к Вам и прямо сказать Вам основное: я прошу у Вас научного доступа к себе ровно на столько времени, сколько требуется, чтобы изложить ход уже оформленной работы и выслушать Ваше суждение. Что до меня, я научный сотрудник Яфетического института Академии наук ИЛАЗВ' а при Университете и т.д., не дилетант и не шаляпинист, но женщина — что требует снисхождения даже у нас.

Не знаю, в Москве ли Вам удобнее принять меня или в Ленинграде, куда Вы, по-видимому, приедете в связи с выборами в Академию. Мое материальное положение позволяет мне приехать в Москву только к определенному дню. Простите, что не знаю Вашего имени и отчества, — я только знаю Вас, как мыслителя и как главу нашей современной философии.

Подпись.

Адрес. —

Если Вам менее затруднительно позвонить по телефону в Москве: Борису Леонидовичу Пастернаку (Волхонка 14 кв. 9) для меня.

Боря был в то время на вершине славы³⁶, и потому я могла думать, что его имя послужит Деборину свидетельством, что я не просто рядовой массовый корреспондент. И Борю я, конечно, предупредила. Случилось примитивней. Я узнала об этом из сердитой открытки Бори, который не мог понять, что я не хотела его беспокоить неприятными ему «протекциями».

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 17 января 1929

Дорогая Олюшка!

Сейчас случилось то, о чем ты меня предупредила открыткой. Звонил не сам Деборин, а по-видимому его жена по его порученью. Но она обратилась ко мне за справками, которых я не мог дать. Меня спросили, в приличной форме, но приблизительно о том, в чем заключается твое дело и что тебе надо. С твоей открыткой в руках, я сказал, что знал; что мне кажется, де, что ты интересуешься, когда может он тебя принять, здесь или в Ленинграде. Но так как я узнал, что твой запрос, по-видимому, слишком лаконичен, и либо воспринят ими, как загадочный, либо за таковой выдается ими, то рассказал о тебе, что мог и знал, т.е. кто ты, о твоей работе, о Марре и пр.

Ты меня поставила в невозможное, относительно тебя же положение: почему я могу знать содержание твоего письма к Деборину? Ведь ты представила дело так, будто все, в тобою вызванной и тебе известной форме, делается само собой, а я буду только передатчиком результата. Не лучше ли вместо всего этого было бы тебе просто приехать сюда — ты знаешь, как мы были бы рады. Тут бы ты его и повидала, если тебе нужно. В марте он будет в Ленинграде, так передала его жена.

И ты наверное сердисься на меня, а в чем я, скажи, пожалуйста, виноват? Приезжай же, вот что главное.

Обнимаю крепко тебя и тетю.

Я немедленно ответила ему, но то, что это письмо я нахожу сейчас у себя, что к Деборину я не обратилась, говорит, что я решила преодолевать препятствия собственными силами.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 21 января 1929

Дорогой Боря!

Ты странный: как будто кто-нибудь непременно должен быть виноват, ты или я! Смешно говорить о «вине», да еще в наши дни, когда клубок осложненных обстоятельств, зачастую, запутывается самым непредвиденным образом. Конечно, мне горько при мысли, что ты совершенно обособлен от меня, и что

мы оба имели природное право на бóльшую дружбу, чем эта жалкая родственная пародия.

Но здесь уже не я виновата во всяком случае. Так ты относишься к нашей переписке, что только и можно прекратить ее в корне, и писать тебе правдивые письма — это значило бы просто «наседать» на тебя. Естественно, что та открытка — метеорит. Если б Деборин позвонил в Берлин, дядя сумел бы ответить ему, потому что наша дружественная переписка идет все время и моя жизнь ему открыта.

Было, вообще, странно предвидеть, что Деборин изберет именно такую форму для ответа мне. Согласись, если я запрашивала его относительно дня приема и его локальности и давала ему свой адрес в Питере, — а он видел из письма, кто я официально, — и твой телефон в Москве, с просьбой ответить на этот единственный, обращенный к нему вопрос, то нельзя же было предвидеть, что он запросит московского адресата (не зная, кто он мне) относительно того, о чем письмо просило позволения временно умолчать. Да и то, не думай, что так уж я романтична и лишена опыта, чтоб писать именно так и, вообще, загадочно.

Письмо было краткое, деловое, точно сформулированное, но, правда, напряженное внутренним пафосом, потому что было продиктовано в сильную минуту. Во всяком случае, там открыто говорилось о беседе по научному поводу, о том, что фактическими подробностями не стоит загромождать письма, и что речь идет об изложении ему уже оформленной работы, суждение о которой я хотела бы от него выслушать.

Что я имею на это право — видно было из перечня моих научных должностей и общего тона письма. Да и в самом деле, не богдыхан же он китайский, и не может же именно он, как ученый, отказать в обмене мнений другому ученому. Вот и все.

Выступление в сольной партии его жены и их вопросы — это уже другая сторона, мещанская, неусыпно идущая вослед ученой; но и к этому я слишком привыкла, в среде ли я красной профессуры или серой. А если вспомнить, что он еще еврей и правитель, то, вообще, ничему не нужно удивляться.

Все же скажу в его оправдание: я совершенно убеждена, что он думал попасть к нам после выборов в академики, и принял бы меня здесь, чтоб не заставлять меня ездить в Москву; он оттого

выжидал, а позвонил тебе уже после того, как оказался забаллотирован, и увидел, что дело затягивается до марта. Это — одно.

Другое — что я не могла в минуту большой спешки сесть и описать тебе весь узел моих дел и обстоятельств. Если б я и сделала это, то не в целях информирования тебя, а просто от сердца к сердцу. И если ты в какой-то степени интересуешься этим, я готова тебе сказать. Спасибо, что вы рады видеть меня в Москве и зовете «лучше приехать». Этот идиллический период уже миновал. Москва связана у меня с деловыми целями, и если б вы совсем не хотели меня видеть, вопрос остался бы в силе. В такой «постановке» слышится горечь, но она давно и по всем направлениям приняла хронический характер. —

Итак, я сейчас расскажу тебе. С сентября по декабрь шла волокита с моей работой — передача рецензенту, период чтения, писанье отзыва Марру, передача отзыва Марром, прохождение через секретарей, секции, коллегии и прочая и прочая. Наконец, когда все казалось лопнувшим (в том числе и мое терпенье), Марр сообщает мне (13-го декабря), что моя работа принята к печати Коммунистической Академией и включена в план ближайшего печатания. В первых числах января я еду в Москву с работой, мне дается адрес лиц из Коммунистической Академии и т.д. Пойми это все, и особенно после всего, мною пережитого за эти годы...

Я пишу дяде, чтоб сообщить об этом и Жонечке, но скрыть от вас и дать мне возможность поднести вам сюрприз. Марр уезжает в Москву, а я читаю в Институте Марксизма доклад по греческой философии и имею большой успех. Это так.

А затем колесо дает обратный ход. Марксисты устраивают «свое» собрание, на котором предают меня анафеме, обливая меня словечками, которые мы так хорошо знаем (за моей спиной, и после их же похвал). Это заставляет меня впервые подойти к Прокриде и Комакадемии с пачкой новых вопросов и предвидеть неминуемый скандал, уже настоящий, с последствиями, и с перспективой подвести Марра. Не могу описать тебе всех путей моего отчаяния.

Одновременно приезжает Марр и говорит, что Комакадемия боится, по-видимому, брать на себя ответственность за мою работу и думает передать ее Госиздату; но что меня вызовут в Москву и предложат сделать им доклад. В первую минуту я

очень обрадовалась, а потом поняла, что это отказ, тем более, что Марр в феврале уезжает в Париж до лета. Между прочим, Марра ждали тезисы моего прочитанного у марксистов доклада, и он нашел их очень интересными.

Как же быть дальше, ехать ли самой в Москву? А тут Марр снова в Москве на съезде и оттуда в Карелию. Тем временем получают из-за границы рецензии о вышедшей в Германии книге о греческом романе, совпадающей с моей первой. В хор бедствий вступают все новые и новые голоса. Я вижу себя, наконец, в состоянии полного крушения.

Не знаю, понимаешь ли ты, что пришлось мне пережить; нет, меня может понять только ученый, которого со студенческой скамьи травят за определенный метод мысли со всех лагерей, который в напряжении последних сил бьется с гидрой быта и всех сортов пошлостью — и который внезапно узнает, что это то же самое, но менее даровитое и облитое кровью, преспокойно получает жизнь на Западе, т.е. у более знающих и более строгих судей.

И вот во мне просыпается интеллектуальный бунт; я чувствую умственную правоту, которая может повести на научный костер; рядом нагнетается отчаяние, готовое на крайние формы, и так как я очень давно думаю о Деборине, то вдруг сажусь и со страшными рыданиями пишу деловое, сжатое и точное письмо. Ну, а дальнейшее понятно: я *должна* остаться без ответа, потому что банкротство внутренних путей экстаза скорби — самое тяжкое из всех. Тут уже идет целая серия неоправданных «благодатей духа».

И все же я сажусь именно за Деборина и хочу раз навсегда узнать, что же требуется сейчас от нашего брата — может ли быть какое-нибудь примирение и т.д. И вот шаг за шагом узнаю, что вся моя Прокрида представляет собой отличный образчик *действительно проведенного на практике* диалектического материализма.

Приезжает из Карелии Марр. Я говорю ему, что стою совершенно уверенно на ногах (а собиралась сказать противное после марксистов) и он обещает разузнать, почему меня не вызывают в Москву. Через два дня он возвращается с известием, что меня будет печатать — Комакадемия. Деборин звонит тебе. Я решаю в начале февраля ехать в Москву и сажусь за кое-какие поправки к своей работе. —

Теперь вспомни свои слова, что «вместо всего этого» не лучше ли было бы «просто приехать сюда», и что вы были бы ведь этому рады. Да, и я сама была бы рада не меньше. Но я ни в чем уже не уверена, и все, что я тебе описала, — еще не значит, что так оно и на самом деле долго останется и т.д. Поживем — увидим.

Мне, конечно, до крайности все осточертело. Не жизнь это, в самом деле. Ну, не говорю о том, что все это одна беглая схема, и что многое главное еще не доказано. И потом все детали, по каплям точащие. Например, снова меня хотят сократить за то, что я пустила Прокриду по Яфетическому институту, а не по университетскому — масса вопиющих зол и свистопляска кумовства.

Ну, вот. Прости, что невольно поставила тебя в неприятное положение. Мне просто не приходило в голову еще и это, — да и писала я тебе открытку в совстоловой, в гаме и чаде, на ходу достав в одном месте открытку, в другом марку, в третьем карандаш. Был вечер, почта закрыта — а я ходила с письмом в Университет, чтоб там узнать имя-отчество Деборина, и то один знакомый провожал меня, то другой встречал, третий перехватывал и т.д., пока я не попала в эту кишашую столовую. Но знала: если духом, сегодня же, не отправлю, не отправлю вовсе.

Хотелось бы, конечно, знать, что именно ты там сказал обо мне и соответствует ли оно тому, что придется мне самой говорить ему. Спасибо, во всяком случае, за твою услугу и за доброе желание помочь мне.

Обнимаю вас сердечно.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – А.О. и О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва, 8 февраля 1929

Дорогие тетя Ася и Олюшка!

Я знаю, я знаю, что обе вы на меня наверное сердитесь, и что у вас неизбежно превратные представления о моем житье-бытье и о причинах моего молчания. Но все это побоку, а вы поскорее успокойте меня насчет того, как вы справляетесь с этими дьявольскими холодами, и *волю ли у вас хлеба*, и легко ли вы достаете его³⁷. Ах, такие иногда прокатываются слухи! Скорей открыточкой «отпишите» мне, что вы делаете в эти страшные, сорокаградусные по Цельсию, фантазмагорические морозы, — ведь водки вы не пьете! Так как же тогда вы спасаетесь?

Я знаю, что вы сейчас подумаете. О нет, нет. — Пищу вам в иззябшем, несогретом еще состояньи, и взволнованный мой тон объясняется тем, что во-первых, запущенные, на полгода (а что было в те полгода, я вам писал) запоздалые мои работы *me tiennent en haleine et encore un pareil mois de plus me rendra fou**; во-вторых, потому что я сейчас из сторонних источников узнал тревожно вздорные какие-то вещи о Ленинграде; в-третьих же, наконец потому, что я верю, что это известия вздорные (из Парижа), и с нетерпением буду ждать от вас подтверждения. И третья эта причина разумеется важнейшая, если не единственная, моего волнения: если бы я не верил, что все в порядке, я понятно, был бы не взволнован, а удручен или убит.

А у меня вот что. У меня бюджет и заработок так разошлись, что я во все тяжкие пустился в долги и авансы и сейчас, например, поедаю сентябрьские мои посулы и предположенья. Можете себе представить, какая у меня гонка и какое, по ней, настроение, и какой досуг! Разумеется, я не «вдохновляюсь» сплошь по 16 часов в сутки. Но сколько надо и приходится читать!³⁸ К тому же мне обязательно хочется освежить в памяти языки, порядком позабытые.

Вот так и оказываешься расписанным, не считая часов, уходящих на наш адский, полусумасшедший дом с его дырами, многолюдством и непоправимым неумением людей делать что-либо по-настоящему, сверх механизации, остановившись на каком-нибудь бытовом стандарте: на удовлетворительном, скажем заработке, уличной температуре не ниже — 10 или 15° и т.д. и т.д. О, если бы вы знали!

Крепко обнимаю вас и целую, жду открытки и наперед сознаюсь: свиной буду, свиной *не смогу не быть* до самого может быть 1930 г.

Любящий вас Боря

Как горько я расхохоталась, когда читала февральское письмо Бори. Подумаешь «морозы, хлеб!» — волновали его. Курсивом душевным запросил: вволю ли у нас хлеба — хлеба! А наука, а бедствия, а все наши муки, на это он не откликнулся. Хлеб его волновал!

* Душат меня и еще один такой же месяц сведет меня с ума (фр.).

Я готовилась к отъезду в Москву. В Коммунистической Академии орудовал почитатель Марра, фамилия которого была Аптекарь, а имя – Валериан³⁹. Марр договорился с ним о Прокриде.

В Москве я познакомилась с Аптекарем. Это был разухабистый, развязный и дородный парень в кожаном пальто, какое носили одни «ответственные работники». Ходил он раскачиваясь, словно не желая признавать препятствий. Весело и самоуверенно он признавался в отсутствии образования. Такие вот парни, как Аптекарь, неучи, приходили из деревень или местечек, нахватывались партийных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Они со спокойной совестью поучали ученых и были искренне убеждены, что для правильной систематизации знаний («методологии») не нужны самые знания.

Боря не особенно был рад мне. У него болели зубы. Женя находилась в Крыму. В огромной дядиной казенной квартире Борю третировали коммунальные жильцы с их пятнадцатью примусами и вечно осаждаемой уборной. В ванной, передней и в коридоре жили.

Я ни за что не хотела останавливаться у Бори.

– Мне нужно поселиться как можно ближе к Комакадемии.

Тогда он подвел меня к окну, выходявшему во двор, и засмеялся:

– В таком случае тебе придется остановиться здесь!

Передо мной, во дворе, стояло здание Комакадемии...

Вечером я читала доклад, и со мной пошел, вопреки моим просьбам, Боря, у которого болели зубы.

– Только поскорей кончай! – говорил он мне⁴⁰, совершенно не считаясь с тем, какое значение имел для меня этот доклад, какое это было для меня большое событие, сколько я ждала и как радостно волновалась. Людей явилось очень мало. Фриче⁴¹, тогдашний царь и бог, лежал больной в больнице. Председательствовал Нусинов, его заместитель, в то время большой человек, слова которого ценились на вес золота⁴². Мой доклад (автореферат) имел большой успех. Мне говорили хорошие вещи, Аптекарь стал моим покровителем. Нусинов принял Прокриду к печати.

Боря, держась за щеку, мрачный, торопил меня. По дороге он сказал мне, что я не признаю в своей работе категории времени, и я удивилась его тонкости. Он еще что-то говорил мне верное, но не профессиональное, и я видела, что он прав, но слишком абсолютен, как человек, не знающий истории науки.

Ночевала я у него. Мы, как в детстве, лежали в одной и той же комнате и переговаривались со своих постелей. Было что-то от дядиной семьи, от тети, от родства нашей крови, и свежие простыни, запах пастернаковской квартиры создавали что-то хорошее в душе.

Первого мая я вернулась домой.

Б. ПАСТЕРНАК — Л.О. ПАСТЕРНАКУ

Москва. 3 мая 1929.

... Оля здесь была, как вы уже знаете. Страшно ей обрадовался. Умный, глубокий, хороший человек, несомненно талантливый, и — однако с недостатком, который я давно уже перестал понимать. И так как я не моралист, то меня эта удивленность своею ролью смущает не со стороны житейски душевной, а тем, что она вредно отражается на ее трудах, то есть на том, ради чего она отказалась от жизни, не отказавшись от самого пустого и малоценного в ней.

Я заметил, что самого существенного она в своих исследованиях, то есть того, что могло бы составить ее собственную мысль, она до конца не додумала, потому что всякий раз это становилось гордостью близких в тот момент, когда по Евангелию близкие перестают и должны перестать существовать.

Я был на ее докладе и со всей простотой, которую мне внушает чувство к ней и которую она заслужила несколькими, мной уловленными достоинствами читанного, высказал ей приблизительно то, о чем пишу и вам. И все же мои слова должны остаться между нами, потому что заочное двоенье и троенье тем всегда ведет к обидам и недоразуменьям...

В конце мая в Москве происходил какой-то научный съезд (уже не помню какой), на который был командирован Франк-Каменецкий. Я ему дала на дорогу Прокриду для Аптекаря.

Б. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 23 мая 1929

Дорогая Олюша, золото!

Задержу провизию, пригодится нам, спасибо.

Франк-Каменецкий был у меня и расскажет тебе о моем беспримерном свинстве. Но дорогая, я не говорил тебе тогда, как я занят, как по-тревожному — торопливо я работаю. И по тому, чему ты была свидетельницей два дня, нельзя судить о моем обиходе, я разумеется все побросал, чтобы быть с тобой.

Теперь так. Мне как раз приезд Франк-Каменецкого напомнил о листке, тобой оставленном, и о твоей просьбе. Вероятно, испуг стоял у меня в глазах, за его посещение, и он не мог этого не заметить.

На другой день я отнес записку в канцелярию Раниона⁴³, но не мог ни у кого выяснить, не поздно ли это, т.е. не повредил ли я тебе этой трехнедельной просрочкой. Сегодня пошел за справкой или вернее за утешением. И как нам с тобой не везет. Страшная случайность остановила меня как раз перед порогом. В двух шагах от Раниона в эту минуту мальчику отрезало колесом трамвая кончик ступни и — что тут описывать. Из Раниона как раз вызывали по телефону карету скорой помощи, перед Ранионом стояла толпа, под окнами Раниона лежал он на тротуаре и кричал и *оправдывался* и просил сбегать за матерью и подчиняясь звуку этого слова принимался голосить: мамочка моя!

Через час я пошел в канцелярию и вернулся, не произнеся ни слова. Не мог, открывал рот и чувствовал, что зареву.

Тетю целую.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 29 мая 1929

Дорогая Олюшка!

Прости, что не успокоил тебя вовремя насчет Раниона. По счастью я тебе ничем не повредил и планового заседания на срок моей зевки ни одного не было, а хватился я и отдал препроводительную записку за неделю до него.

Тем временем и в моей жизни кое-что делалось. В конце января я начал большой роман (в прозе) и недавно закончил первую его часть (четверть предполагаемого целого)⁴⁴. Кажется ничего, но ты и сама будешь иметь возможность о нем судить; когда узнаю точно, где и когда пойдет, извещу.

Моя конопатая рябушка часто тебя вспоминает⁴⁵. За мамин отпуск он успел удачно отболеть свинкой, и давно уже здоров; разумеется, мы Жене ничего не писали, но и тебе, кажется, я это забыл сообщить. В первую ночь он бредил, хватал меня за руку и смотрел вдаль, причем называл меня Прасковьей Петровной. У него были большие глаза, и я по-новому многое в нем почувствовал. Самые большие вещи на свете рядятся всегда в форму беспредельного спокойствия. Такой афоризм можно себе позволить только на полях открытки.

Целую тебя и тетю.

Твой Б.

Весь 1929 год прошел у нас под знаком неслыханного квартирного процесса.

Квартирные условия становились все тяжелей; нам стало не под силу содержать квартирантов. Правительство начало поощрять раздел квартир. Мы хотели отделить себе две комнаты, а остальные отгородить. Разрешение было быстро получено. Но жулики, стоявшие во главе домоуправления (Жакт), захотели эту квартиру для себя. Одиннадцать судебных процессов! И двадцать два обследования нашей квартиры различными комиссиями, в любое время врывавшимися в дом.

Наша квартира была обращена в груды строительного мусора. Мы жили в грязи и пыли среди балок и сломанной штукатурки. К нам выстроилась очередь вселяющихся в нашу квартиру чужих людей.

Мы проиграли дело во всех инстанциях. Но этого мало. Нам предъявили иск в такую сумму, что мы лишались не только квартиры, покоя, независимости, но должны были продать все свое имущество и остаться нищими.

И вдруг, — чистейшая случайность, — смена прокуроров — спасла нас на краю несчастья.

Б. ПАСТЕРНАК — А. О. и О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва, 9 июля 1929

Дорогие мои тетя Ася и Олюшка!

Пишу вам, чтоб не думали, что забыл. Скоро опять за работу придется взяться и тут будет не до писанья, перерыв был длительный и много, верно, упущенного сбежит. Так *что* не сердитесь — предупреждаю, — если вздумаете написать в ответ, а я потом на ваше письмо не отвечу. А перерыв был неприятный и вот какой.

Помнишь, Олюшка, говорил я тебе про свое последних пяти лет проклятие, про периодические, длительные боли в нижней челюсти, хуже всякой зубной, распространявшиеся по всему подбородку? Пошел наконец на просвечивание и оказалось, что никакая не невралгия, а мое ощущение было научно-точным. Рентген показал громадную дыру под зубами там, где полагалось бы быть кости, — результат ее долголетнего, периодами, разрушения. И вот мне сделали операцию, удалили костную кисту, там сидевшую, и доломали, для гладкости, костные фестоны и зубцы — остатки ее работы.

По мне, т.е. по моей внешности, сейчас ничего не сказать, я даже принялся уже за работу и только совершенно пока не разговариваю. По окончательном заживленьи раны дело, надо

надеяться, сведется просто к частичной беззубости, потому что эта операция потребовала предварительного удаления семи зубов, и в их числе всех передних. А потом месяца через три, и это горе поправят.

Но это было очень мучительно, операция, рассчитанная на двадцать минут, длилась полтора часа, и я за нею терял сознание, потому что местная анестезия не удалась, в костной дыре нечему было анестезироваться, а общую побоялись делать, чтобы не перерезать центрального лицевого нерва; а тут, когда извлекая кисту, зацепляли за него, или не видя его под кровью, проводили вдоль по нему ватой, я кричал, конечно, и сигнализировал им фактом обморока. А Женя, бедная, за дверью стояла, и к ней бегали и без успеха пробовали увести.

Но теперь, слава Богу, все это уже за плечами, и только думается еще временами: ведь это были врачи, старавшиеся насколько можно, не причинять боли; что же тогда выносили люди на пытках? И как хорошо, что наше воображение притуплено и не обо всем имеет живое представление!

Ну, всего лучшего. Крепко обнимаю вас.

Напишите непременно как и что у вас, главное, как здоровье, как жактерия ваша. Дайте нам устроиться на остаток лета где-нибудь. Может быть удастся вызвать вас к нам?

Ваш Боря

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 11 июля 1929

Боря, бедный, твое письмо читала с содроганием. Ужасно жаль тебя. Но хорошо то, что ты с этим покончил. Это нужно было сделать давно и избавить себя от пережитого в последнее время. Ну, я от души рада, что ты уже без этой злополучной пластинки. Теперь отдохни непременно, работы не переделаешь.

Я с удовольствием провела бы с вами недельку-другую. На июль я была назначена в Сестрорецкий курорт (там – земной рай, и я бы на твоём месте взяла бы семью сюда, полный пансион 115 р. в месяц, ребенок 58 р., показано для детей, все, что нужно Дудлику, а также для Женечки и тебя – лечение нервной системы, ванны и т.д., сосна, море, чудесно), но через шесть дней вернулась со скандалом (случай «персональный», расскажу как-нибудь) и либо вернусь, либо поеду в Петергоф, либо застряну в городе.

Раздел в разгаре — приостановлен пока.
Обнимаю вас всех.

Твоя Оля

То было время становящегося сталинизма, разгрома крестьян, «головокруженья от успехов». Начиналась эра советского фашизма, но мы, пока что принимали его в виде продолжающейся революции с ее жаждой разрушения.

В начале марта 1930 года Франк-Каменецкий отправился с антирелигиозной бригадой Маторина в колхозы. Он сильно увлекался колхозами, теоретизировал, говорил наивные благоглупости и выступал публично. Я пережидала это новое и неумное увлечение; перед моим душевным взором стояла картина, которую раз увидел в ужасе Боря — длинные эшелоны «раскулаченных» — ссылаемых крестьянских семей, целые поезда, целые деревни⁴⁶.

Б. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1 июня 1930

Дорогие мои Олюшка и тетя Ася!

Часто переносился мыслями к вам в этом году, часто собирался писать, и ни разу не написал, если не считать одной, оставленной Олею без ответа, открытки.

И сейчас пишу неизвестно почему. Повод посочувствовать вашим квартирным напастям и таске по судам, о чем сообщил однажды папа зимою, давно по счастью утрачен. Повод поздравить тетю с семидесятилетием я сам позорно пропустил. Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь.

Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки: я не участвовал в создании настоящего и живой любви у меня к нему нет.

Что всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мной будет.

И однако письмо все-таки не так беспричинно, как мне показалось. Собираясь изо дня в день вам написать, я постепен-

но забыл о первичном мотиве. Новые знакомые⁴⁷ сманили нас на это лето под Киев, и сняли нам дачу там. Женя с Женичкой и воспитательницей уже с конца мая на месте. По-видимому, затея была не из умных: первые впечатленья Жени и Шуриной жены (его семья тоже поселилась в той же местности) граничили с отчаяньем; так далеко и с такими трудностями ездить было незачем. Но всеобщее мнение, что с продовольствием на Украине все же будет лучше, чем на севере.

Послезавтра, 14-го, и я к ним отправляюсь. Не погостили ли бы вы у нас, или по крайней мере ты, Олюшка. У меня есть причины предполагать, что среди лета мне придется, может быть, вернуться в Москву. Но и до этого разрешенья жилой площади, все это, кажется, возможно, — дача большая.

Напиши мне, Оля, туда, если будет охота, по адресу: Ирпень, Киевского окр. Юго-Западной ж.д., Пушкинская ул., 13, мне.

Крепко вас обеих обнимаю. Прошу прощенья за грустное письмо.

Ваш Боря

P.S. Бумага — подарок одной американки, которую не трогал, пока не стало простой почтовой бумаги; и нигде не достать.

Мы не успели отдохнуть от раздела квартиры, как мама заболела флегмоной колена. Ее лечил мой старый товарищ Мотя Лившиц, военный хирург.

Флегмона уже проходила, когда мама схватила брюшной тиф.

То были дни, которые вырвали меня из всего, меня окружавшего. Я бросила службу, дела, знакомства; совершенно не выходила на улицу, не ела. День и ночь я совершенно одна ходила за больной и переживала все ее страшные перипетии.

Наконец, наш врач объявил мне, что у мамы атония желудка, и медицина бессильна. Я созвала консилиум, несмотря на безнадежные жесты врача. Приехал Вальдман, ныне профессор, а тогда просто врач, но немец — превосходный, настоящий врач. Он констатировал, что перед ним не смерть, а выздоровление. Он приказал мне кормить ее трижды в день, и настоящим обедом из трех блюд (она до того не выносила ничего, кроме двух-трех ложек пустой манной каши).

Пошла новая эра. Я работала как механизм, не имея ни минуты свободной. Весь день уход, тщательная чистота, стирка без конца, кулинарное творчество — все я делаю в едином глубоком порыве. Делала то, чего дотоле не умела и никогда не могла.

Мама начинала поправляться.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Киев, 23 июня 1930

Дорогая Олюшка!

Вчера я сюда приехал и меня ждала твоя открытка. Какое счастье, что тетя выздоравливает, — это ведь всегда чудесный подарок, — нечаянное облегчение в каких бы условиях эта радостная неожиданность ни застала нас. Но как мрачно все остальное, о чем ты пишешь, и как ужасно ваше одиночество! Позволь чем-нибудь помочь тебе, и скажи, чем именно.

Я знаю, что вопрос этот нелеп, но может быть, ты нуждаешься в деньгах? Прости и не сердись, но ведь я только тем и держусь, что позволяю издательствам мне помогать и меня поддерживать: покрывать же эти ссуды давно перестал. Боже мой, как все безысходно! А я-то, я-то распелся некстати. А может быть, и кстати, — вдруг в духоте страшной написал вам, без определенного предчувствия, страшней же всего и душей оказалась у вас. Может быть, ты наняла бы прислугу? Нельзя же так, как ты изобразила. Это ведь и в студенческом возрасте не всякому по силам.

Здесь хорошо и даже похоже на жизнь. Может, когда тетя окрепнет, приедешь? Комнату бы можно снять. Но это все влущую, я знаю.

Желаю одного, устойчивости, улучшения. И напиши, если что надо. Я же — потрясен.

Целую тетю и тебя.

Прокрида, конечно, напечатана не была. Марр совершенно ею не интересовался. На мою жалобу он ответил: «А разве она не в печати?» Издательство Комакадемии вскоре было закрыто.

В это время у Бори уже шел разлад с Женей. Каждый из них, художник, по-художнически был эгоистичен. Женя мечтала о Париже и думала, что брак с Борей избавит ее от земли. Она разочаровалась. Он привык к толстовскому укладу высокой порядочности, к одухотворенному быту, к семье «Войны и мира», а Женя предлагала ему богему. Уж его-то никак нельзя было соблазнить сценарием Пуччини и доказать, что искусство связано с распусканием ниток. И его отец был художником, и мать в музыке артистом, и сам он поэтом. Он знал другое: что искусство наматывает и сдерживает, концентрирует и превращает в кристаллы семью.

Зная, что Женя ревнует и подозревает, я соблюдала особую щепетильность в отношении руин их очага. Особенно это приняло неприят-

ный для меня характер, когда они поссорились из-за моего письма: Женя хотела его читать одновременно с Борей, стоя за его спиной, а его это духовное соучастье раздражало.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Ирпень, 21 августа 1930

Дорогая Олюшка!

И опять я не думаю писать тебе, а только хочу поблагодарить за письмо. Сколько ты в них иногда умеешь вложить, и как изумительно их пишешь! Просто жалко, что такой отряд мыслей, выхваченных сгоряча, из прямых состояний духа, стройный, на всем ходу, куда-то отправляется и кем-то получается, и все кончается известием о его прибытии.

Я умышленно воздерживаюсь сейчас от сообщения чего-либо, мало-мальски стоящего упоминанья. Все это я расскажу при свиданьи. Для того, чтобы проронить в письме хоть слово о своих, о себе и лете, о свободных видах и сознании фатального, мне надо было бы себя уверить, что нет и скоро не будет обеденного стола посреди комнаты, и буфета у левой стены, и платяного шкафа в углу у окна. Отталкиваться же от такого грустного допущенья просто невозможно.

Крепко тебя и маму целую. Мне мешают сейчас глупые ночные бабочки в мохнатых штанах, которые безбожно вьются вокруг лампы, с разлета кидаются в чернильницу или садятся на перо и на ручку. Свежая ночь после душного дня, далеко стороной где-то проходящая гроза, керосиновая лампа на большой (и действительно посреди этого черного воздуха кругом кажущейся неизмеримой) террасе, главное же, эти мошки и мотыльки, — сколько это все должно было бы напомнить! Но революция или возраст, — а прошлое работает слабо, субъективный лабиринт не отклоняет простых и прямых ощущений, и мне жалко *только* их, а не себя, как это бывало раньше. Жалко того, что раскаленное стекло не *охлаждает* их пыла, а не того, что все это однажды было августовской ночью на Большом Фонтане, и море было впереди, чуть вправо, где теперь, за рекой, обдаваемой зарницами, лес. — Но это похоже на «описание природы» и при том — пошлейшего разбора, что в мои планы не входило.

Твои объяснения случая с Аптекарем представили мне все дело с иной и совсем неизвестной мне стороны. (Ты замечаешь,

какая тут мазня? Это все — бабочки. С особенным остервененьем они налетели на Аптекаря.) Открытку твою я толковал иначе, эгоистичнее и своекорыстнее с твоей стороны. Но в этой теме, в основном, мы так схожи и так сходно поставлены, что я даже и отрицанье родства принял бы по-родственному, в глубочайшем смысле этого слова. Объяснения тут более или менее безразличны именно потому, что существом и центром сплетенья служит здесь то, чего никак объяснить нельзя, и наша одинаково фатальная подчиненность этой необъяснимости. Короче говоря, если бы ты не могла написать такой открытки — ты была бы далеким мне человеком. Обнимаю тебя.

Твой Боря

P.S. Когда я стал читать твое письмо, надо мной наклонилась Женя предложив читать его вместе, т.е. то, чего я совершенно не умею. Я предложил ей прочесть его даже до меня, но только отдельно. Она на меня так обиделась, что и до сих пор его не читала и не хочет читать. Этим объясняется вновь ее отсутствие в письме. Но ты, конечно, знаешь, как она вас любит.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 октября 1930

Дорогая Олюшка!

Страшно рад твоему письму. Из просьбы и тона ее изложения можно сделать успокоительные выводы, хотя и неопределенные.

В подчеркнутых твоих извиненьях прочел я скрытый упрек, и опять: — он приемлем, если сделан в самой неопределенной форме. Разумеется, в каком-то очень общем смысле, я — свинья, в наше свинское, в общем смысле, время. Но я растерялся бы, если бы узнал, что укор твой имеет в виду что-нибудь положительное и определенное. Переписку? Но отчего никогда не пишешь ты, зная, как мне дорого знать вовремя все о вас? Или тебя обидело, что на твои тяжелые известия я отозвался открыткой? Я не помню, — но я должен был предлагать дело в ней, что-нибудь о даче, или о чем-нибудь еще. И как раз от тебя ждал на все это ответа. Правда и то (разве я отрицаю?), что показал, как ждал: довольно-таки вяло и безмолвно. А что ты поделаешь? Писать становится все трудней и трудней. Замолкает все. Замерла заграница в моей переписке, замер, предупреждая ее, и я.

А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, — работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно — мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсуновского голода⁴⁸, но мир здоровый и ровный.

Написал я своего Медного всадника, Оля, — скромного, серого, но цельного и, кажется, настоящего. Вероятно он не увидит света⁴⁹. Цензура стала кромсать меня в повторных изданиях, и наверстывая свое прежнее невнимание ко мне, с излишним вниманием вливается в рукописи, еще не напечатанные.

Но ты напиши мне поподробнее. Я и боюсь спросить о тете. Упреки упреками, — а *твое* молчанье (по ситуации и пр. и пр.) много жесточе моего. И вряд ли последствия моего так сказываются на тебе, как обратно. Итак, прошу тебя, — напиши.

Теперь об Аптекаре. Я только что звонил ему и ничего путнее того, о чем ниже, не мог добиться. Он будет в течение двух дней, первого и второго (ноября), в Ленинграде, утрами в Яфетическом институте, постоем — в Академии наук и просит тебя *ловить* его там (это его выражение), преимущественно по утрам. Я сказал, что собираюсь писать тебе, и не сообщит ли он мне чего-нибудь кроме ловли, и ближе к твоему вопросу, т.к. одно от другого ничуть не пострадает. Но он с любезностями по твоему адресу отклонил меня, как третье лицо, вероятно потому, что не захотел показаться непосвященным в дела Комакадемии. А теперь ты будешь на меня сердиться. Но, ей-Богу, я со всем уваженьем адресовался к нему.

Крепко целую тебя и тетю.

И вкратце о житье-бытье. Я зимы себе как-то не представляю, а потому в квартире у нас как-то все более, чем никогда, по-временному: непрочно, с полвздоха и малореально.

Но — сыты, слава Богу, и в деньгах пока не отказывают (ради Бога, всегда имей в виду, — осчастливишь!). — Только Женя худа.

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. и О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва, 5 декабря 1930

Олечка, дорогой мой друг, и Вы, дорогая тетя Ася! Надо ли говорить, как подействовало на нас твое, Оля, письмо, и как

вся, ничуть не переменившаяся, живете Вы, тетя, в своем! Я слышал о ваших прошлогодних невзгодах, но и в десятой доле не мог вообразить, что они таковы.

И твой упрек в отрыве, Оля, (справедливый!) — горько прозвучал, и оставил горький отзвук. И это отзвук моей жизни. Так все родилось, так все сложилось, — что делать!

Недавно, как-то вечером, в гостях Женя сентенцией разрешилась, что в Ленинграде женщины замечательные и все отсюда. Сказано это было по поводу присутствовавшей и действительно замечательной пианистки М. Юдиной. А в пример привела, кроме названной, бывавших и близко знакомых: Ахматову, сестер Радловых⁵⁰ и вас обеих. Тогда и хозяйка, где ужинали, напомнила, что она из Петербурга⁵¹. Жене же пришлось рассказать о вас, в виду заявленного.

И вот я люблю вас, как самое свое, а и не запишу до конца страницы. Тут, верно, и начинается то, что ты, Оля, назвала: отрыв. Но рассказывать о чем-нибудь своем значит делиться, значит угощать, значит что-то предлагать, для всего же этого надо держать в руке что-то осязаемое. Осязаема ли нынешняя жизнь? Или повести это все одним восклицаньем, и сказать так? Что сотой доли неизвестно за что выпадающего мне счастья было бы в былое время достаточно, чтобы вправлять его в кольца и резать им стекло. Что вновь и вновь встречаются люди, которых невозможно не любить, что до меня доходят волны, которых я не заслужил и отдаленно, что моя обыденность испещрена драгоценностями, и следовательно тем горше, что все это пропадает даром. Потому что это происходит в наше время, превратившее жизнь в нематерьяльный, отвлеченный сон. И чудесам человеческого сердца некуда лечь, не на чем оттиснуться, не в чем отразиться.

Но ведь я к вам с большою просьбой. Помогите мне, пожалуйста. Я не оставил надежды послать Женю с Дудликом, как вы его называете, к своим. В известных целях мне надо бы последовательно обязать их на известную сумму. Вы оказали бы мне серьезнейшую услугу, и я не знал бы, как за нее благодарить, если бы согласились раз-другой на перевод от меня, причем, только половину я бы отнес на папу. Неужели вы меня оттолкнете? Тогда я просто не понимаю, для чего мне зарабатывать. И всего меньше, — в чем мой отрыв.

Потому что с людьми близкими из московских или из друзей, с которыми мы жили в Ирпене, этого отрыва нет и в этом вопросе, и ведь это легчайшее доказательство взаимного доверья. И вы мне в нем откажете? А главное, главное, главное: услуга, которую Вы мне при этом могли бы оказать, вдесятеро серьезнее той химерической брезгливости, которую всегда ко мне питаете. Клянусь Дудликовым здоровьем! Ваш отказ будет не только пощечиной мне, но и... нуллификацией будущих Дудликовых ресурсов. И это было бы так гадко, что я этого и вообразить не в состоянии.

Простите за длинный разговор на эту гнусную тему, но я так боюсь вас! Как раз этот страх причина того, что пишу вам обоим сразу. Не пощадит Оля, пожалеете, тетя Ася, Вы. Тетечка, заступитесь за меня перед нею. Наедине же страшно.

Крепко целую и обнимаю.

Ваш Боря

ГЛАВА V

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Л.О. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград. 10 марта 1932

Мои золотые!

Вы, я надеюсь, в ваших предпраздничных хлопотах¹ не очень-то в претензии, что мы вам до сих пор не описали «как следует». Да дело-то в том, что я болела гриппом основательно на этот раз, даже с неким осложнением — расстройством желудочной секреции, так что разные желудочные и кишечные неприятности были да и теперь еще не вполне утомонились, хотя я уже выхожу и вообще, изображаю из себя человека нормального. А главное, грипп этот треклятый на нервы очень сильно воздействует и душевное состояние такое, что только и остаешься жив, благо у нас нет ни мыла, ни осины, ни даже вервья...

На эту тему многое можно бы порассказать, — да что вас травить попусту. Одно ясно: бесперспективность полная, надежд нет, борьба была напрасна и бесплодна, ибо вся моя профессия искореняется и никому от нее, кроме позора и тягот, толка нет. Вышли же из употребления цырюльники à la Фигаро, или свахи Островского, или — мало ли их, допотопных-то; туда и нам всем дорога, и поминай, как звали ваших Норденов и Гарнаков. Вся профессия искореняется за ненадобностью, и нет ни надежд, ни перспектив. А посему и на службе — одна служба без всяких видностей существа, и дома нечего делать, ибо обречено на гибель.

Так вот и живем помаленьку, спокойно, сбегаете в кооператив, туда, сюда, поговоришь по телефону о «разговорах мертвецов» Лукиана. Веселая вещь!.. Почитаешь стариков, Гоголя, Островского. Впрочем, пресно, не остро.

Ну, а насчет ваших щедрот, нас не оставляющих, то точно, мы поели за ваше здоровье, и разных невидалей попробовали, да вас ведь не проймешь, буржуев, вы не поймете...

Мне, мои дорогие благодетели, когда ваш праздник отойдет и вам уже 71-й годок пойдет, вы мне не откажите в доброте выслать кило грудного порошку. Без этого, знаете, нельзя... Я готова любую пошлину заплатить, лишь бы иметь этот эликсир оптимизма. Хотела Женю просить привезти...² да, знаете, страсти роковые, психология — и вдруг грудной порошок: грубо, стыдно. И сейчас пишу вам, пользуюсь вашей суматохой, так не так совестно... А Женя ведь оскорбиться могла, натура она тонкая. Вот не знаю, как они там. Два раза писала вашему дофину, да безуспешно. А у нас слух прошел, что он сюда переезжает. Но с которой — не знаю. И как, на чем они там порешили — непонятно...

Сейчас прибыло от вас приглашение на выставку. Поздравляю вас от всех, от всего сердца с большим, настоящим, светлым праздником! А все-таки поспели, и, несмотря ни на что, устроили выставку! Великая Вы умница, дядя родной, и жизнь Ваша — ее не в монографию, а под стекло, людям всем показывать на диво...

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1 июня 1932

Дорогие мои Олюшка и тетя Ася!

Как хорошо, что я все время не писал вам! Сколько глупостей бы вы наслышались, сколько тяжелого бы, и теперь уже лишнего, прочли.

Ах, какая тяжелая зима была, в особенности после приезда Жени. Мучилась, бедная, в первую очередь и она, но сколько и всем, и мне в том числе, было страданий. Сколько неразрешенных трудностей с квартирой (нам с Зиной и ее мальчиками некуда было деваться, когда очистили Волхонку³, и надо было бы исписать много страниц, чтобы рассказать, как все это расковывалось и рассасывалось).

Невозможным бременем, реальным, как с пятнадцатилетнего возраста сурово *реальна* вся ее жизнь женщины, легло все это на Зину. Вы думаете, не случилось той самой «небылицы, сказки и пр.», о которой Вы и слышать не хотели, и от безумья которой меня предостерегали?⁴ О, конечно! Я и на эту низость пустился, и если бы вы знали, как боготворил я Зину, отпуская ее на это обидное закланье. Но пусть я и вернулся на несколько суток. пройти это насилье над жизнью не могло; я с ума сошел от тоски.

Между прочим, я травился в те месяцы и спасла меня Зина. Ах, страшная была зима. Я, а потом и она со мной поселились у Шуры с Ириной.⁵ Начались ежедневные ее хождения к детям и по рынкам (все, относящееся к закрытым распределителям, я оставил Жене), Зина по несколько раз сваливалась в гриппах и, наконец, к весне, заболела воспалением легких.

Мы были у Шуры, где тоже все время хворал Федя (сейчас у него корь с ушным осложнением), мальчики же ее находились у отца, в совершенно запущенной квартире, потому что Зина не справлялась с двумя хозяйствами и ей приходилось быть им так сказать «приходящей» матерью, а не живущей, — я страшно виноват перед ней, ужасно расшатал ее здоровье и состарил, но и я в последнем счете был несвободен, мною слишком владела жалость к Жене, я как бы ей весь год предоставлял возможность сделать благородное движение, признать свершившееся и простить, но не так, как она это делает, сурово и злобно, или насмешливо, а широко, благородно, с затратой каких-то, пусть и дорого стоящих, сил, но с той добротой, без расчета, от которой одной и можно только ждать мыслимого какого-то будущего, человеческого и достойного. Станным образом у нее совершенно нет этих задатков и она даже смеется над теми, кто этой мягкостью обладает.

Да, так вот, мы жили с Зиной у Шуры, когда вдруг заболел скарлатиной Женичка, и мне в последний, вероятно, раз со всей наивностью стало страшно за нее, и тогда Зина предложила мне поселиться на Волхонке на срок его болезни, а сама осталась на квартире у Шуры. И опять Жене было сказано, что я поселюсь у них на положеньи друга на шесть недель, и вновь это была, пускай и горькая для нее, но мыслимая и совершенно определенная рама, в которой можно и надо было найтись и как-то проявить себя, и вновь с этой стороны не было показано ничего отрадного. Хотя я и чистил платье щеткой в сулеме, но встречаясь с Зиной у нее на дворе или на воздухе, подвергал ее детей страшной опасности, и просто чудесно, что они до сих пор не заразились.

Но я очень многословен, — доскажу, что осталось, короче.

Женечке болеть еще полторы недели. До сих пор все шло благополучно. С неделю я живу с Зиной в двухкомнатной и еще недоделанной квартире, уделенной нам Союзом Писателей

на Тверском бульваре. Здесь не проведено еще электричество и не собрана ванна. С нами же ее чудесные мальчишки. Они на руках у нее, и Зина чуть ли не ежедневно стирает и моет полы, т.к. кругом ведутся строительные работы, и когда входят со двора, следят мелом и песком. Через неделю мы вчетвером поедим на Урал и на этот срок брать работницу не имеет смысла.

Не думайте, что Женя оставлена материально и, так сказать, в загоне. При Женичке воспитательница, и у Жени пожилая опытная прислуга. Будьте справедливы и к ней: все это делается против ее воли, для меня большим облегчением служит сравнительная сносность ее внешнего быта, и всякий раз, как дело доходит до новых денег, мне больших и горьких трудов стоит, чтобы она их приняла.

Но, Бог ей судья, в ней есть что-то совершенно непонятное мне и глубоко чужое. Когда я о ней думаю после длительных разлук, я всегда прихожу в ужас от той черной двойственности и неискренности, в которой держал ее всегда, и несу ей навстречу волну готовой прямооты, чтобы все исправить, и когда оказываюсь вместе с ней, то вновь и вновь единственной моей целью становится, чтобы она была весела, а для этого я должен говорить не то, что думаю, потому что она не терпит прекословий, и все это повторяется вновь и вновь, и всегда мучит тем, что то чужое, что сидит в ней, совершенно расходится с ее внешним обликом и ее внутренней сутью в другие минуты, и все это так странно, что похоже на колдовство.

Я совершенно счастлив с Зиной. Не говоря обо мне, думаю, что и для нее встреча со мной не случайна. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Вы плакали, особенно ты, Оля, когда мы уходили.⁶ Эти слезы были к месту, потому что ничего веселого мои гаданья не заключали, но я не знаю, к кому они относились.

Она очень хороша, но страшно дурнеет в те дни, когда в торжественных случаях ходит в парикмахерскую и приходит оттуда вульгарно изуродованною на два-три дня, пока не разовьется завивка. Таким торжественным случаем было посещение Вас, и она к Вам пришла прямо от парикмахера. Я не знаю, как Вы ее нашли и к ней относитесь. О полученном же *ею* впечатлении я Вам говорил.

Она несколько раз порывалась писать Вам, тетя, в декабре истекшего года, когда вдруг так быстро стали близиться со-

бытия, предсказанные Вами в качестве недопустимости или неслыханности. Я Вам их уже описал. Она бросилась к Вам за помощью в их предупреждение. Тогда же она думала обратиться к папе. Она справедливо боялась искаженного изображения всего происшедшего, какое могло получиться за границей. Ей было очень тяжело, и эта тягостность была тем нелепее, что мы взаимно были уверены друг во друге и в наших чувствах.

Я помешал ей написать Вам и родителям из страха, как бы это не повредило Жене. В отношении последней у меня за годы жизни с ней развилась неестественная, безрадостная заботливость, часто расходящаяся со всеми моими убеждениями и внутренне меня возмущающая, потому что я никогда не видал человека, воспитанного в таком глупом, по-детски, бездеятельном, ослепляющем эгоизме, как она. Плоды этого дурацкого воспитания сказались в виде такой опасности, что я никогда не мог избавиться от суеверного страха за нее, тем более суеверного, чем дальше меня отталкивали некоторые ее проявления. Последним случаем такой нежности, основанной на осуждении, ужасе и испуге, были зимние месяцы, когда, как я повторяю, я опять, было, готов был пожертвовать ей не только собственным счастьем, но и счастьем и честью близкого человека, но на этот раз уже восстала сама логика вещей, и этот бред не имел продолжения.

Если захотите, напишите мне, пожалуйста, в Свердловск, Главный почтамт, до востребования. — Вы знаете, какую радостью будет весть от Вас. Напиши, пожалуйста, ты, Оля, родная. Было бы очень мило, если бы у Вас нашлись слова для Зины, она бы оценила их. Она очень простой, горячо привязывающийся и страшно родной мне человек и чудесная, незаслуженно естественная, прирожденно сужденная мне — жена.

Ваш Боря.

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Свердловск [7-9 июля 1932]

Дорогая тетя Ася!

Горячо благодарю Вас за большое и такое душевное письмо. Вам вероятно ответит Зина или, еще вернее, мы ответим с нею вместе, и я не только не предупреждаю этого будущего ответа настоящей открыткой, но, наоборот, буду писать, точно ее и не было.

Сейчас же, уже с сильным запозданием, спешу рассеять Ваши заблужденья насчет Жени. Она все время отказывается от моей помощи, и особенно категорически, наотрез, отказывалась принять от меня какие-либо деньги этою весной. Если бы она осталась тут непреклонной, это бы меня убило. Своим, вымоленным со страшным трудом согласием на мою поддержку, она мне оказывает огромную и неоценимую *помощь*, и я не знаю, что стал бы делать, если бы она ко мне не снизошла. Мое материальное участие в ее жизни все время осуществляется против ее воли, я насилу сламливаю ее сопротивление каждый раз.

— Мы далеко еще не на даче, а пока все в Свердловске в гостинице. Об этой нудной и скверной эпопее в следующий раз⁷. Обнимаю крепко Вас и Олю.

Ваш Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Р.И. ПАСТЕРНАК

Ленинград. 10 сентября 1932.

Дорогая тетечка! У нас необыкновенный день. Только что ушла Кларочка... Сколько слез, разговоров и какой-то исключительной радости!.. Знаю, что это Вы «виновница торжества» и догадываюсь, что наше воссоединение было Вашим давнишним желанием. И она и мы, напуганные первой печалью встречи, уклонялись от этой радости и не понимали, что она перевесит горестное. Но годы нас не разъединили, а только разлучили: сколько тепла, сколько слез!.. Кларочка — молодая цветущая женщина (больше 38 ей дать невозможно), стройная, все с той же молодой фигурой, живая и экспансивная, экзальтированная, талантливая, отзывчивая и добрая. Годы не коснулись ни ее тела, ни глаз, ни динамичности ее склада. И так же прелестно и модно одета, с шиком простоты.

И вообразите: вдруг приходит Сашка, и в такой час, когда *еще ни разу* не приходил. Был умилен и растроган ужасно — а я сидела и думала, что мы все обязаны этим Вам... Сейчас мама моет посуду. За письма горячо целуем. Много работаю и обалдеваю.

Всем вам низкий поклон! Будьте здоровы!

Ваша Оля.

А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Л. О. ПАСТЕРНАКУ

[Ленинград. Начало октября 1932]

... Клавдинька приходила с Вл. Ив.⁸, который моложе ее, но в сравнении с ней – старик. Он очень похож на Сашеньку⁹, говорит, как он, стучит пальцами.

Появились афиши с метровыми буквами. Борис Пастернак 11-го будет читать свои произведения¹⁰. Разве вы знаете, понимаете, что тут делается среди его поклонников (а их у него тьма), шум, гам... Ждут его, и воображаю, какая встреча ему будет.

Оля ходит сердитая: ее спрашивают, а она по-обыкновению ничего не знает, ибо он не пишет!! Мне он написал как-то, что напишет, но пока мы в неизвестности; и может статься, что и не зайдет к нам! Ну, да бог с ним в конце концов, не знаю, может и зайдет...

[Надпись Б. Пастернака на книге «Второе рождение».]

Дорогой сестре Оле в одно из самых дурацких
своих посещений.

14.10.1932

А.О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Л.О. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград. 14-го <октября 1932>

...Вечер Борин прошел блестяще: говорили, что это был «большой» праздник литературный. Оля и Клара не были. Оля просто не хотела, а Клару он просил не быть, что он будет волноваться и т.д. Он был у Клары, отдыхал у нее: до выхода своего был у нас, брился, немного волновался.

Не ночует, не обедает у нас, только его чемодан (кажется твой еще, Лёня!) у нас стоит. Сидит у нас, беседует. Он лучше выглядит, чем в прошлом году. Бодрый такой, но удручен заботами о двух женщинах с детьми. ... За то он и «выступил». Я ему бы не велела выступать, но ему просто деньги нужны! Я это пишу, он не у нас и придет днем. И может быть сегодня уедет, если его импрессарио¹¹ достанет билет... Этот последний хорошо заработал, а Боре, верно, гроши дал...

...Оле предложили профессуру в Университете. Оля сказала свои условия. Подала в отставку: не дают заниматься наукой (а это ее воздух)...

...Вчера 22-го, Боря прислал мне две бутылки вина (я его просила) но я думала тут и с ним выпить за его успех, ваше здоровье. Но он тут не нашел и обещал прислать, а его импрессарио вчера принес две бутылки. Я спрятала к праздникам...

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [20 октября 1932 года]

Дорогие мои!

Говорят, вино хорошее, но только вид бутылок мне не нравится. Воспользовался любезностью тов. Лавута, который вслед за мной теперь повезет показывать вашей публике Пант. Романова, — он доставит вам это Карданахи.

Коле¹² сообщил по телефону о твоих, Оля, подношеньях, он очень благодарит и на днях зайдет за ними, — до сих пор с ним не видались, он, по-прежнему, занят по горло, затрепали и меня.

Квартиру нашел *неузнаваемой!* За четыре дня Зина успела позвать стекольщика и достать стекло¹³ — остальное все сделала сама, своими руками: смастерила раздвижные гардины на шнурах, заново перебила и перевязала два совершенно негодных пружинных матраца и из одного сделала диван, сама полы натерла и пр. и пр. Комнату мне устроила на славу, и этого не описать, потому что надо было видеть, что тут было раньше!¹⁴

По приезде застал письмо большое от папы, надо ответить глубоко, исчерпывающе и ото всей души, и наверное в ближайшие дни это будет невозможно технически, а он тем временем будет подыскивать этой неспешности свои, и теперь совсем неподходящие объяснения!

Крепко вас обеих целую и за все горячо благодарю.

Ваш Боря

На Зину не сердитесь, что не пишет: весь день все на ней, она о вас все расспрашивала, да и нет ее сейчас дома, завтра Ирина к Шуре в Крым отправляется.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Л.О. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград. 28 октября 1932.

Мои наи-дорогие! Это я виновата, что задержала мамино письмо — занята так (и во времени и умственно), что скоро голова распухнет. От слов «директорат» меня тошнит (я уже замещаю и директора) и почестями я сыта так, как объевшийся человек перед приступом поездки в Ригу... Но меня не отпуска-

ют с работы, трагически не отпускают, и я уже стала первой одалиской того самого важного директора, который столько меня душил и давил.

В такой обстановке и при таких обстоятельствах на меня свалилась неслыханная честь: меня пригласили заведовать кафедрой в Университете. Это не просто профессура (хотя я не была от роду и доцентом). Это — заново организованная кафедра по античности, которая давно не функционировала: от меня зависит введение предметов, приглашение профессоров и все, что я найду нужным — при самостоятельности и независимости.

Нужно еще знать, что у нас поворот и даже переворот, и еще никогда так строго и так почетно не было профессорское звание, особенно же руководство кафедрой... Но я так обалдела или так лишена простых человеческих чувств, что встретила это с каким-то поражающим меня равнодушием, долго отказывалась и сейчас приняла под напором друзей, чуть меня не избивших. Выбор между академ. Жебелевым и мной; меня предпочли за энергию научную и «новизну»...

Итак, в этом событии два смысла: культурно-исторический (эта кафедра Зелинского была когда-то и пр., плюс необходимость возрождения и актуализации и т.д.) и автобиографический, — если вспомнить... да, если вспомнить все унижения и бедствия прошлых лет, этого же Жебелева и т.д. Итак, приемлю, но как что-то житейски-необходимое, быть может — неизбежное, но как в главном — чуждое, навязываемое жизнью. Мама, наверно, все уже вам описала.

Боря имел большой и настоящий успех и стоит на высоте. Как человек (верней, дитя) он страшно понравился. С чем вас и поздравляю и от всей души целую!

Ваша Оля.

«Три сюжета» и «Сюжетная семантика Одиссеи» вышли в 1929 году,¹⁵ я послала их Боре. Способность удивляться, создающая творца, родилась у меня именно над Одиссеей.

Вот почему это и была моя первая научная работа в настоящем смысле. Она шла как-то вкось и от моих основных занятий, и от будущего. Моя мысль пробовала себя. Еще не веря в греческий роман и не предвидя его значения, я задержалась на Гомере. Ища жанрового объяснения романа, я занималась Одиссеей. Меня поразили восточные аналогии. Я села писать.

В Одиссее мой внутренний глаз неожиданно стал видеть тавтологию мотивов. Но то, что наиболее изумило меня какой-то математической достоверностью, заключалось в законах композиции сюжета (а то и целого жанра): достаточно узнать композицию, чтоб узнать содержание.

В своей работе «Три сюжета или семантика одного» я разбирала такую картину: веревка литературной преемственности; за веревку держатся гении различных наций; по веревке бежит кольцо готового сюжета, которое передается из рук в руки. От кого к кому? — это основной вопрос так называемого «развития». Но, конечно, не менее важен и генезис.

Разбирая последовательно три сюжета, я поняла, что сюжет Бокаччио (VIII рассказ III дня «Декамерона») является аналогией к сюжету не только Кальдерона («Жизнь есть сон»), но и Шекспира («Укрощение строптивой»), и дает эту аналогию в существенно иных транскрипциях. Здесь «жизнь есть сон» обращается в «жизнь есть смерть».

Здесь я убедилась на опыте, что три сюжета являются только сюжетом одним. Этот один сюжет представляет собой развернутый образ рождающей смерти.

Образ порождается реальностью, воспринимаемой антизначно к этой реальности; предпосылки, что ощущение и восприятие не адекватны, и что смысловое содержание этого восприятия, его семантика всецело подсказывается данной общественной идеологией. Для диффузного и конкретного мышления до истории реальная действительность осмысливается образно, и потому каждый образ представляет собой ту или иную метафору действительности, но не действительность как таковую.

Одного сюжета, как источника моих трех, в реальности никогда не было; он один, — поскольку развертывает все время один образ, — но их три (или, может быть, множество), — поскольку метафоризация этих развертываний тройная.

Великие писатели XVII века, культивируя древний сюжет, не прибегают к нему в качестве случайного, только им свойственного личного приема творчества, а оказываются представителями общей идеологии того времени, требовавшей именно такого литературного приема.

Но несомненно одно: XIX век является конечной границей готового сюжета и началом сюжета свободного.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [21 октября 1932]

Дорогая Олюшка!

Как ты великолепно пишешь, — мне бы так! С увлечением, между дел, проглотил одну из твоих работ (Три сюжета) и

урывками читаю другую. Страшно близкий мне круг мыслей. Как я жалею, что не знаю и не узнаю никогда всего этого течения в его главных основах. В основаниях методологии он мне родной (Кассирер восходит к Когену¹⁶), но философией языка я никогда не занимался. О принципиальном символизме всякого искусства думал сам, невежественно и невооруженно, когда писал «Охранную грамоту» и потому так жадно подчеркиваю твои строчки вроде «Процесса действий нет, а есть их плоскостное и одновременное... присутствие».

«Единство проявляется только в отличиях».

«В силу закона плоскостности, заменяющего процесс».

«Образ порождается реальностью, воспринимаемой анти-значно этой реальности» и пр. и пр.

И как удачно ты себя формулируешь, какие находишь слова! Спасибо. Крепко обнимаю. Получили ли вино?

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [27 ноября 1932]

Дорогая Олюшка!

Все ждал и ждал извещения о здоровье тети (падение со стула и ушибы) и беспокоился. И вдруг вспомнил, что я об этом тебя не спросил! Скорей же отвечай мне, даже в том случае, если бы ты считала, что я этого недостоин!

Ты и тетя, верно, допускаете, что я живой человек, вам, надо думать, это кажется вероятным! Отчего же не продолжаете вы тратить ваше великодушие в мою сторону, хотя бы впустую. Неужели то обстоятельство, пишу ли я вам или нет, имеет значение. И не объясняется ли, временами, это молчанье профессиональными причинами?

Женю отдали в школу и он в восторге.

Напиши, как тетя, заклинаю тебя и обнимаю.

Дорогие Анна Осиповна и Ольга Михайловна! Шлю вам свой сердечный привет и крепко целую. Не пишу, потому что если бы начала писать, то Бориного запаса бумаги не хватило. Живем очень хорошо. Пишите нам чаще и не сердитесь на нас!

Ваша Зина

Вот видите и Зина грамоте научилась.

Когда в ЛИФЛИ (бывший филологический факультет университета, выведенный в самостоятельное высшее учебное заведение) открывалась кафедра классической филологии, новый директор Горловский просил меня организовать ее.

Я стала отказываться в пользу Жебелева, Малеина, Толстого. Однако Горловский не принимал их кандидатуры и остановился на мне, т.к. мое научное лицо было широко известно, а он хотел сочетания академической школы Жебелева с новым учением о языке Марра. Я долго отказывалась. Я не имела стремлений к педагогической работе, никогда не преподавала, а тут сразу профессором. Давно я примирилась с изгнанием из стен высших учебных заведений; сколько я ни билась в свое время, никуда меня не принимали простым грецистом. И вдруг — кафедра.

Когда я пришла в ЛИФЛИ, ко мне вышел сам Горловский, еще довольно молодой, приятный, с розовыми щеками, державшийся доступно, но с достоинством.

Впервые я вошла в студенческую аудиторию 24 декабря 1932 года. Прием был небольшой, человек 10, все больше грецисты. Мне пришлось самой сочинять учебные курсы.

Я завязывала связи с классиками всей России, приглашая их на лекции. Я специально привлекала к работе всех, несправедливо затертых жестокой академической средой, всеми, кого третировали Богаевские и Толстые. Я ввела в университет Беркова, Баранова, византистку Ел. Эмм. Липшиц, когда та была в полном унижении, и отсюда началась ее блистательная карьера. Так у меня получали работу и становились на ноги Мих. Карл. Клеман, Ал. Ник. Зограф, Гинцбург (голодный переводчик Горация), Малоземова, Егунов, Доватур, Ернштедт, Раиса Викт. Шмидт, Залесский, Казанский, учитель Соколов, романист Бобович.

Я умела находить применение для каждого, и меня увлекала широта, разрывавшая с приятельскими отношениями, круговой порукой. Научная работа кафедр была новшеством в то время. Но я придавала ей первенствующее значение. Много читая сама, я вынуждала кафедру не отставать — и мы принялись за живую научную работу.

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. и О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва [1 июня 1933]

Дорогие тетя Ася и Оля!

Честное слово, — получив открытку, тотчас же стал отвечать закрытым, но в том-то и беда: закрытое, Бог знает, куда меня завело, и без времени увянув от собственного многословья, осталось без конца и неотосланным. А время идет, и вы тем временем по праву меня свиньей считаете.

Про наших, верно, уже от них самих знаете. Живут и здравствуют, и даже Лида еще службы не потеряла в Мюнхене, что меня в общем страшно удивляет, потому что от одного недавно приехавшего немца я из вполне арийских источников знаю, что там форменный сумасшедший дом, и даже бледно у нас представляемый.

Гоненью и искорененью подвергается даже не столько ирландство¹⁷, сколько все, требующее знания и таланта, чтобы быть понятным из чисто немецкого. Это власть начального училища и средней домохозяйки. Правда, в последнем письме папа много говорит о скоро открывающейся выставке трехсотлетия французского портрета. Но, очевидно, сняться и съездить на выставку не так-то легко технически. Я телеграммою звал их сюда, а потом узнал, что и вы их приглашали. Переписываться, во всяком случае, стало труднее. И так противно было по-немецки пробовать писать, что обратился к французскому языку, хотя знаю его плохо.

Все у нас здоровы. Лето проведем в Москве по финансовым и многим другим причинам. Не сердитесь на дам за их молчание. Зина вечно в хозяйственных хлопотах и работах. Женя зарабатывает, комсостав Красной Армии рисовала.

Обнимаю вас крепко. Ваш Боря.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30 августа 1933

Дорогая Оля!

По-моему оба наши письма, твое и мое, приступ сходного психоза. По-видимому, наши никуда не собираются трогаться, ни даже в Париж, не говоря о нас. На днях Ирина (Шура в Крыму) получила от стариков письмо, из которого заключает, что они остаются. А из того факта, что они – на даче, и по характеру снимков, которые Лида посылает своим знакомым с пляжа, никакой трагедии не явствует. Я писал им и на днях телеграфировал. Пропажа большого моего письма к ним — установлена. Другое, с теми же сведениями, но в более приватном тоне, получено.

Привет, жму руку, целую. Обнимаю тетю.

Б.

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. и О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва, 18 октября 1933

Дорогая Олюшка!

Как же это случилось, что ты профессор и у тебя кафедра, а я не узнал этого вовремя и тебя не поздравил! С чем только мы ни поздравляли друг друга в жизни, а с этим упустили.

У меня страшно болит голова, я только второй день с постели. Как-то вымылся я в ванне у знакомого в гостинице, а потом, забыв дома гребенку, подобрал у него в номере старую частую расческу, неизвестно чью, из разряда вещей, оставляемых прежними жильцами в углах выдвижных ящиков и пр., и в кровь изодрал ею кожу на голове. Царапины покрылись корочками, они долго не сходили, я стал этому удивляться, оформить удивление во что-нибудь было некогда, пока это не дало мне жару и не свалило в постель. По вызове специалиста оказалось, что это не сифилис (в XIX-ом веке я бы иначе писал двоюродной сестре), не фурункулез, не экзема, а загрязнение кровеносной и лимфатической сетки, от которого через три дня ничего не осталось, кроме головных болей, обыкновенных, как мигрень.

Ты совершенно права насчет стариков. В двух-трех местах своего письма ты нашла слова для моих собственных ощущений (твое недовольство постановкой вопроса, взвешиванье преимуществ, с точки зрения комфорта, концепция Феди и т.д.). Я и сам высказал папе свое недоумение по поводу того, что еще тут можно было бы готовить целый год, настолько дело все просто. Что касается потребности его в приглашении, то не относится ли это скорее к моменту выезда, а не въезда, и не в интересах ли вывоза вещей и чего-нибудь другого хочет папа заручиться официальным вызовом? Ведь тамошних законов и ограничений мы не знаем. Впрочем это только моя догадка и может быть я ошибаюсь.

Перед перспективой перевозки вещей (холстов хотя бы) руки бы опустились и у меня, не семидесятилетнего. И в этом отношении также требуется подход более радикальный или, скажем, отчаянный. Согласится ли Федя взять на подержанье остающееся? Весьма в этом сомневаюсь. Но при официальном приглашении папа мог бы, может быть, найти поддержку в полпредстве. Хотя и это, при увеличивающемся дипломатическом

напряжении, подвержено сомнению. Одно ясно, формула взвешивания должна быть именно твоя, и должна основываться на какой-то максималистской истине, а не на сравнении гарантированных вероятностей¹⁸.

На днях я по всей вероятности уеду по делам в Грузию, а когда вернусь, начну исподволь развращать наших в названном направлении. Хотя по твоему примеру и сам я недавно склонялся к выжиданию, но теперь мне вчуже страшно чего-то, и хотелось бы как можно скорее иметь их при себе, и налегке, в качестве «временных гостей» (для отвода их собственных глаз), т.е. неотягощенными иллюзорною ответственностью перед самими собою: правильно ли или нет разрешен ими этот шаг (точно жизнь математика, — вот опять оно тут, мещанское самомучительство, святошествующее и не святое).

Ах, много бы я мог тебе написать на эту тему пережитого и передуманного, но всякий раз, как в письме ли или работе подходишь к главному и уже готовому, потому что найденному до всего остального, то такая тоска прутковская охватывает (необнимаемости необъятного¹⁹), что именно главное это и оставляешь в умолчании. Не потому, чтобы мысль изреченная была ложью²⁰ или вообще изреченью не поддавалась. Нет, нет, совсем не потому. Но физическое ощущение бесконечности, коренящейся во всяком общем положении, так перевешивает у меня интерес к его содержанию, что я его изложением жертвую из какой-то внутренней зябкости, из страха озноба, который для меня неминуем на этом пустыре.

Оттого-то и захвачено у меня одно второстепенное, и сколько я ни писал, теза оставалась неназванной. У всех этих вещей отрублены хвосты, каждый из которых, если бы дать им волю, должен был бы разрастись в трактат или, точнее, в нечто бесконечное о бесконечном.

Тут-то и пролегает водораздел между гением и человеком средних способностей. Первый именно не боится этого холода, и только. И тогда, вопреки Пруткову, Паскаль²¹ охватывает необъятное и только и делает, что пишет принципиально о принципах, и набрасывает бесконечность бисернее и непринужденнее, чем Бунин какую-нибудь осень.

Дорогая тетя Ася! Я только хотел поблагодарить Вас и Олю за Ваши письма и незаметно с Олею заболтался.

Страшно рад нашему единодушью, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положениях. Именно это ведь и характеризует наше время. На партийных ли чистках, в качестве ли мерила художественных и житейских оценок, в сознании ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще неназванная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны.

Какой-то ночной разговор девяностых годов затянулся и стал жизнью. Очаровательный своим полубезумьем у первоисточника, в клубах табачного дыма, может ли не казаться безумьем этот бред русского революционного дворянства теперь, когда дым окаменел, а разговор стал частью географической карты, и такую солидной! Но ничего аристократичнее и свободнее свет не видал, чем эта голая и хамская и пока еще проклинаемая и стонущая достойная наша действительность, — Ваша, тетя, правда. Это я по поводу керосина, что Вы папе написали или хотели написать²².

Крепко Вас и Олю обнимаю, Зина целует и благодарит за память.

Женичка совсем уже большой мальчик. Ему 10 лет. Он живой, рассеянный, впечатлительный и, как все дети нашего времени, полон тех живых знаний, которые почерпываются в каком-то промежутке между бытом беспризорников и усилиями педагогов. Разве я не писал Вам о нем.

Но это тема не для приписки. Будьте здоровы. Еще раз обнимаю Вас. Зовите наших, но не к себе, а ко мне или к нам, и по-Олиному, т.е. в духе сурового фатализма и под керосиновым аспектом. Все это правильно, и было бы, если бы принялось, им во благо.

Ваш Боря.

Поздно, запечатываю, не прочитывая. Не знаю, что писал.

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. и О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва [30 октября 1934]

Дорогие мои!

Как ваше здоровье, тетя Ася? Как ты, Олюшка? Дикая жизнь, ни минуты свободной. Давно вам собираюсь написать, и еще больше хотел бы о вас узнать. Не сердитесь на меня, честное слово не вру. Еще больше хотел бы обо всем забыть и удрать куда-нибудь на год, на два. Страшно работать хочется. На-

писать бы, наконец, впервые что-нибудь стоящее, человеческое, прозой, серо, скучно и скромно, что-нибудь большое, питательное. И нельзя. Телефонный разврат какой-то, всюду требуют, точно я содержанка общественная. Я борюсь с этим, ото всего отказываюсь. На отказы время и силы все уходят. Как стыдно и печально.

Я прошлый год грузин множество напереводил, зимой выйдут. А сейчас один вышел в Тифлисе отдельной книжечкой²³. Не знаю, какой в моем переводе. В оригинале был до слез настоящий и трогательный. Хотите, пошлю?

Женя в Ленинград собирается на неделю, просила о вас разузнать. Олечка, черкни открытку.

Крепко вас целую. Напишите о себе.

Ваш Б.

Для нас первый гром раздался в тот момент, когда сослани Горловского. Он находился в Москве, приехал, узнал об увольнении, снова поехал хлопотать. Тогда его сослани. Позже все его следы исчезли.

Горловского любили, уважали, жалели. Все были чрезвычайно подавлены. В Институте пошла карательная работа. В нашей газете появилась 14 января 1935 г. передовица, написанная жирным шрифтом: «Знать, чем дышит каждый». «...Дело Горловского и иже с ним наглядно показало, что с чистотой партийных рядов в нашем Институте не все благополучно...»

Конечно, я была очень наивна, когда изумлялась открытому призыву к сыску и доносам. Междуцарствие, разгул политической полиции вызывали разброд в среде студентов. Пошла полоса демагогии, студенческого главенства, партийных диктатов. Партсекретарь Ида Снитковская заявила мне, что партия мне доверяет, а потому просит снижать отметки детям служащих в пользу повышения — детям рабочих. Я наотрез отказалась.

«Густота» атмосферы становилась невыносимой. Часть студентов склочничала, доносила, создавала обстановку закулисных демагогий, жалоб, недовольств, нареканий. Я ходила в постоянном напряжении нервов, волновалась и возмущалась. Постоянные телефонные звонки держали меня в ожидании чего-то нагнетающегося и нестерпимого. Мне жаловались «дети служащих» на оскорбления и интриги «детей рабочих», и эти слухи, звонки, косвенные рассказы, вести из вторых и третьих рук — это все отравляло жизнь и трепало нервы.

Демагогическая разруха шла все глубже. Факультет разваливался, гнил на корню.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 3 апреля 1935

Дорогая Олюша, извести, как вы и что у вас слышно. Т.к. меня не миновали беды некоторых ленинградских несчастливцев, то мне особенно хотелось бы знать, здоровы ли вы и все ли у вас в порядке.

Оля, вот я не пишу тебе, — ты — мне, и так жизнь пройдет. И притом довольно скоро. Но мне ее не переделать. Я и не пытаюсь, потому что та, что налицо, еще лучшая и наимыслимейшая, при всем том, из чего она у меня неизбежно составлена. Если бы знала ты, на что у меня день уходит! А как же иначе, если уж мне такое счастье, что среди поедаемых ко мне почему-то относятся по-человечески.

А так хочется работать. И здоровьем бы не грех позаняться, когда бы больше времени. Впрочем, ничего серьезного, ты не думай, всякие преходящие пустяки²⁴. Но я не падаю духом. Сейчас я временно на очень строгом режиме, потому что урывками все же пишу, и большую вещь. Мне ее очень хочется написать. А как слажу с ней (через год-полтора)²⁵, надо будет все же посуществовать хоть недолго по-другому. Невозможно все время жить по часам, и наполовину по чужим. А знаешь, чем дальше, тем больше, несмотря на все, полон я веры во все, что у нас делается. Много поражает дикостью, а нет-нет и удивишься. Все-таки при рассейских ресурсах, в первооснове оставшихся без перемен, никогда не смотрели так далеко и достойно, и из таких живых, некосных оснований²⁶. Временами, и притом труднейшими, очень все глядит тонко и умно.

У нас все благополучны. Крепко целую тебя и маму.

Итак, успокой, хотя бы короткой открыткой, даже именно предпочтительно открыткой, чтобы долго не собираться.

Твой Боря.

И не надо ли тебе чего, Оля?

Моя защита была назначена на 9 июня 1935 года. Начальство не пожелало ни дать объявления, ни разослать билетов. Вот передо мной открытка, на которой грязно напечатано на машинке: «9 июня в 7 часов вечера в Актовом зале ЛИФЛИ публичная защита докторской диссертации проф. О.М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра. Период античной литературы». Оппоненты: акад. Жебелев С.А., проф. Франк-Каменецкий И.Г. Дирекция ЛИФЛИ».

А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Е. В. ПАСТЕРНАК

Ленинград [19 июня 1935]²⁷

Дорогая Женечка, Вы меня очень обрадовали (конечно, — ответ). Скажу Вам, в чем дело.

Дело в том, что Оля сего 9-го июня защитила докторскую диссертацию и послала по моей просьбе (она знала, что все равно ни Боря, ни Шура не откликнутся, и не хотела этого делать, но я все же настояла и она послала Боре) тезисы и повестку. Вот почему я и написала Вам, желая узнать, в Москве ли они?²⁷ Знаете... мне очень стыдно за них... Оля имела громадный успех, в газетах писали о ней, массу роз получила, и еще теперь ее все поздравляют и звонят в телефон, поздравляя ее! Полный актовый зал был полон, что редко бывает. Первая женщина, защитившая докторскую диссертацию, и вообще и в этом Институте и в советское время. Она получила звание доктора античных языков и литературоведенья. Я очень извиняюсь за мой гадкий почерк!

Теперь вернусь к Боре и Шуру. Как им не стыдно?! Какое варварство, со стороны таких близких людей! Ни словом не обмолвиться, ни ответом ни-ни... Я так огорчена, я так обижена. Боря не мог не получить ее письма, обратный адрес она написала! Значит, пришло бы письмо к нам!

Я напишу об этом брату и скажу ему, что освобождаю их от родственных цепей... О, верьте, милая Женя, что я уже забыла о моих племянниках (впрочем, я Шуру и не виню, так как он давно перестал существовать для меня), но Боря?! Я ничем не оправдываю его! Ничем! Ну, ладно! Их нет для меня, правда, я одной ногой уже в могиле... Но все же я другой ногой еще тут...

Дудлик на марочки мне не ответил, что дедушка тогда (зимой) ему послал, верно, он написал дедушке, потому что брат меня спрашивал. Ну, да это, видите, атавизм...

Дорогая, золотая, будьте здоровы и отдыхайте на здоровье, а мы тут и некуда нам ехать! Оля без меня не хочет и я без нее не могу, а вместе нельзя квартиру оставить и... чтобы отдохнуть, надо кому третьему найти эту дачу и перевезти вещи и «все такое», я не могу, Оля не в силах и очень занята вплоть до 17 июля, идут проверки в месткоме, а она там. Идет работа по Ударничеству, о наградах как студентам, так и профессорам и т.д. Она ни часу времени не имеет!! Устала страшно.

Я заболталась! Целую Вас.
Ужасно благодарна за ответ.

Ваша Ася.

Оля очень кланяется и целует Дудаленка-а-а!

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 14 января 1936

Дорогая тетя Ася!

Говорят, Вам уже ответили, но все равно, это не лишает Вас и Оли правоты в Вашем справедливом возмущении. Надо оправдать и Елизавету Михайловну, Женину воспитательницу: она долго и опасно болела.

Наконец: когда Вы и Оля перечисляете множество адресов, по которым Вы безответно обращались, Вы касаетесь той сложности, которая ведь не облегчает мне жизни и досуга не прибавляет. Оля написала Шуре, что она занята легендарно и это слово подчеркнула. Следует ли из этого, что я бездельник?

Беспримерно, конечно, и ни на что не похоже, что я за эти месяцы ни разу не написал Вам. Но почему из Олина молчания я не вывожу никаких сказок насчет ее равнодушия к тому, выздоровел ли я или нет, жив или умер? Почему только мое молчание что-то значит и обязательно одно дурное? Но это все равно, так всегда было и будет.

Не писал я Вам не из прирожденного свинства и не за недостатком времени, не писал потому же, почему трудно мне было тогда от Вас²⁸ написать или телеграфировать своим в противоположном истине успокоительном духе. Потому что ведь не скоро все образовалось, и долго, долго потом со мной творилось, что там ни говорите, нечто странное, кончившееся, к осени круглодневными болями сердца, рук и полным беспорядком всего того, что у человека должно быть в порядке. Лишь теперь, когда в исходе медленного, одной силой *времени* достигнутого выздоровленья, я опять такой, как был прежде, и опять ковыряюсь и строчу в меру сил своих, лишь теперь понимаю я, что со мной было и где его причины.

Но теперь я здоров, и снова кругом такая бестолочь, что нет времени книгу прочесть, когда того хочется, а подчас и нужно. Что сказать Вам. Вы знаете, как я люблю Вас и Олю, и как боюсь Вас. Вы обе дико несправедливы ко мне. На Ваш не выска-

занный взгляд я чем-то виноват перед вами, а чем, до сих пор не могу понять.

Я не помню, посылал ли я Вам своих грузин или нет?²⁹ Там половина — чепуха ужасная. И жалко, что крупницы достойного отяжелены стольким мусором. Но это мне навязали из соображений плохо понятой объективности. «Змеееда» же прочтите, и это будет взамен нескольких ненаписанных писем Вам обеим, которые, конечно же, я вам писал, из той дичи, в какой находился.

Поцелуйте Сашку.

Боря

[Надпись на книге «Грузинские лирики»
Советский писатель, Москва 1935]

Дорогой сестре Олюшке от крепко ее любящего брата. Когда позволит время, найди терпенье просмотреть все до конца. Потому что среди ерунды, которую, хотя и в ограниченном количестве, я был вынужден включить в свою работу, здесь есть неподдельные дарованья, понятие о которых я старался посылать. И никогда не сердись на меня.

Боря

15 января 1936

В самом начале мая 1936 г. вышла в свет моя «Поэтика сюжета и жанра». Десять лет я делала эту книгу; не дни; но и ночи; не во время работы, но и во время отдыха, в праздники, в каникулы.

Книга вышла и стала быстро раскупаться. Через три недели после выхода в свет — книгу конфисковали.

28 сентября в отделе «Библиография» газеты «Известия» была напечатана рецензия Ц. Лейтейзен «Вредная галиматья», с добавлением редакционного примечания: «Печатаемая нами статья о книге О. Фрейденберг показывает, какие научные кадры воспитывал Ленинградский институт философии, литературы, лингвистики и истории и какие «научные» труды он выпускал. Книга Фрейденберг — диссертация на степень доктора литературоведения вышла под маркой этого института. Что же думает обо всем этом Наркомпрос?»

«Известия» были сугубо официальной партийной газетой. Каждое слово этого органа имело официальное значение, практические результаты которого (или, как принято было говорить, оргвыводы) невозможно было переоценить.

Как врывались эти репрессии и удары в мирную жизнь человека, только что пережившего невзгоды и начинавшего думать, что все по-

зади и можно, наконец, отдохнуть! О, эти вести, которых мы вечно ждали в трепете! Эти вести, которые звонили, настигали, прибегали в дом и срывали крыши со всех убежищ.

Едва ли кто-нибудь поймет в будущем, как это было плохо! Как грозно и зловеще!

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1 октября 1936

Дорогая моя Оля,

Я зимую на даче с затрудненной почтой, без газет, — но об этом после. Вчера я был в городе и Женя мне показала статью в «Известиях», — она плакала.

Во всем этом мне страшно *только* то, что ты еще не закалена, и с тобой это впервые. Наверное, это уже подхвачено ленинградской печатью, а если еще нет, то ты должна быть к этому готова. Это будет множиться с той же подлой механичностью, без мысли, сплошь в прозрачных, каждому ясных передержках, с неслышанною аргументацией (всем известно, как Маркс относился к Гомеру, — как будто ты пишешь о Марксе, и приводя противное, искажаешь факты — как будто твои аналитические вскрытия есть осужденья, как будто *тебе* Гомер дальше, чем этой репортерской пешке, своими руками затягивающей петлю на своей собственной шее, точно этому газетчику дышится слишком вольно и надо постараться, чтобы дышать стало еще труднее...).

Я не могу сейчас, на этих ближайших днях приехать к Вам, как мне бы хотелось и было бы, может быть, нужно. Не могли бы ты приехать ко мне? Здесь у тебя была бы отдельная комната, и ты попала бы в поселок, состоящий сплошь из таких же жертв, как ты³⁰.

Зимую была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли все это до тебя, но это началось со статей о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки лучших, как например, Владимир Лебедев и др.

Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе Писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не

сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами³¹. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже официальных, зачем де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из союза (очень хороших и иногда близких мне людей) справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали, как фронду.

Я не знаю, как тебе быть, издали этого не сказать, надо знать, как далеко зашла у тебя эта беда в объективных фактах, надо увидаться. Я знаю случаи, когда люди, получив *такой* щелчок, пытались объяснить по существу, писали письма в Ц.К. и добившись того, что там ознакамливались с поводом разноса (книгой, пьесой или картиной), только усугубляли свое положение и уже непоправимо, вторично, усиленным на них наскоком, в подтверждение первого. Так было с поэтом Светловым и его пьесой. Во всех этих случаях, как и со мной, урон был только моральный, и значит при нравах нашей прессы, лишь видимый и призрачный, с эффектом обратного действия для всякого необделенного нравственным чутьем и силой.

Я не знаю, как это по твоей неопытности разыгрывается с тобой, я не знаю твоих друзей и знакомых, твоих корней в среде, я говорю только о вещах для внутреннего душевного употребления, — самом в таком случае важном, если бы даже возможность самозащиты была нужна или доступна нам. Мне страшно себе представить, как ты все это переносишь и как это отражается на здоровье тети. Об этом, пока об этом, я прошу тебя немедленно протелеграфировать мне по адресу: Москва, Белорусско-Балтийская дорога, Баковка, городок писателей 48 Пастернаку.

Женя сказала, что я должен был бы вступить за тебя в печати, т.е. написать контрстатью о книге. Если я это сделаю, я знаю наперед, что случится. Если бы даже это напечатали, меня в ответ высмеяли бы довольно мягко и милостиво, а тебе бы влетело еще больше, и, как это ни странно, еще и за меня.

У меня и на этот счет есть опыт, так всегда бывало, когда я за кого-нибудь вступался хоть и устно, но публично.

Но зато, если бы потребовалось, негласными путями, т.е. личными встречами и уговорами, апелляциями людям с весом и т.д. я готов тебе служить, как могу, рвусь в бой и хотел бы только знать, что именно надо. И вслед за телеграммой, очень прошу тебя, поторопись подробно написать мне и пошли письмо спешной почтой по тому же адресу.

Теперь главное. Ты наверное давно ждала — и удивлялась и обижалась, может быть, его непоступлению — моего отклика и мнения о книге, и права была, не находя безобразию этому имени. И я сумел бы соврать или обойти вопрос молчанием, если бы не знал, что будь ты тут, ты меня бы оправдала; — но факт тот, что я еще ее толком не прочел. Я пробежал — это было весной — при первом получении всю книгу поверхностно, через пятое в десятое, но и этого было достаточно, чтобы подивиться как раз тому, что этот мерзавец³² намеренно проглядывает и нагло искажает: глубине и цельности общей мысли, методологическому ее членению из главы в главу через всю книгу. Кроме того, я прочел страницы о лирике, восходящие к тогдашнему разговору твоему на кухне, когда ты мне эти мысли поясняла снимками с позднейшей греческой скульптуры. «Укрощение» я знал в оттиске³³.

Я так уже тогда боялся, что не скоро улучу минуту для этого верха наслаждения (книга на интереснейшую тему, в новом, весь генезис ее преобразующем разрезе, увлекательно написанная, да притом еще тобою!), что написал тебе телеграмму с ничего не значащим выраженьем голой радости (неужели я и ее даже не отправил!). Тогда Женя болела и я должен был ее устроить на юг в санаторий, а затем и их обеих с Елизаветой Михайловной на все лето в дом отдыха.

Достраивались эти писательские дачи, которые доставались отнюдь не даром, надо было решить, брать ли ее, ездить следить за ее достройкой, изворачиваться, доставать деньги. В те же месяцы, денежно и принципиально решался вопрос о новой городской квартире, подходило к концу возведение дома, начиналось распределение квартир.

Все эти перспективы так очевидно выходят из рамок моего бюджета и настолько (раза в три) превышают мои потребности, что во всякое время я бы отказался от всего или, по крайней мере, от половины, и сберег бы время, силы и душевный покой,

не говоря о деньгах. Но на этот раз, по-видимому, серьезно собираются возвращаться наши. Папе обещают квартиру, но из этого обещания ничего не выходит и не выйдет. Надо их иметь в виду в планировке собственных возможностей.

Я страшно хочу жить с ними, как хотел бы, чтобы ты приехала ко мне, т.е. хочу этого для себя, как радости, но совсем не знаю, лучшее ли бы это было из того, что они могли бы сделать, для них самих. Это остается в неопределенности, а я уже живу под эту неопределенность, и трачусь и разбрасываюсь, может быть впустую.

Однако эта неопределенность с родителями лишь часть общей неизвестности, в которой я нахожусь — жить так, как мне приходится жить сейчас, весь век, было бы неисполнимым безумьем, если бы даже это мне улыбалось, — и опять-таки их проблематический приезд осложняет дело, временно фиксируя меня в том положении, в каком застает, и отсрочивая некоторые неотложности на неопределенное время. Но об этом я даже и не вправе распространяться.

Короче говоря, я все задерживал переезд на дачу, пока Зина не собралась сама, и в одно прекрасное утро не перевезла всей мебели и хозяйства. Я тоже бросился туда, как был, без книг и вещей, необходимых мне в работе. О последней я, после кризиса, составлявшего существо моей прошлогодней болезни (он, между прочим, заключался и в судьбе работ, подобных твоей³⁴) — редко мечтаю. Я пишу невероятно мало, и такое, прости меня, невозможное говно³⁵, что не будь других поводов, можно было бы сойти с ума от одного этого.

Но так вообще все это не останется, я вырвусь, даю тебе слово, ты меня, если тебе это интересно, опять увидишь другим. Как раз сейчас, дня два-три, как я урывками взялся за сюжетную совокупность, с 32 года преграждающую мне всякий путь вперед, пока я ее не осилю, — но не только недостаток сил ее тормозит, а оглядка на объективные условия, представляющая весь этот замысел непозволительным по наивности притязаньем. И все же у меня выбора нет, я буду писать эту повесть. Да, но это к делу не относится, я заболтался, что же это я хотел сказать?

Да, так вот только вчера я поехал за нужными книгами, и также за твоею, которая все лето оставалась в неприступной

квартире, опустошаемой и загроможденной ремонтом. Способна и согласишься ли ты это постигнуть?

Все дальнейшее, что я стал бы говорить тебе и рассказывать, я бы притянул к делу только для того, чтобы ускорить твой ответ. Поэтому прошу тебя прямо: как бы тебе ни было трудно, как бы ни было мало мое право просить тебя об этом и на это рассчитывать, умоляю тебя, найди минуту и немедленно телеграфируй мне, что с вами обеими; затем пересиль себя и напиши мне подробнее.

Наконец, если это в твоих возможностях (не переехал ли бы на это время Саша к тете?), приезжай ко мне. У тебя будет тут, если захочешь, отдельная комната, а рядом, под боком, все товарищи по несчастью: Пильняк, Федин и другие, обтерпевшиеся как раз в той травле, которая тебе еще в новинку.

И, наконец, последнее, на то короткое время, которое меня отделяет от твоей телеграммы, письма и приезда: мне ли, невежде, напоминать тебе, историку, об извечной судьбе всякой истины? Напиши ты компиляцию о прочитанном, ни мизинцем не отмеченную ничем собственным и новым, и исход был бы, конечно, совсем другой. А тут ты выходишь с совершенно своею точкой зрения, с *произведением*, что-то прибавляющим к привычному инвентарю, с делом до осязательности новым, и гуси, конечно, в бешенстве.

Есть еще одно обстоятельство, невообразимое, так оно на первый взгляд противоречит смыслу. Существуют несчастные, совершенно забытые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием для них выбора, т.е. убожеством своих умственных ресурсов. И когда они слышат человека, полагающего величие революции в том, что и при ней, и при ней в особенности можно открыто говорить и смело думать, они такой взгляд на время готовы объявить чуть ли не контрреволюционным. Это верное наблюденье, но я второпях его скомкал, это надо было бы выразить в двух словах, и тогда бы тебе этот нонсенс был ясен.

Обнимаю тебя, и не буду знать покоя, пока не протелеграфируешь и не ответишь.

Тетя, целую Вас.

Б.

Вызвался поехать в Москву Хона (Франк-Каменецкий). Дома он объяснил, что катастрофа со мной подорвет и его, рецензента книги. В этом была правда.

Мы долго думали, к кому должен Хона кинуться, и решили, что к Боре. Мы решили Борю просить переговорить с Бухариным, редактором «Известий», который его высоко чтит. Доверить такое решение нельзя было ни письму, ни телефону: все вскрывалось, читалось, подслушивалось...

Хона уехал в тот же вечер. Из Москвы он проделал тяжелое путешествие по грязи в Переделкино, где жил Боря. Усталый и нервный он попал к Боре за стол, где сидели чужие, и в том числе Нейгауз, профессор Московской консерватории, близкий друг Бори, муж Зины, второй Бориной жены. («Эта женитьба, — сказал мне как-то Боря с улыбкой, — просто была формой моего увлечения Гарриком Нейгаузом, а потому и его женой».) С трудом удалось ему поговорить с Борисом наедине (он очень нравился, как человек, Хоне).

Боря рассказал ему, что Бухарин сам находится под вопросительным знаком, и сидит дома, и повидать его трудно...³⁶

В тот же вечер Хона возвращался в Ленинград. Стоял холодный черный вечер поздней осени. Шел дождь с мокрым снегом. Из Переделкино отправлялась в Москву машина, и Боря втиснул в нее Хону. Грязь по колесо, дождь со снегом, шум мотора, темнота, битком набитый автомобиль. Хона грохнулся на сиденье, и не успел он опомниться, как у него на коленях уселись две оживленные особы женского рода, ехавшие из гостей от писателей. Из их щебетанья Хона понял, что у него на коленях сидит Лейтейзен.

Он так был утомлен, и жизнь казалась ему таким сумасшедшим домом, что он не имел сил найти в себе какого-то отношения к происходящему. И он мчался в темноте, держа на коленях ту, из-за которой так был утомлен и измучен. Советская действительность представлялась ему фантомом, и он не мог четко различить, из-за чего его качнуло в такую даль и по такой грязи, — уж не для того ли, чтоб посадить к себе на колени веселого товарища Цию Лейтейзен?..

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 7 октября 1936 г.

Дорогая Оля!

Я совершенно потрясен самопожертвованием Франка-Каменецкого, свет не видал ничего подобного. Зато как разочарует он тебя на мой счет отчетом о своей поездке!

Я не знал, чем компенсировать бескорыстие и благородство его вмешательства. К сожалению, у нас были в этот день гости с ночевкой, и я не мог предложить ему остаться у меня. Но он

ведь сам все тебе расскажет, свободно и без инспирации, не как передатчик, но как судья и наблюдатель.

Я ему обязан бесконечно многим: никакое письмо от тебя не могло бы, конечно, дать мне столько сведений, в конце концов успокоительных, как его рассказ о тебе и тете в ходе моих четырехчасовых расспросов.

Когда я звал к себе тебя, я имел в виду не только улажение этой неприятности, но, вообще, хотел поговорить с тобой и тебя видеть. Мне хотелось, чтобы ты пожила у меня или у Жени, и тут, разумеется, менее всего Франк-Каменецкий мог тебя заменить.

Единственной помощью, которую я мог предложить ему (устройством ему приема, где это бы понадобилось и обеспечением нужного разговора), он не захотел воспользоваться, находя это не удобным для тебя и нецелесообразным. Он передаст тебе, какую малостью, очень спорной и ничего не стоящей, я попытался послужить тебе по его совету.

Не унывай, Оля. Мне верится, что хотя большинство таких историй, в виде правила, никогда не улаживается, так что постепенно их перестали считать «историями», твоя, с какой-то долей приемлемого для тебя компромисса, уладится. Назначение комиссии подаст мне эти надежды.

Нет смысла писать тебе сейчас: ты раньше письма и гораздо больше узнаешь от Израиля Григорьевича. Поблагодари его от моего имени еще раз.

Тетя, напишите папе и маме. Как поймут они меня, если я, сын, стану их отговаривать. Ни разу я в этом отношении им ничего не рекомендовал. Вот границы, в которых, не расходясь с правдою, я звал их и продолжаю звать в последнее время: я пишу им, что их приезд был бы счастьем для меня, и что я всегда готов разделить с ними ту жизнь, в которой они меня застанут, и большей радости для себя не знаю. В глубине души я не верю в их приезд.

Ваш Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Е. В. ПАСТЕРНАК

Ленинград, 8 октября 1936

Женечка, спасибо Вам, дорогая, что Вы так хорошо приняли моего посланца. Он в Вас совсем влюблен. Говорит, что его мозг горел все дни дома, в поезде, у Бори, у родственников. Единствен-

ные часы, когда он не думал обо всей этой истории — это у Вас, с Вами. Словом, я ужасно рада. Я просила его побывать у Вас и дала ему Ваш адрес (он остался на конверте к Боре), но у него все вылетело из головы. Впрочем, он собирался у Вас побывать еще до Бори, но поезд опоздал на два часа и спутал его планы.

Как Вам нравится вся эта идиотская история? Если б Вы знали, сколько мы ссорились дома! Я была против поездки Франк-Каменецкого к Боре, я дрожала, чтоб он не втянул его в эту музыку. Но его фаршировали дома, жена и родственники. Мама его не любит и ссорила нас, «натравливала». А тут, в разгар событий, оказывается, что я забыла заплатить за телефон — его выключают. И то я вызываю Ф.-К. и прошу не ехать, то он появляется и объявляет, что едет... Словом, волнений масса. И кому нужна была эта поездка? Добро только, что он с Вами познакомился. О Дудаленочке он почти ничего не мог рассказать, а мы жадно расспрашивали.

Боря мне писал, что это Вы показали ему «Известия» и настаивали, чтоб он выступил в печати. Да, если б он не был моим братом. Это может сделать только чужой человек.

А я-то все мечтала побывать у Вас, посмотреть Дудлика. Мы так хотим его видеть! Но я не приехала бы по постному случаю. Да и маму не на кого оставить. Она очень плохо видит, бедняжка, с каждым днем хуже. Писать ей очень трудно, не читает.

Горячо Вас обнимаю. Чувствую Вас.

Ваша Оля

Мама говорит, что не может писать, очень огорчается за стариков, боится их переезда.

Ко мне стали приходиться факультетские друзья, сочувствовать, давать советы. Мне советовали общественно выступить, признать ошибки в мелочах, чтоб отстоять книгу в главном. Надлежало быстро, пока я стояла на ногах, принимать какие-то меры. Но решение уже было мною принято.

О покаянии и речи не могло быть. Но я не хотела новой вины, еще более тяжелой, вины перед учеными, друзьями, перед оппонентами по Институту; от меня все требовали, чтоб я не забывала последствий начатой кампании для других ученых.

Решение было мной принято. Я написала Сталину.

То было время, когда я еще искренне верила, как сотни тысяч других людей, в искажения партийных распоряжений, вредительства, про-

делки местных негодяев. Говорили, что Сталин желает добра, что все письма он читает. Я решила действовать своими обычными средствами – личным непосредственным обращением к наивысшей инстанции, без посредников, полумер и компромиссов. Одно в жизни было у меня, безоружной, оружие: мое перо, моя страсть, моя честность.

Письмо составляло мою тайну. Но оно составляло и тайну политическую, не допускавшую разглашения.

Это происходило в начале октября. Я сразу успокоилась и только выжидала. Но дни шли, отклика не поступало, а последствия диффамации вступали в силу.

Со мной старались не сталкиваться, чтобы не раскланиваться. Товарищи перестали мне звонить по телефону.

Одно, одно владело мной, держало меня, вело по тем ужасным дням: непоколебимая вера в историю науки. Я знала, что она есть, что никакими фальсификациями и уничтожением документов нельзя ее обмануть. Я так была уверена в ее правдивом и нелицеприятном существовании, словно видела ее воочию. Все могли сделать всемогущие люди: убить, исказить, извратить, – но, в сущности, ни убить не могли, ни уничтожить, ни изменить масштабов. Они строили карточные домики, не выдерживавшие времени. Воздействовать на историю они не имели средств, как ни были всемогущи.

Этим сознанием и живым чувством я жила, дышала и держалась. Даже более того: была им воодушевлена, была поднята высоко над фактами гоненья.

Время, истекшее после выхода статьи, было сплошь заполнено нагнетанием неведомых страшных событий, клокотанием подземных вод, сгущением черных туч. Звонки, телефоны, слухи, шопоты, вести, намеки. Обо мне не переставали говорить. Кольцо суживалось.

Этой страшной аморфной обстановки не понять тому, кто не жил при Сталине. Человека издали, исподтишка начинали затравливать как средневековых колдунов и ведьм. Что-то начинало подводно накапливаться и бурлить; человек чувствовал, что идет неотвратимое, которое надвинется на него и сметет.

Я продолжала читать лекции и ходить на заседания, где студенты презирали меня, а товарищи оставляли вокруг меня все стулья пустыми; председатели не давали мне, под разными предлогами, слова. В эти дни я увидела, что значит трусость, какой цвет лица у низости, как выглядит обезличенность, лакейство, отсутствие чести.

Меня заставляли работать в этих условиях, и я работала, тщательно следя за тем, чтоб не давать поводов к тем обвинениям, которые подстерегали меня на каждом шагу. Я привыкла входить в двери, ставшие для меня тюремными, и делать свое дело, ни на кого не обращая внимания, с глубоким ощущением своего достоинства, оставшегося при мне вместе с чувством моральной чистоты.

Дома было тяжело. Бедная моя мама, в вечных переживаниях бедствий и мук за меня, лежала с воспалением легких. Пользовавшийся ее знаменитый советский профессор, бахвал и себялюбец, объявил мне, что спасенья не ждать. Я призывала последние силы духа, чтоб не ощутить полного отчаяния.

Расправа со мной задерживалась праздниками 7-9 ноября. Уже все мои ожидания ответа из Москвы истлели.

Это было 6 ноября. Мне позвонили из Университета, чтоб немедленно приехать. В каких чувствах я оставила больную и приехала, говорить не приходится. Меня встречают... предупредительно. Получена телеграмма из Москвы, подкрепленная телефоном, чтоб немедленно командировать меня на прием к Волину (зам. наркома просвещения)³⁷ 10-го числа. Университет достает мне билет на «Красную стрелу» (экспресс). Ректор велит передать мне, чтоб я по приезде немедленно явилась к нему, вне очереди, лично.

Уже звонок в наркомат показал, что меня ждет почет и ласка. Куда я ни шла, под моими ногами лежали розы.

Волин принимал меня свыше трех часов, отменив все приемы и дела.

Это был старый четырехугольный, коренастый человек с седыми взрыхленными копнами волос, с лицом и нравом Держиморды: заслуженный советский цензор. Я слышала, что Сталин хорошо к нему относился, так как он де был воспитатель его детей.

Он встретил меня по-стариковски, ласково: «Ну, что? обидели?» И дальше рассказал, что мое письмо к Сталину у него, и что ему поручено разобрать это дело (позже я сообразила, что Сталин два месяца отдыхал, и письмо, по-видимому, ожидало его резолюции). Разумеется, старый цензор на сей раз не нашел в моей книге ничего предосудительного: у нас логика вставляется в мозги в механизированном виде, и зависит не от объекта суждения, а от рук вставляющего. Он, оказывается, «изучил» мою книгу, но никаких расхождений с марксизмом не заметил. Лишь отечески бранил за непонятный язык и «ковырянье». Именно — отечески.

Но самое интересное было потом. Когда он узнал, что книга подверглась конфискации, его ярости не было границ.

— Неверно! Не может быть! Этого не было! — кричал он: все его цензорское нутро горело. — Конфисковать вашу книгу? Да за что? Я — старый цензор, понимаете? Я знаю, за что конфискуют книги! Но вашу-то за что?

Взволнованный моим возмущением, он встал и при мне позвонил в Главлит (высшую цензуру). Его тон был суровым, а ему отвечали, видимо, с подобострастием. — За что и когда была конфискована книга Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра»? Что? Немедленно наведите

справку. Не была? И задержана не была? — Он что-то еще сердито, грубовато сказал, сел на место и успокоенно ко мне обратился: — Вот видите, говорил я вам, а вы не верили. Ни конфискации, ни какой-либо задержке книга подвергнута не была.

Тщетно я доказывала ему и приводила факты.

— Не может быть! — восклицал он. — Это недоразумение или местная проделка, совершенно незаконная. Но и ее не было! Книга все время свободно циркулирует и продается. Если же ее нет в продаже — значит, распродана.

Что я могла противопоставить этой неопровержимой логике? Факты? Но бытие порождается сознанием только у идеалистов. У диалектиков-материалистов его порождает указательный палец. И спорила я неправо. В тот самый момент, как Волин звонил в Главлит, моя книга «вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда»³⁸.

На прощанье Волин мне сказал: — Никто не тронет вас больше. Если когда-либо кто-нибудь в чем-нибудь притеснит вас, или захочет создать ограничения, — пишите прямо ко мне. Вы имеете право свободно печататься и ничем не скомпрометированы.

В веселом расположении духа я провела вечер у Жени в обществе Бори и Шуры. Боря проводил меня на вокзал.

В Ленинграде меня ждала совершенно новая обстановка, словно все старое было фата-моргана. Куда, откуда все было известно? По какому радио? Но разве по радио изменяется климат?

Все были ласковы. Мне улыбались. Ко мне свободно подходили и выражали сочувствие. Меня поздравляли.

В университете меня нетерпеливо ждал ректор³⁹. Он двумя руками пожимал мою руку.

— Ну поздравляю! Поздравляю. Себя — прежде всего! Потом — вас!

И вдруг, сделав серьезное лицо, прибавил: — А, знаете, пока вы были в Москве, я еще раз перечитал вашу книгу, внимательней, глубже! И должен вам сказать, что ведь все понял! Представьте: я понял — и только тогда оценил.

Это было 13 ноября: день полной моей реабилитации, успокоения и победы. А 14 ноября в тех же «Известиях» появилась грозная заметка, в которой говорилось примерно так, что терпенье у научной общественности лопнуло, что дирекция ЛИФЛИ не желает, видимо, понять значенья своего потворства мне, и потому теперь голос за судом общественности. Взвился вихрь. Зам. директора Морген говорил мне: «Что же это такое? Сигнал к травле?» В глазах ректора я оказывалась самозванцем. Трудно было переоценить значение заметки. Это был знак к началу моего растерзания, то есть созыва общественного собрания (всех работников науки), шельмования моей книги и меня — и волчьего паспорта.

Нужно было экстренно, в одни сутки, задушить и эту заметку. Она представляла собой корреспонденцию из Ленинграда, а потому пока-

зывала, что злые силы идут отсюда, а не из Москвы. Писал кто-то из работников ЛИФЛИ, от имени его «общественности».

Б. ПАСТЕРНАК – Н. И. БУХАРИНУ

В редакцию «Известий».

...Я как-то говорил Живову⁴⁰ о книге Фрейденберг и рецензии Лейтейзен. Я знаю книгу и автора. Рецензия с книгой имеет мало общего. Книга посвящена анализу культурно-исторических напластований, предшествовавших поре сложения литературных памятников античности. Вводя в этот анализ, автор показывает, что кажущаяся гладкость сюжетов, форм и художественных канонов в древней Греции гладка лишь на первый и беглый взгляд, что она заключает непоследовательности, которые могут стать несуразностями, если их не объяснить; что это нуждается в анализе; что это наталкивает на изыскания.

Не ловите меня на сравнениях. Ни с чем роли и значения книги я не сравниваю, потому что не судья, не филолог и не теоретик. Но скажите, какое изучение и исследование не начинается именно с этого? Не с отклонения ли мнимой очевидности зарождается всякая проблема? Не надо ли удивляться падающему яблоку (уж на что глаже, вот вредная-то галиматъя), чтобы искать этому диву закона?

И, — опять без сравнений, — Лейтейзен вычитывает у Платона, что всякое философствование начинается с недоумения *σλορια*, кажется (пишу из Переделкина, и у меня нет под рукою книг, чтобы проверить), и упуская из виду, что, благодаренье богу, он вслед за этим наворачивает диалог за диалогом, — всюду расславляет (?), что, по Платону, философ тот, кто чаще других оказывается в дураках.

Но не в этом дело. Эту самую Фрейденберг 10-го вызывал в Москву замнаркома Волин, убедил остаться на работе, от которой она хотела отказаться, успокоил, что книга поступит в продажу и даже признал, что она в себе не заключает ничего вредного ни с какой, в том числе и марксистско-методической, точки зрения. Единственно, в чем он ее упрекнул, так это в некоторой тяжеловесности слога, затрудняющего чтение, и в том, что она согласилась на выпуск ученой и очень специальной диссертации широким тиражом, ведущим к нежелательным педоразумениям (в том числе и с т. Лейтейзен). —

А в Известиях от 14-го появляется новая телефонная лейтенениада из Ленинграда. Где же тут согласованность?..

Б. Пастернак

Разыгравшиеся вскоре политические события заставили меня засекретить этот документ, выбросив начало и конец, адресованные к Бухарину. Я переписала своей рукой середину письма, относившуюся ко мне. В ожидании возможного обыска я все сделала с этим историческим документом, чтобы спасти его и нас с мамой.

Борино письмо, к счастью, не попало к Бухарину, а где-то затерлось в промежуточных инстанциях, слава богу, важнейшая из них в советских редакциях – корзина.

Как мы вскоре узнали, Бухарин находился под домашним арестом. Пока шло следствие, «Известия» цинично подписывались именем приговоренного к смерти⁴¹.

Телефонная корреспонденция из Ленинграда обо мне явно запоздала. Она как-то повисла в воздухе, который успел вокруг меня разрядиться вызовом в Москву. Было очевидно, что эта заметка была написана до этого вызова и не успела вовремя выйти; ее действенность после моего возвращения зачерствела. Волин, получив мое письмо, лично позвонил Моргену с требованием никаких собраний не проводить и ничем меня не ограничивать («не ущемлять», как у нас говорили).

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – И.Г. ФРАНК-КАМЕНЕЦКОМУ

6 декабря 1936

...Моя статья о фольклорном языке⁴², уже сверстанная, подвергается бесконечным редактурам, и меня так мучают с нею, что я рада от нее отказаться — да нельзя, поздно. Я перечитываю,ковыряю вновь и вновь. Говорю: «Послушайте, что вам до отдельных слов? Такова моя концепция, а ее-то убрать я не могу и не желаю». Редактор улыбается: «Мы знаем, что концепция, но кому до нее дело, люди смотрят на слова». В общем, сейчас нельзя анализировать. Боря чудно сказал: анализ принимается за осуждение.

Нужно восхвалять. Но это жанр некрологов, а не исследований...

17 декабря 1936

...Сейчас мне позвонила Малоземова⁴³ и зачитала, что в нашей семейной газете «Известиях» напечатано о Боре⁴⁴. Мне остается написать ему сочувствующее, горячее письмо и пригласить к себе; впрочем, не приедет ли кто-нибудь от него?

Важно сохранить свое лицо, продолжать свое дело. Что я! Ведь Борю знает вся культурная Европа, особенно Франция, Ромен Роллан его горячий поклонник и пр.

А дядя только что написал из Оксфорда, что Боря писал ему о моих делах и что восторгается моим юмористическим освещением, называет меня «молодчиной». Я боюсь многого за Борю, в Боре, хотя сильно надеюсь на его зарубежных друзей...

20 декабря 1936

...Да, о моем стиле. Он уже из количества перешел в качество. Чего я ни наслушалась. Правда, и Щерба⁴⁵ книги не читал, не видел даже...

Когда он заговорил, что нам нужен «реалистический, простой, ясный стиль», я его перебила: он домогался, чтоб я писала иначе, — а я сказала, что Борис Пастернак мой двоюродный брат. Он так был потрясен, что сказать тебе не могу. «Думаете ли вы, что он может писать иным стилем?» Тут он сдался; но все повторял: «Как это интересно!» Ему все стало ясно... А я с тем большим смаком это сказала, что в руках держала газету с речью Ставского...

Ну, вот мне стало легче. Ко мне вернулся юмор. Я хочу написать Боре смешное письмо, о «зауми». Я вспоминаю, как он хохотал и подпрыгивал, когда я ему говорила, как о моей книге говорят Владимир Федорович⁴⁶ и К°. «Хотя, конечно, эта книга своеобразная, но...». Эта семантика «своеобразия» ему страшно понравилась.

Смешно лишать себя того воздуха, которым можно дышать у себя дома. Если б не столкновения и встречи, я еще могла бы быть счастлива...



Ольга Фрейденберг. Петербург. 1909 г. На обороте надпись для кузенов: "Бледнолицым - краснокожая".



Ольга Фрейденберг в форме сестры милосердия. Петербург. 1915-1916 гг.

ГЛАВА VI

Сталиным была запущена истребительная машина, известная под именем Ежовщины. Во главе политической полиции стоял Ежов, имевший стоячие гомеровские эпитеты «железный нарком» и «соратник Сталина». Начались ужасные политические процессы, аресты и ссылки. Неизгладимое впечатление произвел процесс Бухарина. Кровавыми руками палача Вышинского Сталин отрубал у советского народа голову, — его революционную интеллигенцию. По вечерам, после радиопередач о кровавом, грязно состряпанном процессе, запускалась пластинка с камаринской или гопаком. Куранты, которые били полночь, с тех пор травмировали мою душу своим медленным тюремным звоном. У нас не было радио, но оно кричало от соседей и ударяло в мой мозг, в мои кости. Особенно зловеще была полночь после страшных слов «приговор приведен в исполнение».

Зимой арестовали Мусю, жену Сашки¹. Она служила на военном заводе, где директор, многолетний член партии Богомолов сделал ее своим секретарем. Между ними возник роман. Муся не скрывала его от Сашки, который мирился с этим в силу «безусловности» своего характера. Он предоставил ей возможность любить Богомолова. Сам он страдал, но консервативность, широта привязанности, интимная гордость мешали ему оставить жену. Куда такой чудак мог деваться? Он глубоко таил свою драму от нас: жена запрещала ему общение с нами, и он бегал к маме, которую безгранично любил, тайно, словно к любовнице; он нежно любил и меня, но стеснялся нас и не смел признаться в своем несчастье. В нем уживалась, с полной бесцеремонностью, большая внутренняя гордость и чувство чести, — хоть он мог надуть кого угодно.

Так как он нигде не уживался и всюду заводил кляузы, высмеивая всех начальников, — его терпеть не могли главки, но обожали, поистине обожали рабочие и бедняки.

Арест жены потряс его. Он стал задумчив и кроток. Как я узнала позже, в застенке пользовались такой пыткой: нарочно, в присутствии жены, звонили мужу (или, как тогда, мне — его родным), чтобы он доставил в тюрьму раздушенное шелковое белье...

Сашка, не щадя себя в такой ужасный политический час, кинулся «выручать» Мусю. Он писал кляузы, бегал, звонил, припадал к стопам

своих былых начальников. Все было тщетно. Надвигался — и уже надвинулся — очередной сталинский самум.

Далеким кошмаром вспоминается это страшное лето в Царском, эта «дача». Сашка, вопреки своему нраву, и перевез нас на такси, и устроил, и приезжал, — чего нельзя было в нем и предположить. Чувствуя, что дни его сочтены, он стремился лишней раз взглянуть на мать. Я была глубоко с ним, исходила любовью и щемящей жалостью к нему. Зная, что он приедет, я ходила по зною и пыли множество верст, и покупала на рынке все, что он любил.

Приехали к нам из Москвы Шура с женой Ириной и сыном Федей. Они были архитекторами. Шурка (очень похожий лицом на дядю), строил тогда канал Москва-Волга², носил форму и должен был получить орден; он боялся и этого своего ордена и этой своей военно-чекистской формы. Сашка кинулся просить его, чтоб он, при вручении ему Калининым ордена, подал Калинин прошение о Мусе. Просьба была фантастична, абсолютно невыполнима. Получив отказ, Саша и мама возненавидели Шурку, и с тех пор мама отреклась от своего племянника и не принимала его семьи.

Пальцы Ежова щупали вокруг. Тягостное было лето! Политическая полиция начинала с «глубоко принципиальных» тем и кончала арестами. Прокатилась речь Ставского о поэтах. Борю травили за чудное стихотворенье:

Счастлив, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством с бедняком,
Всей кровию в народе³.

Эти строки были нарочито истолкованы как антинародные, и высокий пафос последних строк нарочито был извращен в обратную сторону. В сущности, это была придирка, верней, подлог: гнали поэта за его нежеланье подписаться под смертым приговором, его уговаривали, ему угрожали⁴.

Ходили страшные грозы.

В последний раз Сашка приехал, прошел на балкон и, свесив голову, спал. У него в городе такое чувство, говорил он, словно за ним гонятся. Он чувствовал себя затравленным; ему казалось, что за его спиной кто-то находится. «Но теперь мне легче», — говорил он. В ответ на письмо Сталину его посетил военный прокурор Петровский, который заверил его, что Мусю скоро выпустят, а он, Сашка, очень ему нравится, и он может спокойно продолжать свою службу.

Не узнать было прежнего Сашки в этом тихом, глубоко страдающем, умудренном человеке. Добравшись до нас и еще раз увидев мать,

он находил душевный покой. Есть он не мог, — что совсем было на него непохоже. Душевно утомленный, полный страшных предчувствий, преследуемый, он засыпал на нашем балконе, и этот образ доброго старика, трагически загнанного, невинного, усталого, со свесившейся головой — навсегда остался в нашей памяти. Мы не могли дотронуться до него без жгучей боли.

Он говорил, что у него готов яд, и он не дастся в руки палачей. Муся при аресте тоже отравилась, и потом долго лежала в тюремной больнице.

Желая ее спасти, Сашка вынужден был рассказать историю ее романа (Богомолов умер в тюрьме от разрыва сердца). Всем нам стало известно, что Муся говорила на следствии о любви к Богомолову, о тяготившем ее союзе с Сашей. Он очень страдал. «Мне бы только увидеть ее и задать бы ей один вопрос», — говаривал он, и я понимала, в чем этот вопрос заключался: правда ли, что она это говорила. Только через двенадцать лет я узнала, что все это была чистейшая ложь, распространявшаяся с целью душевной пытки.

«Жизнь ничего не стоит», — в страшной депрессии говорил Сашка, и как только оставался один, засыпал.

Пока мы были на даче, он принес на нашу городскую квартиру две фамильные картины, среди них свой детский портрет кисти дяди⁵. В Эрмитаж он пожертвовал всю коллекцию своих монет: он надеялся, что этой ценой купит спасение.

Мы решили возвращаться в город в начале августа. Каждый божий день Сашка навещал нашу городскую квартиру, которую сторожила работница моего факультета, сугубая «общественница», лихая баба Дурасиха. Сашка каждый день тянулся к родному крову.

Он должен был перевезти маму в город «Если все будет благополучно», — добавлял он теперь. Чтоб договориться, я приехала в город 2-го августа. Мы встретились на пороге кухни. Я была очень раздражена.

— Ну? Ты приедешь? Когда? В каком часу?

Он стал торговаться: «Если все будет благополучно... Если я смогу...»

— А я — могу? — вспыхнула я. — Со мной кто-нибудь считается? Я должна все, обязана...

Он был очень кроток, тих.

— Хорошо, послезавтра, в час дня.

— Помни!

Мы расстались. Он — за дверь, задумчиво. Я — озабоченная бытом, в сознании, что вся тяжесть жизни лежит на мне одной.

Он не приехал. Мы с вещами прождали весь день. Нашему возмущению не было границ. Мне пришлось с ужасными трудностями все снова взять на себя.

Но прошел день в негодовании, два, а на третий я призадумалась, на четвертый впала в тревогу, на пятый стала сходиться с ума. Страшные мысли ходили в голове. Самоубийство!

Оставалось одно: найти его адрес и съездить. Он скрывал, где живет, и к себе не допускал. Жил он у тещи и тещи.

В непередаваемом душевном ужасе я поехала, тайком от мамы, на Крестовский остров, к нему в дом. Я едва нашла эту старинную дачу, с калиткой, с колонками. Все лежало в зелени. Деревянный домик старинного фасона имел широкую внутреннюю лестницу с галереей, садик, газоны, огородик.

В душевном беспомоществе я открывала калитку и всходила по лестнице. Нет, говорила я себе, слишком безмятежно. Тут не могло произойти ничего ужасного.

Никого не оказалось дома. Я присела на пыльную деревянную ступеньку дачи и сторбившись, принялась ждать. Тоска терзала мое сердце. Как ужасно, что я приехала сюда за страшной вестью, и еще должна растягивать ожиданье. Мысль о первом миге, о вопросе и ответе, точила меня. Подавленная, убитая глубоким горем, бессильная, я сидела в молчаливом саду, склонившись чуть не до земли. Вдруг пестрая курочка, глотая соринки, наткнулась на меня. Она в испуге остановилась. Повернув голову вбок, с еще приподнятой ножкой, она косо вперила в меня круглый перепуганный глаз. Я с горькой улыбкой ответила ей печальным взглядом. Боже мой, подумала я, сколько градаций и обманов есть в природе! Уже нельзя было существу быть более дрожащим от страха и бессилия, — а еще меня боится какое-то другое живое существо! Ах ты, дура! Да насколько ты сильнее и счастливее меня!

Но вот Валя, младшая сестра Муси. Дрожа с ног до головы, я едва смею взглянуть на нее. Она целует меня. «Саша... жив?» — спрашиваю я, задыхаясь. «Жив».

Она уединяется со мной и рассказывает, что у него был обыск, при котором забрали его пишущую машинку и бинокль, как «вещественные доказательства» его шпионской деятельности. 3-го августа, накануне нашего переезда с дачи, его увезли в чем есть на черном вороне (так назывались в народе закрытые тюремные машины). Узнав, что брат жив, я безумно обрадовалась, и все остальное уже показалось мне второстепенным. Я влетела домой и крикнула маме: «Какое счастье! Сашка жив! Он арестован!»

С этого дня я вся была поглощена одним Сашкой. Все мое дыханье, вся моя жизнь были отданы ему одному. Ничто меня не интересовало, не существовало для меня. Я изнывала от тоски, если не видела Шмидтов, родителей Муси: мать, Ольга Ивановна, имела с дочерью свидания, носила передачи, знала ходы и выходы. Это было тяжкое и сложное знанье. Чтоб дойти до стола справок, нужно было двое-трое суток в холодную осень простоять на улице в очереди: столько было политических арестов! Ольга Ивановна то к нам приходила, то я к ней ездила. Передачи к нему не принимали, свиданий не давали. Но в конце

каждого месяца выдавали о нем справку, и тогда можно было принести для него деньги. Эти концы месяцев составляли цель моей жизни. Я ждала их в безумном напряжении, и мысль, что я могу хоть чем-нибудь послать весть о нас и сострадание, была для меня дороже, чем желанье поддержать его физически. Ольге Ивановне сказал знакомый чекист, что видел, как его вели на допрос с руками за спиной, но без повязки на глазах (заключенных нарочно водили с завязанными глазами и руками за спиной, чтобы увеличивать их нервозность, и обходили так всякие этажи и коридоры, как бы по лабиринтам, пытки ради); шел Сашка бодро. Несомненно, он верил в свою невиновность и мечтал о разговоре со следователем.

Подходила суровая зима. Я ждала, что Сашку вот-вот выпустят. Муся все еще сидела в женской тюрьме, и мать виделась с ней из-за решетки.

Теперь я была сильно воодушевлена: я приготовила Сашке теплые вещи и последнюю передачу, которую позволяли, вместе со свиданием или без него, ссылаемым. Я бегала по лавкам, искала, и ничего найти нельзя было, и я радовалась, когда что-нибудь изобретала и находила. Чемодан, и в нем, для доброй приметы, хлеб и теплые вещи, и даже шарфик, и список консервной еды, и карандаш с бумагой... Эти приготовления явились отдушиной и счастьем.

Мама сказала мне, обливаясь слезами, — она была тронута и благодарна:

— Не может Бог не внять тебе, раз ты с такой любовью делаешь это.. Если б Саша видел, с какой любовью!

С особым напряжением я ждала заветного конца месяца в январе 1938 г. 30-го января Ольга Ивановна позвонила мне, что я ей нужна с глазу на глаз, без мамы. Охваченная страшным ужасом, я стала метаться: было раннее утро, и выбежать на улицу без предлога оказалось очень трудно. Я попросила зайти к нам. Впрочем, не помню, как и где она сообщила мне, что 9 января Сашу отправили этапом на пять лет в Читу, «по подозрению в шпионаже». От мамы мы надолго скрыли.

Оставшись одна, я бросилась на диван. Бессилие, насилие, жестокость, но разве расскажешь? Этого не могло быть — и было! Я рыдала и вопила, вздымала руки и проклинала природу, и не слезы — сердце текло из глаз, истекала та доля веры, без которой нет жизни. При мысли, что он в летнем брошен прямо из пяти месяцев заточения в сибирский мороз, я с ума сходила, буквально приходила в иступление.

Жизнь совершенно умерла для меня. Я представляла себе мое бедное доброе животное, гордого и несуразного Сашку, среди вшивых бандитов, на полу, на нарах, избиваемого, с руками за спиной, раздетого на морозе... Боже мой. Боже мой! Без права переписки! Какой дья-

вол, кроме Сталина, мог придумать для человека такую пытку? Слова «Байкал, Чита» внушали мне ужас.

В этом я жила. Надежды не было. Всем была известна сталинская лагерная каторга, так называемое «строительство» — болото по пояс, избивание до полусмерти, с переломами черепа и костей, замерзание.

Некоторое время я еще чувствовала его страдальческие взоры к нам, а в один из тех дней властно ощутила какой-то предел его мук — и конец.

Б. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1 ноября 1938

Дорогая Оля,

Ирина рассказала мне о своем летнем посещении вас. Тогда узнал я горькую и потрясающую новость о Саше. В этих случаях человеческое участие дальше вытаращенных глаз и вздохов не идет. За последние два года несчастья этого порядка так обставлены, что просьбы со стороны ни к чему не ведут и только усугубляют дело.

Но она рассказала мне еще и о маминых слезах, и о приеме, и о тяготеющей над нами анафеме. Что сказать тут?

Вот мы прожили эти десятилетия, разделенные пространством и соединенные общей беспросветностью нашей судьбы, практически друг другу бесполезные, в молчаньи и неизвестности, растягивавшихся на целые годы. Вносит ли проклятье, постигшее нас, какие-нибудь перемены в этот распорядок? Реально как будто бы нет, если разлука и неведение друг о друге не были лишениями до сих пор, отчего бы стать им всем этим после нашего осуждения? И однако сознание, что вы отныне совершенно не доступны нам, а мы перестали для вас существовать — немыслимо и нестерпимо. Да и насколько это заслужено?

Могли ли мы, я и ты, в чем-нибудь так повлиять на судьбу другого, чтобы расколдовать ее и восстановить в ее былой и прирожденной плодотворности взамен тупого обречения, в которое обе вместе со всеми все больше и больше попадали. В чьих вообще это было силах? Это и, вообще, что-нибудь в эту завидную нашу бытность на свете. Единственное, что можно было для душевного облегчения, это жить вместе. И как я всегда этого хотел, как всегда вас звал к себе.

Ах, да разве не из-за этого сходил я с ума в моменты, казалось бы более подходящие для радости и удовлетворенья. Но

всякое вынужденное приближение к фантазмагории, насколько еще далекое (!), кончалось для меня общим припадком.

Оля, напиши мне о себе и маме. Как номер твоего телефона? Можно ли будет позвонить вам зимой, когда я буду в Москве? О себе пока сообщать бессмысленно, да и нечего.

Главное: мне страшно бы хотелось повидать родителей. Невозможность этого отравляет мне существование.

Обними маму, когда она наконец простит меня, и сама позволит обнять себя.

Твой Боря

Наш адрес:

Москва 17, Лаврушинский пер. д. 17/19 кв. 72.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1 мая 1939

Дорогая Оля!

Ну, слава богу! Надо ли говорить, какой радостной неожиданностью было твое письмо! Подробностей о тети Асиной болезни я не знал⁶. Но ведь это совершенно чудесно! Не знаю, правильно ли, но строки о Саше понял я так, что от него был устный привет через соседа. Я думаю, твое письмо, даже и в изображении пережитых драм, не дышало бы такой силой, если бы у Вас не было надежды на скорое разрешение и этого узла.

Спасибо тебе и тете за добрые чувства. Зимой мне дважды представлялась возможность съездить в Ленинград, и я ей не пользовался из страха бесцельности.

Очень трудно писать. Мне о многом надо было бы расспросить тебя. Как страшно все, что ты рассказываешь!⁷ Разумеется, я не знал половины. Но жил вместе с другими эти два года и я, и многое близко меня коснулось, как — нельзя догадаться, ибо это тайны.

И в эти же два страшных года родился Леничка и вышла замуж Женя⁸, две больших радости, чем-то связанных и одновременных, полных самой невероятной символики, и валились еще какие-то благодеяния.

Ты, по-прежнему, замечательно пишешь, — я не смогу так же ответить тебе. Но у меня совершенно такое же настроение: ощущение завершившегося периода (целой, может быть, жиз-

ни), очень освобождающее и здоровое, радостное и в том случае, если времени осталось мало⁹.

Надо бы обязательно повидаться. Поговорить бы нашлось о чем. Ах, как бы чудно было, если бы ты приехала! Нет ли у тебя все-таки, часом, такого плана? А то, что скажешь в письме? Видишь, только попробовал и пошел вымарывать.

Главное, я Вас обеих крепко, крепко целую, и летом, если ты этого не ускоришь, увижу.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 14 февраля 1940

Дорогая Оля!

Я тебе задолжал письмо с того самого дня, как ты меня пожалела в моем горе¹⁰. Спасибо тебе.

Живы ли вы обе и что с вами? Я знаю, что у вас грабежи и потемки, и беспокоюсь о вас.

Когда я весной надеялся увидеться, повод был следующий: я должен был перевести Гамлета для Александринки, ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе¹¹. Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его Маскарад, и все откладывал.

Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали. Все это неописуемо, все это близко коснулось меня. Последние месяцы меня преследовал страх, как бы какая-нибудь случайность не помешала мне довести перевод до конца¹². Под влиянием этого страха, я не отвечал папе и оставил без ответа твое письмо. Папа с девочками и их семьями в Оксфорде, — ты знаешь.

На днях я сдал перевод. Ставить его на правах первой постановки будут в Художественном театре. Я до последнего дня не верил, что театру это разрешат. Ставить будет Немирович-Данченко, 84-летний *viveur** в гетрах со стриженной бородой, без единой морщинки. Перевод не заслуга, даже если он хорош. «*C'est pas grand chose*»**.

Но каким счастьем и спасеньем была работа над ним! Впрочем, что убеждать тебя: это ты писала об «Укрощеньи ...». Вышнее, ни с чем не сравнимое наслажденье читать вслух без ку-

* Жизнелюб (фр.).

** Не велико дело (фр.).

пюр хотя бы половину. Три часа чувствуешь себя в высшем смысле человеком: чем-то небессловесным, независимым, горячим, три часа находишься в сферах, знакомых по рождению и первой половине жизни, а потом в изнеможеньи от потраченной энергии падаешь неведомо куда, «возвращаешься к действительности».

Однако что расписывать? Напиши, пожалуйста, мне, как ты и тетя. Мыслимо ли *технически* теперь приехать к вам на сутки, на двое, только к вам и только повидаться. Если это возможно, я приеду, когда будут деньги.

Напиши мне, пожалуйста, но без принужденья, когда у тебя будет время. Обязательно напиши, что слышно о Саше; об этом можно писать.

Обнимаю вас.

Ваш Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [6 мая 1940]

Дорогая Оля!

Я было бросил уже думать о приезде к вам, о чем думал написать тебе, а теперь это становится по-другому вероятным. Очень может быть, что во второй половине мая мы увидимся. В этом случае, может быть, поездка обойдется без технических стеснений, хотя, конечно, приеду я только к вам и для свидания с вами. Спасибо за письмо, прости, что не отвечал, обнимаю тебя и маму.

Твой Б.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [14 мая 1940]

Дорогая Оля!

Наверное, я неловко выразился, подав повод к превратным толкованиям. Никаких неудобств я из твоих первоначальных слов не вычитал, с самого начала знал, что наша встреча будет нам обоюдной радостью, и, наверное, приеду в самом конце мая. Целую тебя и маму.

Кланяйся, если у них есть телефон, семьям Машуры и тети Клары.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 21 мая 1940

Дорогая Оля!

Это просто фатально. Представь, дней пять тому назад, я растянул или слегка надорвал себе мышцу на спине, и это до сих пор не проходит. Я думал почитать у вас публично Гамлета, чтобы повидать тебя и тетю и доставить себе и вам удовольствие, и вот поди же, ты! До нынешнего дня я не отменял предполагавшегося чтения (оно было назначено на 30-е), так велика была моя надежда на встречу.

Но сроки приближаются, мне не становится лучше, и скрепя сердце я сейчас протелеграфирую об отмене вечера. Я терплю невыносимые муки, ни встать, ни сесть. Зина с детьми на даче, из-за здешних чтений, театра, предполагаемой поездки, я остался в городе, и вдруг такое невезенье.

Крепко целую тебя и тетю. Если бы я не верил, что это переносится на осень, я бы обливал письмо слезами.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [28 мая 1940]

Дорогая Оля, пишу тебе из больницы, которою кончились все мои предполагаемые путешествия. У меня очень сильный радикулит. Говорят, это долгая история, и пролежать придется немало. Как все это фатально! И в высшей степени некстати, — у меня такие были удачи последнее время и так везло!

Целую тебя и маму крепко крепко.

Неудобно писать.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 18 июня 1940

Дорогая Оля!

Я попал в больницу и только сейчас прочел твою открытку. Ты была права в предсказании: это были именно мучительные пустяки, немного впрочем затянувшиеся и обострившиеся, потому что я на них не сразу обратил внимание, а, именно, поясничный радикулит, в котором я пролежал около месяца. Представь, перед заболеванием имел открытку от папы, очень спокойную, вплоть до разговоров о Гамлете и т.п. А недавно один художник с

чьих-то слов (сведения тоже из чьей-то переписки) передавал, будто папа еще работает и в Оксфорде написал портрет какой-то дамы.

Крепко целую тебя и маму.

Твой Б.

14 июня, день рождения Тамары Николаевны Петуховой¹³. Она мучит меня, чтоб непременно вечером к ней. День пасмурный, тяжелый. Душе тяжело. Ужасающе не хочется к Тамаре. Ну, просто не могу. Мама начинает упрашивать, чтоб не ехала. Нет, думаю, так докачусь до полной апатии, нужно преодолеть. Насильно, с тоской на сердце, ухожу.

По дороге покупаю у Норда конфеты и стою на Невском у трамвайной остановки. Подходит трамвай. Один советский гражданин, желая влезть, со всего размаха бросает меня головой о мостовую, Я падаю плашмя, лбом о камни. Гражданин, слава богу, в трамвай попадает. Остановка пустеет; кто-то с ужасом шепчется надо мной, но никто не помогает встать.

Первое, что я сознаю, это ощущение сознания. Потом – есть ли у меня глаза. Есть. Встаю, обливаясь кровью. На земле вижу свою кровь. Боюсь тронуть, есть ли нос, щеки. Кажется, есть. Теперь сверлит одна мысль: мама! Я должна, во что бы то ни стало, вернуться домой, но не идти в больницу. Иду, обливаясь кровью; платок носовой сам капает на пальто. Поднимаюсь. Вот наша дверь. Бросаюсь в ванную, оттуда говорю маме, что упала. Только после этого вхожу, подхожу к зеркалу. О, ужас! Я вижу над переносицей огромную дыру и, в ней – свою лобную кость.

Тогда я ложусь, теряя силы, и еле могу вызвать врача и Лившиц. Врач велит немедленно идти в больницу. Иду пешком с Лившиц. Мне делают противостолбнячную прививку. На операционном столе накладывают швы.

В лице этого хирурга, Тюлькина, я нашла талантливого врача и преданного друга.

Я лежала долго. У меня было сотрясение мозга, и меня лечили и терапевт, и психоневролог, и этот хирург. Во время болезни со мной случился припадок страшной силы, сопровождавшийся чувством ужаса: спазм сосудов сердца.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 29 июня 1940

Дорогая Оля!

Ошеломлен твоей открыткой. Как счастливо ты, сравнительно, отделалась! А может быть, и рана зарастет совсем гладко? Ай-ай-ай, ты подумай! Это ты, наверное, соскочила в обрат-

ном направлении (постоянная Зинина привычка). Она сердечно тебе и маме кланяется.

Опять от папы из Оксфорда две открытки, вторая от 30 мая, это после Бельгии и Голландии¹⁴ — спокойные, как ни в чем не бывало.

Достань журнал «Молодая гвардия» № 5-6, там мой Гамлет. Он вам не понравится непривычною прозаичностью, обыкновенностью и т.д.¹⁵

Все же полюбопытствуй.

Твой Б.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 15 ноября 1940

Дорогая Оля!

Твое молчанье все больше тревожит меня. Что с тобою, все ли у тебя благополучно? Я боюсь задавать вопросы тебе, мне страшно их договаривать из суеверья. Напиши мне пару слов, успокой меня. Не в обиде ли ты на меня? Кажется, меня вырутали у вас в Ленинграде. Может быть, это так уронило меня в твоих глазах, что ты больше не желаешь знать меня? Или, может быть, действительно ты не понимаешь моей шутливости в отношении себя и тебя, и это тебя задевает?

Если бы ты только знала, как мне тебя недостает! Каким счастьем было бы, если бы ты могла немного погостить у меня. Как твое здоровье после весеннего падения? Неужели нет ничего нового относительно Саши? Я так встревожен твоей безответностью, что начинаю сомневаться в твоей собственной безопасности и собираюсь запросить Ленинградский университет, существуешь ли ты в природе.

Ах, до чего часто нужно тебя! Жизнь уходит, а то и ушла уже вся, но как ты писала в прошлом году, живешь разрозненными взрывами какой-то «седьмой молодости» (твое выражение). Их много было этим летом у меня. После долгого периода сплошных переводов, я стал набрасывать что-то свое.

Однако, главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Ле-

ничкой зиму на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе.

Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепление. Сказочность этого не в одной созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Заезаешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живое и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов.

А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал, и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду. Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как еще рано сдаваться, как хочется жить.

Представь, Дудлика надо определять в университет (естественный или физико-математический), чтобы предупредить солдатчину, а то он все забудет, — как время бежит, — а Леничка, совершенный дед, умный, строгий, восприимчивый (2 года 10 месяцев) так запутался в семейных осложнениях, что не считает Зину своей матерью и удивляется, зачем Женичке столько пап (он считает, что папа вещь производная от дома, и в каждом доме есть свой папа).

Но самое удивительное было с вестями от наших. Весной и в начале лета, когда я лежал в больнице, я мысленно распростился со всем, что любил и что было достойного любви в преданиях и чаяниях Западной Европы, оплакал это и похоронил, в том числе, значит, и своих. Особенно когда ко мне стало возвращаться здоровье и когда впервые, серьезно столкнувшись с медициной, я увидел, как дано мне еще жить, и как много у меня еще сил, которых я не знал. Я думал, на что это мне и куда все это будет приложить, когда тем временем до такой неузнаваемости изгадили планету? И вдруг, о чудо, бог не выдал, свинья не съела! Стало возвращаться и *это*, мировое, здоровое, воскресло и вызывает тайное и всеобщее умиление, скрытное и суеверное, как

запретная и самая сильная любовь, — молодцы англичане, что ты скажешь!¹⁶

Но ведь еще рано, что еще будет, однако, вместе с тем и не рано, потому что обо всех дорогих я знаю, что они есть на свете, и это солнцем встает каждый день над этой зимней жизнью в лесу. Очень странно, что на этом обрываю письмо, писать можно было бы без конца, но напиши со своей стороны и ты, как и что, прошу тебя.

P.S. Напиши мне, пожалуйста, обо всех, о тете, о Клариной и Машуриной семье (кланяйся им, пожалуйста,), о себе и о своих работах. Тебе, должно быть, очень трудно сейчас, не правда ли, — сужу по нашим затруднениям. А Гамлет начнет окупаться только года через полтора после постановки¹⁷.

Вышел сборник моих переводов, выбор случайный, больше половины — вещи безразличные для меня, но среди них, между прочим, и очень *важный* для меня Верлен, послать ли тебе?

Напиши хоть открытку, что ты и тетя живы!

Твой Б.

Надпись на книге: Борис Пастернак. «Избранные переводы»
Советский писатель, Москва.

Дорогой сестре Оле, с обычным у близких
чувством нежности, вины и недоуменья
перед быстротою жизни.

От Бори
15.11.1940
Переделкино

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 27 декабря 1940

Дорогая моя Олюшка!

Так как по странному совпаденью обстоятельств свои письма пишешь ты сама, то, наверное, отчасти знаешь их достоинства, и не нуждаешься в их восхищенном описании. Да, но какое наслаждение читать их и получать! Какая бездна остроумия и смысла во всей части о Гомере и газете и Лариссе! Как удивительны слова о существе переводов и как поразительно они выражают то самое, что я откинул в своем письме из опасенья, как бы эта тема не за-

вела меня в бесконечность и не потащила за собою всего письма. А у тебя — в одной строчке!

Без конца благодарю тебя за скорый и такой драгоценный ответ, радостный, во-первых, своей талантливостью, а во-вторых, и утешительностью главных сведений. Опять была телеграмма из Оксфорда о здоровье и благополучии.

Но сейчас я огорчу тебя: умерла в Одессе Соня Геникес¹⁸. Она жила очень трудно и бедно в последнее время, но из гордости об этом не распространялась, и до конца дней сохранила остроумие и изящество образованной женщины, выросшей в этом сознании, и с ним свыкшейся. Из ее трех дочерей в Одессе осталась Тася, остальные, кто где, но все — существа довольно странные, полуграмотные и дикие: вероятно из эгоизма ими мало занимались, а потом этот эгоизм, единственное, что им сообщилось от родителей, у них удесят�ерился, поддержанный чувством дочерней мстительности.

Не могла ли бы ты узнать мне, как здоровье Ахматовой? Я знаю, что она очень нездорова, но хотел бы знать это все поточнее. Писать ей дело безнадежное, да к тому же я и не знаю, в состоянии ли она теперь отвечать. Справиться можешь, как тебе будет удобнее, непосредственно ли по телефону, не скрывая, кто ты и т.д., или же через знакомых и университет.

У меня какое-то предчувствие, что Саша скоро объявится¹⁹. С этой верой и кончаю, вкладывая ее выражение в свои новогодние пожеланья тебе и маме.

Крепко вас обеих обнимаю.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 4 февраля 1941

Дорогая Оля!

Эти строки застанут тебя за повтореньем того оледененья, которое ты так замечательно описала, или вскоре после него. Напрасно ты думаешь, что я это говорю, чтобы сказать тебе приятное. Ты сама знаешь цену своим талантам и характеру, что же удивительного, что я так ценю каждый их знак.

Итак, спасибо за письмо, бывшее для меня полной неожиданностью. Мне казалось, что написать тебе, поздравить тебя с мамой с Новым годом и попросить насчет Ахматовой было у

меня в идее и осталось неисполненным намереньем. Я не помню своего письма, и, несмотря на твои слова о нем, у меня ощущение, будто ты угадала мои мысли и на них отвечаешь.

Не представляю себе, как вы живете, так все кругом затруднилось. Напиши мне искренне, как я этого заслужил, не нужно ли тебе денег.

Ты говоришь, что я молодец, а между тем и я стал приходить в отчаянье. Как ты знаешь, атмосфера опять сгустилась. Благодетелю²⁰ нашему кажется, что до сих пор были слишком сантиментальны, и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, — Грозный, опричнина, жестокость. На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии. Не шутя.

Меня последнее, время преследуют неудачи, и если бы не остаток какого-то уваженья в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы голодом.

Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой. Куда там! Я насилу добился, чтобы несамостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде Ромео и Джульетты, а то мне предлагали переводить второстепенных драматургов из нацреспублик.

Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. И все это останется невыраженным. Прости, что некоторыми местами письма может быть огорчаю тебя, больше никогда не буду.

Зина благодарит за память и очень кланяется тебе и маме. Леню на днях возили в город и повели в парикмахерскую. Он спросил, что тут будут покупать, и, когда узнал о назначении заведенья, поднял шум и потребовал, чтобы его увели. Тот же интерес к предмету торговли проявил он у фотографа, и кончил тем же скандалом и требованьем. Я попрошу, чтобы его снял кто-нибудь из знакомых с аппаратом и пришлю карточку, а пока нечего посылать. Он растет дикарем, хотя и очень хитрым, трусливым и нервным.

Ты получишь журнал с Гамлетом, если Зина исполнила мою просьбу и была на почте. Если у тебя будет время прочесть его, сделай это, не осложняя этого мыслью, всегда неприятной, что потом тебе придется писать о нем. Мне страшно бы хотелось, чтобы он понравился тебе и маме, и хотя я знаю, чем он вам не

понравится, и хотя именно эти резкости или странности сглажены в редакции, предназначенной для Гослитиздатовского издания (но не для МХАТа!), и я мог бы дождаться его выхода²¹, я послал тебе именно этот первоначально вылившийся и, по мнению некоторых, *рискованный* (я этого, конечно, не сознаю, это естественно) и даже неудачный вариант. Кое-что из доделанного его, конечно, улучшает, меня к концу торопили.

Но не шучу: если в виде одобренья или порицанья у тебя будет о нем больше двух строчек, это огорчит меня; достаточно и той жертвы, которую тебе придется принести в смысле сил и времени, на его прочтенье.

Крепко тебя и маму целую. Сделай мне удовольствие, ответь по поводу одной из низких истин, относительно денег. Однажды ты меня на этот счет успокоила. Так ли все это еще и теперь?

Пишу тебе в самый мороз, весь день топлю печи и сжигаю все, что наработаю.

Твой Боря

Я забыл поблагодарить тебя за Ахматову, большое спасибо.

Б. ПАСТЕРНАК – О. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва, 11 февраля 1941

Дорогая Оля!

Чудак Шура, что не сказал или не передал мне о своей предстоящей поездке в Ленинград. И каким-то образом он вас еще не видел! Он мне объяснял это сегодня по телефону (я сегодня был в Москве и звонил ему), но я ничего не понял. Жизнь все-таки так странна, что при наилучших братских чувствах друг к другу, мы, бывает, не видимся годами.

Итак, грипп возобновился у тебя? Погода резко переменилась, стало тепло и, вероятно, больше таких морозов не будет. Это я заключаю из того, что ветер с юго-запада и еще, кроме того, из следующего обстоятельства.

Сегодня я ездил в город, а тем временем у меня были гости, привезшие в подарок мне барометр и уличный термометр.²²

Вид у этих предметов был такой, как будто они *больше не понадобятся*. Итак, Шура был у вас в один из описанных тобою ледниковых периодов? Отчего ты об этом ничего не написала! Но я наверное все путаю от старости, или проспал часть февраля и у меня все перемешалось.

Не удивляйся короткому и бессодержательному письму. Мне не хотелось бы, чтобы неожиданность и неизвестность Шуриной поездки представила в каком-нибудь неестественном свете нашу переписку или внесла между нами какую-нибудь путаницу. Это одно.

Другое, это глубокое огорченье Шуры по поводу его собственных с вами недоразумений. Но об этом не распространяюсь, потому что торопился и говорил с ним недолго и... ничего не знаю.

Твой Б.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 марта 1941

Вот Ленечка, мое утешенье. — Я тебя не поблагодарил еще за письмо. —

Итак, Гамлет тебе не понравился, несмотря на глубокомыслие твоих оговорок. Но именно за их ласковую шутовскую тебе спасибо, за Боречку, которым ты меня назвала.

Недавно я разбирал сундук с папиными набросками, самыми сырыми и черновыми, с его рабочей макулатурой. Помимо радости и гордости, которые всегда выносишь из этих пересмотров, действие этого зрелища уничтожающе. Нельзя составить понятия, не измерив этого в ощущеньи, разницы несхоластического времени, когда естественно развивавшаяся деятельность человека наполняла жизнь, как растительный мир — пространство, когда все передвигались и каждый существовал для того, чтоб отличаться от другого. Оля, Оля, мое существование жалко и позорно. Часть этой досады тебе знакома по твоему собственному опыту.

Но ты наталкиваешься на препятствия, тебе мешают интриги, у меня же нет этого оправданья. Мне кажется, что у меня давным-давно сами собой опустились руки. Иногда под влияньем этой горечи срываешься.

Прости за неожиданную остановку. Дальше следовали совершенно ненужные нескромности.

Лучше вернемся к цели письма. Я хотел сообщить тебе, что Лида родила девочку. У ней два мальчика, это третий ребенок. Что же касается Лени, то, конечно, он вылитая Зина, но не кажется ли тебе, что в то же время он напоминает Жоню?

Крепко, крепко целую тебя и тетю Асю. Как ее здоровье?

Еще раз горячо тебя благодарю за заботливость в отношении Гамлета. Меня страшно интересует, чем кончится твоя борьба с темными силами в университете.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва, 8 апреля 1941

Дорогая Оля!

Сердечное, сердечное тебе спасибо за твое золотое письмо. Тебя справедливо удивляет, наверное, такое промедление ответом. Между прочим, — как я пишу маме, — я ждал этой эстонской бумаги, которую хотел «почать» письмом к тебе. Кстати у вас она должна быть в Ленинграде, и если ее не продают при университете, то, может быть, она имеется у писателей. Хочешь, я напишу в ваш литфонд, чтобы тебе отпустили пачку?

Благодарю за чувства, за слова о Лене, за поддержку, за доброту. Твое письмо пришло в воскресенье 30-го, ты спрашиваешь о Дудлике. Он у меня гостил как раз в те дни, а в воскресенье на даче была и Женя. В прошлом письме я стал было тебе писать про разные интимности и бросил. Не ставь этого ни в какую связь с упоминанием о Жене и Женечке, но в общем клубке недовольств, из которых главное — недовольство зря потраченной жизнью и собою, было у меня и раздражение того свойства, что мне опять захотелось сломать и по-иному сложить свою жизнь.

Полтора месяца тому назад я поссорился и расстался с Зиной. Я немного помучился, а потом вновь поражен был шумом и оглушительностью свободы, ее живостью, движением, пестротой. Этот мир рядом. Куда же он проваливается, когда мы не одни? Я преобразился, снова поверил в будущее. Меня окружили товарищи. Стали происходить неожиданности. Так бы и осталось, если бы не удары, посыпавшиеся на Зину.

Во-первых, я не думал, что она примет это все так трагически. Писать и говорить об этом вообще нельзя и нескромно. Но когда к ее горестям прибавилась болезнь старшего мальчика²³, которого на днях повезут в Евпаторию, выдерживать свое решение стало, может быть на время, невозможно. Я тут помогу ей, а там будет видно. Чего-то забытого и вновь недавно испытанного я назад не уступлю. Я пишу тебе сбивчиво, с пропусками и помарками, и бесчеловечно. Она чудная, работающая, человек со страшно трудной жизнью и такая же рева, как Леничка. Но поговорим о другом.

При мысли о Греции у меня сердце сжимается. Мне кажется обстановка опять, как прошлым летом, когда неслись лавиной и брали страну за страной²⁴. Дай Бог, чтоб я ошибся.

С восхищением читал твой рассказ об университетских «Ра» (доктора, профессора). Чем же в итоге все кончится, будут ли они тебя печатать? Ах, как везде все повторяется! Но твоё письмо так содержательно, что на него нет возможности ответить сразу.

Разумеется, пошли телеграмму нашим, можешь себе представить, как они будут рады. Телеграмма из 25 слов стоит 12 рублей и озаглавливается ELT (вероятно: Europe Letter Telegram). Телеграфируй по-английски. Адрес: Pasternak 20 Park Town, Oxford. Если по каким-нибудь внутренним соображениям раздумываешь, сообщи мне, что хочешь им сказать, и я введу твои слова каким-нибудь Olga reports... * в свою телеграмму.

Итак, на днях, может быть, повезу одного из наших мальчиков в Евпаторию. Спасибо тебе еще раз. Ты не можешь себе представить, как ценю я твою поддержку, и — дай мне только уладить годами скопившиеся упущенья, ты увидишь, я не обману тебя. Зина вам кланяется и, действительно, когда вернется из Крыма, напишет маме.

Крепко тебя целую.

Твой Боря

Прости за эти пустые записки, столь оскорбительно торопливые в ответ на твоё глубокое, значительное письмо, но это мое проклятье, все второпях и на ходу.

Дорогая тетя Ася!

Какой радостью было для меня и Зины опять увидеть строки, написанные Вашей рукой! Горячо благодарю Вас за сказанное. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы повидали Леню. Он все же очень и в меня. Он страшно серьезный, мрачный, рассудительный и упрямый; чувствительный, обидчивый и пугливый; может, например, перепугаться моли или куска материи, или клочка мочалы в матрасе и будет плохо спать несколько ночей; видит иногда ужасные кошмары; очень наблюдателен и умен. Фантазиями и страхами он в Жоничку и в свою бабушку с моей стороны.

* Ольга передаст (англ.).

У Женички, при всей тонкости, не было таких нервов. Вы о нем спрашиваете. Он весною кончает среднюю школу и, верно, попадет в солдаты. Я хотел добиться, чтобы он побывал до этого в университете, как бывало в наше время, и сначала хлопоты, как казалось, могли увенчаться успехом. Но для этого пришлось бы идти по очень нескромной линии и выдавать его за вундеркинда, чего на самом деле нет и мне не хотелось. И у Жени осталось такое чувство, точно я недостаточно по отношению к нему заботлив.

Пока я жил в городе, т.е. в прошлом году, я туда водил иногда Леничку. Они его очень любят. Но скоро год, как они его не видали. Зина обязательно напишет Вам, тетя, и уже написала бы, но ее надо простить и она достойна сожаленья. К утомленью от зимы у нее прибавилось несколько огорчений, из которых главное — болезнь старшего мальчика. У него костный туберкулез левой ступни, он лежит в гипсовой повязке, и на днях она повезет его в Евпаторию. Если мне будет кого оставить на даче, я для помощи поеду тоже.

Тетя, я обращаюсь к Вам и себе не верю. Разумеется, если бы я по всей серьезности последовал своему чувству, я должен был бы написать Вам нечто бесконечное. Если бы 25 лет тому назад нам сказали, что будет с каждым из нас, мы бы сочли это сказками. И оттого, после каждого письма Вам, Оле или самым близким людям остается ощущение промаха и оплошности, точно не сделал чего-то должного или обещанного. Олино письмо так осчастливило меня, доставило такую радость, что я сейчас же ответил бы ей и только ждал этой эстонской бумаги, чтобы обновить ее письмом к Вам.

Крепко целую Вас.

Ваш Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 8 мая 1941

Дорогая Оля!

Сегодня я был в городе и узнал от Женички, что Женя в Ленинграде. Наверное, она была у вас, и, значит, по ее возвращении будут новые причины благодарить тебя и писать вам особо. Спешу написать тебе до наступленья этих поводов, в силу более ранних побуждений.

Последние две недели я все боялся, что ты успеешь ответить мне до моего нового письма. Мне хотелось предупредить тебя, а

я все время очень занят. Ты должна знать, что я себя чувствую твоим неоплатным должником и чем-то вроде вампира, насыщающегося лучшими соками твоей сердечности и свыкшегося с периодичностью этого дарового питания. Береги свои силы, у тебя свой путь, они нужны тебе. Да и просто говоря, ты человек занятой, откритки о здоровье, вот и все, на что я притязаю.

Зимняя переписка с тобою (т.е. твои письма, я не так сказал) сыграла серьезнейшую роль в моих новейших переменах. Речь не о семейных, я напрасно о них заговаривал в прошлом письме. Но спустя почти 15 лет или более того, я опять себя чувствую как когда-то, у меня опять закипает каждодневная работа во всей былой необязательности, когда она только и естественна, без ощущения наведенности в фокус «всей страны» и пр. и пр. Я уже что-то строю, а буду и больше, отчего и такая торопливость тона²⁵.

Итак, мне не только хотелось забежать вперед и попросить тебя, чтобы ты не тратилась на меня так безмерно душой и воображеньем, потому что твоя доброта уничтожает меня, — и чем я на нее отвечу? Но это идет и дальше. Например. Как я ни люблю Леничку, но ваше отношенье к нему тоже превосходит все ожидания. Надо умерить и эту волну. Приложенную карточку я посылаю именно потому, что на ней он хуже. Его обкарнали наголо, он особенно на ней смущен и растерян и больше, чем на первой, похож на меня.

Наконец, главное, это просьба моя и Зины. Приезжай с мамой летом к нам на дачу, устрой это, подумай, как это будет чудесно. Может быть в середине лета приедет и будет с Вами наша лучшая приятельница Нина Табидзе, муж которой в лучшем случае четвертый год в неизвестности²⁶, да Леничка, да мы. Правда, подумай.

Не судите Зины. На днях она переедет сюда и напишет, а пока в тоске и хлопотах в городе с другим сыном, целыми днями шьет на нас и плачет, — старший мальчик за месяц потерял пуд в весе. Температура с незапамятного времени все высокая, одним туберкулезом сустава не объяснимая.

Итак, спасибо, спасибо, спасибо. Крепко обнимаю тебя и маму. Тетя Ася права, ругая мой почерк. Но виновата не рука, карандашом я пишу каллиграфически, а не везет мне на перья. Нормальных, не щепящихся и не зацепляющих за бумагу, я уже давно не помню.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 8 июня 1941

Дорогая Оля.

Сердечное тебе спасибо за золотые строки о Жене. Как это все интересно, верно и талантливо, не говоря о том, как это ласково и человечно.

С нетерпением буду ждать Теофраста²⁷. Страшно заинтригован, потому что просто не представляю себе, как воссоздавать научную древность. Вам, наверное, приходилось создавать свою предположительную терминологию? Чем вы в таком случае руководствовались? Тебе, наверное, пришлось заняться историей естествознания? Как это все замечательно! Ботаника была моей первою детскою страстью.

Не сердись, пожалуйста, за отрывочность и запоздалость моих последних писем. Не могу изобразить тебе «многозаботности» и сложности моего существования. Половина таких «ответов» пишется наспех, в виде бессмысленных повторяющихся восклицаний, — это должно раздражать тебя.

Я немного верил в исполнимость твоего приезда с мамой, и огорчен тем, как вы обе на это смотрите. Мы бы с обеих сторон друг на друга насмотрелись, это дает так много!

Нашему больному лучше в том смысле, что, по-видимому, жизнь его вне опасности. Теперь это обычный тяжелый случай костного туберкулеза, который потребует какого-то долгого времени для излечения, без дополнительных пугающих догадок.

Если у тебя есть возможность сделать это по телефону, позвони, пожалуйста, когда у тебя будет время, Машуре. Я забыл или не знаю отчества тети Вари²⁸, а хотел бы написать ей (адрес, наверное, несложен, просто город Касимов и больше ничего). Может быть, Машура черкнет мне? Тогда, как Машуре ответить, чтобы этого не знала тетя Клара?

Целую тебя и обнимаю.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 17 июня 1941

Дорогая Оля!

Браво, браво, горячо тебя поздравляю. Это мог я тебе сказать уже ровно неделю, и только эта подлая жизнь виной тому, что я этого не сделал. Да и сейчас пишу, высуня язык.

Теофраст бесподобен, я и отдаленно не предполагал ничего похожего, и поглотил разом, как только Леня подал мне пакет. Я читал его гостям, им наслаждался бывший у меня в воскресенье Женя, я всем его показываю, и когда буду в городе, хочу, чтобы его прочел философ Асмус²⁹. Жаль хоронить это в ученых записках. Если бы существовала по прежнему «Академия»³⁰, его надо было бы издать с чем-нибудь параллельным этого же порядка.

Очень хорошо, что вы переводили дословно, — «силен сделать» и т.д. В вашем объеме я, конечно, никогда этого не знал, — речь о твоём «греческом запахе», — но и то небольшое, что я когда-то восторженно усвоил, я безбожно перезабыл, и из запаха помню только какие-то αλοτρεθείς τὴν κεφαλῆν (обезглавленный) и, как вижу, даже писать разучился.

Все мои восклицанья наравне с документом относятся к твоему увлекательному вступлению. Интереснейшие, блестящие страницы! Замечательные мысли о параллелизме этики и комедии, о видоизменении значений при неизменности смыслового образа или термина, об истории перемещения прицела (боги, герои, посредственности), и историко-публицистические характеристики времени и обстановки.

Я знаю, что еще больше интересных и поучительных мыслей и неожиданностей почерпну в другой работе, о древнегреческом фольклоре (как смело сформулирован вопрос гумбольдтоподобной широты и напряженности!), но я ее еще не прочел.³¹

Прости, что я тебя, наверное, невольно обидел, промедлив выраженьями своего восхищенья. По-моему, твое торжество должно быть полным. Чего ему недостает, чем еще могут быть тут недовольны придиры?

Крепко тебя целую, вновь и вновь благодарю и поздравляю. Мне очень хочется поскорей развязаться с Ромео³², есть и еще кой-какие осложненья, вот отчего у меня такой загнанный вид и язык.

Если у тебя будет свободное время и возможность, попроси своих учеников достать тебе 6-й, июньский номер «Красной нови». Я им дал несколько своих пустяков, написанных о зиме и прошлом лете, нынешнею весною³³.

Обнимаю тебя и тетю Асю.

Твой Б.

НХ 24.

Дорогая Оля!

Что же это все значит?

Здоровы ли ты и мама?

Прощу тебя ответить по-
скорее.

13/х 24

Я собственно не знал, что вы
уже писали и это должно было
бы скорее случиться текстом
телеграммы или в каком-то слу-
гае и было чудно - поштового
перевоза. Я ожидал скорее и скоро
тоже, что легко с моей сто-
роны, если тебе писали
с записками и уфара чужакого
поштового окошка место мое
в этом пункте о переде.
Это странно, что я сик пор
я через это окошко встану
не выск. Все же у меня вбе-
тимо, которое все же на
с от высокою скоростью востан
и как бы то ни было.



О. Фрейденберг. Петербург. 1920-е гг.

Это было время, когда она с большим трудом делала первые серьезные шаги в науке, открывая связь между жанром житий святых и греческим романом.

ГЛАВА VII

22-го июня, в один из приятных летних дней, я от нечего делать позвонила по телефону. Было воскресенье, около полудня. Меня изумило, когда чей-то женский голос ответил, что Бобович, которому я звонила, сейчас не подойдет.

— Он слушает радио.

Я изумилась еще больше. После незначительной паузы женский голос добавил:

— Объявлена война с Германией. Немцы напали на нас и перешли границу.

Это было страшно неожиданно, почти неправдоподобно, хотя и предсказывалось с несомненностью. Невероятно было не это нападение, — кто не ждал его? Невероятна была и не война с Гитлером: наша политика никому не внушала доверия. Невероятен был переворот в жизни, день, так быстро нагрывшей межи прошлого с настоящим. Тихий летний день с раскрытыми окнами, приятное спокойное воскресенье, чувство жизни в душе, надежды и желанья, как нечто объективно вросшее в меня, хочу я или нет, — и вдруг, война! Не верилось и не хотелось.

Кто же, однако, не знал, что это начало величайших событий и бедствий? Я понимала теоретическое значение случившегося. Но я наблюдала, как эта страшная весть не произвела на меня никакого впечатления, кроме сенсации. Ничто из 1914 года не шло в сравнение. В сущности, душа была совершенно безразлична, и только становилось страшно за быт. Какие впереди бедствия!

Был приятный летний день, воскресенье с отдыхом, раскрытые окна, тихие зеленые деревья. Нет, подготовки не ощущалось. История шла с далекой окраины. И чувствовалось: ах, еще не так все страшно; устроится, жизнь поможет; еще далеко; много, много нужно, пока доползут события и до нас и перережут дни; что ж, пора — «хучь гирше — да инше».

Сперва у всех замечалось уверенное спокойствие, с воодушевлением читались военные сводки. Но слишком скоро настроение изменилось к худшему. Мы оставляли за городом город. С мучительной жадностью ждали сводок, и они становились все скупей и скупей.

Чем больше каждый из нас волновался по известиям, тем меньше их давали. Заработали слухи.

Военные неудачи резко снизили настроенье. Люди озлоблялись и замыкались, были хмуры и нервны. Нарастала подавленность. Ненавидели режим.

В июле, в связи с поражениями, подавленное настроение усилилось. Немец, захватив «прыжком» многие города Белоруссии, Украины и Бессарабии, быстро приближался к Ленинграду — и с юга, и со стороны Финляндии.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [9 июля 1941]

Дорогая, золотая моя Олюшка!

Ну вот, ну как это тебе нравится! Пишу тебе совсем в слезах, но, представь себе, о первой радости и первой миновавшей страсти в ряду предстоящего нам: Зину взяли работницей в эшелон, с которым эвакуируют Леничку, и таким образом, он с Божьей помощью будет не один и будет знать, кто он и что он. Сейчас их отправляют, и я расстаюсь со всем, для чего я последнее время жил и существовал.

Женичка в армии, где-то в самом пекле, в Вашем направлении¹.

Ты удивишься, но в самых неподходящих условиях, среди трагических разговоров и в бомбоубежище, я вдруг начинаю рассказывать о тебе и твоём Теофрасте, чем привожу всех в восхищенье.

Пиши мне по городскому адресу: Москва 17, Лаврушинский пер. д. 17/19 кв. 72.

Как здоровье тети Аси?

Крепко целую вас обеих. Пиши мне, помни меня, пользуйся мной.

Детей отправляют на восток от Казани, на Каму.

Что будет со мною, не знаю. На даче я вырыл глубоченную траншею, но дорога эта западная, там будет по отъезде моих пусто и мертво, я наверное там не выживу.

Обнимаю тебя.

Твой Б.

В первую же военную ночь, с 22-го на 23 июня, в городе была объявлена воздушная тревога. Она произвела на меня ужасающее действие. Необычайность воздушного налета — убийства с воздуха — потрясла

меня. Я лежала, не усваивая, не понимая, не принимая эту странную жизнь, этих странных людей, тиранов в ссоре, заводов взрывчатых веществ, бомб, бросаемых в постели спящих жителей, детей, стариков. Меня трясло, сердце останавливалось.

Потом было много воздушных тревог, но без бомбометания.

Эвакуация Ленинграда стала пугалом. После первых трагических, неустроенных увозов одних детей, родители теперь не хотели ни уезжать, ни давать детей. Весь город трепетно хотел оставаться. Ни интеллигенты, ни народ в массе не верили в чужедальние блага, а способы сообщения во вшивых теплушках были ужасны. Однако уже выезжали организации, таща за собой и персонал. Выезжала Академия наук.

Я боялась больше всего эвакуации Университета.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАК

Ленинград, 12 июля 1941

<Получено в Москве 21 июля 1941>

Да, родной Боря, в какие дни мы встречаемся!

Сердце и разум не вмещают событий; суешь дни, как в набитый чемодан, и не влазят. Сейчас села писать, духота такая, что мозг разварен. В комнате 27°.

Я позвала бы тебя к нам, если б верила, что с московским паспортом это возможно. У нас души устоялись, мы спокойны. Может быть, возле нас ты обрел бы обиходный покой.

Женечку, нашего Дудлика, жаль до боли. Скажи Жене, что мама сидит и плачет. Скажи ей, что мы ее сердечно целуем и любим. Обязательно и немедленно пошли ему наш адрес. Мало ли что бывает, он может оказаться в Ленинграде. Наше направление благоприятное. Как они расставались, как прощались, Боже мой! Он такой нежный, незакаленный мальчик!

Что у Шуры? Как Зина поступила с больным мальчиком? Это очень хорошо, что Ленечка имеет маму около себя; ужасны, безумны отрывы.

Повезло одной Кларе, которая вовремя очутилась у Вари².

Тяжелый кризис мы пережили третьего дня, когда встал вопрос — ехать ли со службой или увольняться? Но проблема не в службе, конечно, а в факте переезда к черту на кулички. С утра до вечера приходят друзья, знакомые, члены кафедры. Советуются, прощаются. Поездка Академии наук, с десятками друзей и сотоварищей, заставила нас дрогнуть, а тут уже списки и на нас.

Мучительная коллизия! Но сразу стало легче, как только я приняла решение. Мы остаемся. Я не в силах покинуть любимый город, мама не в силах доехать. Решение, предусматривающее смерть, легкое всегда решение. Оно не требует ни условий, ни программного образа действий. Это единственное решение, которое милосердно и ни на что не покушается. А душа цела и живет. Она контрабандой протаскивает сознание. Страстно интересуют военные события, и с первых дней я записалась в госпиталь. Но покупаю цветы и пишу о сравнениях у Гомера³.

Обнимаю тебя, родной. Будь бодр и не расставайся с собой. Придет обетованный час мирового обновления, кровавых зверей задушат. Я верю в уничтожение гитлеризма.

Твоя Оля

Мама молодцом. А что папа и девочки? Есть ли вести?

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 12 августа 1941

<В Москве 16 августа 1941>

Дорогой Боречка, что ты и где ты?

Хочется обменяться вестью. Напомню, что давно уже имела от тебя письмо об отъезде Ленечки, и сейчас же ответила тебе, но с тех пор ничего от тебя не имела.

Что Дудлик, есть ли от него известия? Непременно пошли ему наш адрес, хотя возможности встречи сужаются. Мы надеялись (как я тебе писала), что ты сумеешь по командировке писателей попасть к нам и тут пожить и отдохнуть.

Вопросов тьма: как дядя дорогой, где Женя, Шура, что с Фейдей⁴, есть ли вести от Зины? Поторопись с ответом. Мы живы и здоровы. Пока не зову тебя до полного устройства.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва 22 августа 1941

<В Ленинграде 22 сентября 1941>

Дорогая моя Олюшка!

Спасибо за письмо и открытку. Крепко обнимаю тебя и маму. Женя в свое время вернулся со своих работ, и недавно переехал и уехал с Женей старшей в Ташкент.

Будет большим чудом и счастьем, если эта открытка достигнет тебя. Я совершенно один, и, может быть, если будет можно, в компании с двумя-тремя такими же холостяками, проведем

своих жен под Казанью. Они все здоровы, но им, как и естественно, очень трудно.

Твой Боря

Смерч приближался. Первого сентября произошло самое ужасное бытовое бедствие: закрылись так называемые коммерческие лавки. Это были магазины, где провизия продавалась правительством по взвинченным ценам. Карточки, введенные на хлеб и продукты еще в августе или в июле, особого значения не имели, так как все, что нужно было, можно было купить в магазинах.

И вдруг это все исчезло. Что мы будем есть, что я буду доставать.

Смерч еще ближе, 8-го сентября днем вдруг раздалась в воздухе оглушительная частая стрельба. Это был, казалось, град взрывов, стремительная охапка рокочущей пальбы, разверзающийся поток частых громов, вихрь шума, треска и катастрофы.

Прошло несколько дней, мы уже знали, что такое налеты, бомбы и пожары. Но вдруг — адский взрыв — выстрел. Сотрясается дом, кричат стекла. Мы вскакиваем, как угорелые. Тихо. И вдруг снова выстрел — гром, с грохотаньем ударяющий в дом и рассыпающийся страшным взрывом. Люди, обезумев, не знают, где спастись. Бегут на лестницы, в пролеты, вниз.

Это было еще страшнее, еще слепее, еще непредугаданнее, чем налет с воздуха, еще более неестественно и бесчеловечно. Это был артиллерийский обстрел из тяжелых орудий. К такому ужасу привыкнуть нельзя!

Но мы привыкли. Девять месяцев изо дня в день, с очень редкими паузами. Они дают залп, свистят пронзительным свистом, падают с оглушительным разрывом. И люди ходят по улицам, хожу и я, и каждый из нас, как и каждый дом, ежеминутно подвергается гибели.

С бесчеловечной жестокостью немцы убивали ленинградцев. Англичане, совершая свои самые сильные налеты на немцев, налетали едва ли чаще одного раза в неделю на один и тот же город.

Немцы совершали налеты на Ленинград ежедневно, и каждый день по несколько раз, через час, через два, по пять и шесть раз, и по девяти и по одиннадцати раз в день. Сколько им позволял бег времени и солнца, они убивали людей и превращали в развалины пятиэтажные дома. О, эти груды щепок и куски железных кроватей, жилища бедняков, жалкий скарб среди кирпичей и балок. Как все люди бывают уравнены в обнаженном виде, так одинаковы казались все квартиры среди мусора и обломков. У одних домов оставался зияющий скелет, в других поражала дверь, кусок коридора, каменная переборка.

Как только начиналась воздушная тревога, мы, трепещущие, судорожно одевались и выходили в пролет лестницы, этажом ниже. Это наивное самообольщение успокаивало нас. О, этот ужас, эта темнота,

этот свист пикирующих немецких бомбардировщиков, этот миг ожидания взрыва, и тотчас же падение смерти, сотрясение дома, глухой крик воздуха.

К налетам город не был подготовлен. Настоящих бомбоубежищ почти не было. Укрывались в подвалах, погребах, в газоубежищах, в холодных, сырых страшных подземельях. Прохожих загоняли туда насильственно и, в случае попадания фугасной бомбы, эти подвалы засыпало.

Артиллерийские обстрелы были еще ужасней, чем налеты, своей слепотой и непредвиденностью. Сигналов быть не могло. Человек обедал, а его за столом убивало. Он шел по улице, его разрывал снаряд. Из Колпина, Лигова, Пулкова и Стрельны летели ядра смерти наугад, и где, в каком доме, на какой улице, в каком этаже они падали и разрывались, знала одна слепая судьба.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 14 сентября 1941

<В Ленинграде 27 сентября 1941>

Дорогая Олюшка!

Какое время, какое время! Как я тревожусь и болею душой за тебя и тетю! Безумно, я тебе сказать не могу! У вас ужасные бомбардировки.

Мы это испытали месяц тому назад. Я часто дежурил тогда на крыше во время ночных налетов.

В одну из ночей, как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 12-ти этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали и опьяняли.

Я один, но, наверное, буду зимовать вчетвером с Фединым, Всеволодом Ивановым и Леоновым в одной из наших дач.

Женя с Дудликом в Ташкенте. Зина с Леничкой и еще одним мальчиком в Чистополе на Каме, другой ее сын с костным туберкулезом, на Урале.

Было известие из Оксфорда. Все живы.

Твой Б.

Б. ПАСТЕРНАК – О. и А.О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва, 8 октября 1941

<В Ленинграде 21 октября 1941>

Дорогие Олюшка и тетя Ася!

Адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченко, Евг.

Влад. Пастернак.

Кажется, пока они не жалуются, по слухам Женя поступил в университет на математический факультет, а также подвизается в театре.

Милый друг, Оля, спасибо за открытку и телеграмму. Можешь себе представить, как я им обрадовался!! Я доживаю на даче последние дни со старой жениной работницей: я все-таки навещу Зину, пока не стали реки. Там все спокойно, хотя у Ленички корь, и условия в общежитии, где помещается Зина, наверное, трудные. Она недавно страшно сглупила, заплатив в Лит. фонд за себя и детей за все три месяца, несмотря на свою адскую работу при столовой, между тем, как ничего не делающие жены богачей-лауреатов живут в долг той же организации, не ударяя пальцем о палец.

«Зачем рождается столько детей», — вот последнее Ленино mot*, привезенное в Москву эвакуированными.

Москва, 8 октября 1941

<В Ленинграде 21 октября 1941>

Дорогие, золотые мои! Вот еще раз на всякий случай адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченки, ей. Какое счастье было бы, если бы вы съехались!

Папа и сестры живы, справлялись о нас по телеграфу, — перед отъездом к Зине в Чистополь, протелеграфирую им Pasternak 20 Park Town, Oxford о вас и о нас.

Конечно, я страшно соскучился по Леничке, он просил Зину «пусть папа придет, чтобы не летали бомбы». Вызовы Зины все требовательнее и ультимативнее, мне хочется съездить к ней.

Если бы случилось такое чудо, и вы проездом или в виде окончательной цели оказались в Москве как раз в мое временное отсутствие, тут будут всякие возможности, начиная с квартиры, некоторого топлива, некоторого количества картошки и капусты и т.д. и т.д. в ведении Жениной старой работницы, Елены Петровны Кузьминой, Тверской бульв. 25 кв. 7. Е.В. Пастернак. Может быть, у ней будет жить и Ахматова⁵, вас это нисколько не стеснит, это хороший и простой человек.

* Слово, высказывание (фр.).

Москва, 8 октября 1941
<В Ленинграде 21 октября 1941>

Трижды родные! Адрес Жени: Ташкент, Выставочная 8, у Ивченки, Евг. Влад. Пастернак. На время моего выезда из Москвы, если бы вы в ней случились, к вашим услугам все пустующее, городское и деревенское, в Лаврушинском и на Тверском бульваре (25 кв. 7) и какие будут запасы овощей и топлива. Все это в ведении старой Жениной работницы, Елены Петровны Кузьминой (кроме Жениной квартиры, она, может быть, у своей сестры: Москва, Кропоткинская, 3, кв. 20; у М.А. Родионовой).

Кто бы у меня ни поместился в мое отсутствие, вам всегда все обеспечено. Я ей про вас рассказал, и введет вас к ней Шура (Гоголевский бульв. 8 кв. 52, тел. К-4-31-50).

Если вас судьба закинет к Женям, это будет благо и праздник, которому нет названья. Посмотрите тогда за ними. Пусть работают и зарабатывают, это главное. У них, кажется, хорошо и беззаботно.

Я жила день за днем, монотонно борясь с бытовыми бедствиями... С декабря пошло двойное усиление: морозов и голода. Такой ледяной зимы никогда еще не было. Город не имел топлива. Ни дрова, ни керосина не выдавали, электроплитки были запрещены, контролировались лимитами. Ожидалось какое-то улучшение; ходили слухи о громадном подвозе продуктов день и ночь, о транспортах, самолетах. Нормы все уменьшались. Большинство населения получало на целый день 125 гр. хлеба. Уже давно, впрочем, это не был хлеб. Подозрительное полумокрое месиво состояло из дуранды и всяких пустых суррогатов, пропитанных отголосками керосина. Чем меньше хлеба, тем больше очередей. На морозе в 25-30° истощенные люди стояли часами, чтобы получить убогий свой паек.

Уже в декабре люди стали пухнуть и отекают от голода.

Стал трамвай. Не было топлива, а потому и тока.

Громадные городские и пригородные расстояния люди одолевали ногами. Ходили молча, из района в район, через мосты, по льду рек. Тащили за собой санки и детские салазки, на них были балки, бревна, доски, щепки, палки.

Вдруг пошли аресты профессоров. Арестовали Жирмунского, Гукковского.

Под новый год я послала приветствие всем своим друзьям, письма, открытки, телеграммы, и среди них впервые, за пять с лишним лет, телеграмму в Оксфорд дорогому моему дяде с семейством. Это было

большое, большое событие. Я их извещала, что мама здорова, что мы верим в свиданье.

Трамваев не было, света не было, телефон был выключен.

С первого января по двадцатое ровно ничего не выдавали.

Голодные, опухшие, отекавшие люди стояли в ожидании привоза по 8-10 часов на жгучем морозе, в платках, шалях, одеялах поверх ватников и пальто. День за днем, неделю за неделей человеку не давали ничего есть. Государство, взяв на себя питание людей и запретив им торговать, добывать и обменивать, ровно ничего не давало.

Начались повальные смерти. Никакая эпидемия, никакие бомбы и снаряды немцев не могли убить столько людей. Люди шли и падали, стояли и валились. Улицы были усеяны трупами. В аптеках, в подворотнях, в подъездах, на порогах лестниц и входов лежали трупы. Дворники к утру выметали их, словно мусор. Больницы были забиты тысячами горами умерших, синих, тощих, страшных.

А еды все не выдавали и не выдавали.

В Ленинграде погибло за зиму, по слухам, 3,5 миллиона человек. Ученых умерло, по словам специалистов (акад. Крачковского), больше половины.

Голод и страшный мороз парализовали жизнь.

Замерзли трубы, остановилась вода, прекратился отлив и канализация. Выбыли из строя уборные. Стала вся живая жизнь. Газеты не вывешивались и не разносились. Стали аптеки. Прекратились службы. Перестали работать почта и телеграф. Замолчало радио.

Люди не раздевались ночью из-за холода, не мылись из-за отсутствия воды. Запертые в своих маленьких комнатах, где жили разные знакомые и родные (которые не могли жить у себя в разоренных, разбитых квартирах), они утопали в копоти коптилок, дыму буржеек, в грязных ватниках и валенках, с выпачканным лицом и черными пальцами, они на паркете рубили и кололи доски, заборы, мебель, щепки, стук раздавался целый день – буржуйки требовали подтопки. Резкий удушливый запах публичной уборной шел с лестницы и обратно на лестницу. Двор, пол, улица, снег, площадь – все было залито желтой вонючей жижей.

Нельзя было ни говорить, ни жаловаться, ни взывать. В газетах и радио кричали о бесстрашии и отваге осажденных. О, мы-то города не сдадим! Нет тех условий, которые могли бы требовать капитуляции. Когда-то сдавали крепости, когда иссякали запасы продовольствия. Мы знали, что гибель от голода запертых в ящик пяти миллионов людей не ослабит героизма наших сытых главарей. Часто приходило в голову: кто безжалостней, – те ли, что заперли живых людей в ящик смерти, или те, кто стреляли и убивали? Никакие муки живых людей, ни убийства, ни голод – ничто никогда не побудило бы наши власти к сдаче

города, или к каким-либо переговорам, соглашениям, к подаче какой-либо помощи жертвам. Здесь действовал обычный закон истаптывания человека. Он именовался отвагой, героизмом осажденных, добровольно-де отдававших жизнь отчизне.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

*Чистополь, 18 марта 1942
<В Ленинграде 6 июня 1942>*

Дорогая Оля, у меня дрожат руки в то время, как я вывожу твое имя. Тут ли вы с тетей и живы ли? Как я надеялся, что вы вырветесь в Ташкент к Жене, как вас там ждали!!

Если бы ты с тетей Асей были вне Ленинграда, я думаю, я бы об этом узнал, мы бы друг друга разыскали. *Безотлагательно* дай мне весть о себе сюда, тогда спишемся подробнее о том, что делать дальше. Шура с семьей остался в Москве. Я, может быть, поеду туда по делам через месяц. Поторопись ответить мне и подумай, не выехать ли вам?

О папе и сестрах ничего не знаю. Леня при Зине, она служит в детском доме. Пиши скорее.

Целую.

Боря

Что и как Машура?

Советский человек обладал неизмеримой емкостью и мог растягиваться как подтяжка, сколько угодно, в любую сторону. Его безразличие к жизни и смерти было огромным оружием. Он мог умирать и воскресать сколько угодно раз. Сюда прибавлялась обескровленность и измотанность последних десятилетий. Было все равно, умирать там или тут, жить, страдать, терять дыханье и переставать мучиться. Не было ни у кого ни в чем ни возможности свободы, ни выбора, ни избавления. Тиски жизни никого не привлекали больше, чем тиски смерти.

Когда арестовали Сашу, счастьем для меня было готовить для него передачу, которую позволяли ссылаемым вместе со свиданьем или без него. Я бегала по лавкам и радовалась, когда что-либо изобретала или находила.

Теперь, в эту зиму, эти запасы были основой нашего существования, и месяц за месяцем мы вскрывали коробку за коробкой с бесценным содержимым, с Сашкиными деликатессами.

Мамино душевное состояние ухудшалось. Суровые испытания делали ее нервной и ожесточали ее душу. Как ребенок, она считала виновной во многом меня и совершенно не хотела понимать причинности вещей.

У нас было 3^о ниже нуля, минуты вставанья были мучительны, т.к. мы на ночь раздевались, боясь завшиветь, как все в городе.

Мы невыразимо страдали от замерзших рук. О, эта колкая, острая, нестерпимая боль пальцев! Слезы подступали к глазам, кричали на крик. Мы поминутно отогревали руки на чайнике, кастрюле. С утра до вечера шла борьба с этой болью замерзающих рук и ног.

Мы любили сидеть у печки. Это называлось «миг вождеденный настал»⁶. Спускался вечер, страданья дня кончались. Мы садились у печки и наслаждались теплом. Уют, горящие дрова, покой.

И вдруг — завыванье сирены, жалобный, протяжный — мучительно плачущий вой... Потом свист, взрыв, сотрясение, баханье зениток. Мы замерли, ждем: взорвет нас сейчас или нет? С нами ли сейчас стрясется страшное или с другим кем-то? На кого пал жребий.

Молчало радио. В этой мертвой тишине, охватившей даже большевистскую агитацию, заключалось что-то страшное. Отпал весь окружающий мир. Было жутко ничего не знать, что делалось на свете, в стране, в городе, за границей. Люди, в острейший период бедствий, были искусственно разобщены и не могли ни подать руку, ни крикнуть «спасите».

И когда однажды раздался стук в двери и вошла Лившиц — мы ахнули и все трое залились слезами. Она пришла, чтоб повидать нас с конца Каменноостровского, где ютилась с мужем в канцелярии его службы. На обрыве, у срыва, над бездной времен и ужаса, встретились мы трое, еще живых. Мы увиделись!

Началась эвакуация университета. Пошли бесконечные мучительные колебания, бессонные ночи, тысячи изменчивых решений, советы. Одни говорили — ехать, бежать, идти пешком из этого города смерти. Другие ухмылялись — уезжать теперь, когда столько пережито, в новые условия голода? Мы с мамой ночи не спали, говорили и говорили все на ту же тему.

Мои ноги уже почти не выпрямлялись. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Мучительны были боли по утрам, когда ноги должны были стать и держать тело. О, эти страшные утра и дни, которые начинались судорогой в икрах, ужасной болью сведенных, искривленных, волком сердитым сжавшихся мышц!

И наконец, утром 24 февраля, я не могла от боли ни стать, ни прыгать, ни передвигаться по комнате. Тело дрожало в ознобе, руки немеги и теряли чувствительность.

Это было начало моей долгой, двухмесячной болезни.

Нужно было получить со службы карточки на март: шуточное ли дело! Нужно было приносить воду, дрова, выносить нечистоты за сутки.

Мама сходила с ума. Я лежала парализованная, и не было ни сроков, ни перспектив для окончания этой напасти. Диагноза не было,

квартирные врачи месяцами не являлись. Только через три недели неожиданно я обрела нашего частного врача. Выслушав и осмотрев меня, он сказал: — У вас цынга!

Оказалось, заболел уже весь город. Единственное лечение — разновидности витамина С и согревающие компрессы.

Все лето и осень, под разрывы артиллерийских снарядов, под канонады и свист бомб, я продолжала работать. Сперва я писала «Гомеровские сравнения». К зиме закончив «Сравнения», я стала искать работы, которая не требовала бы книг и литературы. Я стала записывать свои лекции по теории фольклора.

В постели я много думала о давно вынашиваемой работе по проблемам античного реализма. «Гомеровские сравнения» должны были быть здесь первой главой, а последней — «Происхождение литературной интриги»⁷. Я лежа записывала на блокноте основные свои мысли о греческом реализме, о сущности интриги, как реалистическом миропонимании, как о перенесении центра тяжести с религии и богов на человека.

Тамара Николаевна Петухова раздобыла мне витамин С, и это меня спасло. Она по скользкоте, в морозную темноту зимних вечеров, по льду замерзшей Невы таскала мне банки с «глюкозой». Это был приторный сироп с резкой ароматной эссенцией, дрянь ужасная, которая продавалась в Академии наук за ростовщическую цену 150 руб. за кило.

Витамин С мне разительно помог, — а я-то и не верила в витамины! Дней через 6-7 мои ноги сделались легкими, подвижными, боль прошла, 29-го марта я проснулась с ощущением, что я здорова, что можно думать о сроках. А 31-го я начала понемногу вставать. Никогда я не испытывала подобной слабости в ногах. Как страшно было вскаты! Сперва я ходила на костыле и палке, потом употребляла палку только на улице.

Я встала. Боже мой, я встала! Я не требовала ухода!

Стояла сияющая, блистательная весна. Небо от края до края из чистой голубизны, из блестящей, из торжествующей. Это была еще зимняя весна, с морозами, с изредка выпадавшим снежком. Но солнце казалось горячим. Оно светило, сияло, заливало город. Пустынно было на улице, чисто, сухо. Город был преобразен настоящим христианским преобразованием. Тихо и пустынно молчала за спиной зима; тени мучеников помнились, как крестная смерть, и это невидимое присутствие недавних страстей прибавляло тишины и пустынности. Людей на улицах было слишком мало... Дворы — пусты.

С отъездом заводов и фабрик изменился в Ленинграде воздух. Он стал свежим по-провинциальному, гулким от тишины. Смертельное горе преобразалось в весеннее упование. Великий круговорот вселенной бодрил и утешал, обещал судьбу и черед и в человеческих делах.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 26 июня 1942
<Чистополь, 18 июля 1942>

Дорогой Боря!

Посылаю тебе открытку с оказией. Мне трудно тебе писать. Можешь ли ты себе представить, чтоб Данте (пока Вергилий завтракает) присел черкнуть письмецо? Что тебе сказать, чтоб не теревить твоих нервов? Ничего. Или вот.

Я решительно не знала, как понимать твое восьмимесячное молчание. Телеграфировала Жене в Ташкент, но ответа не получила. Наконец, событие: в июне пришло твое письмо от 25 марта, и наконец адрес. Что Шура в Москве, я не полагала.

К Новому году обменялась приветствием с Лидочкой; все здоровы. В феврале получила от нее телеграмму с тревогой о тебе и Шуре; ответила ей, бедняге, только через три месяца (лежала в цинге), и тогда за двумя сортами фамилий⁸ полетели благодарности и благословения, — я, конечно, сообщала наугад, что вы здоровы, но трудно сноситься.

Тебе на открытку я ответила срочной телеграммой. Пока ответа нет, хотя подходит двухнедельный срок. «Остальное — молчанье».⁹ Моя кафедра со службой в Саратове, где меня требуют, и условия хорошие, но я боюсь тащить ветхую маму в 82 года. Долго ли проживем, не знаю.

Сердечно целуем тебя, Зину и Ленечку.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Чистополь, 18 июля 1942
<В Ленинграде 3 августа 1942>

Дорогая Оля!

Сейчас твоя открытка попала в такую обстановку, что я, не тратя ни минуты, отвечаю тебе.

Воскресенье, семь часов утра, день выходной. Это значит, что с вечера у меня Зина, а в десять часов утра придет Ленечка. Остальную неделю они оба в детдоме, где Зина за сестру-хозяйку. Свежее дождливое утро, на мое счастье, потому что, иначе, по глубине континентальности была бы африканская жара, а я не сплю в сильное солнце.

Я встал в шесть часов утра, потому что в колонке нашего района, откуда я ношу воду, часто портятся трубы, и, кроме

того, ее дают два раза в день в определенные часы. Надо ловить момент. Сквозь сон я услышал звяканье ведер, которым наполнилась улица. Тут у каждой хозяйки по коромыслу, ими полон город.

Одно окно у меня на дорогу, за которою большой сад, называемый «Парком культуры и отдыха», а другое — в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов и где голосят на крик, когда судят кого-нибудь из здешних.

Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населению, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены, и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или Гофманского «Щелкунчика». В окно я увидел почтальоншу, поднимающуюся на крыльцо нарсуда, и узнал, что она бросила к нам в ящик открытку.

Я без всякого препятствия взялся сейчас за письмо вследствие раннего часа, тишины и живописности кругом. Телеграмма от тебя была для меня понятным потрясеньем, я плакал от счастья. Но я, наверное, долго бы не мог преодолеть робости и удивленья перед мерой перенесенного вами и еще переносимого, и долго бы не мог написать тебе, потому что никакие восклицанья не казались бы мне достаточными для их выраженья.

Когда я сюда приехал в конце октября, я почему-то надеялся, что вы попадете к Жене в Ташкент. Я ее о вас запрашивал. Но дело в том, что и от самой Жени я не имел ни слова первые четыре месяца, и письма оттуда пошли только с конца января. Мне помнится, что я тебе писал перед отъездом из Москвы или вскоре по приезде в Чистополь, и мне казалось, что Зинин адрес (Чистополь, детдом Литфонда) тебе известен.

Главное же, я в глубине души так же, вероятно, не допускал мысли, что вы в Ленинграде, как тебе не верилось, что Шура остался в Москве. Наконец, последнее: только в марте я узнал на практике, что из отрезанного Ленинграда и туда бывает почта,

что в природе это имеется. Но даже и тогда мне казалось дерзостью покушаться писать на ваш обыкновенный адрес, суеверный страх того, что ваша квартира опустеет от одной смелости допущенья, будто в ней по-старому может быть кто-нибудь, чтобы отпирать почтальону. И я наводил о вас справки через Сергея Спасского¹⁰ и, с помощью ленинградца Шкапского¹¹ живущего здесь, собирался запрашивать о тебе Ленинградский университет. Только случайно *естественная* мысль пришла мне в голову. Дай-ка напишу я им все-таки простую открытку.

Вот, в конце концов, и все. Продолжается хорошо тебе известная жизнь с видоизмененьями, какие внесла в нее война. Пока я был в Москве, я с большой охотой и интересом разделял все новое, что сопряжено было с налетами и приближеньем фронта. Я очень многое видел и перенес. Для размышлений, наблюдений и проявления себя в слове и на деле это был непочатый край. Я пробовал выражать себя в разных направленьях, но всякий раз с тою долей (может быть воображаемой и ошибочной) правды и дельности, которую считаю для себя обязательной, и почти ни одна из этих попыток не имела приложения¹². Между тем надо жить.

Сюда я привез с собой чувство предвиденности и знакомости всего случившегося и личную ноту недовольства собой и раздраженного недоуменья. Пришлось опять вернуться к вечным переводам. Зиму я провел с пользой и приготовил для Гослитиздата избранного Словацкого¹³, а для Комитета по делам искусств перевел Ромео и Джульетту. Теперь я свободен. Для возвращения в Москву требуется правительственный вызов. Их дают неохотно. Месяц тому назад я просил, чтобы мне его выхлопотали.

Пройдет, наверное, еще месяц, пока я его получу. Тогда я поеду в Москву из целого множества естественных чувств, и между прочим любопытства. Пока же я свободен, и торопливо пишу, переписываю и уничтожаю современную пьесу в прозе, которую пишу исключительно для себя из чистой любви к искусству¹⁴.

Что-то не выходит у меня письмо к тебе и, чувствую я (такие ощущения никогда не обманывают), читаешь ты его с холодом и отчуждённостью. Все мои тут и в Ташкенте здоровы, но, конечно, одна кожа да кости, феноменально похудели. Хорошо еще, что тут хлеба досыта, но это почти и все.

Зинин старший мальчик (с костным туберкулезом) в санатории на Урале, она его не видела около года, собирается к нему. Леня, которому я сегодня сказал, что получил от тебя открытку, помнит тебя по прошлогодним рассказам.

Крепко обнимаю тебя и тетю Асю. Что же ты думаешь все-таки делать?

С наступлением лета началось массовое, истерическое бегство из города. Все и всюду говорили только об эвакуации, — незнакомые на улицах и в трамваях, в очередях за хлебом и пайками. Все жили только одной этой темой. Кругом люди тащили тюки. Учреждения уезжали с обычной спешкой и безалаберностью.

Я записалась в эшелон Академии наук, и принялась за громадную работу. Нужно было перерыть всю квартиру за сорок лет жизни в этом доме, перерыть всю свою жизнь. Вид обезображенной комнаты успокоил меня, теперь мне стало легче ее покинуть.

Среди чемоданов, тюков и разгрома, ко мне приходили друзья и знакомые, и все в горячке, и все ехали с этим эшелоном. Была радость в этих встречах, в стуках в дверь, в голосах и объятиях уцелевших друзей. Не все умерли!

Родители моей ученицы Чистяковой, ехавшей с нами, предлагали машину и помощь для перевозки на вокзал.

Итак, мы ехали. Наконец-то был найден выход! Жизнь засияла. В комнатах усиливался хаос. Тюк вырастал за тюком. Мама пекла булочки на дорогу. Дрова, керосин, мука: Боже мой, какое было блаженство, что их можно было тратить, уничтожать, что настал конец этой вечной за них тревоги!

Все, что я готовила для Саши, все он возвращал мне обратно. Вот чемодан для него, вот в этом чемодане все мелочи, предусмотренные моей любовью и надеждой, вот открытки и чернильный карандаш, которых теперь не достать, теплый пуховый свитер, теплые рейтузы, шарф, теплая рубашка, перчатки... Вот остатки консервов для него.

Я все запаковываю и запаковываю. У нас три чемодана, корзины, десяток тюков.

Наконец, 12-ое июля. Нагнетается гроза. Гром. Проливной дождь. Две машины. На грузовой — вещи. Мы — в легковой. Мама прекрасно выносит поездку в автомобиле. Я подавлена.

Посадка в поезд в 4 часа была кошмарной. Мы протискались в вагон дачного типа, шедший до одной из станций недалеко от Ладожского озера, куда он должен был прибыть после 2,5 часов езды, там надлежало пересест на грузовик, чтоб доехать до катера.

Мы уселись. Творилось нечто невообразимое: вагон битком набит громадными тюками, и эти тюки срывались, падали на голову.

Вернемся! — говорю я маме. — Пока не поздно, пока возможен возврат! Мама спокойно улыбается.

Наконец, прощанье. Около 8 часов вечера поезд двинулся. Все позади. Мы уехали.

Мы немного проехали, потом остановились, потом поехали назад, ехали минут десять обратно — и стали. Прошел час, другой, третий. Стемнело. Мы не трогались с места.

Говорили, что на озере шторм и проехать нельзя. Говорили таинственно, что это не шторм. Те, что знали правду, молчали.

Ходили. Толкали. Я была больна. Стиснув зубы, упершись руками в сиденье, я сдерживала приступ колита, я ломала пальцы. Ни говорить, ни двигаться я не могла.

Ночь прошла в хождениях и молчаливой сутолоке. Я сидела на скамье и дремала. Кости болели. Тело ныло. Нет, тридцать таких ночей я не была в состоянии перенести! К утру я была изломана, побита и пропущена сквозь пресс. Мама дремала и переносила «путешествие» моллцом.

Потом еще целый день. Ни воды, ни чая, ни кипятка. Перспектив отъезда не было. Солнце перемежалось дождем. К вечеру угрюмость погоды возросла. Между тем, мое положение стало совершенно невыносимым. Я решила плюнуть на всю эту нечеловеческую чепуху и вернуться погибать домой. Тут было все: сознание варварских условий передвижения, желание любой ценой достичь постели. Я была больна, но и здорова в той мере, чтоб принять решение под предлогом болезни. Ничто не могло меня остановить.

Я дала последний хлеб проводнице, и она начала скидывать наши вещи на рельсы. Ветер, дождь. Мы сидим на рельсах под зонтиками. Мы ждем машины. Было известно, что поезд стоит у фарфорового завода, почти в городе.

Вечер, но с утра, со вчера, не дано никакой еды, ни чая, ни кипятка. Нам завидуют. Со слезами зависти смотрят на нас.

Но вот приезжает Чистяков. Он собственноручно опять тащит наши чемоданы и устраивает на грузовике.

Мы вернулись. Среди великого хаоса и беспорядка, мусора и раскиданных тюков, я примеряю разлуку с возвратом.

Пошли затруднения с обратным получением продовольственных карточек. На второй день по приезде, мама вдруг ослабла. У нее открылся бешеный жар. Она лежала в забытьи и вся пылала, а я была опустошительно слаба. Слава Богу, что это было — два дня, а если бы месяц?

Наш поезд стоял все на том же месте четверо суток. Потом он ушел.

Как только эвакуация закончилась, почувствовалась внутренняя перемена. Город стал малолюднен и словно интимен — начался процесс

нового жизнеустройства для оставшихся. Не переставая, я ожидала где-то внутри Бориных вестей; тайная надежда на спасенье и помощь невольно соединялись во мне с именем брата и друга, который просто не знал, что мы, живые, во власти смерти. Но когда я прочла его письмо из Чистополя с описанием пейзажа, я поняла свое заблуждение. Нет, неоткуда, не от кого ждать спасенья! Письмо говорило объективно о душевной вялости и утомленьи, о душевной растерянности. Как и в начале революции, в письме фигурировали ведра и стертый, подобно старой монете, дух.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 7 августа 1942

<В Чистополе 24 августа 1942>

Дорогой Боря!

Как я счастлива, что наконец обрела тебя! Не делай больше таких пауз. Если б ты ответил мне сразу на телеграмму! А я телеграфировала Шуре, разыскивая тебя, но ответа и от него не получила. Твое письмо пришло быстро, в две недели. Ты пишешь, что оно вызовет во мне холод и отчуждение, что оно тебе не дается. Мне стало печально от него, пусто, но не за себя, а за тебя. Ты не все мог и хотел писать. Но форма (чушь, не форма в литературном значении) умолченного и сказанного так легко придвинула меня к тебе, как внутренний бинокль.

Это ли жизнь для тебя, когда тебе ничего не надо, кроме самовыраженья, а его-то надо занефталить до будущего сезона, — и тяжело, и страшно; есть ли еще внутренние силы — страшно, что скоро засохнут без движенья; молчанье ли — страшно, что это конец. Но нет, глупости! Ты сам себе не представляешь, как душа живуча, как гибель трудна, всякая гибель, — погибнуть не легче, чем спастись; и тут нужна доля, нужна участь — и чтоб погибнуть, своего рода удача.

Сильна, сильна кровь! Ты — донор. Полежишь на кушетке, иссякший — и к вечеру восстановишься. Я — не пример, когда речь идет о силах, тебе дарованных. Но и мне была страшна не соматическая гибель; казалось, душа изомнется. Так нет! Одна страница настоящего искусства, две-три строчки большой научной мысли: и жив курилка! Поднимается опять страсть, и пеплом пылится отвратительная псевдо-реальность, и мираж как раз она, и она будет ли жить и кровообращаться, вот вопрос.

Мое несчастье, — одно из сильнейших, — в оптимизме, конечно; он меня, в конце концов, погубит; это не теоретическая предвзятость идеи, а черезчур громкое жизнеощущение. Однако, и без оптимизма — правда ведь, что смеется тот, кто смеется последний, и мы еще не на свалке; и благодетелен этот снежный покров, под которым вызревает плод.

Хаос: недаром все народы начинали с него, а не с черта, борьбу света. По-видимому, мы приступаем к зачатию. Ты увидишь, мы родимся, — посмотри, сколько его, как он распространяется. Только бы сохранить душу.

Боже, я совсем не это хотела писать. Дорога каждая строчка, а я измарала уже половину письма.

Я была разочарована, что ты не откликнулся на весть об оксфордцах. Я так из кожи лезла, чтоб втиснуть в депешу. Видишь ли, под Новый год я послала им поздравленье, на которое моментально пришел ответ. Вдруг в феврале запрос Лидочки о вас, полный ужасной тревоги. И на него-то (пойми!) я три месяца не отвечала. О, что это были за три месяца!.. Выбрав день, когда ноги могли передвигаться и еще не начался обстрел из тяжелых орудий, я пошкандыбала на Главный Телеграф. Я общала, что могла: что вы все здоровы, что сообщаться трудно, что ты в Ташкенте (как я считала). Через день пришли благодаренья, благословенья, счастливые слезы...

Наш город чист, как никогда ни один в истории. Он абсолютно свят. Он пастеризован. И я прохожу военное дело без отрыва от производства. Умею отличать, сидя у себя в комнате, 12-ти дюймовое от 8-ми дюймового орудия; знаю, как строить гаубицы и пулеметные гнезда; зенитные снаряды не спутаю с минометами, береговую артиллерию с полевой. Я различаю пикэ наших бомбардировщиков от змеино-шипящих немецких, и больше не смешиваю вражеский налет с воздушными (немецкими) разведчиками. Мало того: когда свистят снаряды и колыхается дом, я знаю по звукам разрывов и раскатов, наши ли это или вражеские приступы.

В остальном прочем — но мы свыклись с фронтом и давно забыли о тыле. Я его стала бояться. Мне страшно туда уехать, как в страшилище, сутолоку и давку. Мы разучились ласке и улыбкам. Мы отвыкли от людей и быта, от рынка и от меню, от того, что планируется и разыгрывается в четыре руки.

Если квартал имеет воду и кран на улице, мы выходим стирать или мыть посуду на угол такого-то и такой-то; мы читаем Котошихина и Олеария¹⁵, наклоняясь над рвом во чреве мостовой и шайками, чайниками, кастрюлями черпая воду, — шум, крики, сани с кадками, скользкий лед, в платках и одеялах пестрая, густая женская толпа; но это март, февраль; вольготно, легко выходить летом с чашкой мокрого белья и полоскать его на тротуаре.

Мы питаемся дикими травами и подножным кормом; мы делаем огонь и тепло, и добываем, согрев мемуарами и полом, и проза оказывается горячей стихов, на истории вскипает чайник; прекрасным полом выходит паркет.

«Завтра» нет для нас. Я спросила, когда придет телеграмма. «Я не знаю, что будет с вами и со мной через 10 минут», — ответила телеграфистка. Это все не быт, конечно, а вереница суровых дней и дел, футуристическая композиция, которая для обывательского глаза представляется грудой падающих и пересекающихся нелепостей в квадрате и квадратов в нелепости; это новое воспроизведение пространства и невиданный аспект времени, с каузальностью, которая не снилась ни Гегелю, ни твоему доброму, старому марбуржцу.

Кстати, я забывала тебе сказать, — пока до темы смерти письма не доходили. В мировой литературе — конкурс описаний смерти. Толстой и Мопассан очень сильны; они переворачивали мне душу. Но мощный удар в сердце, по-настоящему, я ощутила над Охранной грамотой, где ты даешь смерть Когена. Это потрясающе по адекватности, ибо по простоте констатации нуля. С величайшим тактом и глубиной ты исчерпываешь описание смерти тем, что показываешь пустое зеркало. Ты все наполняешь Когеном и наворачиваешь Марбург до сгустка, не упоминая того, кому он однозначен. И вот в самом конце: а где же Коген? Его нет. Он умер¹⁶.

У меня нет цитаты, но я помню впечатленье. Шекспир пытался в «Лире» дать это нулевое качество, когда на зеркале нет дыхания Корделии. Чистое у рта зеркало! Вот образ смерти. Он художествен метафоричностью, у тебя же и метафоры нет, а показано «ничего». Коген просто не упомянут. Где же он? Его нет. Я не помню, говоришь ли ты даже, что он умер. —

Милый друг, с какой охотой и радостью я с тобой говорю. В городе осталась одна Лившиц, ибо врач; живет с мужем, почти

помешанным, — таких очень много, и к этому есть простая кантовская каузальность. Я делала много попыток уйти от детских уз. Теперь в Лившиц много открылось мудрости, хорошей, настоящей. Она героически еженедельно навещает нас, и это большие дни.

Как Сади некогда сказал, нет ни друга у меня ни одного, ни знакомого¹⁷, — Боря, Боря... Я строила жизнь для Саши; как каменщик, складывала песок и консервы, банки с жиром, чемоданы с арктической одеждой, даже открытки и марки. Вот почему мы живы и я могу посылать открытые и закрытые письма. Второй год осады города! Вот как мы уцелели в декабре-феврале.

Потом мучительнейший скорбунт, крики мои и стоны от ног, сведенных в конвульсиях. Я лежала февраль, март. Бедная мама! Ты представляешь? Отморозить ноги и руки в комнате, где мы спали при трех градусах мороза, и вода обращалась в лед. Нервы ее очень исчахли. Она меня замучала. И наша физическая структура! И ее старость! И эта большая боль друг за друга. И ее непреклонная душа, без скидок на жизнь, без уступок на человека!

Только 12 июля мы наконец, уехали. Мое учреждение в Саратове. Там комната в центральной гостинице, хороший свой стол с особым пайком, работа, жизнь, жалованье. Они уехали зимой, в лютые морозы, когда я лежала. Меня звали, ждали, по-нуждали. Я не решалась из-за мамы. И разоренье. И мир книг! И комната с детских дней! И всякие иррациональные вещи.

Наконец, уехали 12 июля после большой физической и душевной укладки. Судьба послала мне крупного оборонного человека, отправлявшего нас на машинах, с военной помощью. И вот эпилог. Уже на первом этапе путешествия я свалилась; мама держалась молодцом, и в ней проснулась светская женщина.

Пришлось пресечь путешествие и вернуть меня обратно, на предмет лечения. Тот же военный подобрал нас в чистом поле (а я уже мечтала о Чистополе) и доставил лично. Распечатали двери... свалили груды тюков... и так и живем, не зная, как быть, что же делать. Тут свалилась с температурой сорок и мама, но скоро ожила, хотя и медленно. События струдились. Военный уехал. В Саратов далеко, опасно. Зимовать здесь вторично пагуба. Вот и сидим.

Я не люблю Римского-Корсакова. Он слишком академичен и чересчур музыкально прав. Я написала бы к его «Китежу» новое либретто. Я сделала бы из него пастеризованный город, без единой бациллы жизни; там нет ни беременных женщин, ни детских голосов. Это была бы колба, из которой выкачали воздух, — нет, время. Будущее его! А настоящее? Там вечно ждут футурности, а настоящее футуристично.

На этом обнимаю тебя и твоих. Целую Зину, Ленечку, дорогого тебя. Предполагай, что я тут и пиши при всех обстоятельствах сюда. — Так рука попадает в щель, как наша жизнь в эти попала дни. Будем ли живы? —

Я работала, хоть урывками, все время, — писала, ради «чистой науки». И как хочется! Но нет ни сил, ни возможности: все упаковано.

Обнимаю! Твоя Оля

Многие галлюцинировали едой. Ее видели, ее ощущали, о ней постоянно думали и говорили о ней. О, будет ли когда-нибудь день, когда эта попытка прекратится!

Голод убивал нервы, волю, память. Мы все были полоумные, возбужденные, бешеные; женщины в лавках визжали, били друг друга, плакали и голосили, катались в истерике; переполненные трамваи являли страшное зрелище, и люди давили один другого, оскорбляли, рычали, кричали, калечили. Наряду с этим наступало отупение. Многие утратили способность плакать даже в часы сильнейших горестных переживаний. Память угасла.

Я мечтала о встрече Нового года, вернее, о проводах старого. В течение всего месяца я отказывала себе во всем, чтобы спрятать, скопить к Новому году. В Новый год я больше не верила. Но я провожала страшный 1942 год и праздновала победу жизни. Итак, мы прошли его, мы его пережили, мама и я. Кругом бушевала смерть. Мы потеряли дорогих друзей, мы смотрели в лицо смерти и голода. Мы, живые, перерождались физически и душой. Из-под обломков жизни, уже засыпанные мусором и камнями развалившегося государства, мы выкарабкивались ценой последних усилий. Но вера еще тлела.

Мама и я навели чистоту, сменили белье. Согревшись и поужинав, мы в восемь часов легли спать. Это была добрая ночь, праздничная, тихая и теплая. Ночь без надежд, без грусти, без мысли.

Наконец, начал свое наступленье и январь. Замерзла вода в водопроводе. Ужасно было в январские морозы идти с ведрами и кувшинами в чужой дом, спускаться в подвал, в скользкой темноте бродить

среди льдов и потоков день и ночь бегущей прямо на пол воды, и потом выбираться снова на землю.

Мороз доходил до 28 градусов. И снова этот режущий холод, окоченелые пальцы, холодные ночи под кучей одеял, и мучительные долгие темные утра в ожидании рассвета.

Мы доходили до крайности. Мамина патетика страха, голода, заморзания была ужасна. Двойные мученья, за нее и за себя!

— Ты на это шла, — говорила мама ехидно.

С января возобновились налеты и продолжались обстрелы. Теперь уже они совершались комбинированно. В газетах не сообщалось ни о налетах, ни о голоде и бытовом бездорожье, ни об обстрелах. О них запрещено было писать в письмах, говорить в разговорах.

Человек подвергался насилию, смерти, всем ужасам голодного истощения и борьбы с физической природой, всем лишениям заброшенного государством, но эксплуатируемого им существа.

Я заметила, что события стали повторяться. Была весна, голубое солнечное небо, перемежаемое на этот раз пасмурными и дождливыми днями; те же праздники, выдачи, позорные задержки пайка, голоданье. У нас нет ни керосина, ни дров. Мама дрогнет, хотя на дворе весна.

В доме ничего нет. Мы, бледные, истощенные, умученные, пьем воду с крохами хлеба. Но и самовар нечем подогреть. Я сижу у себя за столом, но работать не могу из-за анемии мозга. Передо мной листики, исписанные моей рукой, с моими «Лекциями по теории фольклора», но голова не варит. Завтра еще более страшный день, даже без пустого супа.

Я бегала в поисках работы, т.к. паек первой категории теперь выдавался только служащим. Меня рекомендовали для работы в Архиве. Я не смела отказываться. С конца июля начались мои визиты в здание Сената, где меня ласково встречали, но не могли придумать формы, в которой протекала бы моя работа. Тогда мне предложили тему о героизме ленинградских женщин. Мне понравилась мысль показать, как работали в осажденном городе деятельницы духовных профессий.

Знакомство с ленинградскими героинями было мало интересно. Меня больше занимали маленькие люди. С двумя женщинами мое знакомство оказалось прочно. Одна из них была Юдина. Я ее знала давно, когда к ней ходили Доватур и Егунов, почти студенты, и таскали для нее античные книги из нашего кабинета. Потом я узнала, что она приятельница Бори и Жени. Давно я хотела с ней познакомиться.

Профессор нашей консерватории, она была изгнана за открыто исповедавшуюся религиозность, и теперь приезжала из Москвы на концерты. Ее героизм был подлинным. Нужно было иметь высокий стойкий дух, чтоб добровольно жить в нашем страшном городе, выносить

смертельные обстрелы, и в кромешной тьме возвращаться черными вечерами на седьмой этаж Астории. Юдина очаровала маму, которая сразу почувствовала к ней какую-то семейную любовь и близость.

Б. ПАСТЕРНАК – А. О. и О. ФРЕЙДЕНБЕРГАМ

Москва, 5 ноября 1943

Дорогие тетя Ася и Оля!

На днях Юдина нашла и вновь подарила мне вас. В прошлом году я послал вам несколько писем и телеграмм, оставшихся без ответа. Из последнего твоего письма, Олюшка, я знал, что вы двинулись было из Ленинграда и опять туда вернулись. Больше известий от вас не поступало, а запросы оставались без ответа. Но не я один был в отношении вас в таком положении.

Факт близкого нашего родства очевидно широко известен, что доставляет мне всегда живейшую радость. В прошлом году, когда как раз я терзался неведением о вас, в одном издательстве ко мне подошла незнакомая и очень милая молодая женщина, сказавшая мне, что она твоя ученица по фамилии, кажется, Полякова¹⁸, и что после твоего несостоявшегося выезда из Ленинграда она потеряла твой след. Вскоре с теми же сожалениями ко мне обратился проф. Б.В. Казанский.

В последней открытке, которую я тебе написал, я упоминал тебе с радостью, как тебя знают и любят. В результате вашего молчания я пришел к нескольким допущеньям, из которых самым легким было предположение, что вы все-таки выбрались в какую-нибудь сибирскую глушь. Я был уверен, что вас в Ленинграде нет, а вашего дома (раз письма не находят вас) и по-давно: что его снесло снарядом. Розыски вас я приостановил в конце декабря.

Нынешним летом Казанский посоветовал мне написать в Центроэвак в Бугуруслан, и я этого не сделал только потому, что были едущие в Ленинград, и я надеялся запросить через них университет. Вы для меня были настолько потеряны, что мне трудно даже было скрывать это в телеграммах от папы.

В конце декабря я опять уехал от холодов к Зине и Леничке в Чистополь на елку; ведь он родился как раз в новогоднюю ночь. Я очень полюбил это звероподобное пошехонье, где я без отвращения чистил нужники и вращался среди детей природы на почти что волчьей или медвежьей грани. Все-таки, элементарные

вещи, как хлеб, вода и топливо были как-то достижимы там, не то что в многоэтажных московских ребусах, в которых зимами останавливаются все токи, как кровь в жилах, и которые в меня вселяют мистический ужас. Я там опять прожил несколько месяцев и перевел «Антония и Клеопатру». Их печатают, а «Ромео и Джульетту», мою прошлогоднюю работу, я может быть пришлю тебе до Рождества.

Когда я летом прошлого (42-го года) приехал в Москву, я столкнулся с полным нашим разореньем, из которого потрясла меня только почти полная гибель папиных эскизов и набросков, а частью и законченных вещей, которые у меня имелись. Я уезжал среди паники и хаоса октябрьской эвакуации. Мы с Шурой ходили в Третьяковскую галерею с просьбой принять на хранение отцовские папки. Никуда ничего не принимали, кроме Толстовского музея, который далеко и куда не было ни тележек, ни машин.

У нас на городской квартире (восьмой и девятый этаж) поселились зенитчики. Они превратили верхний, незанятый ими этаж в проходной двор с настезь стоявшими дверями. Можешь себе представить, в каком я виде все там нашел в те единственные 5-10 минут, что я там побывал.

В Переделкине стояли наши части. Наши вещи вынесли в дом Всеволода Иванова, в том числе большой сундук со множеством папиных масляных этюдов, и вскоре ивановская дача сгорела до основания. Эта главная рана была для меня так болезненна, что я махнул рукой на какие бы то ни было следы собственного пристанища, раз пропало главное, что меня связывало с воспоминаниями.

Я не мог заставить себя пойти на свою городскую квартиру еще раз, и прожил осень и половину прошлой зимы, не побывав ни разу в Переделкине, где прожил лучшее время с Леничкой, которое любил и где сосредоточенно и в тишине работал, хотя знал, что там живет Ленькина няня и что туда надо было бы съездить. Всю зиму (до Чистополя) я кочевал, некоторое время жил у Шуры, а больше у больших своих друзей профессора Валентина Фердинандовича Асмуса и его жены, где зажился и сейчас, и откуда пишу тебе.

В июле я привез в это разоренье Зину с ее сыном Стасиком и Леничкой. За старшим, Адрианом, с ампутированной ногой

(костный туберкулез), она недавно со страшным трудом ездила в Свердловск и привезла полуумирающим. Он под Москвой в санатории.

Страшных трудов стоило выселить из квартиры зенитчиков. Это удалось только на прошлой неделе. Зина героически переехала в этот неотапливаемый пустырь постепенно обживать его. Ее другой сын, Стасик — живет у знакомых близ Курского вокзала, она в Лаврушинском, я у Асмусов близ Киевского, Леничка со своей прежней няней, странной, чтобы не сказать больше, женщиной, не чающей в нем души, живет у ней на кухне нашего пустого дома в Переделкине. Я надеюсь, что холода, в конце концов, всех нас туда загонят.

Когда Леня тихо подходит к моему столу во время моей работы, чтобы посмотреть, как это мне помешает (как теребят корочку на губе), это на меня действует как присутствие музыки. В конце концов, он самое крепкое, что связывает меня с жизнью. Кроме того, зима в лесу, что может быть проще в смысле разрешения дровяной проблемы. Если мы там очутимся, я примусь за «Лира». Мне заказали «избранного Шекспира»: Лира, Макбета или Бурю, и две хроники, Ричард II и Генрих IV.

Нам сейчас очень трудно, ни угла, ни обстановки, жизнь приходится начинать сначала. В сентябре я был на Брянском фронте. Мне было очень хорошо с военными (армия была все время в передвижении), я там отдохнул. Когда позволят обстоятельства, я опять туда поеду.

Посылаю тебе книжечку, слишком тощую очень запоздалую и чересчур ничтожную, чтобы можно было о ней говорить¹⁹. В ней есть только несколько здоровых страниц, написанных по-настоящему. Это цикл начала 1941 г. «Переделкино» (в конце книги). Это образец того, как стал бы я теперь писать вообще, если бы мог заниматься свободною оригинальной работой. Это было перед самой войной.

Ты догадаешься по почерку и стилю, что пишу я страшно второпях. Я очень много работаю эти недели (жизнь у Асмусов в этом отношении очень благоприятна: он мне уступил свой кабинет, я им только что много о вас рассказал. Она — Ирина Сергеевна Асмус²⁰, моя приятельница, в ней есть какие-то тети Асины черточки).

Я очень много работаю. Мне хочется пролезть в газеты. Я поздно хватился, но мне хочется обеспечить Зине и Леничке «положенье». Зина страшно состарилась и худа, как щепка. Приехали из Ташкента Женя с Женичкой. Он учится в Академии танкостроения, лейтенант (20 лет), на втором курсе, на хорошем счету, любим товарищами. Я пишу, перевожу, сочиняю поэму на современную тему с войной и буду ее печатать в «Знамени» и «Правде»²¹. Папа и сестры с Федей и семьями живы и благополучны.

Без конца целую и обнимаю вас.

Ваш Боря

[Надпись на книге «На ранних поездках»]

Новообретенным тете Асе и Оле в знак обожанья с просьбой извинить эти запоздалые пустяки и не судить за их ничтожность.

Боря.

2 ноября 1943

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 6 ноября 1943

<В Ленинграде 14 ноября 1943>

Дорогие тетя Ася и Оля!

Знаете ли вы, что я прошлой осенью безуспешно справлялся о вашем местопребывании, после того, что несколько моих писем к вам остались без ответа? Сейчас пишу эту открытку для проверки. Я вам отправляю два заказных и телеграмму. Авось что-нибудь дойдет.

Сообщения Юдиной были для меня непередаваемым счастьем. Я вас уже не чаял в живых. Все, — папа и сестры, Женя и Женек и все мои живы и здоровы, — подробности в большом письме.

Извести меня как-нибудь, Оля, о вашем здоровье, хотя Юдина много мне рассказала и меня успокоила.

Телеграмма срочная [8.11.43]

НЕ ПОЛУЧАЛ ОТВЕТОВ. РАДУЮСЬ СВЕДЕНИЯМ ЮДИНОЙ. ЗДОРОВЫ, ОБНИМАЕМ, ПИШИТЕ – БОРЯ.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 ноября 1943

<В Ленинграде 22 ноября 1943>

Дорогая Олюшка! Поздравил папу и сестер с октябрьскими днями и в телеграмме сообщил о Вашем здоровье. Получил ответ.

Thanks often read about you heard transmission Moskow Celebration rejoice with fatherland all well father Pastenaks Slaters*.

Мне очень трудно бороться с царящим в печати тоном. Ничего не удастся; вероятно, я опять сдамся и уйду в Шекспира. Целую тебя и тетю.

Твой Боря

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 18 ноября 1943

<В Москве 25 ноября 1943>

Дорогой, родной Боря!

Спасибо за все (стихи, телеграмму, письмо). Я до 1 декабря трагически занята, не могу тебе написать. Сейчас одно: мы тебя зовем к себе перезимовать, отдохнуть, поработать в спокойствии. Ты найдешь на нашем фронте, в городе-фронте, нужный для тебя материал, какого нет нигде. Дровами я запасена, в остальном — устроимся, моя комната и наши сердца — твои.

Мама рыдала, слушая твое письмо, о Зине особенно. Мы обнимаем вас, целуем, плачем о пережитом. Привет Юдиной и Женям, Шуре с Ириной.

Твоя Оля

25 ноября мама упала на кухне. Мы с соседкой едва поднимаем ее, тащим, бросаем на кровать. Мама молчит. Изнываю от ужаса и холодной тоски. Я плачу о маме, о нашей рухнувшей жизни, обо всем невероятном, в чем жили мы еще вчера, еще утром.

На мамином лице уже лежали тени. Соседка посмотрела на маму и сказала:

— Да. Это маска покойника. Жизнь едва тлеет. Через день она угаснет.

* Благодарим, часто читаем о вас, слушаем передачи из Москвы. Поздравляем и радуемся вместе с родиной. Все благополучны. Отец, Пастернаки, Слейтеры (англ.).

Но я сказала, отвечая самой себе и прислушиваясь к своему инстинкту жизни:

– Неизбежности не принимаю. Я верю в чудо!

Каждый день мамино дыхание рождал во мне надежду: материнская жизнь приобретала теперь то истинное значение, которое она имела в идеальном плане: она дарилась мне природой, а не давалась в вечное пользование. Я писала Боре, что живу напряженным счастьем некроманта. Своей страстной волей я, казалось, гипнотизировала природу, своими слезами вымаливала дни и часы полубезжизненному телу.

Теперь с привычной целеустремленностью я бросилась спасать маму от смерти. Мне казалось, что уходом, стиркой пеленок, кормлением я сооружаю вокруг мамы баррикаду от смерти, что своими руками и молитвами я ее охраняю.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 20 декабря 1943

Дорогой мой Боря, рука не поднимается сообщить тебе, что в тот самый день, 25 ноября (как видно по обратной расписке), когда тебе вручили наш зов на отдых и мирное житье — наша жизнь рухнула. С мамой произошел около десяти часов утра удар, с поражением правой стороны, речи и рассудка.

Через что прошла моя душа — не могу сказать. Инстинкт крови и духа подсказал мне через пятнадцать минут после катастрофы, что это несчастье, но не смерть. И с тех пор я живу напряженным, неживым счастьем, точно некромант. Только в благополучии люди могут горевать, тосковать, хандрить. В потрясющем несчастье жизнь оборачивается, как медаль, основным значением. Я все простила жизни за это счастье, за незаслуженный мною дар каждого дня, каждого мамино дыхания. Ей уже все это не нужно. Она сделала свой путь скорби и, по видимому, завершила его каким-то высоким примирением, не бытию свойственным. Именно в то утро на ее душу, дотоле надорванную и ожесточенную блокадой быта и того, что зовется жизнью и днями — как раз она встала успокоенная, утишенная, самоуглубленная, почти радостная.

Ужасно для моей души следовать за ее вывихами и параличем памяти и сознания. Она, подобно душе в метампсихозе, проходит круг своей былой жизни, бредит своим детством, потом своей семьей и ее заботами. А я следую за нею по страшным лабиринтам небытия. Мороз пробегал у меня сперва, члены

мои тряслись, когда она спрашивала «Где мои дети?», и называла меня Ленчиком, и говорила с возмущением гордой матери, что я не Оля. Как только лопнули шлюзы сознания, реальности, так появился Сашка, и Ленчик, и мама (бабушка), и это шло в своей строгой и доброкачественной логике, без бреда. И вот я привыкла переселяться в наше детство, в нашу семью, в смещение времен и сроков, и тоже без бреда, и тоже в инобытие.

Уход за ней мне привычен — это героика вытаскивания из-под страшной гольбейновской косы. Черчилля сейчас кормят не лучше, чем ее. Я неотлучно берегу ее днем и ночью, одна.

Сначала руки опускались у меня перед ее бассейнами в постели. Теперь и это нашло свою встречу в своеобразной технике и в создавшемся прецеденте. Меня ласкают ее запахи тем больше, чем они матерьяльней, и все то теплое, физиологическое, что телесно из нее излучается и дает себя прощупать, подобно самой природе или доказательству.

Сколько времени продлится мое счастье? Тьфу, тьфу, тьфу, но страстной волей некроманта я гипнотизирую, пока что, события, и мама медленно поправляется. Жив Господь! Зачем пытаться жизнь? Она может быть и великодушной.

На столе остались ее книги, очки на них: Шекспир, раскрытые страницы Электры. Едва придя в себя, косноязычно она рассказала мне острогу Лукулла, переданную Плутархом.

Около меня «Смерть Тентажиля»²² выплывает, далеким вспоминается. Если б ты знал, как мама любила тебя! Ее последние слезы и состраданье — о Зине.

Обнимаю тебя, плачу. Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Телеграмма [2 января 1944]

УБИТ ИЗВЕСТИЕМ ДУШОЙ С ТОБОЮ НАДЕЙСЯ. С ШУРИНОЙ ТЕЩЕЙ БЫЛО ПОЛГОДА ТОЖЕ САМОЕ, ВЫЗДОРОВЕЛА. ОБНИМАЮ ЦЕЛЮЮ – БОРЯ.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград 10 января 1944

Дорогой мой Боря, сердечное спасибо за телеграмму и участие, которое в такие дни особенно утишает душевную боль. Спасибо за надежду. Мама поправляется, но парализована и часто безумна. Я — подобно богине, вымолившей бессмертие сво-

ему земному возлюбленному, но забывшей попросить и преодоление старости; так и остался он при ней, но дряхлый, перегруженный днями.

Получила телеграмму от Поляковой. Это моя ученица, настоящая, наследница. Я не знаю ее адреса.

Борису Васильевичу Казанскому, моему старому приятелю, большой привет. Я по неделям не выхожу, некому бросить открытки.

Обнимаю тебя и твоих. Оля

А мама приходила в себя и поправлялась. Она уже говорила, хотя вначале шепотом, потом вернулся и голос. Потом, рядом с бредом стало появляться ясное логическое сознание. Светлой, мудрой, прежней воскресала мама. Уже и лицо стало прежнее, одухотворенное, мягкое, прекрасное. О, сколько любви, сколько материнской ласки давала мне мама! Как будто она возвращала мне свой долг за дни осады и давала силы на многие дни одиночества впереди.

И преисподняя забывалась. Раны исцелялись.

В начале января у мамы появились боли в животе.

Одновременно обстрелы стали особенно невыносимы. 17 января после полудня залпы стали ужасны. Я увидела, что очередь доходит до нас.

Я села на кровать к маме. Страшный гром и разрыв. Посмотрела на часы, следя за интервалами. Вдруг снова гром, потрясающий, уже без разрыва. Рядом! Гром — землетрясение. В нас. Оглядываюсь, что происходит: одновременно с моим взглядом падают все стекла разом. И январская улица врывается в комнату.

Во мне рождаются сверхъестественные силы. Я хватаю шубу, укутываю мать, тащу тяжелую кровать в коридор, вдвигаю мамину кровать к себе в комнату. Там одно окно цело, другое затыкаю тряпками.

Все живой человек переживает. Время движется.

Это был последний обстрел Ленинграда.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 12 января 1944

Дорогой Боря, спасибо за «Переделкино» (и «художника»)²³. Мои сейчас обстоятельства — лучший эксперт по установлению подлинности искусства. Я ожила, читая тебя. Бесконечно горжусь твоей творческой «несгибаемостью», зная ей цену, чего стоит и за что идет. Сложность твоей простоты напоминает мне дорогие матери, — чем, бывало, проще, тем дороже. Это настоящее, большое, вечное.

Мама успешно квалифицируется на калеку, — я хочу сказать, поправляется. Сознание правильное, но слова забыты. Например: «Ленчик давно нашел Гезиода», значит: «Дай мне сала-ла». Мы обе несчастны.

Обнимаю тебя.

Твоя Оля

Пишу ночью. Уход очень трудный — да еще зима, морозы.

У мамы уже были глубокие гнойные пролежни. Из-за боли ее нельзя было переворачивать. Мама кричала, бредила.

С марта месяца пошло явное ухудшение. У мамы пропал аппетит. Мама перестала говорить. Теперь она как бы существовала только для того, чтоб страдать. Мамины боли надрывали душу. От горя я отекала, одичала. Четыре месяца я почти никогда не выходила на улицу, не обедала. Ноги так отекли, что я уже через силу ходила.

Где-то в глубине души меня жгло сознание, что мама страдает из-за меня; что эти жгучие муки посланы судьбой для того, чтобы я могла и хотела пережить разлуку с мамой. Как я перенесла бы ее уход от меня, если б она осталась в сознании, если бы великое материнское обаяние не было бы заглушено этой нечеловеческой, роковой, слепой болезнью?

6 апреля, после ночных мучений, она засыпала и просыпалась. Я с трудом попоила ее сладким чаем. Она заснула и больше не проснулась. Четверо суток мама спит. Я ничем не занимаюсь. Я жду, когда прервется ее жизнь. Сажу на стуле. Но страшно дышит мученица. Одно у нее осталось недоделанное дело на земле: дышать.

Мама дышала то громко, то неслышно. Но вдруг меня ударила совсем особая значимая тишина. Я упала на колени и так долго стояла. Я благодарила ее за долгие годы верности, любви, терпенья, за все совместно пережитое, за 54 года нашего содружества, за дыханье, которое она мне дала.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 14 апреля 1944

Дорогой Боря.

Я осталась одна. Как-нибудь наберусь сил написать тебе, но не знаю когда. Живу одна в большой пустой квартире. Если б ты мог достать командировку! Ты отдохнул бы и поработал у меня.

Пережито ужасное. Мама нечеловечески страдала четыре с половиной месяца, но заснула 6-го и спала до 9-го, когда в девять часов вечера ее дыхание оборвалось.

Ко мне не доходили письма (четвертый этаж!), а на имя дворничихи уже доходят. Живу я там же (если, когда захочешь телеграфировать, то на старый мой адрес).

Обнимаю тебя.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Телеграмма [5 мая 44]

БЕДНАЯ ОЛЯ РАЗДЕЛЯЮ ТВОЕ ГОРЕ И ОДИНОЧЕСТВО. ОПЛАКИВАЮ ДОРОГУЮ ТЕТЮ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ. БОРЯ.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 июня 1944

Дорогая моя Оля, не удивляйся, что я не пишу тебе!

Ужасно много кругом дел, народу, забот, чепухи, помех и трудностей. Между тем надо и поработать, и немного поболеть и прочее. Зина сбилась с ног, она и в городе и на огороде: месяц уже как не видал Ленички, — я в городе; деньги, деньги.

Окольным путем вдруг узнаешь что-нибудь о тебе. Так из Новосибирска (!!) привезли слух, будто в квартиру еще при тете попал снаряд. Этим объяснил я себе сообщенье через дворничиху.

Воображаю, как тебе пусто и одиноко, бедная моя! И опять у вас война началась: вчера салютовали Теориокам.

Крепко тебя целую, *твой Боря.*

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16 июня 1944

Дорогая Оля!

Я не написал главного. Приезжай к нам! Будем жить на даче по-бивуачному. Без обстановки, но с огородом. Окучивать картошку, полоть грядки, сводить червяка с капусты. При тебе Ленька не будет таким дураком. Ей-Богу, подумай. Сам-то я пока в городе, но это несущественно, и потом в июле я, наверное, перееду. А ты отдохнешь. Напиши мне, что ты делаешь?

А я перевожу против воли Отелло, которого никогда не любил. Шекспиром я занимаюсь уже полубессознательно. Он мне кажется членом былой семьи, времен Мясницкой и я его страшно упрощаю.

Первые месяцы после мамы я лежала лицом к стене. Потом ходила. Потом ждала кого-нибудь, сидела, опять лежала, бродила, убирала вещи.

Я плакала ненужными, ни о чем не просящими слезами. Я тщательно подметала пол нашей комнаты, потому что так делала десятилетиями мама. Я сидела в той комнате, где она лежала. Моя комната рядом оторвалась от меня, стала мне страшна.

Теперь у меня много времени. Я брошена в него. Вокруг меня бескрайнее время. Я хочу его ограничить заботой, забить движением в пространстве, но ничто не укорачивает его. Сколько у меня ни было бы дел, время не сокращается. Только поздними вечерами я чувствую некоторое оживанье: сейчас кончится еще один день. Умиротворенная, я ложусь и на семь часов ухожу из времени. Я вижу нашу семью, маму, всегда Сашку. Ужасны утра в постели, первое после ночи сознание. Я здесь! Опять время!

Я сравнивала себя с разбомбленным домом. После ужасного напряжения, вдруг падала чудовищная тяжесть, дом шатался, — и вдруг, после грохота и пыли, наступала непоправимая тишина.

Так и вокруг меня покой. Все сохранено в своих видимых формах. Полная, совершенная тишина и беспредельная освобожденность.

Это смерть. Осталось совсем немного: пройти через время. Вопрос только в нем. И оно же само доделает это прохожденье. День за днем.

Я ездила на острова, которые открылись после трех лет впервые. Там я сидела у моря целыми днями.

Несправедливость причиняла мне боль. Я ждала приезда Бори и прихода вернувшихся из эвакуации друзей.

Ко мне никто не зашел из товарищей по факультету, где я работала десять лет. Боря не приехал и писал изредка, с трудом, без тепла.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30 июля 1944

Дорогая Оля!

Как тебе не стыдно писать мне такие эпитафии и страшные слова! Получила ли ты мою открытку, где я тебя зову пожить у нас?

Торопись, лето уже на исходе. Если ты решишь отдохнуть у нас в Переделкине, я нарочно туда перееду посмотреть на тебя на нашем огороде, среди зелени, Зины, Ленички, живущих у нас Асмусов и прочих прелестей этого места. Я застрял в городе и ни разу там не был совсем не по непреодолимым каким-нибудь роковым причинам. Лето нежаркое, каждые три дня в неделю Зина бывает в городе, где навещает старшего своего сына

в туберкулезном институте и стряпает нам, мне и другому своему мальчику, Стасику, пианисту, ученику Консерватории, на остальные три-четыре дня, и уезжает, с тяжестями и покупками на половину недели на дачу, поддерживать тамошнее хозяйство; ходить за созданием своих рук, огородом и пр. и пр. Так она и мечется.

А у меня были дела и работы, которые удобнее было делать, не выезжая из города, я кончал перевод Отелло для одного театра, который меня подгонял и торопил²⁴. На днях, когда получу их из издательства, пошлю тебе своих «Ромео» и «Антония».

Горе мое не во внешних трудностях жизни, горе в том, что я литератор, и мне есть, что сказать, у меня свои мысли, а литературы у нас нет и при данных условиях не будет и быть не может.

Зимой я подписал договор с двумя театрами²⁵ на написание в будущем (которое я по своим расчетам приурочивал к нынешней осени) самостоятельной трагедии из наших дней, на военную тему. Я думал, обстоятельства к этому времени изменятся и станет немного свободнее. Однако, положение не меняется и можно мечтать только об одном, чтобы постановкой какой-нибудь из этих переводов добиться некоторой материальной независимости, при которой можно было бы писать, что думаешь, впрок, отложив печатанье на неопределенное время.

Недавно я телеграфировал нашим о смерти тети. Меня удивляет и беспокоит, что от них нет телеграммы в ответ, обычно они отзывались скорее. Не случилось ли там чего-нибудь? Завтра я повторю запрос.

Я хотел много написать тебе, но, видимо, это обманчивая или неправильно понятая потребность. Вероятно, на самом деле, мне хочется повидать тебя, здесь рядом, у нас, а часть того, что я мог бы сказать тебе, надо совершить и сделать.

Как ты живешь? Не надо ли тебе денег? Еще недавно такой вопрос в моих устах был бы чистым пустословьем. Но в ближайшие месяцы мне должно стать гораздо легче. Но все это вздор. Seriously: — соберись, приезжай.

Крепко целую тебя.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Телеграмма [1 октября 1944]

СЛЫШАЛ О РАЗРУШЕНИЯХ ТЕЛЕГРАФИРУЙ ЦЕ-
ЛОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЦЕЛУЮ. ВЕРЮ ВО ВСТРЕЧУ. БОРЯ.

[Надпись на «Антонии и Клеопатре»]

Дорогой моей Оле с несчетными поцелуями

Боря, 16 ноября 1944

Переделкино

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 22 января 1945

Дорогая Оля!

Спасибо тебе за телеграмму. Мне не надо, чтобы ты писала мне о Шекспире! Напиши мне о себе.

Как чудовищно, что ты там одна, борешься, наверное, и побеждаешь, но и терпишь лишения и страдаешь, а я так глупо и бесплодно-далеко! Я как-то по счастью справляюсь с задачами зимовки на даче, но каких это стоит трудов!

Не покладая рук гоню «Генриха IV-го». Нет времени ни на что. Недавно две недели болел воспалением надкостницы, как последний сапожник, некогда было в город.

Леня учится. Он говорит: папа, я понимаю эту задачу, но не знаю, надо ли прибавить или отнять.

Крепко целую тебя.

Твой Б.

18 XI 43

Зорова, радков парк! Стани
 бо за все (сржи, фелер, пива)
 Я до 1/2 II Граждани замба,
 не могу себе написать. Сейчас
 одно: мы себя зовем к себе
 пересмешар, аждокур, по-
 рабадар в спокоебном. Мы
 каждем на нашем дронге,
 в городе-дронге нуленом 9.
 Федь мажерна, карого нефчи-
 де. Дробами в запасена, в
 образном-цетрашми. Мав
 комкажа и наши серна-Тои
 Мама ризана, слушаю вас
 только, о Зине одобено. Мы
 обнимаем вас целым плачем
 с вами о передефее. Криво
 ражкоя и Мелая, Кире с Кри-
 сто

Факсимиле лицевой и оборотной стороны открытки О. Фрейденберг Б. Пастернаку 18 ноября 1943 г.



Б. Пастернак. Чистополь. 1943 г.

ГЛАВА VIII

26 июня 1945 г.

Пустая квартира. Я сижу и пишу «Паллиату»¹. Мое лицо изменилось. Я стала одутловатой, с тенденцией к четырехугольности. Глаза уменьшаются и тускнеют. Руки давно умерли. Кости оплотнели. Пальцы толстые и плоские. На ногах подушки. От неправильного обмена веществ появляются отложения и вся фигура разбухает.

Сердце стало сухое и пустое. Оно не восприимчиво к радости. Я пишу, готовлю своих учениц — Соню Полякову и Бебу Галеркину², но холодно. Только одна мысль способна оживить меня — мысль о смерти. Больше ничем я по-настоящему не интересуюсь.

Я утратила чувство родства и дружбы. Друзья меня тяготят, я не вспоминаю о Боре. Это мираж далекой, перегоревшей и отшумевшей жизни. У меня почерк изменился, походка. Я слепну.

Долгий пустой сон. Я доживаю дни. У меня нет ни цели, ни желаний, ни интересов. Жизнь в моих глазах поругана и оскорблена. Я пережила все, что мне дала эпоха: нравственные пытки, истощение заживо. Я прошла через все гадкое, — довольно. Дух угас.

Он погиб не в борьбе с природой или препятствиями. Его уничтожило разочарование. Он не вынес самого ужасного, что есть на земле, — человеческого унижения и ничтожества. Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. Таких двух ужасов человек пережить не может.

Перенести такие мучительства возможно было только при крепкой опоре любви и родства. Я осталась одна. Мою жизнь вырвало с корнем.

И вот я напоминаю Лаврецких и Вронских после написания о них романа. Они продолжают где-то жить, чистят зубы и ходят в ресторан, посещают театры и принимают гостей.

По виду — как все. Но после окончания романа жизнь героев уже не имеет никакой значимости. Она пуста.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 21 июня 1945

Дорогая Оля!

31-го мая умер папа. За месяц перед тем ему удалили катаракт с глаза, он стал поправляться в лечебнице, переехал домой, но тут сердце у него сдало, и он умер в четверг, три недели тому назад.

В момент кончины вокруг него были Федя и девочки, он умер, вспоминая меня, — это все из их телеграммы.

Зимой мне хотелось полнее и определеннее, чем я это делал прежде, сказать ему, каким потрясающим сопровождением стоит всегда передо мной и следует при мне его ошеломляющий талант, чудодейственное мастерство, легкость работы, его фантастическая плодовитость, его богатая, гордо сосредоточенная, реальная, по-настоящему прожитая жизнь, и как всегда без зависти, с радостью за него посрамляет и уничтожает это сравнение меня, мою разбросанную неосуществленную жизнь, бездарность моего быта, неоправданные обещанья, малочисленность и ничтожество сделанного, на какую трагическую высоту поднято его поприще его недооценкой, и до какой скандальности перехвалено это все у меня. Я все это написал ему, короче и лучше, чем тебе, в письме, препровожденном через дипломатические каналы Майского³ при дюжине, по крайней мере, моих Шекспиров, нарочно туда посланных в виде повода для этой записки. Они телеграфно известили меня о получении одной книги (из 12-ти). Письмо не дошло. Месяца два тому назад я послал им несколько устных поклонов.

Меня очень волнует твоя болезнь. Я не мог сообразить всего сразу и очень жалею, что не ближе посвятил Чечельницкую⁴ в обстоятельства нашего житья-бытья и не передал с ней постоянной и главной своей мечты о том, чтобы ты пожила с нами на даче. В нижней закрытой стеклянной террасе живут, как прошлым летом, Асмусы, верхняя, рядом с Леничкой, свободная, и тебе было бы очень удобно в ней.

Чечельницкая застала меня в состоянии крайней нервной расшатанности. Это было перед моим вечером, которого устроитель не подготовил, я боялся, что зал будет пустой⁵; были гости; накануне мы с Зиной перевезли из Москвы и похоронили у себя в саду под смородиновым кустом, который он сажал маленьким мальчиком, прах ее старшего сына, умершего от туберкулезного менингита 29 апреля.

У меня три месяца:

1) жесточайше болит правая рука от плеча до кисти (плексит) и велено носить ее на перевязи, — черновик Генриха IV я пишу левою, 2) заболевают по два раза в неделю глаза конъюнктивитом от малейшего напряжения, 3) увеличена печень и

болит решительно все, но ни времени ни желания лечиться, — напротив, сквозь все страдания и слезы прилив непонятого юмора, неистребимой веры и какого-то задора...

Короче говоря, я стал рассказывать Чечельницкой о смерти папы, о Рильке, о повесившейся в эвакуации Марине и так разволновался, что мне захватило дыхание и я не смог говорить. Но ты своих представлений о нас не строй по *этой* стороне ее рассказов: она видела меня в невыгодный день и затем вечер.

Дорогая Оля, мне сейчас придется прекратить письмо, которое я противозаконно пишу тебе правой рукою: она слишком разболелась. Мне надо еще уйму сказать тебе, из чего я не заикнулся *и* о мельчайшей доле. Это как-нибудь в другой раз. Приезжай, пожалуйста!

Сообщи Лапшовым о смерти папы и передай им (*это правда, не слова*) им обоим и Машуре мою нежнейшую любовь и радость по поводу того, что они живы и благополучны. Как приятно мне было бы с ними повидаться!

Достань 22-й номер «Британского союзника», там о моих Шекспирах⁶, тебе будет приятно.

И будь здорова, не болей, ради бога, и *приезжай, приезжай!*
Обнимаю тебя,

Твой Боря

Боря известил меня, что скончался дядя. Я пережила эту последнюю утрату кратко, но очень тяжело. С проклятием я думала о том порядке, когда сын не имел права переписываться с отцом, а отец с детьми. И мы попрощались на расстоянии молча.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [13 июля 1945]

Дорогая Оля!

Не стоит писать писем, так их много пропадает. 31-го мая умер папа. Я об этом тебе писал, но письмо, наверное, не дошло. Я страшно огорчен твоей болезнью. Приезжай к нам, поживи у нас на даче. Я уверен, тебе понравится. Если буду жив и здоров (у меня четыре месяца болит правая рука и я ее большей частью держу на перевязи), я зимою постараюсь приехать в Ленинград по делам.

Кажется Чечельницкая задержалась тут. Повидай ее.
Обнимаю тебя.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [28 июля 1945]

Дорогая Оля!

Твое молчанье беспокоило меня. Я даже начал телеграфные розыски. Вчера косвенно узнал, что ты жива и написала мне. Кто-то (неизвестно кто) справлялся о моем адресе у Асеева, как стороной узнала в городе Зина.

Если это в твоих силах, срочно предпиши сдать твоё письмо в *управление нашего дома* (Лаврушинский 17/19), тогда я его получу, а то никак. У меня чудное настроенье, занят умопомрачительно, и трудная, чуждая, непосильная жизнь.

Приезжай.

Целую. Твой Боря

Читала ли ты статью о папе?

Читала ли ты статью Грабаря о папе в номере 28 (960) «Советского искусства», пятница 13 июля 1945⁷.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Телеграмма [1 августа 1945]

КАЗАНСКИЙ ПЕРЕДАЛ ПИСЬМО. БЛАГОДАРЮ ОБНИМАЮ ПОСТАРАЙСЯ ПРИЕХАТЬ.

– БОРЯ

Москва, 2.11.1945

Дорогая Оля!

Я летал на две недели в Тифлис⁸ и два раза по пути, туда и назад перелетал над Черным морем с пакетами изабеллы, купленными за копейки в Сухуми и Адлере, и в эти часы думал о тебе. Оно сверху самого лучшего цвета на свете, которого нельзя запомнить и назвать, серо-зеленоватого, благородного, самого некрикливого, глинисто-голубого, матового оттенка.

Жизнь в Тифлисе была как эта, дух захватывающая гамма. Странно, что я вернулся.

Перед отъездом были оказии из Англии. Бедную Лиду оставил муж. Это с четырьмя-то детьми. Но про это как-нибудь в другой раз.

Целую.

Твой Б.

[Надпись на сборнике «Избранные стихи и поэмы» 1945 г.]

Дорогой моей Оле с пожеланием наилучших
предзнаменований на новый 1946-й год.

От Бори
23 декабря 1945
Москва

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 23 декабря 1945

Оля, Оля, Оля, что же это такое, когда это кончится? Я не пишу тебе, потому что мне некогда. Но это меня гонит не жизнь, не ее трудности, а менее благородные и, наверное, более смешные мотивы. Теперь, когда это недоразуменье насчет меня и скандал так укореняются, мне действительно хочется стать человеком! Я глупейшим образом надеюсь исправить и оправдать все эти недомолвки и недоделки. Мне в первый раз в жизни хочется написать что-то взаправду настоящее. Ах, Оля, ты не представляешь себе, в каком непомерном долгу я перед жизнью, как щедра и милостива она ко мне. Но как мало времени, как много надо нагнать и наверстать!

Ты и Шура должны долго жить и быть где-то рядом. Я даже не представляю себе, что бы я мог такое отделить от себя и переслать тебе, чтобы тебе не было так одиноко! Ты должна была бы все же побывать у нас и тогда или бы осталась, или что-то бы с собою увезла, отчего бы тебе стало светлее и лучше (потому что мне ведь *очень* легко – ликующе-легко, а не материально – и незаслуженно хорошо!).

Ты прости, ты еще чего доброго не поймешь и обидишься, или воспримешь это, как волну ослепленного, *оскорбительно-участливого* хвастовства и важничанья!!

Какое несчастье! Как мне объяснить тебе это все и, главное, второпях?

Обнимаю, обнимаю тебя. Устрой так, подготовь, чтобы лето, если бог даст мы будем живы, нам быть вместе.

В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемленья. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое.

Эта атмосфера особенно велика бывает на даче, летом. У нас живут Асмусы, Шура с Ириной, бывал Женя.

Его командируют в Ленинград, и он зайдет к тебе.

Дорогая Олечка! Приезжайте к нам обязательно летом отдохнуть и пожить с нами. Я буду очень рада Вас повидать. Тороплюсь на концерт, где выступает мой старший сын Стасик, а потому больше не пишу.

Крепко Вас целую и ждем весной к нам.

Ваша Зина

Куча новостей. Но это тебе расскажет Чечельницкая. Еще раз всего лучшего. Страшно бы хотел видеть тетю Клару и всех «ейных».

Твой Боря

Знаешь что, надпишу-ка я книгу тете Кларе и Владимиру Ивановичу, и ты им передай, если считаешь, что это им доставит радость, а если нет, вырви листок с надписью и не надо.

[Тебе не посылаю, п.ч. это все у тебя есть. Если же хочешь, напиши, и я пришлю.]⁹ Посылаю.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1 февраля 1946

Что же ты никогда не пишешь, Оля? Так ли я черен и виноват перед тобой, что не заслуживаю и доброго слова? Как трудно бывает временами и как неожиданно обидно! Вообще, какой подбор неподходящих обстоятельств: времени, рождения и прочих этикеток! И как все они противоречат существу, направлению судьбы, разговору с миром! Как из этого выскочить?

Пожелай мне выдержки, т.е. чтобы я не поникал под бременем усталости и скуки. Я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня «сыр-бор» в жизни загорелся¹⁰, и тороплюсь, чтобы ее кончить к твоему летнему приезду и тогда прочесть.

Передала ли тебе записку Чечельницкая?

Твой Б.

Врач, осмотревший мое сердце, нашел, что оно «обескуражено», а нервная система совершенно утомлена. Действительно, уже девять лет я не была летом на воздухе, — и каких девять лет!

К сердечным неприятностям я отчасти привыкла, отчасти сахар укрепил сердечную мышцу. Врачи мудрили, а стоило мне начать есть и возобновить силы организма, как болезнь сердца прошла.

Большие мысли возникали у меня о прозе. Это стало сейчас моей заветной задачей: сказать, что такое проза. Мне казалось, как писатель — поэт лишь в зрелости переходит к прозе, так и ученый может себе позволить такую проблему лишь в конце своего умственного пути.

Я не допускала независимых форм в античности, ни рассказа, ни «логоса» — новеллы, вопреки обычным взглядам. Сначала — большая и сложная проза с паратоксической композицией. Я ясно увидела путь древнего сознания от сложного к простому, но не наоборот.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [24 февраля 1946]

Дорогой мой друг Олюшка!

Какую радость доставила ты мне своим сегодняшним письмом! Зина тебе благодарна и крепко целует.

Нет, ты о сердце в карандашном с островов ничего не писала, — как меня это огорчает и напугало! Но ты не расстраивайся. У меня было два периода в жизни, когда мне о сердце такое говорили! Как ты чудно пишешь, можно позавидовать. Впрочем, ты сама, верно, это хорошо знаешь. Я великолепно представляю себе, какой костяк вопросов поддерживает твой интерес к проблеме прозы, и как это будет глубоко! Это наверное (в сопоставлении с условностью не-прозы) будет параллель двух культур или систем, и душу одной будет составлять преемственность и форма, а другой — новшество и откровение.

А твои слова о бессмертии — в самую точку! Это — тема или главное настроение моей нынешней прозы. Я пишу ее слишком разбросанно, не по-писательски, точно и не пишу. Только бы хватило у меня денег дописать ее, а то она приостановила мои заработки и нарушает все расчеты. Но чувствую я себя как тридцать с чем-то лет тому назад, просто стыдно.

Целую тебя крепко, моя хорошая.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва [31 мая 1946]

Дорогая Оля!

Ну вот опять лето и опять, не веря в то, что это когда-нибудь случится, я прошу тебя к нам. А между тем, смутные расчеты на то, что вдруг ты когда-нибудь возьмешь да приедешь, таятся

где-то в глубине души, потому что, например, мы выдерживаем Асмусов на крытой стеклянной террасе и бережем внизу одну комнату либо для тебя, либо для Шуры с Ириной или еще для кого-нибудь.

Я еще в городе, — я хочу и должен написать общее предисловие к собранию своих Шекспировских переводов¹¹ (известные тебе, плюс Отелло и Генрих IV), а вместо этого все время страшно хочется спать. Если бог даст я буду жив, я в октябре или ноябре обязательно съезжу в Ленинград.

Ничего не могу сообщить тебе нового, соотношения сторон моей жизни прежние, мне очень хорошо внутренне, лучше, чем кому-либо на свете, но внешне, даже не мне, а моему Шекспиру, для того, чтобы он пошел на сцене, требуется производство в камерьонеры, то самое, чего мне никогда не дадут и потребность в чем, тебя с моей стороны так удивила¹². Но у меня все сложилось бы совершенно по-иному и я, может быть, сделал бы много нового, если бы на меня стал работать театр.

Как твоё здоровье? Я не жду от тебя большого письма, я знаю — как трудно бывает писать, когда считаешь, что это нужно. Всего лучше было бы, если бы ты к нам собралась. Леня уже на даче, Зина и там и тут. Женя кончает академию. Прости за эти вялые строки, я тебе ничего не собирался сообщить, а только хотел напомнить, что наступило лето.

Крепко целую тебя. За открытку все-таки был бы благодарен. Зина всегда ждет тебя так же, как я.

Твой Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 29 июня 1946

Дорогой Боря!

Прости меня, что я не отвечаю на твоё доброе письмо. Я развилась от жары, склок и внутреннего омертвения. Через несколько дней закончится учебный год, состоявший не так из академических занятий, как из выпутывания из силков, в которые меня загоняли мои товарищи — доносчики и интриганы типа Толстого¹³. Перед глазами горит фраза из «Чайки»:

«Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите!»¹⁴

Когда отдохну, напишу тебе. Сердечно обнимаю тебя и Зину.

Твоя Оля

Новый учебный год начался собранием преподавателей, которых поучал и напутствовал ректор. В августе вышло знаменитое по открытому полицейскому цинизму постановление ЦК о «Звезде» и «Ленинграде», где мы показали на весь мир, что искусство создается у нас по прямой указке регулирующего органа. Все ждали и жаждали напутствий.

Ректор появился в русской рубашке под пиджаком, с расхристанным воротом. Это символизировало перемену политического курса и поворот идеологии в сторону «великого русского народа», прочь от «низкопоклонства» перед западом. Он говорил о постановлении ЦК, о дипломатической войне, о противопоставлении двух миров. У него была такая фраза: «К сожалению, многие из советских людей увидели границу. Это заставило их ослепиться показной культурой. Мы теперь должны разоблачить этих людей и их неправильные взгляды. Нужен величайший отбор людей, тщательная осторожность в отношении всего, что идет в печать».

Университет от меня внутренне отпал. Я потеряла последние остатки живых соков в душе. Тяжелое, свинцовое лицо стало у меня. И сама я, глядя на себя со стороны, поражалась этой мертвой давящей убитости, стараясь найти для нее термин. Нет, никакая «подавленность», никакая «депрессия», даже «убитость» не передавала этого холодного, каменного состояния.

После речи Жданова все последние ростки жизни были задушены. Европейская культура и низкопоклонство были объявлены синонимами. Опять идет волна публичного опозориванья видных ученых. Когда знаешь, что эти старики с трясущейся головой, со старческими болезнями, полуживые люди, от которых жены скрывают такую «критику» — впечатление получается еще более тяжелое.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 5 октября 1946

Дорогая Оля!

Как твои дела и здоровье? У меня и у Зины летом была некоторая, хотя и слабая надежда, что ты приедешь. У нас все время было много народа. Шура с Ириной, разная молодежь и мы все время берегли для тебя то комнату, то верхнюю стеклянную террасу.

Прости, что я не написал тебе. Я с чрезвычайной, редкой удачей работал в последнее время, особенно весной и летом. Мне надо было к собранию пяти моих шекспировских переводов написать вступительную статью, и я не верил, что я это одолею. Удивительным образом это удалось. Я на тридцати страницах сумел сказать, что хотел о поэзии вообще, о стиле Шекспира, о каждой из пяти переведенных пьес и по некоторым вопросам, связанным с Шекспиром: о состоянии тогдашнего образования, о достоверности Шекспировской биографии. Экземпляр статьи есть в злополучной вашей «Звезде» или «Ленинграде» (т.е. в их редакциях) у Саянова или Лихарева¹⁵; если у тебя есть общие знакомые, достань ее, пожалуйста. Мне хотелось бы, чтобы ты ее прочла, — хотя с таким же пожеланием я уже обратился к Ахматовой и Ольге Бергольц.

А с июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902-1946 г., и с большим увлечением написал четверть всего задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года — первые шаги на этом пути, — и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, — а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе.

Сначала все это «ныне происходящее» в моей собственной части ни капельки не тронуло меня¹⁶. Я сидел в Переделкине и увлеченно работал над третьей главой моей эпопеи.

Но вот все чаще из города стала Зина возвращаться черною, несчастною, страдающей и постаревшею из чувства уязвленной гордости за меня, и только таким образом эти неприятности, в виде боли за нее, нашли ко мне дорогу. На несколько дней в конце сентября наши дни и будущее (главным образом, в материальной форме) омрачились. Мы переехали в город в неизвестности насчет того, как сложится год с этой стороны.

Но сейчас я думаю, что все наладится. Ко мне полностью вернулось чувство счастья и живейшая вера в него, которые переполняют меня весь последний год. И перед возобновлением

прерванной работы (я решил сегодня снова засесть за нее), мне хотелось, пока у меня есть время, дать тебе весть о нас всех.

Наверное, эта «кампания» бьет и по тебе, и твои неприятности усилились?

Как это все старо и глупо и надоело!

Ты тогда очень хорошо процитировала выкрики Треплева из «Чайки».

Крепко целую тебя. Зина тоже кланяется тебе и тебя целует. В последнюю минуту решил все же послать тебе статью в единственно оставшемся у меня полустертом экземпляре. Если после твоего чтения не изгладятся совершенно последние следы букв, передай прочесть кому-нибудь.

И вот еще я, Леня, Зина и работница Оля в разных комбинациях.

Твой Б.

Напиши, как твое здоровье. Есть ли у тебя мой перевод «Отелло»?

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 13 октября 1946

Дорогая Оля!

Написал тебе и в тот же день заболел ангиной, пролежал несколько дней.

Сейчас у меня очень нехорошее настроение, одна из тех полос, которые продолжительными периодами пересекали несколько раз мою жизнь, но сейчас это соединяется с действительной старостью и, кроме того, за последние пять лет я так привык к здоровью и удачам, что стал считать счастье обязательной и постоянной принадлежностью существования.

В одном отношении я постараюсь взять себя в руки, — в работе. Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме) со всеми оттенками ан-

тихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности.

Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.

Это все так важно и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов.

Пакет с фотографиями, статьей, книжками и прочим я отправлял не сам, а дал отправить нашей почтальонше, так что когда ты получишь, не задумывай большого ответного письма, но извести открыткой о своем здоровье и житье-бытье.

Целую тебя. Мне совсем невесело.

Твой Боря

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 11 октября 1946

Боря, дорогой!

Еще только тебе одному на целом свете я могу сказать — родной! Ты единственный оставшийся у меня родной, — нет даже Сашки, дяди, совсем я одна. Кто-то как-то спросил меня, с кем я живу, и я ответила, не замечая: «У меня нет родных». Сказала легко, но звуки стукнули мне в уши. И эта фраза пережилась, как нечто большее, чем утрата в ее реальности.

Ты так щедр! Узнаю тебя. Пакет, вроде елочного дедки, с целым ворохом всего самого дорогого. С тобой самим. В лицах, в поэзии, в душе и мысли.

Ты не можешь, к счастью, представить моего потрясения, когда я увидела семейные карточки. Первое движение — броситься показывать, и вдруг срыв. Некому! Мамы нет дома.

Страшная эта первая встреча нас с тобой. Я ее боялась. Быть может, из-за этого я и не приехала. Мне страшно обнять тебя пустыми руками. И ты, с Зиной, с Леней, — не видишь, что и за тобой нет фона, как на круче. Я всегда целовала тебя и за дядю, обрывая время и расстоянье. Страшно быть родными без род-

ных, целовать за могилы. Я даже не верю, говоря откровенно, что вообще можно быть родными в одиночку.

Ты изменился. От твоего лица и мысли идет что-то серьезное; хочется даже сказать, серьезное большой серьезностью. Такое впечатление, что ты поклялся отместить случай и случайность, что ты дышишь только настоящим. Меня знобило нервной дрожью, когда я читала Шекспира в стертой и измятой машинке. Эта машинка говорила со мной языком, которого так же не знал Гуттенберг, как рука античного раба не знала буквоотливной машины. Далекой вечностью пахнуло на меня.

Что-то есть в этом от протокола истории. Твои мысли о Шекспире выглядят, как документ из архива бессмертия, хранящегося, разумеется, в рукописном виде. Теперь уже печатные буквы — нечто преходящее и несовершенное. Стертая машинка куда красноречивей и громче. Она перекричит все радио и литографии.

К Саянову есть короткий путь, если только этот пьяница на что-нибудь способен, хотя бы на возврат рукописи. Не знаю, отсылать ли тебе твой, вот этот, экземпляр, или только саяновский? Если нужно тебе возвратить, я сниму копию.

В статье все интересно, величественно и ужасно серьезно. Такое чувство, что ты говоришь во что бы то ни стало. Но я ведь не читатель тебя. Я не знаю, читают ли брата. Тут та стихия родственных встреч, семейных поцелуев и восклицаний, которые происходят у добрых людей на пляже Меррекуля и под Пизой, на Московском вокзале, на Мясницкой или Екатерининском канале. Это дубликат фотографической карточки, на которую смотришь глазами двух семейств. Много родового, кровного, как будто ты обязан говорить за всех нас.

То новое, что есть в твоём лице, ново в твоей лексике. Не верится, что это твой словарь, т.е. что ты умеешь говорить самыми обыденными конструкциями и словами. Меня такой язык коробит. Я ему не прощаю. Какое право он имеет налагать на человека такой груз? Нужно всю тяжесть смыслов передавать одними мыслями, без помощи языка. Это хорошо для экзамена, но не для стиля.

Тем виртуозней твои средства. Кто хочет, пусть покупает по наличию; имеющий уши, пусть слышит.

В популярной и краткой статье ты макрокосмичен. Тут дыхание больших мыслей, напролом в историю. Мы все в Шек-

спире, и в первую голову наши семьи. Сказать о Шекспире — это отчитаться в прожитой жизни, встрясти молодость, высказать поэтическое и философское сгедо. И ты это сделал в популярной статье. Привкус схоластической логики. Шекспировская мыслительная схоластика и спряжение во всех временах всех событий, биография в таверне, любовь шопотом в тишину, скоропись метафоризма¹⁷ — это все очень, очень хорошо. Я нашла свои мысли в трактовке Гамлета и Отелло. Эта драма громадной, как теперь говорят, целеустремленности, а не бисер; сцену с Офелией я понимаю, как ты¹⁸. Религиозность Отелловского зверства — это прекрасно. Он жалеет Дездемону, ты прав. Превосходно дана Клеопатра с Антонием. Разгул и распутство глазами Шекспировского макрокосма. Но я еще буду и буду перечитывать твою статью.

Меня поразило, что ты ввел Викторию рядом с Войной и миром. Виктория — величайшая вещь, да!¹⁹

Очень хороши твои переводы Бараташвили. Дай бог, чтоб он был таков, чтоб такой прекрасный был у него стих.

Я почти заново встречалась с Зиной, с новым тобой, особенно с Леней. Это тонкий мальчик, овальный, «субтельный». Кто знает, кем он будет! Да, я говорю «овальный», потому что решительно не люблю и не верю в круглое лицо. Он хорошее, красивое дитя. Можно ли без слез думать о том, что он никогда не увидит дедушки и бабушки, что они его никогда не видели?

Мне он кажется даже лицом в стихии нашего покойного Женечки, такой же лоб и овал.

Как хорошо, что ты пишешь; что ты допущен своей цензурой. Это самое главное. Твое счастье — чудное, настоящее. Жаль только одного в происшедшем — что ты не приедешь. Но я не сомневаюсь в твоём самообладании.

Размеры этого письма скажут тебе, что я достигла прожиточной нормы. Я так не писала три года. Я достигла, так сказать, морфологии нормы. Не раз я тебе писала, что моя жизнь есть только прохожденье через время. Я приспособилась к далекому путешествию, уселась, приобрела навыки опытного истопника, которого уже не пугает количество километров. Что делать! Я осталась жить.

Сердце я излечила сахаром. Летом болела радикулитом, закончившимся ишиасом. Не выезжала. Не работала. Волосы, пос-

ле цынги, лезут; зрение повреждено. Мозг оскудел. Когда-то бесплодие было коротким эпизодом, теперь эпизодичны просветы мысли. Печататься нельзя. Ученики подражают и утрируют. В августе я задумала оставить кафедру и перейти на полставки. Зимы ужасают меня. Я, однако, не ушла. Меня затягивает небытие, я боюсь этого. Под влиянием друзей, я снова привязала себя к грузу, чтоб не отлететь. Весной терзали меня зело, пили из меня лимитную кровь: пошли защиты моих учениц, а этого не прощают.²⁰ Я вела себя решительно и спокойно, и после провала в совете факультета диссертантки прошли в совете университета. Занимаюсь, очень бесплодно, греческой лирикой, полной шарад. И дело нейдет, и перспектив опубликованья нет, и голова плохая. Читаю много. Чтоб оглушить себя, набрала часов. Конечно, никто не может так читать греческую литературу, как я, потому что все главное прошло у меня исследованиями, и я вот уже два месяца верчу одну Илиаду, и конца не видно. Прошлись по мне в «Ленинградской правде», на собраниях, но тут же со мной примирились. Меня зовут попом Аввакумом.

Сегодня я дома, занездоровилось. Твой пакет получила вчера вечером.

Что делает Женя и Женечка? Каков он? Где Федька? Имешь ли вести о Жоне, о бедной Лиде?

Я бываю у Лапшовых. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, живы и бодры. Сегодня в восемь часов утра раззвонился Владимир Иванович, и что же? — обедать зовут.

Они писали тебе летом. Я повезу им новости о тебе. Сердечно обнимаю тебя и Зину, будь здоров. Не претендую на скорый ответ, но со временем не забывай меня и обо мне.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 15 октября 1946

Дорогая Оля!

Благодарю тебя за такой быстрый, живой и богатый ответ. Мне больно, что ты потратила на меня так много сил. Статьи мне не нужно. Но если у Саянова можно отобрать его экземпляр, это было бы очень хорошо.

Твои слова насчет серьезности и насчет того, что не для кого жить без стариков, глубоко верны, но горечь второго я в после-

днее время победил. Я жалею, что успел отправить тебе новое письмо, невеселое, кажется. Ты ему не верь. Это я расхандрился, как теперь вижу, без причины. Все устроится.

Привет Лапшовым, поцелуй тетю Клару.

Послать ли тебе Отелло?

Доклады, прочитанные на ежегодной научной сессии, гарантировались печатанием. Поэтому я дорожила возможностью такого выступления. Но я никогда не придавала значения тезисам и экстрактам, которые всегда сознательно уводила от конкретного доказательства, и потому враждебно отношусь к предварительной публикации интеллектуальной фабулы и всего наиболее интересного. Наука имеет свой стиль, свою композицию и свою экспозицию. Как грубы, как убийственны тезисы и экстракты, когда они предваряют, а не завершают исследование!

Работа о гомеровских сравнениях, которую я теперь намеревалась изложить в экстракте, писалась под гром бомбежек, в октябре-декабре 1941 года.

[Надпись на оттиске «Происхождение эпического сравнения на материале Илиады». Труды юбилейной научной сессии ЛГУ, 1946 г.]

Моему дорогому Боре в знак манифестации жизни

Оля

30 октября 46

Анализ сравнений, сделанный на примере Илиады, показал, что развернутой, независимой и реалистической частью является второй, сравнивающий член сравнения, заключающий в себе звериные, космические, растительные и бытовые аналогии.

Тематика ярости, нападения, насилия доминирует в звериных сравнениях, космические — трактуют тему гибели, мрака и разрушения. Сравнения Илиады не дают картин солнечного света, оперируя только бурей, штормом, грозой.

Причем, во всяком развернутом сравнении, мифологический план составляет основу сравниваемой части, — реалистический — сравнивающей.

Мифологическая концепция сравнения строится на представлении о борьбе двух состояний тотема, об его действии и бездействии; оба состоянья мыслятся конкретно и образно в виде обычной мифологической полярности; злая сила, берущая верх, представляется лишь подобием истинного тотема, его агрессивным двойником, когда побеж-

дает светлая сторона, тогда хтонический мнимый тотем, подобье светлого, терпит поражение и временно укрощается.

Мифологическое мышление не знает сравнения, потому что сравнение требует чисто понятийных процессов отвлечения. Это мышление прибегает только к уподоблению, пружиной которого служит образ борьбы.

Понятийное мышление, перерабатывает традиционное наследие, ничего не сочиняя, но подчиняясь уже не мифотворческому, а реалистическому сознанию. Реализм — не бытописание, бытовизм — результат реалистического сознания. Реализм сказывается на концепции времени, как длительности, в отличие от мифологического пространственного и статичного времени. Пространство из замкнутого и плоского становится стереоскопичным. Причинные связи принимают каузальный характер. Совершается переход от восприятия единичной конкретности к отнесению и обобщению, объект отделяется от субъекта, актив от пассива. Сравнение — произвольный результат именно реалистического сознания с его понятийным мышлением.

Эпическое развернутое сравнение, древнейшее из всех, создается до возникновения категории качества. Как только рождается и она, сравнение обращается в компаратив. «Как» из показателя подобия обращается в показатель качества («каков», «какой»). Сравнение с этих позиций может быть названо до-качественной категорией.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 3 ноября 1946

Дорогой Боря!

Есть много смысла в том, что работа, которую я писала под дождем бомб и снарядов, в истощении, при *светопреставлении* — потом читалась мною в торжественной обстановке университетского юбилея. Мне казалось, это не я, а Георгий держит голову дракона. И читала-то я в самый свой страшный день — ровно в год катастрофы с мамой.

Теперь это все забылось. Мне не разрешили сделать маленького вступленья, вроде только что написанного. Идиоты не понимают того, чем наполнена вся твоя поэзия — семантики времени.

Но я уже утратила высокий пафос истории, бессмертия тоже. Я еще верю в историю науки, но это уже не пламень, а постулат. Ты же — величайший памятник культуры. Ты весь заложен на доверии к величию иллюзии.

Твое второе письмо и открытку я получила. Я хотела спросить тебя еще вот о чем. Давать ли читать твою статью? Ведь ее

моментально украдут, обставив «аппаратом». На нее кинутся. В ней много шедевров. Вот на это ответь при случае.

Потом меня интересует Bowга²¹. Мне говорила Чечельницкая, что он критик твой и даже переводчик? Тот ли это, кто написал Greek Lyric Poetry? Ты произносишь «Бавра»? В его книжке много свежего. В толковании Алкмана²² он, разбойник, дал материал, который я лелеяла для своего «Происхождения лирики». При случае ответь мне.

О Саянове я помню. Ждут Катерины²³, именин его жены, чтоб пойти за статьей.

Готовлюсь к ежегодной научной сессии Университета. Сделаю предварительное сообщение о происхождении греческой лирики. Сейчас занимаюсь Сафо, одним из самых трудных вопросов всей античной литературы²⁴. Жду Отелло.

Обнимаю тебя и Зину.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 ноября 1946

Дорогая Оля, спешу ответить открыткой (а то — безденежье, дела, бог знает, когда еще смогу написать по-человечески).

Самое замечательное — про сравнивающую часть сравнения, про ее реализм, про самостоятельность, про то, что в ней вся суть, что ради нее-то и пишут (лучше всего на примере «образа закипевшей кухонной посуды, где варится свинина»). Но направление интереса в пятом разделе (слишком для меня специально, *тут* я невежда, — «тотемизм» и пр.) не все доступно, кажется, местами насильственным, натяжкой. К шестому опять выправляется, становится текучим (путь от сравнения к категории качества), это очень хорошо.

А вообще, страшно близко и похоже на мою манеру думать, и силою и слабостями, и живой, от предмета к предмету переходящей свободой, и грехами ложной (*это я про себя... грехи!!*) обстоятельности и «абсолютизма». Про свои *грехи* в Шекспире, для иллюстрации, напишу. А вообще ты молодчина, это замечательно свежо, смело и правильно (в отмеченной части).

Скоро напишу о Bowга и пр.

Главное, что очень молодо, сильно и горделиво, с сознанием собственного значения. После таких вещей хочется читать, ду-

мать, изучать. Только, как мне кажется, стихия, подобная «5»-му, тормозит. Когда я ее нахожу в себе, то сознаю ее как отрицательную, занесенную извне тенденцию к аналитизму, топчущемуся на месте и добивающемуся универсальности. Но, повторяю, это я о себе, по рефлексу.

Баура — профессор античной литературы в Оксфорде, изучивший русский язык как древнегреческий, и переводящий Ахматову, как он читает студентам Сафо. Это именно он. Я не знаю его книги, названной тобою (*Greek Lyric Poetry*). У него много трудов «From Virgil to Milton,» «The Heritage of Symbolism,» он составил русскую антологию, много переводил Блока и, действительно, один из тех, которые пристыжают меня своим вниманием²⁵.

Я тебя очень люблю, Оля, и очень крепко целую. А Зина тебя целует так, даже страшно.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 24 ноября 1946

Дорогой Боря, спасибо за Отелло. Тебе, верно, уши прожужжали, но твой перевод — чудесный. Ты не только на русский язык перевел, но на язык смысла. Шекспировская простота, свойственная всякому гению, впервые появилась на русском языке. Таких переводов не знает греческая трагедия. Найти язык для *простоты величия* — это под силу не переводчику, а большому поэту.

Может быть, я поступаю дурно, что твои дубликаты даю не Лапшовым или Машуре, а чужим людям, но для которых это величайший подарок, которые знают тебя и тонко ценят? Ведь это подарки духа, а не крови.

Спасибо за суждение о моих Сравнениях. Но в науке есть только контекст. Надо знать, что там полно изобретения, что до сих пор *ничего* не могли сказать о развернутых сравнениях. Просто я не люблю ни полемики, ни указок на оригинальность.

Я задыхаюсь от отсутствия печатанья. Редколлегия печатает только себя («Еще раз к вопросу о ...»). Не потому, что *меня* не печатают, но никого, кроме самих себя. А я пишу книгу за книгой. Как вечный жид, я вечный фармацевт с экстрактами. О, эта трагедия пересказов и сокращений! Но и это — в лучшем случае.

Обнимаю вас.

Твоя Оля

Боря, Саянов уже не имеет отношения к Звезде, а к Друзину²⁶ у меня нет хода.

Мой адрес на обороте. С канала дом закрыт²⁷.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 24 января 1947

Дорогая Оля, как это могло случиться, что я не поздравил тебя с Новым годом, что не пожелал тебе самого стереотипного: — здоровья и денег, двух вещей, из которых можно сложить все остальное! Успокой меня, пожалуйста, что ты жива, и еще чем-нибудь, что может уместиться в открытке.

Отчего я не пишу тебе?

Оттого, что разрываюсь между обычным течением дня и писанием последнего счастья моего и моего безумья — романа в прозе, который тоже ведь не всегда идет как по маслу.

Да и что остается мне еще сказать тебе, до сих пор остается, в каждом письме? Чтобы ты как-нибудь так устроилась с Ленинградской квартирой на лето (поручила ее хранить кому-нибудь), чтобы могла пожить летом у нас, близ нашей жизни и ее каждодневного копошения.

После всего сказанного становится интересно не то, почему я молчу, а скорее обратное. Итак, по какой причине, не имея сообщить ничего нового, сорвался я сейчас писать тебе?

До меня все чаще доходят слухи, что проф. А.А. Смирнов²⁸ (а может быть еще и многие, кроме него) ведут подкоп под моих Шекспиров. Я вдруг вспомнил, что это — в университете и настолько по соседству с тобой, что, может быть, тебе это обидно и огорчает тебя? Спешу тебя успокоить и уверить тебя, что это решительные пустяки и будут ими в любой пропорции, даже если бы они возросли стократно. Это пустяки даже в том случае, если бы это меня било не только по карману, а он был совершенно прав (а может быть, он и прав).

Я сделал, в особенности в последнее время (или мне померещилось, что я сделал, все равно, безразлично) тот большой ход, когда в жизни, игре или драме остаются позади и перестают ранить, радовать и существовать оттенки и акценты, переходы, полутона и сопутствующие представления, надо разом выиграть или (и тоже целиком) провалиться, — либо пан, либо пропал.

И что мне Смирнов, когда самый злейший и опаснейший враг себе и Смирнов — я сам, мой возраст и ограниченность моих сил, которые, может быть, не вытянут того, что от них требуется, и меня утопят?

Так что ты не печалься за меня, если тебе пришла в голову такая фантазия. Ты не можешь себе представить, как мало я заслуживаю сочувствия, до чего я противен и самоуверен!

Меня серьезно это обеспокоило в отношении тебя, как это бывает по отношению к Зине, когда (как в осеннюю проработку) я начинаю косвенно чувствовать, что я задет и запачкан тем, что ей приходится болеть и оскорбляться за меня, а я это сношу и не смываю двойным ответным оскорблением.

В последние дни декабря за одну неделю я потерял двух своих ровесниц и приятельниц, умерла Оля Серова (старшая дочь художника) и Ирина Сергеевна, жена Асмуса.

Целую тебя.

Твой Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 31 января 1947

Мой дорогой Боря!

Это удивительно. Ты ли меня чувствуешь, я ли тебя, но наши письма (хотя и редкие) всегда скрепляются. А я как раз все думаю о тебе и ищу минуты, чтобы написать... почти без повода. — Новый год — чепуха, у меня нет никаких «новых» годов. Я не заметила отсутствия твоих поздравлений, да они и не к чему.

Хочу сказать тебе вот о чем. В январе я, по своей традиции, единственно живой для меня, выступала на ежегодной научной сессии Ун<иверсите>та. Ее трижды откладывали, с ноября на декабрь, с декабря 46 г. на январь 47-го. Посылаю тебе тезисы.

В самом докладе я показывала неповторимые особенности древнегреческой метафоры, и чтоб показать это как следует, взяла полюс, пример твоего художника из «ранних поездов», там, помнишь, «на столе стакан не допит»²⁹ — все это место такое замечательное. Зал слушал с напряженным вниманием (о нашем родстве знали только друзья). На тебе (так сказать) мне удалось понять античную поэтическую метафору. Об этой разнице как-нибудь поговорим.

Мне очень хочется сделать статью «К теории метафоры», т. к. я имею тут ряд новых мыслей, и при том чисто своих, т.е. на основании многих и многолетних работ. Я пишу книгу о происхождении греческой лирики, и сейчас много нового написала о Сафо, досель не замеченного. Что дала бы такая публикация. Но абсолютно никаких перспектив. Заметки, и той не напечатать. Возможности, которые есть, существуют лишь для лиц, сидящих у пирога.

Так что живу с трудом.

О Смирнове я знаю. Он произнес гнусную речь, разгромную и именно гнусную. Но она не понравилась. Даже в те дни и в тех условиях. Его все осуждали.

Знаю я Смирнова лет пятнадцать. Мы работаем бок-о-бок. Это совершенное ничтожество. О научном его лице говорить не приходится: его нет! Но тип любопытный. В прошлом матерый развратник, державший на юге виллу для целей недозволенного «экспериментаторства», чем и стал известен. Потом женился на богатой даме. Откупщик, за неимением водки, художественных переводов, своего рода «капиталист» Литиздата, имеющий своих производителей, которых обирает. Внешняя манера — головка на бок, отвисшая губа, молящий взгляд. Пресмыкается. На (учебной) кафедре леопард. Говорит о «гедонизме» и «эстетизме». Неудачно играл на религии и мистике средних веков, переехал на Шекспира, был зело бит, начал маскироваться под шекспироведа; цепляется, чтоб и тут быть откупщиком.

В 1937 г., сильно перепуганный, всем объяснял, что он не дворянин, не Александр Александрович, не Смирнов, а Абрам Абрамович, незаконный сын банкира и экономки, душой и телом с демократией.

Саянов отнесся мило и обещал статью вернуть. Это будет вот-вот. Он полон к тебе пизтета. Обнимаю тебя и Зину.

Твоя Оля

Я поражена смертью жены Асмуса. Ведь она была, по-видимому, еще не стара. Почему-то ее преждевременная кончина очень меня поразила.

Уже в сентябре с нас начали требовать тезисы к докладам на научной сессии Университета. Тезисы вырывали в страшной спешке, не давая обдумать. На этот раз я решила дать подлинные тезисы, так как это единственный патент на ненапечатанные работы.

Давно уже я должна была разделаться с лирикой, такой чуждой для меня у греков. Я никогда ею не занималась и не интересовалась. Я мало знала ее. Она лежала очень от меня далеко, этот жанр без мифов, без сюжетов, без семантики. Что это за такое не античное явление?

Наконец я решила прибегнуть к последнему средству, наиболее для меня верному: сесть писать. И тогда-то в процессе наибольшего самозабвения, я и стала находить такие вещи, которыми потрясалась сама.

Лирика — величайшее изменение общественного сознания, один из самых значительных этапов познавательного процесса. Она знаменует перемену видения мира на путях от образного мышления к понятийному, от мифологического мировоззрения к реалистическому. Это в лирике вселенная впервые заселяется на социальной земле людьми, и все функции стихийных сил природы переходят к человеку.

Отделение субъекта от объекта — длительный процесс, отражением этого процесса в VII в. до н. э. стало — рождение автора. Лирический автор никак не позднейший лирический поэт, но мусический певец. Мифы о богах и героях становятся биографиями поэтов, культовые темы оказываются темами лириков. Поэтическая метафора — это образ и функции понятия. В Греции процесс метафоризации не имеет художественных функций, это отражение изменения общественного сознания, но не поэтическая индивидуальность. Греческая поэтическая метафора черпает свое переносное значение из своего же конкретного. Диаметральная противоположность этому — современная лирика. У Пастернака:

Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова!
Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.

Метафора недопитого стакана стоит в одном ряду с метафорами недожитого века и забытого света. Метафора и реальный смысл разорваны, между ними бесконечная свобода. У Пастернака новый микрокосм, но в нем нет мифологизма, он снимает условную старую семантику и вводит многоплановость образов. Греческий лирик берет метафоры не из свободно созерцаемой действительности, он смотрит глазами древних образцов³⁰.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16 февраля 1947

Милая моя Олюшка, мамочка моя!

Что я, право, за собака, что когда хочется и естественно ответить по-человечески и подробно, я оттягиваюсь открытками или краткими записками.

Три странички твоего конспекта — это дело бездоннейшей глубины и целый переворот, вроде коммунистического манифеста или апостольского послания. Как высоко тебе свойственна способность видеть вещи в их подлинности и первичной свежести!

Вот геркулесовы столпы этого конспекта.

2. Лирика — величайшее изменение общественного сознания, этап познавательного процесса, перемена виденья мира. Вселенная впервые заселяется на *социальной земле людьми*.

3. Мифы о богах становятся биографиями поэтов.

5. Из инкарнации становится метафорой, перенесением объективного на субъективное.

8. Наличие факта и момента. Не знает обобщающей многократности.

11. Возникает одновременно с нарождающейся философией.

Все это потрясающе верно и необычайно близко мне вообще, и тому, чего ты не можешь знать, и что я теперь пишу в романе (там есть такой, размышляющий, расстрига священник, из литературного круга символистов, и записи его о Евангелии, об образе, о бессмертии). Некоторые выражения прямо оттуда.

Какая ты молодчина, и как все жалко, и в то же время как все чудесно и как похоже!

Я страшно занят сейчас. В довершение общей спешки осилил то, мысль о чем всегда гнал от себя как нечто не сформулированно-расплывчатое и неосуществимое, — пересмотр и переделку «Гамлета»... какую-то требующуюся, но какую именно? — непонятно какую. Его переиздает «Детгиз», и вот, отложив в сторону роман, я легко с разбега прошел его, облегчил и упростил. И то же самое надо сделать с «Девятьсот пятым годом» для другого переиздания³¹.

Благодарю тебя за возвращение статьи, ее только что подали. И за письмо, с донесением. (На пакете не твой почерк, ты наверное кому-то поручила отправить!)

Если я урву минуту, я кому-нибудь из вас троих, тебе или Бергольц или Ахматовой пошлю стихи из романа (насколько они стали проще у меня!), чтоб вы хоть что-нибудь обо мне знали, чтобы переписать или дать переписать остальным. Вернее всего Ахматовой, как преимущественной мученице, а твою тезку попрошу переписать и отнести тебе.

Крепко тебя целую! Ты не можешь себе представить, как я стал вынужденно тороплив!

А лето?

Твой Б.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 2 марта 1947

Дорогая Оля!

Нас страшно порадовало твое согласие приехать к нам летом. Остается только сдержать данное слово.

Очень видно тебе не хочется, чтобы я тебя связывал с моими «литературными дамами», — твоя ответная открытка прилетела скорее телеграммы. Но, представь, я уже написал Анне Андреевне, с просьбой о тебе. Я тебе не могу гарантировать абсолютной неприкосновенности, но, с другой стороны, Ахматова так ленива на ответы и исполнение просьб, что может быть эта радость тебя минует.

Женя — адъюнкт военной академии, т.е. после блестящего ее окончания оставлен при ней.

Как тебе не стыдно сообщать мне в виде «слухов» о моей прозе то, что я сам сказал о ней Чечельницкой, а она с моих слов — тебе. Пишу страшно не выславшись, а вчера упал и расшиб себе нос в кровь об край кухонной раковины.

Целую тебя.

Твой Боря

9 марта. Прости, письмо страшно залежалось.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 26 марта 1947

Дорогая Оля!

Я болел гриппом и еще не выхожу, а Леничка, заболевший вместе со мною, еще лежит с небольшим после-гриппозным осложнением (небольшое воспаление уха). Но чувствую я себя хорошо и настроение у меня по-обычному бодрое, несмотря на участвовавшие нападки (например, статья в «Культуре и жизни»).

Кстати: «Слезы вселенной в лопатках». «В лопатках» когда-то говорили вместо «в стручках». В зеленных, когда мы были детьми, продавали горох в лопатках, иначе не говорили. А теперь все думают, что это спинные кости³².

Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему с Сашкой, и со всеми могло быть, а со мной не будет? Ничего никому не пишу, ничего не отвечаю. Нечего. Не оправдываюсь, не вступаю в объяснения. Наверное, денежно будет труднее. Это я пишу тебе, чтобы ты не огорчалась и не беспокоилась. Может быть, все обойдется. В прошлом у меня действительно много глупой путаницы. Но ведь моя нынешняя ясность еще менее приемлема.

Целую тебя. Твой Боря

Все это не имеет никакого отношения к твоему приезду. Наоборот, еще нужнее, чтобы ты приехала.

28 марта мой день рождения. Я просила друзей не травить моих воспоминаний. Желая подчеркнуть его будничность, я пошла днем в кооператив и купила соли, которая у меня кончилась. Принеся, подумала: «Нехорошая примета. Соль – в день рождения».

День прошел серо. Я ложилась спать, успокоенная, как всегда близостью забвенья и неизменных общений во сне со своей семьей. Накануне я слушала по радио о Бетховене, как он оглох, но не сдавался. Я не понимала, почему оглохший гений звучанья должен был не сдаваться, и почему это считали идеалом. А если б он плюнул в глаза палача-жизни, это котировалось бы ниже?

Вдруг я услышала в рупор: «Бетховен, несмотря на свои страдания, осуществлял человеческое значенье». Я остановилась, потрясенная. Это я поняла. Это не добродетель, не сила жизни, а гордость человека. Он идет своим путем. Он остается собой, не глядя ни на что. Я делаю свое дело так, как понимаю его. Остальное меня не касается. Бей меня в грудь. Я продолжаю быть человеком.

Почему же я не могла воспринять?

Подняться может живая душа, мертвые не воскресают. Бетховен и глухой слышал изнутри себя созвучья.

Страсть к абсолютизму была моей главной сутью с детства – к любви, к жизни, к подлинному, к Богу. Моя главная драма в том и состоит, что осада убила ее. Я отодвигаю от себя помыслы, переживанья и поступки тех дней, – свои собственные, которые также нельзя продумать, как дни замученного Сашки.

Изнутри глухота! Знал ли Бетховен последние пределы отчаяния?

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 28 марта 1947

Дорогой мой Боречка!

Крепко целую тебя и Зину, желаю всяческой бодрости. Если я тебе не пишу, то лишь потому (но это «лишь» очень объемисто!), что эпистолярный жанр устарел. Он больше не поспевает за жизнью и не соответствует умонастроению, не говоря об эмоциях.

Мы с тобой — не дядя с мамой. Им можно было регулярно переписываться, да еще изливаться.

Никогда не терзайся, что не можешь мне ответить. Конечно, мне, как сестре, приятней узнавать о тебе от тебя, а не через газету или журнал, но я понимаю дороговизну твоего времени. Спешу работать, а условности вот этих писем — вздор.

Вчера я слышала по радио о Бетховене фразу, которая засела во мне. Несмотря на удары судьбы и неисчислимые страдания, говорилось из рупора, «он осуществлял человеческое значенье». Как хорошо сказало пространство.

Сегодня у меня самый печальный день. Ровно 57 лет назад я родилась. Из них 54 года в нашей семье, ссыхавшейся, как человек к старости, в этот день справлялся праздник. А три года назад в этот же день мама в последний раз поцеловала меня.

Но мне даже не грустно, и я ничего не прибавляю от себя к факту самому по себе. Это называется у всех народов жизнью.

Итак, пойдем дальше. Я тоже пишу книгу, о Сафо. У каждого своя манера веселиться.

С сердечными поцелуями.

Твоя Оля

Бывает так: живешь-живешь. И вдруг стукнет тебя по голове то самое, что ты давно видел и знаешь. В эту зиму я стала захлебываться и задыхаться от подступившего к горлу итога жизни. Я уже не верила в спасенье. Мысль, что я так-таки не опубликую своих работ, вдруг стала огнестрельной раной.

Идея архива была идеей истории. Патетика над-личного и над-эпохального была для меня родной стихией. Архив приобщал меня к братству мирового человечества.

Я оглядываюсь на путь своей семьи. Все, в чем яжила, принадлежало ей. И я думала: вот прошли такие незаурядные, большие люди, как мой

отец, мама. Ничего, кроме меня, от них не осталось. Но они создали для меня все, в чем я живу, чтоб потом в моем лице ликвидировалась их жизнь. Это единственный смысл моих нынешних дней.

Чувство истории, как объективного процесса, всегда говорило во мне с огромной силой. Здесь лежала моя вера, абсолютное преклонение перед объективным надчеловеческим процессом, — мой, если угодно, материализм, для которого единая человеческая жизнь была составной частью всего сущего. Я говорю не об историографии, а об истории, как мировом процессе. Здесь ничто не бывает презрено и забыто. Рай, который строили народы, бессмертие, «тот свет» — это все существует, но его зовут не небом, не парадизом, не валгаллой, а историей. Обмануть ее невозможно, сколько бы ни фальсифицировались документы и ни искажались или утаивались факты.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 9 апреля 1947

Дорогая моя Олюшка, благодарю тебя за письмо. По-моему, я был в grippe, когда его получил. Говорю «по-моему», потому что действительно, как ты справедливо заметила, все так быстро мелькает, что очень скоро забывается.

Никому не писал, ни с кем не объяснялся. Кажется дышу, насколько могу судить. Ничего не произошло, но постоянные мои надежды, что Шекспир пойдет и станет рентой, не оправдываются вследствие все время поддерживаемой неблагоприятной атмосферы. Опять придется переводить, как все эти годы. Хотят дать перевести первую часть Фауста, но договора пока не заключили. Но вообще ничего, нельзя жаловаться. А подспудная судьба — неслыханная, волшебная.

Целую. Твой Б.

Радиослова о Бетховене — поразительны!

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 24 апреля 1947

Дорогая Оля.

Уже три дня как на дворе жарко, и Зина поговаривает о переезде на дачу. И мне интересно, whether you have made up your mind* по поводу твоего приезда к нам? В нашем сознании ты живешь так прочно, что Зина ссылается уже и на тебя в числе гостящих, когда надо отказать другим.

* Решилась ли ты на это (англ.).

Я никогда не играл в карты и не ездил на скачки, и вдруг на старости лет моя жизнь стала азартной игрой. Оказалось, что это очень интересно. Я чувствую себя очень хорошо, большую часть занят работой, но она ничем не компенсируется.

Скучно, страшно скучно, как в какой-нибудь пустыне.

Целую тебя.

Твой Б.

Летом моя натура преображалась.

Солнце меня опьяняло. Я любила солнце!

Загар меня делал другой женщиной. Вместе со всей природой, со всей вселенной я шла и тянулась лицом к солнцу, из сырой земли вверх. Опять возрождение!

Мне хотелось вырваться из своих цепей, далеко уехать от своих тусклых и однотонных приятельниц. Я готова была поехать к Боре, — он давно звал меня к ним. Поехать, встряхнуться, забыться.

Отдых, каникулы, отрыв от склочной службы с ее огорчениями, острова! Я отошла от прежней своей тональности и плавала в забытьи.

Боря звал меня и бомбардировал письмами. По-видимому, Боре было плохо. Его лягали, где могли. Ведь искусство, как наука, не имело права переписки и числилось среди арестантов, а Боря был человек искусства.

Я сообщила ему, что готова приехать.

У меня было такое чувство, что мое горло сжимают. Я не смела написать Боре. Вся частная переписка перлюстрировалась. И теперь я ждала каких-либо вестей от Бори.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 мая 1947

Дорогая Олюшка!

Самое главное, что ты пришла к этому радостному решению, а приезжать — приезжай хоть завтра. Твое утешительное намерение в такой же степени приятно Зине как и мне, но т.к. она нас перевозит на этой неделе и все время в хлопотах, то она просила меня от ее имени выразить тебе ее радость по этому поводу и благодарность за твои приветы ей. В том же смысле, в каком ты спрашиваешь о времени приезда, для тебя всего лучше будет приехать в июле, когда и Шура с Ириной будут на даче. А о твоих двух-трех днях, т.е. о сроке пребывания мы поговорим на месте. На всякий случай адрес дачи: Киевский вокзал (метро Киевский вокз.), Киевская жел.дор. Станция *Переделкино* (18-й километр). Городок писателей, дача 3, Пас-

тернака. Если я не успею встретить тебя, пусть это сделает Шура.

20 мая 1947

Это продолжение открытки. Спишись с Шурой, который до июля будет в городе, чтобы он тебя встретил и отвез к нам. Его адрес Москва, Гоголевский бульвар 8, квартира 52, тел. К 4-31-50.

Наш городской адрес ты знаешь, телефон В-1-77-45. Но от нас в город будут наезжать редко и только на несколько часов.

Я из переводческого возраста давно вышел, но т.к. обстоятельства в последнее время складывались неблагоприятно, я с отвращением должен был вернуться к нескольким предложениям этого характера, да и тех на первых порах не принимали, отчего я одно предложение и заменял другим, пока вдруг не приняли все. Таким образом, оказалось, что за лето я должен перевести Фауста, Короля Лира и одну поэму Петефи «Рыцарь Януш». Но писать-то я буду в двадцать пятые часы суток свой роман. Но в общем, все налаживается.

Обыкновенно в июле и Жени (она и он) попадают в Переделкино.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Телеграмма [15 июля 47]

ОТЧЕГО МОЛЧИШЬ НЕ ЕДЕШЬ. ЖДЕМ ЕЖЕДНЕВНО. ИЗВЕСТИ ОТКРЫТКОЙ О ЗДОРОВЬЕ, О ПЛАНАХ. ЦЕЛУЮ – БОРЯ.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 8 сентября 1947

Дорогая Оля!

Что ты и как твое здоровье? Я тебе буркнул что-то нелюбезное и черствое на твой отказ приехать. Виной всему этому собачья спешка. Такая работа даже не столько утомляет, сколько портит характер. Разучаешься отдыхать, радоваться, перестанешь понимать, что такое удовольствие.

Мне все время чего-то страшно хочется, но я собственно не знаю чего, и потому не знаю, чем себя премиривать, хочется ли мне сыру к чаю, или поехать в Москву, или кого-то увидеть, или быть уверенным, что я не увижу никого. Вероятно, это скрытое желание того, чтобы получить назад молодость без запродажи за это своей души.

Жаль, что ты не приехала. Жили Шура с Ириной, Зинин сын с женой, приезжал Женя, гостила Нина Табидзе, много было народа, тебе было бы хорошо и не скучно. Леничка и Зина научили бы тебя азартным играм, в карты, в маджонг.

А я, бог знает, что выделывал, нечто варварское, непозволительное. Две с половиной тысячи рифмованных строк лирики Петефи (среди них одна поэма в 1500 строк) в месяц с неделей. Короля Лира в полтора месяца. Но когда-то я переводил очень хорошо и ничего не добился. Единственный способ отомстить, это делать теперь то же самое плохо и до недобросовестности быстро. Роман, или вернее, мир, к которому я повернулся в последнюю зиму, то, что я себе позволяю и (выходит!) могу позволить, это так далеко, так несоизмеримо, что какое мне дело до Лира и до того, плохо или хорошо я переведу его, т.е. *насколько* плохо. Ах, это теперь решительно все равно.

Мне весной писал Смирнов, по поводу их Ленинградского Шекспира, и соглашусь ли я что-то переделывать в Ромео и Джульетте. Я ему ответил очень легко и хорошо, чтобы он знал, с кем имеет дело, очень *sans fason**, но с очень добродушным концом, что, дескать, хотя он своим непониманием погубил моего Шекспира, но я по прирожденной глупости неспособен переживать ничего неприятного и его в своей жизни не заметил, как человек избалованный и толстокожий. Беда только, что я письмо отправил простым, а у меня бывали случаи, когда простые письма пропадали.

Я тебе мараю это письмо, дострочив до конца беловик Лира, завтра повезу переписчице в город, это для Детгиза, для школьных библиотек, Зина с Ленечкой уже в городе, у него начались занятия в школе.

Это лето (в смысле работы) — это первые шаги на моем новом пути (это очень трудно и это первая вещь, которою бы я стал гордиться в жизни): жить и работать в двух планах: часть года (очень спешно) для обеспечения всего года, а другую часть по-настоящему, для себя. И это при большой семье, которую я приучил жить хорошо, при необходимости выколачивать текущую новую и кровную работой от 10 до 15 тысяч ежемесячно. Ты не ахай и не бросай отраженных чувствований в сторону

* Свободно, небрежно (*фр.*).

Зины. Она тоже трудится, не покладая рук. А одни ее летние огороды чего стоят!

Вот я опять ничего не написал тебе. Сообщи, как твоё здоровье. Оправдались ли также и твои трудовые расчеты? Как твоя задуманная работа?

Тут хорошо. Наверное, я тоже скоро перееду. Выкопаем картошку, и перееду. Я еще ведь портить Фауста обязался. Но до этого допишу первую книгу (?) или часть (?) романа. Осталось главу о первой империалистической (1914 г.) войне.

Целую тебя.

Твой Б.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 14 октября 1947

Дорогая Оля!

Вчера через Москву проезжала Машура и рассказывала очень тревожные вещи о твоём здоровье, о том, как утомляются от работы твои глаза. Жива ли ты еще вообще? Отчего ты ни звуком не откликаешься на мои запросы? Не обиделась ли ты на меня, что я так огрызнулся в ответ на твой отказ или на выраженную тобою невозможность приехать к нам и не разорвала ли со мной отношений? У меня все по-прежнему, т.е. внешне более или менее хорошо. Летний заработочный период был слишком долгим перерывом в писании романа, и теперь трудно сдвинуть работу с места («Лиха беда начало»), собраться с мыслями и восстановить настроение. Как фамилия Машуры? У меня есть ее адрес, но неловко было спросить ее об этом.

Крепко целую тебя.

Твой Б.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 29 июня 1948

Дорогая Олюша!

Как это горько, что родовые драмы так повторяются! Теперь ты меня наказываешь своим молчанием или даже полным исключением из твоего сердца за мой эгоизм, за то, что мои чувства — «слова, слова, слова», «литература», что если бы все было по-настоящему, я бы свою любовь доказал делами, а не вздохами, изображенными на бумаге.

1-го октября.

Олюшка моя, вот начало весеннего моего письма к тебе, прерванного на втором слове из-за сознания его вероятной безрезультатности, к тому же усугубленного вечной спешкой. Тогда я задержался один в городе (Зина жила уже на даче), как сейчас по такой же причине застрял в одиночестве на огромной и холодной даче.

Тогда я дописывал первую книгу романа в прозе и в то же время кроил и перекраивал семь переведенных своих Шекспировских драм, поступавших из разных издательств, согласно разноречивым пожеланиям бесчисленных редакторов, сидящих там.

А теперь я с такою же бешеной торопливостью перевожу первую часть Гетевского Фауста, чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимнюю роман, начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им, в двух книгах. Я рад, что довел первую до конца. Хочешь, я пришлю тебе экземпляр рукописи недели на две, на месяц? Там только тяжело будет тебе читать (с целью более рельефного и разительного выделения существа христианства) до шаржа доведенные, упрощенные формулировки античности.

Будь милостива, прости меня, если я чем-нибудь виноват перед тобой и что-нибудь напиши мне о себе или попроси кого-нибудь, может быть, Машуру. Я ее люблю ничуть не меньше тебя, то, что я пишу тебе, а не ей, ничего не значит, как из разнообразных сторон и случайностей моего поведения вообще не следует ничего фактического и разумного. Пусть меня кто-нибудь известит о тебе, жива ли ты, как твоё здоровье и не нужно ли тебе денег. Я год за годом тружусь как каторжный и всегда мне всех: Зину, тебя, Леничку, нескольких твоих тезок и не тезок до слез жаль, словно все кругом несчастные и только я один

позволяю себе быть счастливым и, значит, у всех перечисленных как бы на шее. И действительно, я до безумия, неизобразимо счастлив открытою, широкою свободой отношений с жизнью, таким мне следовало или таким лучше бы мне было быть в восемнадцать или двадцать лет, но тогда я был скован, тогда я еще не сравнялся в чем-то главном со всем на свете и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас.

Все мы живы и здоровы, и Женя с Женечкой, и Шурина семья, все у нас в порядке.

Удостою меня, пожалуйста, хоть строчки-другой от себя (не трать времени, не надо писать много). Я охвачен почему-то страшной тревогой о тебе, я хочу, чтобы кто-нибудь вывел меня из неизвестности (в университете ли ты?), и наперед боюсь этого.

Твой Боря

И кланяйся тете Кларе, Владимиру Ивановичу, Машуре и всем их близким.

Политические тучи сгущались. Преследование науки приняло форму травли ученых. Полицейское заушение, начавшееся в таких органах диффамаций, как «Культура и жизнь» и «Литературная газета», перекинулось непосредственно в высшие учебные заведения и в научные институты.

Наконец, было назначено заседание, посвященное «обсуждению» травли, на нашем филологическом факультете. Накануне прошло такое же заседание в Академии наук, в Институте литературы. Позорили всех профессоров. Одни, как Жирмунский, делали это изящно и лихо. Другие, как Эйхенбаум, старались уберечь себя от моральной наготы, и мужественно прикрывали стыд. Впрочем, он был в одиночестве. Пропп, которого безжалостно мучили за то, что он немец, уже терял чувство достоинства, которое долго отстаивал. Прочие делали, что от них требовалось.

После окончания церемонии произошло два события, которые не вызвали, впрочем, никакого внимания. Известный пушкинист профессор Томашевский, человек холодный, не старый еще, я бы сказала — еще и не пожилой, очень спокойный, колкого ума и без сантиментов, после моральной экзекуции вышел в коридор Академии наук и там упал в обморок. Фольклорист Азадовский, ослабленный и больной сердцем, потерял сознание на самом заседании, и был вынесен.

Всякие научные аналогии были окрещены «космополитизмом», термином, которому придавали страшное («политическое») значение.

Я находилась в глубоком угнетении. У меня сливаются в воспоминании холодные тучи на низком сером небе, ледяной коридор, зимний полусумрак в комнатах и нависшие серые холодные мысли.

Я была больна. Сначала это был кашель и комки в горле, тяжелые сумерки душевного сознания. Только бы не возвращаться туда опять, в это здание, в проклятое болото будней.

Болезнь тлела, слабо вздрагивая. Меня знобило. Я куталась, болело горло. К постели я придвигала столик, а на рассвете включала чайник, укутывала его, — ведь с утра свет выключался. Я лежала весь день ни о чем не думая, не двигаясь. Я лежала и погружалась вместе с сумерками в темноту, и никого, ничего не хотела. Ни друзей, ни еды, ни жизни, ни мыслей.

Месяц я проболела, оторвавшись от занятий. Но на факультете начиналось клекотанье. Мне звонили, мне намекали, на меня обижались. Температура не спадала. Чтоб получить право болеть, я вызвала врача из университетской поликлиники. Врач нашла у меня хронико-сепсис и забила тревогу. Немедленно волокла она меня вытаскивать из горла «мешок с гноем». Врачи услали меня на воздух. Я совершила революцию, отправившись в Териоки.

Жизнь в Териоках стоила колоссальных денег, зато я жила свободно, в гостинице, представлявшей собой ограбленный финский дом.

Природа в Териоках была финская, суровая. Весенний крепкий воздух благоухал свежими почками. Зелень еще только просыпалась. Местность была безлюдна, море холодное, необжитое. Я преследовала одну цель: дышать. В состоянии глубокой депрессивной апатии я сидела и дышала. Через девять дней я набралась сил и вернулась домой. Температура и сердечные припадки держались. На лечение я махнула рукой.

Летом я душевно отдохнула и думала о возврате в филологический застенок с отвращением. Я приняла решение оставить кафедру и отправилась к ректору. Новый ректор Домнин оказался обаятельным по скромности и простоте человеком. Я не верила этому чуду, но постигла. Я пришла, доведенная до отчаянья, просить его ускорить мою отставку.

Разрушительная работа на кафедре возобновилась. Это была атмосфера клеветы, сплетен, лжи, за мной шпионили и контролировали каждый шаг. Я находилась в трясине, исчерпать которую было невозможно никакими ведрами. Среди студентов вечно раздували какое-то неопределенное недовольство, жалобы, склоки, что-то неизбывное, неясное, гнойное. Я хотела уйти — и ног нельзя было поднять. Надо мной что-то нависало, угрожало, впутывало меня, окутывало таинственной паутиной. Что-то вонючее текло у моих ног, аморфное, неумное, и нагнеталось с каждым часом. Нарочито создавалась нервозность. Били исподволь по моим нервам, по моему мозгу.

— Мы решили просить Вас не оставлять кафедру в такой ответственный момент. Мы решили просить Вас работать, пока возможно, если, конечно, это не угрожает вашему здоровью, — сказал мне ректор в ответ на мою просьбу об отставке.

Я поддалась колебанию и намекнула ему, что моему здоровью ничто не угрожало бы, если б на кафедре не было чересчур трудно.

— Ужасно трудно, — прошептал он жалостливо.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 9 октября 1948

Дорогой Боря!

Ты увидишь Машуру до этого письма: возвращаясь снова из Кисловодска, она позвонит тебе. От нее ты, наверно, узнаешь о моем житье-бытье, хотя то, что она знает, относится только к окаменелым, тектоническим частям моей жизни.

В истекшем феврале, сразу после отъезда Феде³³, я тяжело заболела горловой болезнью, приведшей меня к так называемому хронико-сепсису. Весь второй семестр я совсем не работала. В начале мая я встречала свежую, сияющую весну в Териоках. Крепкий морской воздух, финская сосна и целительное благоуханье молодых почек вернули меня к жизни.

Моя болезнь совпала с известными событиями на литературоведческом фронте. Пришлось сразу перенести много встрясок. Выйдя из них с честью, но с полным срывом сил, я подала, по болезни, в отставку. Меня не отпустят, хотя логика, казалось, требовала этого.

Летом мне был предписан покой и воздух, но я так была счастлива отдыху, что пришла в себя от одних прогулок по островам.

С начала учебного года я возобновила свое ходатайство. Сейчас я нахожусь в периоде, когда эти дела стоят ребром. Мне созданы возмутительные условия, от которых я освобожусь во что бы то ни стало, ценой уступки кафедры, мной созданной впервые в СССР, 16 лет руководимой мною, — большого дела моей жизни.

Однако, наш новый ректор — невиданное существо, прекрасный человек, отказавшийся дать меня на поруганье. Мои ученики были у него, и он отставки не принимает.

Сейчас это все уже на глазах отходит в даль. Мысль занята иным: ко мне едет из другой части света моя belle-soeur*³⁴, и что придется поднять из душевной памяти! Я вижу *каждую* ночь во сне Сашку и маму. В Москву собирается моя ученица, и тогда она привезет твой роман³⁵. Это твоё счастье, о как я его знаю! Незабываемое счастье пишущей руки и не поспевающего за ней сердца.

Теперь я стала умна и искусна, — признак старости.

С Лапшовыми мы ближе, чем они с Машуркой или она с нами. Я люблю и ценю этот обломок нашей семьи, я, одинокая. Ты этого, к счастью, понять не можешь. Я восхищаюсь вечной молодостью (тьфу-тьфу-тьфу) Клары и живучестью ее чувств.

Вот я тебе и написала. А все думаю о едущей где-то вдалеке невестке...

Обнимаю тебя. Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

и К. и В. И. ЛАПШОВЫМ

Москва [середина октября 1948]

Дорогие тетя Клара, Оля, Владимир Иванович!

Оля, ты так чудно написала о тете Clare и Владимире Ивановиче, что я вдруг увидал ее, молодую, вне возраста, как она всегда живет в моей душе, и меня потянуло так написать ей, как когда бывает роман с кем-нибудь. И тут утром позвонила Машура. Я посылаю эту рукопись вам всем. Читайте в каком угодно порядке, но может быть очередь чтения начнете с Оли, она скорее потом напишет мне. Читайте, если можно, не очень подолгу каждый, может быть рукопись мне потом понадобится.

Наверное эта, первая книга написана для и ради второй, которая охватит время от 1917 г. до 1945-го. Останутся живы Дудоров и Гордон, Юра умрет в 1929-м году, и после его смерти в бумагах, которые будет разбирать его сводный брат Евграф, будет найдена тетрадь стихотворений, уже написанная, часть которых тут приложена. Все эти стихотворения, одно за другим подряд, составят одну из глав будущей второй книги.

Сюжетно и по мысли эта вторая книга более готова в моем сознании, чем при своем рождении была первая, но для того,

* Невестка (фр.).

чтобы существовать (а ведь эта проза не предназначена пока для напечатанья), я должен заниматься переводами и, следовательно, работу над романом мне надо было прервать. Сейчас я спешно в расчете на то, что справлюсь с этим до Рождества, перевожу Гетевского Фауста (1-ую часть) и одного венгерского классика³⁶. Меня так и распирает от разных мыслей и предположений и хочется работать как никогда.

Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения.

Так поздно приходишь к нужному, только теперь я овладел тем, в чем всю жизнь нуждался, — но что делать, спасибо и на том.

Но если вам интересно, я счастлив действительно, не в экзальтации какой-нибудь или в парадоксальном каком-нибудь преломлении, а по-настоящему, потому что внутренне свободен и пока, благодаренье Создателю, здоров. Крепко вас всех целую и очень люблю.

Ваш Боря

Жалко, что я такое пугало, если бы я был так красив, как тетья, я только бы снимался, но так как мы давно не видались, то вот две-три фотографии для осведомления.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 31 октября 1948

Дорогой Боря!

Не прими моего молчанья за хамство. Я знаю, какой драгоценный подарок ты мне прислал. Но он попал, естественно, к Машуре, от нее к тете Кларе, а я получу не раньше, чем через неделю. Правда, я утопала в делах. Но я немедленно тебе напишу.

Обнимаю тебя за «уже» и за «потом»!

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 6 ноября 1948

Дорогая Оля!

Спасибо за открыточку и еще раньше за письмо. Не делай себе муки из чтения, можешь ничего не писать мне, если тебе будет некогда или трудно, но по прошествии некоторого времени мне надо будет знать, где и у кого рукопись, для возвращения ее или передачи кому-нибудь дальше. Когда у тебя ми-

нует надобность в ней, можешь дать ее прочесть, кому захочешь. Я тебя предупредил о невежественных обмолвках в отношении античности (Рима).

Что сказали Лапшовы и Машура? Помнит ли еще меня кто-нибудь? Кто эта твоя *belle-soeur*, — Сашкина жена? Приехала ли она?

Перевожу первую часть Гетевского Фауста, это для денег, — заказ.

Выходит, представь себе, и это естественно, потому что подготовлено всем предшествующим: многое из сильнейшего у Лермонтова, Тютчева и Блока пошло именно отсюда. Меня удивляет, как могла Брюсова и Фета (в их переводах Фауста) миновать эта преемственность. Фауст по-русски может удаваться *невольно, импульсивно*.

Целую тебя. Твой Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 29 ноября 1948

Дорогой мой Боря!

Наконец-то я достигла чтения твоего романа.

Какое мое суждение о нем? Я в затрудненьи: какое мое суждение о жизни? Это жизнь — в самом широком и великом значеньи. Твоя книга выше сужденья. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной. То, что дышит из нее — огромно. Ее особенность какая-то особая (тавтология нечаянная), и она не в жанре и не в сюжетоведении, тем менее в характерах. Мне не доступно ее определение, и я хотела бы услышать, что скажут о ней люди.

Это особый вариант книги Бытия³⁷. Твоя гениальность в ней очень глубока. Меня мороз по коже подирал в ее философских местах, я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выраженья в искусстве или науке — и боишься этого до смерти, т.к. она должна жить вечной загадкой.

Ты не можешь себе представить, что я за читатель: я читаю книгу, и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое сужденье не похоже на человеческое, доступное. Этим нужно всем обладать, а не просто читать, как не читают женщину, а обладают ею. Поэтому такое чтение напрокат почти бессмысленно.

Как реализм жанра и языка, меня это не интересует. Не это я ценю. В романе есть грандиозность иного сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. Но, знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное *для меня*. Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется — твоя страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело. Я всецело с тобой в этом; но мне горестно, как человеку одной с тобой семьи — одних уже нет, а те далеке — и тютчевского «на роковой стою очереди»³⁸. Это такое чувство, словно при спуске в метро: стоишь на месте, а уж не вверху, а внизу...

Много близкого, родного, совершенно своего, от семейной потребности в большом и главном, до формулировок и разрешений частных проблем. Но я под родным и семейным (как и под боязнью смерти) разумею великое, транспонированное в частное (а не конкретные малости). Но не говори глупостей, что все до этого было пустяком, что только теперь..., etc. Ты — един, и весь твой путь лежит тут, вроде картины с перспективной далью дороги, которую видишь всю вглубь. Стихи, тобой приложенные, едины с прозой и с твоей всегдашней поэзией. И очень хороши.

Но все, что я пишу, не то, что я воспринимаю. Следовало бы ответить не письмом, а долгим поцелуем. Как я понимаю тебя в твоём главном!

За карточку спасибо, хотя мне досталась не очень удачная, с челюстью и выгнутой шеей.

Работы у меня — ужас! Да, как быть с книгой? Жду okazji, почтой боюсь. Скоро представится случай передать из рук в руки. С благодарностью обнимаю тебя.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30 ноября 1948

Дорогая моя Олюшка!

Как поразительно ты мне написала!

Твое письмо в тысячу раз лучше и больше моей рукописи. Так это дошло до тебя?! Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших речательств, и вытекающее из этого стремление из-

бегать наивности и идти по правильной дороге, с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки³⁹. Не ломай себе головы над этими словами. Если они непонятны, то это только к лучшему.

Ты часто говоришь о крови, о семье. Представь себе, это было только авансценой в виденном, только местом наибольшего сосредоточенья всей драмы, в основном очень однородной. Главное мое потрясенье, — папа, его блеск, его фантастическое владенье формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по несколько работ в день и несоответственная малость его признания, потом вдруг повторилось (потрясение) в судьбе Цветаевой, необычайно талантливой, смелой, образованной, прошедшей все перипетии нашей «эпики», близкой мне и дорогой, и приехавшей из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности в глухом захолустье.

Часто жизнь рядом со мной бывала революционирующе, возмущающе — мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и проникательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался за них.

Так умер Рильке через несколько месяцев после того, как я списался с ним, так потерял я своих грузинских друзей, и что-то в этом роде — ты, наше возвращение из Меррекуля летом 1911 года⁴⁰ (Вруда, Пудость, Тикопись), и что-то в твоей жизни, стоящее мне вечною уликой.

И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман — часть этого моего долга, доказательство, что хоть я *старался*.

Прости, что я наспех навалю тебе столько глупостей, только в этой приблизительности и реальных. Из-за них, собственно, надо было бы начать новое письмо, разорвавши это, но когда я его напишу?

Поразительна близость твоего понимания, мгновенного, вырастающего совсем рядом, уверенно распоряжающегося; так понимала только та же Марина Цветаева и редко, со свойственными ему нарушениями действительности и смысла — Маяковский, — удивительно даже, что я его назвал.

Можешь дать рукопись посмотреть, кому захочешь. Когда у тебя минует надобность в ней, пришлешь именно так, как предлагаешь.

Спасибо, что несмотря на степень своей занятости, ты прочла ее. В этих условиях, если бы даже рукопись фосфоресцировала в темноте и обладала тепловым лучеиспусканием, ты была вправе рассматривать ее, как вторгшееся лишнее и не хотеть ее существованья.

В такой обстановке и таких чувствах я занят сейчас Фаустом.

Всего тебе лучшего.

Крепко обнимаю и целую тебя. Всегда помню твою поразительную теорию сравнения, *это из таких именно вещей*.

Будь здорова.

Твой Б.



*Б. Пастернак. Переделкино. 1946 г.
Первое лето интенсивной работы над "Доктором Живаго".*



*Маму дорогую
Торе
в знак благодарности маме*

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭПИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИЛИАДЫ)*

Проф. О. М. Фрейденберг

1

В сравнениях Илиады две проблемы. Первая—их развернутый независимый характер; вторая—их реализм. Я произвела количественный анализ сравнений и получила следующие результаты: их больше всего в песнях 15, 16 и 17, которые представляют собою цельный тематический кусок—начало Патрокла, Патроклею и битву за тело Патрокла. В п. I сравнений не оказалось совсем; вообще их наименьше в песнях о гневе Ахилла, о подвигах и погребении Гектора. Такой факт говорил с несомненностью о связи сравнений с известной тематикой песен.

I омеровское сравнение, подобно всякому сравнению, состоит из двух частей: из сравниваемой и сравнивающей. Развернутой, независимой и реалистической является именно второй член сравнения, сравнивающий. Это его тематика (а не первого, сравниваемого члена) включает в себе звериные, космические, растительные и бытовые мотивы.

В Илиаде больше всего звериных сравнений. Сюжет в них очень устойчив: охота на зверя, схватка двух зверей, нападение хищника на мирное стадо. В подавляющем большинстве случаев—это развернутая картина растерзания хищниками скота, с более или менее подробными подробностями.

12, 299 Он устремился, как лев горючитель, алкающий долго
Мяса и крови, который, душою отважной стремимый,
Хочет, на гибель овец, в их загон огражденный ворваться,
И, хотя пред оградою пастырей сельских находит,
С добрыми исами и с копытами стадо свое стегущих,
Он не изведавши прежде, не мыслит бежать из отрядов,—
Принув во двор, похищает овцу, либо сам под ударом
Падает первый, копьем прободенный из плечи мотучей,—
Так устремляла душа Сарпелона...

Звериные сравнения говорят на одну и ту же тему, вечно кровавую,—о похищении и пожирании жертвы. Реалистические картины сравнений воспроизводят образ растерзания, нападения, похищения, пожирания.

* Экстракт работы о гомеровских сравнениях, написанной в октябре—декабре 1941 г. в Ленинграде.

О. Фрейденберг. Конец 1940-х гг.
Пережив блокаду, потеряв мать, О. Фрейденберг продолжала напряженно работать.

ГЛАВА IX

В ноябре 1948 года я увидела Мусю. До этого она изредка давала о себе знать.

Блокадным летом 1943 г. большая земля (как называли Россию, лежавшую за зоной блокады) от меня отпала. Письма и телеграммы не доходили. Иногда к добрым людям попадало чужое, заблудшее, завалывшееся измятое письмо. Оно производило, как у неграмотных, таинственную сенсацию, и мы десятки раз перечитывали его, носили к знакомым, читали всем проходящим, начиная с дворника, который, как оказывалось, уже прочитал его первым, за своим столом, среди своих знакомых, и те успели обсудить его и совместно над ним поплакать.

Однажды мне доставили телеграмму с оплаченным ответом из далекой, из дальневосточной Сибири. Это Муся, Сашина жена, умоляла сообщить ей о здоровье родных. Я не сомневалась, что их нет больше в живых (отец очень стар, мать истощена и больна), но такую страшную весть не могла сообщить, не проверив. Что было делать? Уже давно я не имела от них никаких известий. Мать Муси заезжала к нам в начале войны.

Больше я их не видала. На мой новогодний запрос старуха не отозвалась. Их, конечно, не было в живых. Они через год, за год дали бы о себе знать. И все же надлежало съездить на Крестовский за справками.

Долго я выбирала день. Было тяжело решиться. Помимо этого — обстрелы, слабость, болезнь ног, трамвайные перебои. Но день настал. И я горестно поехала.

Вот острова, Крестовский. Опять голубое небо и голубая Нева и этот мост и это немеркнувшее солнце.

Я медленно передвигалась, едва таская ноги, и долго искала тот трагический дом-дачу, где некогда жил Саша. Я его не находила. Словно во сне, я протирала глаза, возвращалась, останавливала прохожих. Наконец, правда выяснилась. Дома-дачи больше не было. Его снесли. Его разломали и обратили в топливо. Там, где жило столько людей и прошло столько жизней, был пустырь без всяких жилых следов.

Так вот оно, это ужасное место, где страдал Саша, где в смертельной тревоге я ждала о нем сведений, где со страхом в косом взоре на меня жалкую, смотрела перепуганная курица!

Я уже знала, что жизнь, подобно режиссеру, убирает в конце каждого акта и актеров и декорации. Но гладкое место, поросшее травой, взамен жилого и живого дома, оказалось потрясающим видением. Прошлого не было. От Сашиной жизни ничего не осталось. Кусок поля, поросшего травой.

Я ответила Мусе, что ее родные эвакуированы по неизвестному мне адресу. Она была умна и догадалась.

Ноябрь 1948 г. Вечерний звонок. Вся в мокром снегу вваливается Муся и виснет на моей шее. Она смеется, восклицает, обнимает меня. Рядом стоит человек в форме политической полиции (МВД). У него — лицо дегенерата, похожее на звериное. Я думаю: «Она под конвоем? Спутник? Попутчик?»

Оказывается, это ее муж, ее начальник по лагерю; она работает с ним в МВД и гордится этим.

Боже, как она счастлива, что опять в Ленинграде! Как она смеется, как клоочет в ней жизнь! Она опьянена счастьем. Ей хочется петь, бубшевать, неистовствовать.

— Я напиться хочу, Оленька! — говорит она, хмельная от радости.
— Выпьем! Чокнемся за мое счастье!

Я грустно чокаюсь (они принесли закуску и вино). Мое сердце застегнуто на все пуговицы. На месте гениального Сашки — чекист, неграмотный, со звериным уродливым лицом. А их всех нет: Сашки, Мусиной мамы, рыдавшей у меня в тревоге за жизнь Муси, ее отца, моей матери. Как я была мертва по сравнению с Мусей! Лагерь, где я нахожусь, больше гнетет ростки жизни, чем тот, ее? Нет, не так: она видела перед собой цель и надежду, и это держало ее; а я ничего не вижу впереди.

Жизнь, жизнь! Все в ней возможно, любой парадокс. За моим столом сидит чекист, и я питаю к нему теплые братские чувства. Я мысленно благословляю его за то, что он взял к себе Мусю, что любит ее, что служит ей поддержкой. Всем сердцем я с этой молодой крепкой женщиной, прошедшей через великие человеческие муки, с этой страдалицей, столько пережившей из-за того, что она хорошо одевалась и служила на военном заводе. Эта кисейная барышня, эта избалованная недотрога прошла через каторгу, о которой я не в состоянии говорить. Жизнь Муси была исковеркана, как жизнь миллионов других репрессированных. Ей предстоит вернуться на Колыму, в глухую северную тайгу, так как она не имеет права жить в больших городах. Почему?

Для меня она — жена Сашки, и я знаю, что Сашка так же захотел бы обнять ее мужа, как я.

Муся говорила:

— Нет, никто, никто не может понять моего счастья, что я здесь, что я жива, что я все, все преодолела... только тот, кто пережил то самое, что я! Тот понял бы!

Они оба были из потустороннего особого мира, мира советской реальности и советского подполья, с Колымы, из легендарного рабства и каторги. Я ни одного вопроса не задавала страдальце. Страшные вещи сами вставали леденящим пугалом от ее сапог и пальто, из ее невольных рассказов (как она шла «на освобождение» тридцать километров по торфяному болоту, проваливаясь по пояс, и ноги вязли, и ей казалось, что сейчас она их не сможет вытянуть, — а когда обессиленная пришла, ее не освободили, а угнали на подконвойную работу; или как ночью, в пургу, она без сил, замерзая, плелась совершенно одна с дохлой лошадежкой, и не было видно ни края пути, ни света, и ей казалось, что вот гибель, но твердая воля заставила ее вынести, даже это). Она очищала золото, растила огороды, была возчиком, чернорабочей, работала на лесоповале, торфодобыче, таскала тяжести, делала грязную рабскую работу. Невольно среди смеха и счастья прыгали картины пыток и унижений. Ее тянули в предательство, но она «не разменивалась» на вино и конфеты.

Я устроила Мусю с мужем в чужой квартире, так как не имела права прописывать репрессированную: у нее в паспорте имелся тайный знак, понятный только милиции и... мужу Муси. Оба они переночевали в отличной комнате, предоставленной им на месяц, и рано утром исчезли. Куда, зачем и надолго ли — не знаю...

А, между тем, неожиданно для себя я почувствовала, что мое сердце погрузилось в тепло родства и близости к Сашке; мне захотелось жить и чувствовать около себя жену моего бедного брата.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 7 августа 1949

Дорогая Олюшка, родная моя!

Как благодарить мне тебя за твое письмо! Я только не понял, когда в действительности умерла бедная тетя?¹ Она всегда, правда, (как я пишу Владимиру Ивановичу) стояла перед моими глазами молодой, красивой, в кормиличном кокошнике, как ее написал папа больше пятидесяти лет тому назад². Он ведь не раз ее писал, не раз писал с нее видоизмененных героинь в первых своих жанровых картинах с сюжетом, поры передвижничества. И такую всю жизнь она оставалась, высокой, стройной, доверчиво-порывистой, сильной. Я очень надеялся ее еще когда-нибудь повидать и много радости обещал себе от этой встречи.

Потом я не понял твоих слов о твоём, будто бы, хамстве, что ты рукопись передала без записки благодарности (по-видимому, особе, изъявившей согласие привезти ее?). Потому что не-

ужели ты могла забыть свое удивительное письмо ко мне после прочтения рукописи и разве не получила моего ответного?

Меня особенно поразило прибытие твоего письма в дни, когда меня с особенною силой стало одолевать желание написать тебе и беспокойство о тебе. Помнится, ты тогда ждала приезда своей невестки. Кто это, Оля, неужто жена бедного Саши? И где она? С тобою ли она теперь?

С моей потребностью выговориться с тобой я благоразумно борюсь, потому что эта мысль неисполнима. У меня была одна новая большая привязанность, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первую пожертвовать³, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы «здесь» и «там» и пр. и пр.

Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удастся.

Сейчас мне пришлось запереться дома отчасти и вследствие истощившихся средств. Вышедшие теперь переводы «Генриха IV-го» и «Короля Лира» и два тома всех Шекспировских переводов в «Искусстве» давно прожиты вперед за последние три-четыре года. Месяца через два-три мне придется напроситься на какой-нибудь заказ вроде перевода второй части Фауста (я не люблю ее) ради рентабельности работы, а пока спешно я принялся за вторую книгу романа. Я хочу его дописать для самого себя, т.е. и в этой части мне на темы жизни и времени хочется высказаться до конца и в ясности, так, как дано мне, и все глупее и противоречивее представляется задача, и все посредственнее и бездарнее мои силы, работа, моя позиция и положение.

Мне показывали Оксфордскую университетскую Антологию русской поэзии с русским текстом и Бауровскую переводную (второй выпуск) и Бауровскую книгу об Апполинере, Маяковском, мне, Элиоте и испанце Лорка⁴. В тамошних собра-

ниях по периодам (я даже тебе стыжусь и не знаю, как это сказать) больше всего места отведено Пушкину, Блоку и мне. Из примечаний и предисловий явствует, что отдельные мои сборники в переводах (и в отдельности, речь только о них), очевидно, выдержали испытание рублем, если новое издательство выпускает их в другом, новом переводе. При этом разговор не о «лучшем» или «первом» советском поэте или о чем-нибудь подобном, а без всяких эпитетов о Борисе Пастернаке, как будто это что-то значит, как когда, например, у нас просто издавали Верлена или Верхарна.

Лет пять тому назад, когда такие факты не опорочивались (даже субъективно для самого себя) совершенно новым их преломлением, эти сведения могли служить удовлетвореньем. Сейчас их действие (я опять говорю о себе самом) совершенно обратное. Они подчеркивают мне позор моего здешнего провала (и официального и, очевидно, в самом обществе). Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я, действительно, притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных? О, ведь если так, то тогда лучше ничего не надо, и какой я могу быть и какой обо мне может быть разговор, когда с такой легкостью и полнотой от меня отворачивается небо?

Однажды, во время войны, кажется, еще тетя Ася жива была, я тебе тоже жаловался в припадке отчаяния, и ты меня утешала. Я бы не позволил себе так «обнажаться» перед тобой, если бы наперед молчаливо не исключил твоих возражений. Но это письмо все безобразно по своему ничем не ограниченному эгоцентризму. Два слова в слабое его оправдание. 1) В искусстве надо быть победителем, а так как это мой вынужденный, неутомимый и неизбежный труд и заработок, мне надо простить, что я отравлен производственным эгоизмом этой области. 2) Говоря на сердечные темы, я писал о себе, а не о другом человеке не по случайной слепоте, а оттого, что я в этой теме несвободен и даже тем немногим, в чем проговорился, наверное, нарушил долг молчания перед Зиною.

P.S. Я что-то вдруг не уверен в Лиговском адресе Владимира Ивановича. Будь добра, вложи в конверт и пошли ему эту записку городским.

Далее, если случится тебе что-нибудь мне ответить, не касайся, естественно, романической стороны письма.

Я очень люблю тебя, Оля. Мне что-то печально. Жизнь уже не принадлежит мне, а какая-то сказавшаяся, уже оформившаяся роль. Ее надо достойно доиграть до конца. Роман, с Божьей помощью, если буду жив, я допишу. Все доработаю. И надо, чтобы хорошо жилось близким.

Все у меня, слава богу, здоровы. Опять на даче привольно, красиво и чудно, несмотря на дожди. Женя с Женичкой в Коктебеле, Стасик, Зинин сын — хороший пианист, и наверное поедет на конкурс имени Шопена в Варшаву.

Крепко целую тебя.

Прости за бездушное письмо.

Стала я работать над Сафо. Как я ее ни грызла, как ни брала штурмом догадок, ничто не помогало. Я очень долго и очень много над ней работала без всяких результатов. Я не верила обывательски понятой Сафо. Это противоречило всем законам. Теория лесбосской любви казалась мне величайшей пошлостью. Не могли половые эксцессы получить реалистическое выражение в античном жанре, который шел, черпая тематики не извне, а изнутри.

В песнях Сафо имеется мужская роль, выраженная в типично-матриархальных формах, что помешало исследователям-модернизаторам распознать ее. Точной датировке песни Сафо не поддаются. Но можно сказать одно: Сафо подобно Гомеру принадлежит народному творчеству. Непосредственный фактор слома жанров — слом общественного сознания. Изменившийся социальный план, где главную роль играют не боги и внешняя природа, а человек и общество, создает лирику. Софическая лирика стоит на меже образного и понятийного мышления. Мифическая картина мира вытеснена реалистической, социальной.

Из разновидности темы и персонажа возникает «автор» песни. Сафо выступает то в косвенной роли третьего лица, то (реже) в прямой роли первого. Она еще и объект и субъект темы. Подобно своему персонажу, Сафо фигурирует среди богов и тематически сливается с теми богинями, которые носят мифические имена.

По всем городам длиннотелой России прошли моровой язвой моральные и умственные погромы.

Люди духовных профессий потеряли веру в логику и надежду. Вся последняя кампания имела целью вызвать сотрясение мозга, рвоту и головокружение. Подвергают моральному линчеванию деятелей культуры, у которых еврейские фамилии.

Нужно было видеть обстановку погромов, прошедших на нашем факультете: группы студентов спуют, роются в трудах профессоров-евреев, подслушивают частные разговоры, шепчутся по углам. Их деловая спешка проходит на наших глазах.

Евреям уже не дают образования, их не принимают ни в университеты, ни в аспирантуру.

Университет разгромлен. Все главные профессора уволены. Убийство остатков интеллигенции идет беспрерывно. Учащаяся молодежь, учителя, врачи, профессора завалены непосильной бессмысленной работой. Всех заставляют учиться, сдавать политические экзамены, всех стариков, всех старух.

Ученых бьют всякими средствами. Снятие с работы, отставки карательно бросают ученых в небытие. Профессора, прошедшие в прошлом году через всенародные погромы, умирают один за другим. Их постигают кровоизлиянья и инфаркты. Эйхенбаум — полный инвалид. Пропп на днях упал на лекции. Его отвезли с факультета в больницу. Через несколько дней умер на занятиях Бубрих, затравленный «Литературной газетой». Бубрих был мужественный человек, честный, скромный. Самое циничное — это тысячные венки и пышные похороны: советская власть умеет почитать своих ученых.

На кафедре полный развал. Меня просто травят, не давая в то же время уйти. Происходит черт знает что, но вполне безнаказанно.

Наконец, вышло резюме моей Сафо. Оно пробилось в свет!⁵ Отпечатанный сборник лежал три месяца в издательстве, не смея выйти.

Но настал день. Вышла. И горько, и радостно.

[Надпись на оттиске «Сафо»]

Боре, дорогому брату

Оля

27 ноября 1949

Ленинград, 27 ноября 1949

Дорогой мой Боря, посылаю тебе осадок вместо вина. Но и то надо бы сделать эпиграф: «Всюду жизнь»⁶. Пробилось хоть это. В оригинале ударение стоит на анализе текстов: под женскими образами нахожу мужские. Работа трудная по филологической тонкости, но первая во всей научной литературе. По-видимому, лебединая моя песня. Оскудеваю, каменею. С января собираюсь в отставку, на пенсию (новый закон).

Занималась много отцом. Ко мне приезжали из Москвы от Академии наук. Посылаю им уникальные документы для изучения. Архив отца уже взят тут Музеем Связи. Пристроила я его, неудачника трагического (как вся наша семья). Был крупнейший изобретатель. Вспоминаю, как ты один это почувствовал в молодости, в Петербурге — помнишь?

Роюсь в прошлом, в фотографиях. Тяжко! Пишу биографию отца. Это все трудно, сложно, трагично и величественно. Человек и история! Антиподы! Но есть момент, когда они сливаются. Я уж одурела от мыслей и миганий.

Письма уже не годятся для разговоров. Думала быть в Москве, и должна бы, но руки на ослабевшей резинке; висит голова, болтаются ноги.

Я понимаю тебя, но не спрягай ты себя в одном прошедшем, это грамматическая ошибка. Вздор, что заспанные евреи одни остались (твой ценители). Уж кто-кто, а ты-то хорошо знаешь историю, как она есть летопись не прошедшего, а бессмертного настоящего. Никакие годы не сделают тебя стариком, потому что то, что называется твоим именем, не стареет. Ты будешь прекрасно писать, твое сердце будет живо, и тобой гордятся и будут гордиться не заспанные и не евреи, а великий круг людей в твоей стране. Ты человек не потока, а перебоев. Греки были мудрецы; они учили, что без интервалов не было бы музыки и ритма. Ах, сколько хотелось бы тебе сказать! Но — обнимаю и крепко целую.

Твоя Оля

Я сидела в глубокой депрессии. Думала о своей жизни. Ушли близкие. Ушла вера и совесть. Пришла зрелость. Отпало творчество. И вот миновало последнее, что было — работа. Съездившись в отцовских дряхло-семейных креслах, я вдруг начинаю осязательно ощущать свой долг перед отцом. Надо написать о нем, ввести в историю техники. Ведь я — последняя. На мне оборван ряд.

Где-то, помнится, лежал ненужный и тяжелый сверток патентов на его изобретенья. Сашка, ожидая ареста, принес свой детский портрет, сберегательную книжку и этот пакет.

С сильным волнением я нашла этот пыльный пакет, дрожащими руками разворачиваю его на подоконнике.

Патенты. Я увидела один, два, десять, английских, русских, на автоматический телефон, на буквоотливную машину!.. Есть документ о полетах 1881 года, старые афиши, статья из истории первого драматического театра в Евпатории.

И вдруг — огромная рукопись «Воспоминания изобретателя», самими отцом написанные на машинке.

Я сажусь с утра ее читать, читаю до позднего вечера, не смея превратить священного чтения ни для еды, ни для роздыха.

Казалось, заговорило само время. Бедный страдалец, одинокий, ни от кого не ждавший спасенья, сам говорил с будущим. Горькая повесть задушенного гения. Беспредельная вера в историю. Провидение. Вера в самозащиту и непоколебимая в своей наивности и чистоте сила духа. Надо же было, чтоб столько лет рукопись не рождалась, и чтоб она возникла именно тогда, когда я созрела для ее глубочайшего понимания; когда темная и ненавидящая человека Россия своекорыстно начала интересоваться всем, чем можно торговать, — в том числе мировыми открытиями, — и русским приоритетом.

Я поняла значение «написанного». Написанное — создает. Там, где его нет — хаос и обрыв.

Отцовские записки казались мне внезапным чудом. И я единственная из всей семьи, обязана была найти эти рукописи и взять патент на отцовскую жизнь.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 9 декабря 1949

Дорогая Олюшка!

Пишу тебе страшно второпях (вечный припев). Но на этот раз, правда, не жди ничего от письма и не «льсти себя надеждами».

Как всегда очень острая статья, порывисто, немногословно изложенная, как надо.

Больше всего остановила старая твоя мысль о возникновении лирики вместе с образованием социально расчлененного общества, о том, что «душа лирики — реальный план». И распространяться о Сафо я не буду *только* из торопливости.

Все, что ты пишешь и писала в предыдущем письме о дяде Мише поразительно, поразительно интересно и ошеломляет со стороны твоей роли и твоего мужества: очень высоко, и мне, например, недоступно, что обезнадеживание и изнеможение, исходящее от прошлого, от переворачивания ушедших вдаль памятников жизни, к которой ты причастна, не затмевает ясности твоего взора, что память даже не отца, а просто победителя, не дожившего до раскрытия своей победы, все время перед тобой, и подымает тебя и настраивает героически; что ты ее не упускаешь из виду. Это поразительно!

Новы были, конечно, и приковали к себе частности, которых я не знал, разнообразие открытий, пророчески-исчерпывающий их, так сказать, состав, угадавший имевшее последовать техническое будущее. И о Томсоне⁷, конечно. Но ты права, я все это чувствовал в нем, и как удивительно, что ты это запомнила.

Теперь о «заспанных...»⁸ (неужели я так тогда написал? Странное определение). Наверное, под тем письмом был приступ действительного непритворного отчаяния, может быть, продолжавшегося несколько часов.

Но, вообще, скорее наоборот, я слишком уверен в себе, и то, что я тебя, тебя, чистую, талантливую, умницу мою родную смел натолкнуть на этот тяжелый путь ободряющих возражений, в надежде услышать что-нибудь еще такое приятное и объективное, чего бы я не мог предугадать, — последняя низость, не имеющая имени.

Но в те дни я был вообще свиньей. Меня пробудило от спячки и немного призвало к порядку большое огорчение. Моя знакомая и тезка твоя, о которой я тебе писал, попала в беду и переместилась в пространство подобно, когда-то, Сашке⁹.

Я страшно много работаю, причем все сразу, свое и переводное в стихах и прозе и, лучше сказать, глушу себя работой.

Целую тебя. Твой Б.

Какая жалость, что ты не едешь!

Это главное.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ — А. Л. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград. 22 апреля 1950.

Дорогой Шурочка,

У меня, было, украли с дверей почтовый ящик и нарушили мою корреспонденцию, а до того и почта шалила, так что ты снова мог писать мне и не получать ответа. Впрочем и мое письмо могло показаться тебе мертвым. Однако, хочется не прерывать с тобой связи.

В марте у меня были приятные переживания. Матерьялы об отце не только изучили, но и зафиксировали выводы в докладах, уже прошедших по Академии наук. Приглашали и меня на заседание в Комиссии по истории техники, но я не успела собраться. Тогда же отпечатала копию тезисов для тебя, но сильно заболела и едва «очухиваюсь». Дело в том, что у меня хрони-

ческий сепсис, который весной дает тяжелые вспышки. По-видимому, придется глотнуть морского воздуха в Териоках (кстати, бесподобная климатическая станция!).

За истекший апрель растаяли и мои иллюзии: больше никаких известий об отце я не имею. Хотела одного: чтоб в печати появилось резюме о нем, как уже было постановлено. И чтоб этим его имя вошло в историю техники.

Планов у меня много. Хочу перейти из университета в другой вуз, а то и на пенсию. Нигде нет такой тяжелой обстановки, как на филологическом факультете моей *alma mater**.

Надеюсь, вы все здоровы и скоро будете наслаждаться природой в Переделкине. Обнимаю вас сердечно. Борю просто не хочу отрывать от работы и режима, но включаю и его в орбиту своей любви.

Ваша Оля.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – А.Л. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград. 2 мая 1950.

[2 июня 1950]

Дорогие!

Вот летопись моей жизни — эти клочки бумаги и дней. Конверт с оными вещами застрял у меня: болела паки и паки, а там и всякое прочее. Сейчас отсылаю этот конверт, уже устаревший, вместе с устаревшим письмом¹⁰.

Дела отца отличны, тьфу-тьфу-тьфу. Скоро ты узнаешь это сам, своими глазами. Ко мне приезжал из Москвы тот, в чьих руках все это дело (Ак<адемия> Наук). В августе мне придется побывать в Москве. Вы будете в Переделкине? Можно ли на такси туда доехать?

Я пробуду 1–2 дня в Москве, чтоб оформить передачу отцовского архива в Архив Академии Наук и зайти в Министерство. Мечтаю вас всех обнять. Увижу ли я вас вкуче?

Я осталась в *alma mater*, где мне дали поручения, интересные для меня. Сейчас занятия кончились, но идут кое-какие экзамены.

Жду ваших вестей.

С сестринским чмок'ом

Ваша Оля.

* Кормящая мать (*лат.*), традиционное название университетов

Шура, прочти, как папа описал свой полет. Шар он сделал сам из коленкора плюс бельевой корзины. Всего было три публичных полета. Публики было множество. Кассиром за маленьким столиком у входа на Безыменную площадь был дядя Ленчик.

Посылаю тебе уникальную фотографию, подаренную отцом дяде и выкраденную мамой, еще не бывшей невестой... Теперь копии этого фото и этой надписи хранятся в Центральном Музее связи им. Попова у нас в Ленинграде, наряду с другими документами об отце...

Так быт делается историей.

Я, как папа, под старость припадаю к истории, наполняясь ее пафосом и великим синтезом всего, что зовется жизнью на земле.

Оля.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1 августа 1950

Дорогая Олюша!

О тебе чудно, подробно и приятно рассказывает Ирина: как вы встретились на улице, как ты к ней приехала на вокзал с пирожками и припасами, об угощенье, о том, как ты одета, о твоей приятельнице, о том, как тебя любят, о твоей популярности в доме. Я точно побывал у тебя и погрузился в облагораживающую атмосферу чистоты, прохлады, душевной высоты и ясности.

Жалко, что ты не собралась с Ириной. Возможность была очень удобная, подходящая и в смысле переезда, и въезда к нам, и совместного пребывания у нас. Но этот упущенный случай легко восстановим. Телеграфируй Феде, он в городе, и встретит тебя и водворит к нам.

Собственно ты, может быть, этой верностью домоседству ничего не потеряла, кроме одного: ты бы каждую минуту видела, какую радость ты мне доставляешь своим присутствием, а сознание этого всегда ведь приятно.

Вот и все. Мне хотелось сказать тебе, что я тебя вижу, и поцеловать тебя. The rest is silence*.

Твой Б.

* Дальнейшее – молчание (*тигл.*) – Шекспир. «Гамлет».

Дорогая Олюшка!

После Бориного такого письма трудно что-либо сказать. Я могу только повторить то, что писал тебе в последней открытке. А приезд Ирины и ее рассказы о тебе — еще более усилят желание тебя увидеть здесь.

Крепко тебя целую и надеюсь на твой к нам приезд.

Твой Шура. Переделкино, 1 августа (уже!).

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 7 ноября 1950

Дорогой Боря!

Как тебе нравится, как мне не повезло с приездом Зины?¹¹ Мы даже не повидались! В четверг, когда она приехала, у меня был тяжелый университетский день, с лекциями днем и занятиями на дому вечером, а в пятницу я уже не вышла на работу.

Врачи думают, что я заболела оттого, что мне накануне вырвали зуб, чем и вызвали «волнение в крови». Вот до чего я убога! Последствие трех скарлатин, перенесенных мною в жизни, дало к старости нудное осложнение в виде бесконечных катарров носоглотки, зева и горла. Эта прелесть привела к хроническому сепсису, вспыхивающему по всяким пустякам. Не знаю, как вытяну эту зиму. Так часто и *рано* я еще не хворала.

Зимой по вечерам я не выхожу, а потому концертов вашего «Стасика» не слыхала. Но один его концерт я слышала по радио (у меня замечательно тонкий репродуктор). Хорошо или плохо играет пианист — это, по-моему, дела не решает. Но у Стасика есть свое взаимоотношение с музыкой, и это все. Он играет, как «власть имеющий», что есть вернейший признак всего настоящего.

Крепко целую Зину и тебя и мечтаю о хорошей полной встрече. Слушайся, ради бога, Зининых увещаний и поклянись, что ты взрослый.

Будьте все здоровы! *Твоя Оля*

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 декабря 1950

Дорогая Оля!

Спасибо тебе за письмо, спасибо, что прощаешь мне мое молчанье. Последнее время я сношусь с тобой посредством живых картин или шарад, наездами в Ленинград из Москвы Феди,

Ирины, Жени и Зины. Спасибо и за тон, в каком поддерживала двухчасовой разговор по телефону с Зиной, она мне рассказывала. Женя в восторге от тебя, но про это ты ведь знаешь.

Может быть, Зина премирует Леню семидневным Ленинградом, если он принесет хорошие отметки за вторую четверть. Он учится хорошо, но много пропускает, потому что простужается так же часто, как ты. Если они (он и Зина) поедут, то в самых первых числах января, с первого по восьмое, позвонят, конечно, тебе. Вот ты его увидишь, родившегося таким беленьким и ставшего таким черным.

Прости, что опять не пишу ничего существенного. Да что писать-то? Но всё, за исключением кое-чего плохого, великолепно.

Крепко тебя целую.

Твой Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 25 декабря 1950

Дорогой Боря!

Ты меня очень обрадовал известием о нашей близкой родственной встрече, но я считаю нужным предупредить тебя, что я серьезно больна. У меня появилась наша «семейная» желудочная болезнь. Мой желудок не переваривает никакой пищи, и только с искусственной помощью я могу — в известные часы — съесть что-нибудь самое наивинное. Рядом идет худенье.

Я с нетерпением жду окончания первого полугодия, чтоб как раз в начале января заняться собой, и в первую очередь пройти рентген. Все это требует известных процедур, для которых у меня до января нет времени. Поскольку я живу одна, такая болезнь сделала мой быт очень мало пригодным для нормального человеческого общежития.

Диагноз, который мне поставят в середине января, заставит меня либо спешно заняться приведением в порядок незаконченных личных дел, либо уехать на Кавказ лечиться, т.к. в таком виде невозможно ни жить, ни работать.

Я до времени не написала бы тебе этого письма, если б не твоя весть, только что мною полученная. Между прочим, из

двух возможных вариантов я *искренно*, без всякого жеманства, предпочла бы худший.

Всех вас сердечно обнимаю!

Ваша Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30 декабря 1950

Дорогая Оля!

Твое письмо испугало и огорчило меня. Я вчера же, в день его получения, хотел позвонить тебе вечером по телефону, но на междугородной станции согласились принять заказ только на разговор после часу ночи. Я подумал, что, чего доброго, еще вдобавок к твоей болезни напугаю тебя и расстрою твой сон, и отказался от этой мысли.

Вот что я хотел сказать тебе. Колиты и разные разности этого порядка бывали неоднократно у меня, как, вероятно, и у тебя. У меня все это затягивалось и достигало чудовищных размеров и характера хронического только в периоды относительной незанятости, когда я имел возможность отдавать внимание здоровью и начинал лечить эти неприятности, всегда плохо распознаваемые, потому что всегда складывающиеся из действительного заболевания и тех осложнений, которые вносят в него леченье, и самая возня с этими непорядками.

Но если это даже литература, и читать эти глупости должно раздражать тебя, то опять-таки ты, наверное, знаешь, что и действительные поражения, вплоть до самых страшных, излечиваются с удачей оперативно, по всему желудочному тракту, я знаю много таких случаев очень хорошо и близко.

Я не помню, что писал тебе, но Зина и Леня не затруднили бы тебя, и в случае совершенного твоего здоровья. Они, если судьбе угодно, будут в Ленинграде между вторым и восьмым января и по телефону из гостиницы обещают справиться о твоём состоянии.

В виде новогоднего пожелания желаю тебе, чтобы все это у тебя прошло само собой, до врачей и рентгена.

Крепко тебя целую.

Твой Б.

«Свободная дискуссия» о Марре, шедшая в газете «Правда», выражалась в хитрой мистификации. В качестве скромного рядового читателя, провозглашающего свободу личных мнений, выступил в печати Сталин, этот трансформатор и балаганный фокусник.

Ничего коварней он еще не совершал. Неописуемо впечатленье, произведенное этими статьями. Разрыв бомбы! Сталин громил Марра, созданного и взлелеянного им самим. Требование ЦК партии беспрекословного догматизирования Марра Сталин сваливал с себя на исполнителей своей воли. Как раз перед самыми статьями Сталина, по его приказанию, за критику Марра, как никогда до этого, жесточайше умучивали и убивали невинных людей. Скандально и омерзительно выглядела такая ложь. Выходило, что не правительство, не Сталин, не партия учреждали для Марра академии и институты, давали ему высшие ордена, устраивали всенародные чествования, а кто же? — я, ты, он, рядовые люди, простые смертные.

Сенсация не имела себе равной. Академии, университеты, научные институты криком стали кричать, что им никогда в голову не приходили истины, открытые Сталиным, — и это было на этот раз правда, ибо то, что сказал Сталин, не подтверждалось ни одним ученым, каких взглядов он ни держался, ни одним научным учреждением. Итак, наука вся целиком ошибалась, все ученые специалисты попадали впромак, но только не он. Он, без специального образования, один ведал истину и административно насаждал ее. Марксизм у нас не мировоззрение и не метод, а плетка. Это полицейско-карательная категория.

Печально проходило у меня лето. Солнце не светило. Вспышка сепсиса прошла, но общее состояние продолжало быть тяжелым. Я ждала мрачных последствий для себя от разгрома Марра. На факультете суетились, бегали, отрекались и топили друг друга. Вчерашние марровцы заявляли на всех заседаниях, продолжавшихся целые дни, что пропагандируя Марра на лекциях, они кривили душой и учили неправде. Я не посетила ни одного из таких покаяний.

В последний день учебного года происходила такая ордалия, где ответчиком была я. Когда Марр был в силе, с пеной у рта доказывалось, что у меня с ним нет ничего общего. Теперь между нами ставился знак полного тождества.

Отвратительно было у меня на душе после этого учебного года. Снова пошла страдальческая борьба между отставкой и страхом ее последствий. Самостоятельный уход в отставку не умирающего, не репрессированного и не увольняемого был беспрецедентен и всегда политически подозрителен. Уйти — это вырваться на свободу. Но такой категории освобожденных нет в нашей стране.

Кроме того, иногда кажется, что я внутренне не переживу утраты кафедры, составлявшей дело моей жизни, бывшей частью моей души

и моих помышлений. Это было мое творчество и самоотдача. Я строила ее и совершенствовала, растила людей, не допускала предвзятости и пристрастия. Меня оскорбляло, что из дела устроили лавочку, что людей попирали за счет фракционности и фаворитизма.

И я не молчала, но боролась и понимала, что ничто не сдержит во мне протеста и негодования. Меня, как всегда, боялись, однако, избегали, жалоб моих не рассматривали и гибели кафедры не препятствовали.

Всюду, во всех учреждениях, во всех квартирах чадит склока, это порождение нашего порядка, совершенно новое понятие и новый термин, не переводимый ни на один культурный язык. Трудно объяснить, что это такое. Это низкая, мелкая вражда, злобная групповщина одних против других, это ультрабессовестное злопыхательство, разводящее мелочные интриги. Это доносы, клевета, слезка, подсиживание, тайные кляузы, разжигание низменных страстишек одних против других. Напряженные до крайности нервы и моральное одичание приводят группу людей в остервененье против другой группы людей, или одного человека против другого. Склока — это естественное состояние натравливаемых друг на друга людей, беспомощно озверевших, загнанных в застенки. Склока — альфа и омега нашей политики.

Склока — наша методология.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 11 октября 1951

Оля, где ты и что с тобой, т. е. как твоё здоровье? Прошлой зимой ты так жаловалась на кишечник, что напугала меня и сама была в страхе (или наоборот: в полном бесстрашии готова была к самому ужасному). Как теперь? Поправилась ли ты, как мне все время верилось?

Последний год самый процесс писания вызывает у меня сильные боли в левом плече и прилегающих частях спины и шеи. Вот отчего я не писал даже и тебе, ограничиваясь писаньем для заработка, по долгу службы.

Жив ли Владимир Иванович и как Машура, ее муж и семья? Кланяйся им всем и напиши о них и о себе самой. Растолкуй Машуре, что это не слова и не отписка, ты же в таких уверениях не нуждаешься.

Крепко целую тебя.

Твой Боря

Поклон от всех: от Зины, Лени, Жени (а Женя — он в Черкассах), Шуры, Ирины (Федя на работе в Новороссийске, у не-

го маленькая дочь), Розы (Фединой жены) и т. д. Все здоровы и благополучны.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 17 октября 1951

Дорогой Боря!

Я тебе очень благодарна за письмо — и за память, и за незлобивость. В последнее время так много о тебе думала, что ты не мог этого не чувствовать.

Зина, наверное, ставила мое молчанье в связь с нашей последней встречей и ее тематикой. Но, вообрази, как раз навыворот, не себя я жалела, а тебя. У меня были огорченья, которыми я не хотела тебя заражать.

Что сказать о своем здоровье? К весне мне стало так плохо, что пришлось уехать на два месяца под Ленинград, где я затратила огромные деньги, чтоб создать себе санаторные условия. Только что я стала выходить из прострации, как неприятности отыскивали меня и вызвали в город, на факультет. Два тяжких месяца спутали во мне грани между лечением и страданием.

Сейчас я на пенсии, в отставке. Не откликайся на это лирической, ни в стихах, ни в прозе.

С Машурой мы весной этого года вдруг подружили. Это очень нас обеих поддерживает. У нее живой ум, прямая и преданная душа, темперамент ее матери, и она всесторонне — культурна. Сейчас у них беда: Павел, ее муж, заболел серьезной сосудистой болезнью.

Спасибо всем за приветы, а особенно тебе за целительную имагинарность этой ласки. Я храбрюсь, не даю себе падать, работаю, живу, много бываю в театре. С желудком опять не хорошо, да и не с ним одним. Но центр тяжести не в этом.

Сердечно вас всех обнимаю и я, и Машура.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16 июля 1952

Дорогая Оля!

Как странно, что именно в эти дни пришло твое письмо. Удивительное стечение обстоятельств! Как раз Ливанов с женою¹³ очень уговаривали меня с Зиной поехать с ними в Ленинград на время Мхатовских гастролей, убеждали, посылали за

нами художницу театра В. М. Ходасевич¹⁴, имелась готовность административной части театра на устройство комнаты в гостинице и в предоставленном артистам доме в Териоках и прочая, и прочая, а я отказался.

Но то, что Ленинград был некоторое время предметом обсуждения, осталось в воздухе, и на днях Зина и Леня все же поехали в Ленинград с женой и дочерью грузинского писателя Леонидзе. Они уезжали из города, в то время, как я безвыездно живу на даче.

Вчера, пятнадцатого, я был в городе и подумал, попадет ли Зина с Леней на «Ромео»¹⁵ в эту поездку (об этом не было речи при отъезде, я их не провожал, а в Переделкине забыл ей об этом напомнить).

Кажется, в пятницу, восемнадцатого они вернутся. Может быть, я от них узнаю, что они столкнулись с тобой где-нибудь, на улице, или что какая-нибудь другая случайность свела вас вместе. Она, я знаю, и в случае каких-нибудь формальных затруднений в гостинице (вследствие отсутствия командировки) не будет обращаться ни в издательства, ни в Союз писателей, никуда, а выпутываться сама, как сама она предприняла эту поездку на естественных основаниях. Она не взяла, сколько я знаю, с собой ни одного Ленинградского адреса и не собиралась разыскивать даже Ливанову, так нас именно звавшую в Ленинград, которая на нее так же верно обидится, как теперь и ты, если только по какой-нибудь непредвиденности, вы не встретитесь.

Как молодо и с какой отчетливостью мысли ты рассуждаешь о перемене художественных форм и их назначении, о театре, о кино, как по-философски талантливо и с какой безошибочностью судишь о строении разных творческих явлений и их подобии!

Я разметил несколько таких мест твоего письма, удививших меня близостью к тому, на чем стою, и как думаю и я, и превосходством твоей немногословной ясности над моей манерой прикасаться к тем же предметам. Это все очень хорошо, и для того, чтобы не превратить письмо в трактат, я воздерживаюсь от ссылок и примечаний по их поводу.

И если ты даже выделила Ливанова, потому что знаешь, что это мой лучший друг, то и в таком случае меня радует. что наше отношение к нему сходится. Его нельзя назвать неудачником, нельзя сказать, что он не понят, недооценен, но широта его

мира, разносторонность, образованность и то, что он не замкнулся в рамки характерного актера, позволяет его собратьям коситься на него под многими предлогами: под тем, что он недисциплинирован, что он страдает манией величия, что он недостаточно профессионален и не вполне отгородился от стихии дилетантизма, что он пьяница и буйан и пр. и пр.

19-го

Вчера приехала Зина. Все, конечно, получилось так, как я предполагал. У них были затруднения с номером, и они с трудом остановились в Октябрьской гостинице. Среди объезда окрестностей они даже были в Териоках, и не удосужились узнать адрес Ливановой, ее и не искали.

Еще раз спасибо тебе за яркое письмо, распираемое теснящимся, набегающим содержанием. В конце письма у тебя есть фраза: (ты ею объясняешь отсутствие упоминаний о быте, здоровье и пр.); «Но я давно потеряла тебя и Шуру как братьев» и пр. Если это упрек и написано в тоне сожаления, то это горе очень легко поправимо. В ту самую минуту, как тебе под каким-либо видом потребуются эти братья, ты убедишься, что ты их не теряла.

Если же эти слова сказаны в совсем другом смысле и определяют род существования, протекающий вне начала семейственности, то я очень хорошо знаю этот мир, и в таком случае все тоже в порядке.

Крепко целую тебя.

Твой Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград [3 января 1953]

Боречка, милый, родной, я прямо-таки потрясена письмом Шуры с известием о модном несчастье, которое стряслось с тобой¹⁶. Не могу сказать, как я взволнована и опечалена, сколько встало в душе. Я-то думала — «родственные начала», о которых ты писал, что они чужды тебе. Но все это вздор, когда настагает то серьезное, большое, что вершит нами. Они есть, эти родственные начала, они сильны, и может быть только они одни на свете и настоящие. В такие минуты постигаешь это.

Дорогой мой! Надо же, чтобы до меня не дошло то письмо Шуры, где он извешал меня о твоём заболевании. И я узнала только что. Он говорит, ты уже на ногах. Слава Богу!

Я пережила с самого начала, словно это произошло только что — и за себя, и за маму, и за дядю с тетей. Через всю семью, через все десятилетия.

Обнимаю тебя, мой родной, и плачу вместе с тобой над пережитым.

У меня много вокруг знакомых инфарктных, но самый разительный пример — Борис Михайлович Эйхенбаум¹⁷, раз за разом, за один присест, перенесший три инфаркта в очень тяжелой форме и ныне веселый, здоровый, просто как огурчик.

Все, бог даст, пройдет благополучно, и ты ничем не будешь чувствовать себя хуже всех здоровых людей. Мы все в шатком «сосудном» состоянии, это стало неизбежным.

Крепко, нежно, горячо тебя обнимаю и всей силой души с тобой. Будь здоров в Новом Году, поправься, окрепни. Я обязательно летом повидаяюсь с тобой.

Твоя Оля

Машура просила сказать тебе от ее имени самое сердечное.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – З. Н. ПАСТЕРНАК

3 января 1953

Дорогая Зина,

бедная Вы, бедная, сколько ужаса и тревоги Вы пережили!

Зина, милая, не нужно сердиться на меня. Поверьте, жизнь при всей ее убогой простоте, необычайно сложна, и то, что мы осуждаем или принимаем за дурное, имеет свое оправданье. Разница характеров и жизненных путей часто отдаляет людей, а то и просто отвращает их друг от друга. Но разве в этом главное? В нашем возрасте, перед лицом большого и неотвратимого, все это несущественно. Вы Боре близкий человек, он мой брат, — остальное не должно вызывать никаких счетов.

Поверьте, я много пережила, и если б жизнь поставила нас с Вами в другие отношения, мы могли бы по-иному подойти друг к другу. Вы знаете, что натуры у нас, может быть, различно откликаются на людей и события, но ведь это не значит, что я что-либо плохое чувствую к Вам. Если начало нашего семейного знакомства было тяжелое, то ведь оно имело свое объяснение, и если б Боря после Вас полюбил другую женщину и оставил Вас, а я перекинулась к той, это было бы гадко. Что удивительного, что мне было тяжело и стыдно за Женю, которую Боря

приводил к нам невестой, а потом женой и матерью своего сына? Теперь, когда Вы сами его жена и такая же мать, Вы должны это понять и не относить мое — честно говоря — недружелюбие к Вам за счет моего отношения к Вашей личности, а просто как невольное и законное в моральном отношении чувство. Но разве, когда Вы сами стали частью Бори, я не хотела бы любить Вас и быть Вам в какой-то степени сестрой?

Тяжесть моего характера, может быть Вам чужда, и время, может быть, положило между нами какую-то грань — но, верьте мне (я человек искренний), я нахожусь перед Вами с чистым сердцем и абсолютно ничего недружелюбного к Вам не питаю. С мелочами я не считаюсь; но если б Вы могли так относиться ко мне, как я к Вам, я была бы Вам очень благодарна.

Дайте мне Вашу руку, Зина, и не сердитесь на меня.

Я Вас люблю, сердечно Вам сочувствую в Вашей тревоге за Борю и желаю Вам, как и ему, всего на свете только самого хорошего.

Поцелуйте Борю за меня.

Ваша Оля

Б. ПАСТЕРНАК — О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 января 1953

Дорогая Оля!

Твое письмо ждало меня дома, я выписался в день его получения. Самый внешний вид его доставил мне огромное удовольствие: ровный, полный энергии полет размашистого уверенного почерка, каким он был до войны или еще раньше.

Спасибо в отдельности, за обращение к Зине. Она на тебя ничуть не сердится и никогда не чувствовала, чтобы что-нибудь осложняло ваши отношения.

Все, что я пишу тебе, относится также к Машуре, но я не могу написать ей отдельного письма, потому что это мне пока еще трудно (оттого же пишу карандашом). Спасибо ей и тебе, что вы приняли мою болезнь так близко к сердцу. Покажи ей это письмо или перешли.

Мне вменили в обязанность соблюдать осторожность. Я не знаю, до каких пределов ее распространять. Ощущение присутствия сердца внутри почти никогда не прекращается, в самых разнообразных формах, которые неудобны только тем, что я не понимаю, опасны или неопасны эти сигналы.

Этот вынужденно-бездеятельный, выжидательный способ существования (говорят, полгода или год надо считать себя больным) очень сходится с прежним вынужденным бездействием по причине избытка сил и здоровья, и им подготовлен.

В первые минуты опасности в больнице я готов был к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства. Я сознавал, что оставляю семью на первое время не в беспомощности, и что у них будут друзья. Я оглядывал свою жизнь и не находил в ней ничего случайного, но одну внутреннюю закономерность, готовую повториться.

Сила этой закономерности сказывалась и в настроениях этих мгновений. Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу, переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил Бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти, и то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования¹⁸.

Крепко целую тебя. *Твой Боря*

Кланяйся Эйхенбауму, если он помнит меня и если ты его увидишь. Удивительное дело. За 10 минут до случившегося инфаркта, я шел по Бронной и на противоположном тротуаре увидел шедшего навстречу Эйхенбаума или человека, очень похожего на него. Если бы это был Борис Михайлович, он как-нибудь отозвался бы на этот пристальный взгляд. Я смутно вспомнил, что он очень был болен, подумал, как ничего никогда нельзя знать наперед, а через 10 минут...

Целую тебя.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 25 января 1953

Я шла домой по морозной улице и в миллионный раз пересматривала свою жизнь, — как часто делаю за последнее время. Думала о тебе. И еще с этой о тебе думой увидела в дверном ящике твое письмо.

Слава Богу, что уже опять вижу твой почерк, слышу тебя.

Хочу рассказать тебе о Борисе Михайловиче. Он был тронут и глубоко польщен твоим приветом. То на Бронной был не он. Но странное совпадение объясняет твоей необыкновенной тон-

костью чувства. На твой вопрос («если он меня помнит?») ответил: «Не только помню, но имя Бориса Леонидовича звучит для меня торжественно. Много большого означает это имя, и невозможно его «помнить» или «не помнить».

Так вот, Борис Михайлович несравненный специалист по инфаркту. Он просил передать тебе: 1) испытательный год, действительно показан. Необходимо год не работать, но, зато, по истечении года человек возрождается. Сам Борис Михайлович не верит, что был приговорен к смерти. Он здоров и вполне работоспособен. 2) Инфаркт опасен между 40–50 годами. В твоём возрасте болезнь исцелима (Борису Михайловичу 66 лет). 3) Если ты не гипертоник и не страдаешь стенокардией (грудной жабой), то ты со временем забудешь, что перенес эту болезнь, так она благополучно заживет.

Вот эти три пункта я не могу тебе не сообщить. Делаю такую оговорку, так как не хочу втягивать тебя в переписку и обременять тебя ответами. Ради Бога, не считай нужным мне отвечать. Я прекрасно понимаю, что тебе нужен отдых именно по части писания.

Ты, наверно, уже в санатории. На всякий случай: имей в виду, что час езды от Ленинграда переносит человека в *божественный* по климату и благоустроенный посёлок Комарово (бывшее Келомякки, под Териоками). Там воздух — нет, кажется, равного! Есть там «дом творчества» писательской организации, с отдельными комфортабельными комнатами и полным пансионом «повышенного типа». Там и окреп Эйхенбаум.

Желаю тебе полной поправки. Не могу сказать, как я пережила твою болезнь. И как тебя люблю, как ты мне дорог.

У мужа Машуры рентген показал рак желудка, а я этого не допускала из любви к ним, и верила, что мой оптимизм в состоянии изменить диагноз. Так, представь себе, и вышло: вера оказалась правильной рентгена. У него только язва.

Сердечно обнимаю тебя. Привет Зине и Ленечке. Я всей душой сопереживала с ними тревогу за тебя. Будь здоров.

Твоя Оля

Я привыкла ко всему, прошла через все. И все-таки, никак не умея умереть, я продолжаю находиться в жизни.

Уже все знают, что наукой заниматься запрещено. Обнаружить мысль, или процитировать или сослаться на что-то из научной литера-

туры, поставить научную проблему – это значит быть пойманным в политическом преступлении.

Но я готова идти на все. Давно я примирилась с мыслью, что мои работы не увидят света: в главной жизненной борьбе я потерпела поражение. Но я хочу писать! У меня много матерьяла, множество записей. Это необходимо оформить. Передо мной грандиозная задача: обобщить весь свой умственный опыт в книгу «Образ и понятие». ¹⁹ Я хочу показать, что понятие есть трансформированный образ: что жизнь обновляется изнутри. Мой пафос лежит в том, чтоб не разрывать понятия от образа, чтоб показать, как поэзия создается понятиями. Греция говорит со мной и говорит мне; я понимаю ее язык, Он нигде и никогда не делается понятийным. Поэзия только возникает в Греции.

Но моя катастрофа в том, что я пасую теперь перед объемом работы. По существу, творческое время навсегда миновало. Физиологическая старость поразила мою душу прежде тела. Я смертельно устала.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 27 мая 1953

Дорогой Боря!

Много и часто думаю о тебе. О твоём здоровье запросила Шуру еще в апреле, но ответа не получила. Едва ли можно предположить, что теперь пропадают письма. Что же думать? — Не знаю.

Наш город стал провинцией. Все, что еще живет, говорит, действует, переводится в Москву. Не стало ни мысли, ни действия. Провинция — плохое старое слово, из которого, как из флакона, испарился Рим. Теперь она сказывается в мелкоумии, капитальных ремонтах с выселеньем и без выселенья, в Шемякиных судах и пародировании общественных гротесков, вроде «Смерти Тарелкина»²⁰. Как ни описывали провинцию! от Ревизора и до Пошехонья. Но, в сущности, ее следует изобразить в полном безличьи и оступелой слепоте, иначе — в равнодушии и непонимании термина «жизнь». Мне так тяжело от этого кладбищенского провинциализма, что сказать не могу! У меня идет капитальный ремонт без выселенья, все изничтожено, изгажено, по слепому тупо и глухо. Это отсутствие разумности («логики») и мотивировок, когда касается не критики и гносеологии, а уборных и дымоходов, непереносимо.

Я говорю, может быть, о пустяках, но у меня смешаны планы, и я больше не понимаю, что значит пустяк.

Большое горе у Машуры. Ее муж, Павел, пошел оперировать язву желудка, был в хорошем состоянии. Ему прибавили перитонит, а сердце, которое обязано было «не выдержать» (стенокардия, инфаркт и пр. диагнозы), никак не хотело умереть. И пришлось ему пройти через огромные муки. И, конечно, погибнуть. Не пойдя он на операцию, еще пожил бы не один год.

Что сказать о себе самой? Я много сделала за эту зиму. Но пишу неровно, с печалью в сердце, повторяюсь, сбиваюсь. Обстоятельства, люди и эпоха внушали мне безверье в свои силы. Мне предстояло оправдать свое рождение от моих отца и матери. Общественным масштабом я не владею из-за упорства своего характера и ненависти к оппортунизму. Но есть своя прелесть и в том, чтоб в 63 года оправдаться перед лицом прожитых собственных лет.

Я работаю последние годы над эстетикой античного художественного образа. Мой матерьял — трагедия. Между прочим, проблема хора особенно в ней трудна, даже чисто внешне: диалектальность, архаика мысли, образов, оборотов. Но едва ли кто-нибудь у нас знает трагедию и может ее читать лучше меня. Последнее десятилетье я читала студентам только трагедию и Платоновский «Пир», который есть альфа и омега классики.

Любопытные вещи получились у меня. Я непререкаемо верю в их правоту. А главное: я могла добраться до них только тем путем, которым шла. Это-то и есть «оправданье».

Лето я провела под Териоками, в академическом рае Комарова, где за комнату с верандой и балконом плачу... 4000 р.! Физически я, как ныне говорят, «ничего», умственно — тоже, но страшно утомлена душевно, хочется сказать — смертельно, неисцелимо, ибо — ибо всему на свете положен предел. А что желудок то плох, то лучше, так это связано, может быть, с язвой, но я не лечусь. Но не это худшее из зол.

Крепко тебя обнимаю.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 июля 1953

Дорогая Оля, я глазам своим не верю, что это, наконец, я пишу тебе. Спасибо тебе, не пиши мне, пожалуйста, таких чудных писем. Тяжко чувствовать себя дикой скотиной, оставляя их неотвеченными изо дня в день.

Фауст, работа и пр. не извинение: основная гадость остается налицо. Это моя добрая воля или высшая степень моего нынешнего эгоизма, что я в большей мере, чем бывало раньше, исключаю все и жертвую всем ради двух-трех задач или трудов, ставших после инфаркта неотложными.

Надо умереть самим собой, а не напоминанием о себе (об этом и ты пишешь!), надо кончить роман и кое-что другое; то есть, это не то выражение, не надо, а хочется, хочется непобедимо сильно.

Как я себя чувствую? Да наисчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия, для того, чтобы удавалось то, что я задумал, это неустрашимое условие. И по какой-то предустановленности, это чувство счастья ко мне возвращается из достигнутого, как производственный след его возникновения и обратная отдача.

Пошла корректура обеих частей Фауста, и я не меньше десятой доли этой лирической реки в 600 страниц переделал заново в совершенно других решениях, было любопытно, могу ли я еще себе позволить такую блажь и дерзость, как не считаясь с часами дня и ночи, пожелать родить на свет такого Фауста, который был бы мыслим и представим, который отнимал бы у пространства место им занимаемое, как тело, а не как притязание, который был бы Фаустом — в моем собственном нынешнем суждении и ощущении.

В твоём письме очень важно то, что ты говоришь о трагедии и хорах. Как я что-то из мира этих представлений преследовал в триметрах и хорах третьего акта второй части! И затем, загробные обрядности пятого акта. Ах, какое счастье было биться над выражением этого всего, чтобы оно пело, дышало, существовало. У Гете и у меня лучше всего получилось самое трудное, невысказанное и неисполнимое: загробный греческий мир третьего акта и загробный христианский, современный. Мне кажется, осенью книга выйдет, и из этого хвастливого письма вырастает и надвигается на тебя угроза неизбежного прочтения ее.

Я ничего не написал тебе. И ты видишь, как торопливо добывается это прощение, которое я хочу получить от тебя, безобразную спешкою теснящуюся в одну фразу через все письмо, да еще почерком, который может тебя обеспокоить мыслью, не заболел ли я снова.

Крепко, крепко целую тебя.

Меня живо огорчила Машурина утрата. Я мало знал ее мужа, но знал только с лучшей стороны, мне он очень нравился своей внешностью, умом, мужской положительностью и спокойствием. Если можно, я спустя некоторое время напишу ей. Прости меня, я и тебе пишу как-то призрачно, не чувствуя, что пишу тебе. Я был все время с тобой и с твоим письмом, но бездеятельно, — деятельно же я с какой-то отвратительной жадностью весь в одной работе.

Крепко целую тебя.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30 декабря 1953

Дорогая Олюша, с Новым годом!

Отчего я не пишу тебе? Вследствие, главным образом, лежащего в основе свинства, разумеется. Но есть и другие причины. Потому что надо встретиться, пожить вместе. В этих условиях взаимоосведомление происходит естественно. Да и не в информации дело, а в развивающейся в совместной болтовне философии. Затем я не пишу потому, что все более или менее в порядке у меня, а писать о хорошем всегда граничит с хвастовством или на него сбивается.

Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось всендневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются.

Все, что ты мне предсказала хорошего в близком после инфаркта будущем, начало сбываться в конце лета. Кажется, я тебе об этом писал. Мне удалось переделать чудовищную махину обоечастного Фауста, как мне хотелось. След удовлетворения, оставшийся у меня после возвращения корректур, неправильно разрастался в ожидании книги и создал иллюзию, будто переводом и содержательно, в смысле материально-ощутимого целого и системы мыслей достигнуто что-то новое, сразу открывающееся, очевидное. Теперь Фауст вышел. Я вижу, что это не так, что это ошибка ощущения.

Но у меня нет разочарования. В это заблуждение насчет внутренней стороны текста я введен другою удачей: текучестью и естественностью языка и формы, единственным условием, при ко-

тором можно прочесть около 600 страниц лирического стиха, то, чего я в первую голову добивался и добился.

Я вчера (но еще в самом глубоком поверхностном наброске или пересказе) кончил роман, которому только недостает задуманного эпилога, и написал около дюжины новых стихотворений. Вот уже и глупо, что я тебе все это пишу. Что дает это перечисление? Однако, ты из этого заключи, что я здоров и что у меня легко на душе.

Последнее время частые припадки печени у Зины, так что мы отменили предполагавшуюся встречу Нового года. Вчера и позавчера у нее были сильные боли, сегодня ей легче.

Все вышеизложенное есть только распространенное вступление к единственно важному, к просьбе, чтобы ты при первой возможности, как-нибудь в начале января, написала мне о себе и Машуре, как вы и что у вас слышно. И передай ей, пожалуйста, самые лучшие пожелания и поздравления с наступающим Новым годом.

Крепко целую тебя.

Твой Боря

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 27 декабря 1953

Боря, дорогой, где же Фауст? Я не смела тебя беспокоить родственной лирикой, но мне очень хотелось издать тьму восклицаний. Ведь я, не зная о твоей работе над Фаустом, уже несколько лет ждала ее, и на моем столе водворялись бумажки с надписью: «Фауст». Это значило, что я жду его и буду тебе о нем писать.

И вдруг – твое сообщенье, что он выходит в свет. С Новым годом, с Новым Фаустом! Но где он?

Чмок, чмок. Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 31 декабря 1953

Мамочка моя, родная сестра моя Олюшка!

Подумай, какое совпадение! Я сегодня утром написал тебе письмо, намеренно серое, ординарное, чтобы не связывать тебя и не побуждать к длинному ответу. Но этот холод к Фаусту и все, что там о нем сказано – искренне и оправдано, и остается в силе. Я захватил письмо на прогулку и забыл опустить его в ящик,

имел в виду выйти вечером и отослать. И вдруг — твоя открытка, с ее безмерным теплом, меняющая весь тон разговора.

Завтра вышлю тебе Фауста, но верь мне, это факт уже свершившийся и отошедший в прошлое. У меня никакого нетерпения к нему, можешь даже не читать его. Писать же, даже совсем немного о нем, и не думай, прошу тебя!! Я ведь не кривляюсь и не рисуюсь, ты, надеюсь, мне поверишь.

Я уже и в первом письме хотел как-нибудь довести до твоего сознания, не вдаваясь в частности и доказательства, что мне очень хорошо.

Я уже и раньше, в самое еще страшное время, утвердил за собою род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться. Теперь я могу ею пользоваться с гораздо меньшим риском. Но не в этом источник моего хорошего самочувствия. Тому много причин, много реальных и много воображаемых. Но внешне ничего не изменилось. Время мое еще не пришло. Писать глупости ради их напечатанья я не буду. А то, что я пишу, все с большим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати непригодно. Спасибо тебе за открытку. Люблю и целую тебя.

Твой Б.

Как ты заключишь из первого письма, я Фауста даже не собирался посылать тебе, именно чтобы тебя им не «беспокоить».

Как тебе все это объяснить? Это вещи элементарные, из начальной физики. Для того, чтобы все это существовало, значило, двигалось (Фауст, я, работы, радости) требуется воздух. В безвоздушном пространстве оно немислимо. А воздуха еще нет. Но я счастлив и без воздуха. Вот пойми ты это, пожалуйста.

[Надпись на «Фаусте» Гете, ГИХЛ, Москва, 1953]

Дорогой сестре моей Оле,
талантливой, мужественной, умной.

От Бори

К новому 1954 году

31 декабря 1953

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 7 января 1954

Дорогая моя Олечка, сестра моя!

Этим ответом на твою телеграмму я хочу предупредить тебя, хочу предотвратить ненужную с твоей стороны трату времени и душевных сил, ненужную, как говорила покойная Цветаева, растраву.

Третье письмо я пишу тебе, чтобы рассказать тебе, как двойственна и таинственна, как разбросана по сторонам и противоречива моя жизнь, каким счастьем я полон последние месяцы и в каком я отчаянии от того, что внутренний этот план для внешнего ничего не значит, — третье письмо пишу я тебе об этом и до сих пор ничего не сумел объяснить.

Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как уцелел я за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!! Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять, — я многое предвидел, но запаса терпением не на такой долгий срок, как нужно. И, как я писал тебе, время мое еще далеко.

И ведь Фауст — не главное. Рядом есть вещи, перевешивающие значение работы, — роман, подведение его к концу, новые стихотворения к роману, новое состояние души. Это внутренне значит безмерно много, и внешне не значит ровно ничего.

Я знаю, что много хорошего в переводе. Но как мне рассказать тебе, что этот Фауст весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно с работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и верность. Но и это не главное.

Последнюю волну живой воды, расшевелившей текст, я пролил на него в листах корректуры нынешним летом. Переделки мои, совершенно новые страницы, количественно очень многочисленные, уходили в возвращаемых листах, у меня дома следов от сделанного не оставалось, и вследствие спешки я ничего не помнил. С результатами я столкнулся только теперь, и во всей книге строчек, которые продолжали бы меня коробить своей скованностью, наберется не больше десятка, их так легко было переделать, — не хватило смелости отойти от буквы под-

линника чуть-чуть больше в сторону, на свободу. В остальном же все звучит и выглядит, как мне хотелось, все отлилось именно в ту форму, о которой я мечтал.

Разочарован я другим. Сверх хорошего перевода сам Гете еще нуждался в претворении и превращении посредством хорошего, вдохновенного введения и комментария, которых нет. Сколько раз предлагал я в этом направлении свои услуги. Но разве можно какому-то непосвященному беспартийному доверить такой ответственный идеологический участок? А я мог бы так живо и доступно, легкою сжатою прозой пересказать содержание, так естественно выделить действительные странности оригинала, несообразности его последовательности с нравственной точки зрения, остающиеся здесь неотмеченными и необъясненными, и так честно и заинтересованно сам бы постарался найти им объяснение, что из этого что-нибудь наверное бы получилось, приносящее свой деятельный свет в дополнение к проясняющему действию перевода. Ах, как все мы были без надобности свободны, когда еще ничего не значили и ничего не умели!

Не пиши мне много, пожалуйста, не утруждай себя длинным и сложным разбором. Ты знаешь, как я ценю и люблю твои письма, — дело не в этом. Не отравляй себе удовольствия, которое все же тебе, наверное, доставили некоторые страницы, вымышленной утомительной обязанностью в ответ или отплату. Не терзай своего сердца обидными сопоставлениями того, как это велико, с тем, как это мало или недостаточно признано. Я не могу тебе ничего сказать о том подпольном признании, которым балует меня судьба, оно всегда так неожиданно, но говорить об этом было бы глупо и нескромно, — и самое неслыханное и фантастическое из этой области — чужие тайны, которых я не вправе касаться. Прости меня, зачем я пишу это все тебе, я ничего не умею сказать. Мне хорошо, Оля.

Твой Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 6 января 1954

Дорогой Боря!

Только что я хотела ответить тебе, как следует, на твои два письма, особенно на последнее, поразившее меня братской сердечностью и ласковостью (я так метнулась к тебе, и столько во мне поднялось!), — как пришел Фауст.

Ты и взаправду *должен* быть счастлив, быть удовлетворен высшим и единственным на земле удовлетвореньем. А сколько раз ты считал себя у конца! Бесплодие творящего — милость Божия. Она наливает силой и дает паузу, без которой не было бы на свете ритма. Когда ты падал — сколько предстояло тебе сделать! Что ждало тебя!

Фауст — это монумент твоей славы. Я взяла профессиональными руками книгу, посмотрела в нее — и поняла это.

Но почему именно Фауст? Чего еще недоставало тебе после тебя самого и Шекспира?

Потрясает картина твоего в 64 года полноводья. Ты вдруг вышел из заточенья не с бледным лицом, а в горностае, во весь рост творческой гордости, во всем великолепии высочайшей полноты и меры.

Я не люблю родины Пуришкевича и III-го Отделения²¹. Я устала до смерти от желудочной болезни, от тошноты, надрывающей сердце. У меня головокруженья и рвоты, но с отвратительным отсутствием беременности. Я несколько лет не говорила с тобой из-за Шпекина²².

Но когда я взяла в руки твою книгу, я подумала: вот это — ощупь культуры во всей ее осязательности. Это вклад, который делается на глазах нерукотворным событием, кровью русской культуры, ничем не смываемой. Дверь отворилась, ты вошел и сел. Это — факт.

Тут уж нет ни вкусов, ни школ. Означаешь ты будущее или прошлое. Сурков ты или Исаковский, Бурлюк или буржуй — или Александр Александрович Смирнов. На Фаусте они зубы себе обломают, потому что это шире — для русской культуры — чем Шекспир или Пастернак. Это первый русский Гете, уже не говоря о Гете ГДР. Это политический факт. Так что и для слепых и для зрячих. Превосходен язык, живой, естественный, точный, сжатый. Простота формы сочетается с полнотой гетевской мудрости, и ее измеренье в глубину дается легко, как во всякой подлинной зрелости. Прекрасно играет ирония и налет шуток, составляющей привкус немецкого средневековья. Все дано в движеньи и в колорите. Заострены сентенции, которых так много, и концовки. Чудно звучит мелос²³.

Да, ты не можешь не чувствовать себя хорошо. Тебе дано счастье не только быть великим, но и стать великим. Тебе дано осуществленье.

Я еще не все прочла, но ясно одно: ты изменил природу перевода, сделав его из обычного иностранца в кафтане — самостоятельным оригиналом, который жадно читается без ощущения, что ты в гостях. Как горько, что закрыты мамыны глаза! Как бы она теперь читала!

Надписью на книге ты меня огоршил, чтоб не сказать огорчил. Насколько было бы лучше, если б не было этой оценки, такой неестественной в устах брата. Ты неисправимый... литератор.

Крепко обнимаю тебя.

Твоя Оля

Я уверена, что ты получишь официальное признание.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 18 марта 1954

Боря, в апреле пойдет твой Гамлет в Александринке. Тебе не хотелось бы послушать себя в звучаньи? Этот спектакль несет большой смысл... Приехал бы ты на генеральную репетицию или премьеру. Я могу узнать точную дату. Пожил бы у меня, сироты.

Гамлета будет играть Фрейндлих, талантливый актер; очень был хорош... в Хлестакове. Я уверена, ты остался бы доволен.

Обнимаю тебя.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 марта 1954

Дорогая моя Олюшка, спасибо тебе сердечное за открытку. Я знаю об этом спектакле, со мной списывался Козинцев²⁴, режиссер, и тоже звал в Ленинград. Я не поеду. Мне надо и хочется кончить роман, а до его окончания я — человек фантастически, маниакально несвободный. Вот, например, до такой степени.

В апрельском номере журнала «Знамя» собираются напечатать десять моих стихотворений из романа «Живаго», в большинстве написанных в этом году. Я их читаю в гостях, они мне приносят одну радость. Их могло бы быть не десять, а двадцать или тридцать, если бы я позволял себе их писать. Но писать их гораздо легче, чем прозу, а только проза приближает меня к той идее безусловного, которая поддерживает меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы поведения и прочее и прочее, и со-

здает то внутреннее, душевное построение, в одном из ярусов которого может поместиться бессмысленное и постыдное без этого стихописание. Мне не терпится освободиться поскорее от этого прозаического ярма для более мне доступной и полнее меня выражающей области.

Или, например, если не считать некоторого Зининого неприкосновенного сбережения, с текущим, повседневным бюджетом у меня теперь некоторая временная заминка. И опять, из-за неоконченного и пишущегося романа у меня нет времени постоять за себя, что-то предпринять, похлопотать в издательстве и т. д.

Вследствие поглощенности этою мыслью, у меня нет времени спорить, когда мне говорят глупости, и за недосугом я со всеми соглашаюсь, и предпринимаю правку, о которой просят редактора переиздаваемых переводов, хотя этого мне совсем не надо делать.

Видишь, какое несчастье этот роман, и как надо стараться поскорее от него избавиться. По тем же причинам пишу тебе второпях, за что прошу простить меня.

Я тебя не поблагодарил за твоё щедрое чувствами, великодушное письмо о Фаусте. Но оно было именно то, написание которого я хотел предупредить и не успел. Как ты доверчива, если думаешь, что перевод оценят и обратят на него внимание (я привожу в своих выражениях надежды, которые ты питала в письме). У меня никогда расчетов и притязаний таких не было и быть не может.

Теперь о другом, гораздо более важном. Если ты знаешь кого-нибудь из участников постановки и спектакля, передай им от меня выражения сильнейшей признательности и пожелания успеха. Чтобы они не думали, если я остался в стороне, молчу и не даю о себе знать, что я что-то возмнил о себе, что безразличен к ним и что работа их не представляет для меня значения. Или иногда я отзываюсь слишком вынужденно торопливо с превратными последствиями, на письме лежит налет угрюмой отписки, способной оскорбить получателя. Так, на меня, кажется, обиделся Козинцев.

Милая, дорогая Оля, вот и тебе написал я безобразное по глупости письмо, состоящее из единственного слова «роман» в двадцати повторениях. А как бы я хотел обнять тебя, пови-

даться и поговорить с тобой!! И это будет, будет когда-нибудь, увидишь. Без конца целую тебя.

Твой Боря

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 27 марта 1954

Дорогая Олюшка!

Мне прислали афишу о готовящемся Гамлете, расклеенную у вас. Это очень радостно, но там неправильность, сказано: перевод Б. Пастернак, а не Пастернака, как надо. Я об этом написал Козинцеву, но в вежливой, не настойчивой форме, прося его, чтобы в следующих афишах о днях спектаклей ошибку исправили и имя склоняли. Если у тебя есть знакомства с кем-нибудь из группы, близко стоящих к театру или постановке, сделай милость, напomini об этой моей просьбе, и чтобы кто-нибудь последил о ее исполнении. Если это для тебя сопряжено с какой-нибудь неловкостью или трудом, или нет путей, прости и забудь.

Крепко тебя целую. *Твой Боря*

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 3 апреля 1954

Дорогой Боря, я сделала то, что ты хотел, но дойдет ли грамматика до сознания корректора — сказать трудно. Увижу на премьере 11-го апреля афишу. Играют самые первые актеры. После премьеры опишу тебе все впечатления.

На тебя все обижены, до широкой публики включительно. До скорой бумажной встречи!

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 4 апреля 1954

Дорогая Оля!

Ответь одно: исправили ли имя на афишах (Пастернака). Тебя, наверное, поражает эта мелочность при кажущемся отсутствии интереса ко всему остальному. Но крупными, частями жизнь будет возвращаться с неисчислимо многих и разных сторон. За всем не поспеть. Мне привезли уже одно мнение артистов московского гастролирующего у вас театра, соперников и недоброжелателей, похваливших Полония и призрака отца, и

нашедших Гамлета слишком деятельным и оптимистичным, не оставившим ничего от трагедии. Но ведь таков перевод. Бедные исполнители! Привезут мне еще и другие сплетни.

Целую тебя. *Твой Боря*

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 10 апреля 1954

Ошибка исправлена. Завтра премьеры, жду с волнением. Жди отчета от меня.

Пишу по дороге из театра на почте, в руках колбаса, сосиски и булки для приятельницы. До послезавтра.

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 апреля 1954

Золото мое, Олюшка, спасибо тебе, что ты так горячо и деятельно держишь меня в курсе событий. Слышал очень хорошие отзывы о спектакле.

В Ленинграде часто бывает Ливанов, большой мой друг, который должен был играть Гамлета во МХАТе пятнадцать лет тому назад. На днях он был с женой и оба (приятели Черкасова) просили у него и Козинцева, чтобы их пустили на генеральную, и им отказали. На премьеру отсюда выехала Л. Ю. Брик. Вообще это — театральное событие, о котором будут мнения самые разнообразные и противоположные. Не страдай за меня, как я всегда прошу.

Сейчас я должен выступить на одном вечере венгерской поэзии. В четвертом, апрельском номере журнала Знамя есть несколько моих стихотворений из романа, 16-го будет обсуждение Фауста (перевода в Союзе писателей). Пока все это очень незначительно и пока, все же, очень чуждо. Только бы хватило сил для решающих проявлений и не подорваться на этих предварительных пустяках. А столько еще можно сделать и сказать!

Целую тебя, хорошая моя.

Твой Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 11 апреля 1954

Дорогой Боря!

Спектакль великолепный, но без Шекспира. Гамлета ставят, как современную психологическую реалистическую драму.

Когда я прочла в газете, что в Гамлете показаны «уродливые общественные отношения» и что цель Козинцева «ярко воссоздать образ героя, защищающего стремления людей к разумной жизни, лишенной лжи, насилия, угнетения человека человеком», я готова была увидеть в Гамлете народного демократа или предтечу декабристов. Кое-что в этом направлении имеется — пантомимический показ простого народа и восстание, предводительствуемое Лаэртом в одежде корабельщика, с разорванной белой рубахой. Но все это не больше, как «приближение к нашей современности».

Желая побороть рутину, театр дал много нового в трактовке и в мизансценах. В начале — пролог. Темно. Бьют башенные часы, средневековые, с заводными средневековыми фигурами. В глубине сцены — гробница, Гамлет перед ней на коленях. Благоговейно толпится народ. Гамлета любят, к нему тянутся. Он одаряет нищих.

Клавдий — маленький, рыжий, бледный; он суетлив. Смотрится в ручное зеркало. Гертруда — красивая женщина, без степенности, но с мелкой заносчивостью. Полоний традиционно толст и очень хитер. Лаэрт — бандит. Офелия приходит в своей последней сцене без цветов и венка, в бархатной верхней мантилье, пышной, которую потом сбрасывает.

Все естественны, правдивы, просты. Сцен на троне нет. Король и королева, как современные любовники, влекутся друг к другу, ищут рук и взглядов, ходят; «Гонзаго» разыгрывается в саду, с подмостков балаганной телеги. Призрак появляется на башенной вышке; он дороден, простоволос, добр, гуманен. Ну, а Гамлет?

Его играет умный, интеллигентный актер с широким диапазоном. Такого детально разработанного Гамлета я никогда не видела (уж не говоря о бездарном Качалове). Внешний образ до максимума прост. Черная одежда чуть не из коленкора, «шляпы» и кудрей нет. Большой лоб, высокая худощавая фигура, тонкие ноги. Умен, саркастичен и хитер в отношениях с врагами, добр и мягок. Трогателен. В сцене с матерью не резок, а после призрака по-чеховски нежен, грустен, мягок. Забыв игру, я смотрела на него, как на «живого» человека, жизнь которого проходила, как жизнь знакомого. Мысль «в чем же его драма» не вставала. Разве ты думаешь о драме, когда у тебя в столовой пьет чай твой знакомый, «несчастный в жизни»?

Офелию играла даровитая молодая актриса, показавшая себя в Джульетте (из театра для детей). Фигурка, молодость, полная естественность интонаций и движений, доведенная до бытовизма; но лицо простецкое, но поэзии никакой.

Кто был хорош — так это Горацио. Я никогда не видела такой сердечности, достигнутой просто и скромно. Да: Розенкранц и Гильденстерн. Щегольски одетые два красавца, без обычной угодливости и приседаний.

Фортинбраса нет совсем. А тем самым нет и замечательного философского образа²⁵. Что такое Гамлет без Фортинбраса? Это так у Мопассана: в конечной фразе — раскрытие всего смыслового смысла (написала нечаянно, но оставлю). Второй возможный вариант жизни, облегченный, но настоящий, действенный, реальный: вот кто Фортинбрас. Это вечная молодость, это жизнь в непосредственном ее потоке и свершеньи. Он должен прийти. Когда Гамлет умирает, приходит Фортинбрас — иначе не шла бы жизнь на земле. Сколько уносит с собой Гамлет! В чем его драма? В том, что он жил за жизнь (если б можно было так взаправду сказать!), брал на себя ее, творил от утра до вечера ее значенья, пролезал через толщу ее смыслов, как подземные черви; утомленье Гамлета бесконечно. Фортинбрас облегчен отсутствием этой мировой усталости. Каким светом он наполняет эпилог Гамлета! Сколько в нем шекспировского величественного оптимизма! Конечно, в «мещанской драме» Козинцева ему нет места.

— Все знаменитые монологи нарочито «ореалены» и сделаны обыденными. *To be or not to be** проходит на фоне заглушенного где-то за сценой органа и совершенно пропадает. Многие неясности «Гамлета» выутюжены; все это ясно до предела. Мизансцена «галереи» заменена, — ну, разумеется! — интерьером. Показана комната Гамлета. Посредине — огромная Ника на постаменте, без головы, как и следует; на полу античный барельеф, над ним полка с огромным свертком (древняя рукопись!). Здесь идет разговор с Полонием. «Слова, слова, слова» Гамлет произносит полусидя на столе или ручке кресел, и при этом с шумом перелистывает кучки страниц.

* Быть или не быть (*англ.*).

Сильная по драматизму сцена с «оленем»²⁶ после «Гонзаго» мелодраматически переходит в «театрализованное зрелище» с танцами, криками и шутовством. — Купюр масса. Убраны шекспировские метафоры и афоризмы. Стих «снят»: читают, как говорят. Если б мы не жили в яркую, замечательную эпоху, я сказала бы, что такое противоборство стиху, ритму, страсти, темпераменту могла бы породить только эпоха, распластавшая человека и вынудившая из него внутренности, эпоха растоптанного стиха и облёванной души. Объясни: если нужно скрывать ритм и метр, как скрывают порочное происхождение, зачем писать в ритме и метре? Тогда давай разговаривать, как во время обеда.

Ты сочтешь за родственное преувеличенье («щедрость чувств», как ты называешь), если я скажу, что никогда ни у каких двух писателей не было столько умственного родства, как у Шекспира и у тебя. Все, за что тебя так нещадно гнали и хотели вытравить — это «шекспиризмы». Когда читаешь Шекспира, поражаешься, сколько в нем «пастерначьего», того, что твои критики называли футуризмом, хлебниковщиной и т.п.²⁷ Шекспировские образы, метафористика, многоплановость мысли, спрягаемость событий во всех временах и видах одновременно, доведение частности до универсализма, величайший поэтический ум. Поразительно значенье анахронизмов у Шекспира. Он держит в одной руке нити прошлого и настоящего. Замечательно, как в «Цезаре» и «Антонии» он делает ремарки в нашу сторону, разрывая ткань времени. Так, у какого-нибудь Гольбейна к Богородице и Богу могут примоститься целые семейства Мейеров. Как убоги эти требования «современности» и «реализма»! Нельзя же требовать, чтоб у слона был хобот. Можно подумать, что они видели искусство без современности и без реализма, и жеребенка, вскормленного в консультации.

Я ушла, не досидев до конца. И не потому, что было скучно. Но актеры уже показали свой «потолок» и больше ничего дать не могли. А искусство есть ожиданье. Когда больше ждать нечего — с этим все кончается. Как любовь.

Я шла домой счастливая свежестью вечера. И у меня были свои тени: мама, дядя Ленчик. Гамлет — это не только история театра, но и семья, и юность, и та духовная физиология, которой живешь и держишься, ее не замечая.

Тебя знает весь цивилизованный мир. Но когда шумела и жужжала толпа, наполнявшая все ярусы и партер, и усаживалась, задевая чужие ноги, какой явной стала история! Твое величие можно было купить в любой афише и поразиться его осязаемости. Вот поднялся занавес — и твой язык раздался со сцены, твой жизненный подвиг сделался сценическим воплощением. Гамлет в переводе Бори!

Но чувства гордости у меня не было. История поглощала семью.

Извини, что я тебя занудила. Ради бога, не вздумай отвечать. Я пишу тебе «по мере надобности», и этого права у меня не отнимай, не стесняй меня глупыми условностями. Я знаю, что ты хороший мальчик и культурный гражданин, но очень занят и сыт по горло чернилами. Обязательность твоих ответов лишает меня возможности иногда говорить с тобой, — а ты не знаешь, какая бывает в этом потребность.

Обнимаю тебя. Надеюсь, что ты здоров и хорошо работаешь.

Твоя Оля

Сейчас мне сказали, что конец Гамлета таков: покойники лежат во мраке, небо озаряется ярким светом — и там, в вышине, появляется на постаменте Ника, та самая. Как говорится — комментарии излишни.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16 апреля 1954

Дорогая Оля!

Мгновенно отвечаю тебе по прочтении твоего талантливое, увлекательного, большого и глубокого письма, и в момент самый неподобающий: сейчас седьмой час вечера, а в семь тридцать в Союзе писателей обсуждение моего перевода Фауста, и я иду туда. Я плакал, читая твои строки.

Милый друг мой, достань где-нибудь через неделю или дней через десять четвертый номер журнала «Знамя» (тут он уже вышел). Там за вычетом двух-трех стихотворений, раньше написанных, — все новое. Тебе приятно будет увидеть в нынешней печати такое простое, естественное и непохожее на нее. Главное, конечно, не в них, а в прозе, в «системе» которой они вращаются и к которой тяготеют. И слова «доктор Живаго» оттиснуты на современной странице, запятнаны им!²⁸ Без конца тебя целую, радость моя.

Меня огорчает, что присобачили они ко мне Маршака. За-чем это?²⁹

Твой Б.

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 июля 1954

Дорогая Олюшка!

Жива ли ты и что делаешь? Как твоё здоровье? Я более чем свинья перед тобой, я подлец и мерзавец (если только это действительно более свиньи), что отделался короткой отпиской в ответ на твой большой обстоятельный разбор Гамлетовской премьеры. Это было замечательное письмо, содержащее целый мир представлений, в общей сложности споривших глубиной и яркостью с самим Гамлетом. И когда я теперь слышу или узнаю что-нибудь об этой постановке, передо мной встают не Шекспир, не Александринка, не Ленинград, а твоё письмо.

Я боюсь, что ты не знаешь, как я люблю тебя, и не чувствуешь, как я тебя целую. Но если я расстанусь со своим, вошедшим в привычку, трудолюбием, что тогда от меня останется?

Зимой несколько либеральных месяцев были в том отношении облегчением, что знакомые заговорили живее и с большим смыслом, стало интереснее ходить в гости и видать людей.

Кроме того, наступил перерыв в утомительном этом плавании по собственной вынужденной безбрежности, без руля и без ветрил, некоторое подобие органического, наполненного жизнью воздуха подступило к твоей судьбе, охватило её кругом, опять придало ей очертания. Стало легче работать. Элемент определенности, хотя бы даже далекой, одним своим присутствием в пространстве дал опять почувствовать, где ты начинаешься и кончаешься, чего хочешь, почему у тебя такие странные желания и что ты должен делать.

Я и тогда был вне этих слабых перемен и не льстил себя никакими надеждами. Но обстановка была приятнее своим большим сходством с жизнью. А теперь опять я погрузился в бездонность полной своей свободы и одиночества. Я хочу кончить роман и верю, что кончу его. Ничто не мешает мне писать его. Я здоров и хорошо себя чувствую.

Зимой был ремонт дачного дома, который мы арендуем у Литфонда. Он переделан и превращен во дворец. Водопровод,

ванна, газ, три новых комнаты. Мне неловко в этих помещениях, это не по чину мне, мне стыдно стен огромного моего кабинета с паркетным полом и центральным отоплением.

Я работаю, я не умею отдыхать, наслаждаться, но как скучны и бездарны черновые карандашные заготовки, которые я делаю к последней части! Можешь себе представить, какой это ужас и отчаяние, если я позволил себе отложить в сторону свой дневной урок и дал волю постоянному желанию немного побыть с тобой. Но не буду гневить Бога: вот я немного отвел душу с тобой, ничего не упомянув. А разве это не счастье. И кроме того: судьба так мягка ко мне. Но так несоизмерима разница между тем, что можно и должно было бы сделать, будь хоть какая-нибудь связь и сходство с любимым путем в окружающем, и тем, что даешь и делаешь без этой общности.

Каждое лето я с некоторой надеждой, что это когда-нибудь осуществится, зову тебя к нам. Я не повторяю этой просьбы, она только возрастает в силе.

Поцелуй, пожалуйста, от меня Машуру. Это не слова, не безразличная условность. Очень часто целые полосы отдаленного детского прошлого проходят передо мною особенно нынешним обжигающе-жарким летом с заскакивающими в дом кузнечиками. Я опять все вижу не только с жаром, звуками и запахами тех дней, но и с чувством, что освобождающее, облегчающее дыхание будущего уже было после горячей тесноты их и бедной правды.

Ах, Оля, Оля! Так, как тебя, мне надо было бы повидать только девочек, и не из-за близости родства только, а прибавившегося потом знания мира. Обширности кругозора, твоей деятельности, их путешествий.

Крепко целую тебя.

Твой Боря

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 17 июля 1954

Боря, друг ты мой дорогой, что же это за чудеса? Ежедневно думаю с тобой, пишу, наконец, с решимостью берусь за перо — выношенное, уже разлагающееся в утробе, письмо — и в эту минуту твой конверт, где все предвидено и все сказано. Ну конечно же, я именно и не жива и не здорова — твой вопрос прямо в мишень.

До чего же это вышло глупо и глупо: как только ты написал мне «возьми Знамя», тут-то я и смолкла. А рецензии уже были

мне известны. Мое молчанье как бы становилось мнением (не в твоих, конечно, глазах, но в моих). Поэтому я даже не смела спросить тебя, как прошло обсуждение Фауста, — а интересовало меня это до чрезвычайности.

А дело-то все было в том, что мне казалось беспардонным говорить с тобой до Знамени, у меня же вспыхнула желудочная хвороба, которая всем представляется раком, всем — кроме меня (я не верю ни в какую решительную свою болезнь, которая освободила бы меня от груза бытия и старенья). Словом, я уже прячу эту штуку, отмучиваюсь и переживаю. Но она вырывает меня из жизни, разрушая тот режим бессмертия, который я вынуждена была себе создать.

А дальше вот что. С тех пор, как журналов перестали трепетать, их перестали и выписывать. Мне предстояло пойти в библиотеку. Так вот, сатана ущипнул меня за мою левую ножку, да еще в подъеме, и я пошла плясать на одной ноге. Ну, постель, хирург, телефоны, советы, возмущенья и увещанья... *et cetera**. А диагноз? В том-то и дело, что он, из чувства солидарности, стал хромать и «шкандыбать» не хуже меня. В общем — чужь, бесполезная хвороба, но я не выхожу с сотворенья мира, и провела всю Сахару в ящике, обращенном на солнце.

И представь себе — провела расчудесно. Не утруждая свою совесть, я вдруг получила индульгенцию на разрыв с внешним миром.

Теперь пойми, с каким энтузиазмом благодарности я читала твое письмо! Это ангел освобожденья. Мифология не говорит, кто отбивал гвозди Прометея. Но это был ты. Я получила право писать тебе, не достав Знамени.

Милый друг мой! Сейчас я паду к твоим ногам и начну тебя восхвалять! Все, что имеет человек на сердце и хочет высказать, ты как воплощенье, как выраженье во плоти, очерчиваешь в нем и вокруг него. Извини меня, если я повторяюсь. Но паки и паки мне нужно сказать тебе, что в тебе семья достигла такого выхода в открытое море, что во мне нет ничего, что не было бы доведено тобой до безграничности. Никакая точная механика не может достичь твоей точности, если нужно дать определенье тому, что без границ или в границах.

* И так далсе (*лат.*).

Говорила ли я тебе или нет, что значит то странное счастье, которое испытывает человек «состоящий (буквально!) в родстве» с искусством? Это отбрасывает его в сторону и к ногам, как тень. Я говорю именно об этом. Если хочешь, — это возвращенье к «исповеди», которую мы с тобой вели в юности и называли ее (помнишь? помнишь, конечно! — у тебя память все навеки помнит) «завещаньем». Так вот, это и есть разгадка семейной шарады, того, почему я сторонилась тебя, уходила, ощущала дистанцию почти по железнодорожному, вплоть до невозможности сесть в дизель и поехать в Москву, притронуться к твоей жизни руками; почему я любила тебя больше всех на свете, и не было тех слов, которыми я умела бы передать, как двуединен ты мне, ты, взявший меня в интегральном исчислении, выразивший и всегда выражавший то мое, что называется человеческой жизнью. Во мне не было никогда ничего, что я не могла бы тебе сказать. А это бывает только к одному, не к двум, на свете. Какое счастье, что я по паспорту твоя двоюродная сестра! Это почти неправдоподобно. Но вот я имею право написать тебе это, и еще успеть написать.

Греки были дураки, когда верили в умирающих богов. Умирают и воскресают только люди.

Помимо общезначимого поэзии, твои одни ритмы могли дать полную биографию нашей семьи. Когда мама не была в состоянии дотянуться до тебя логикой мысли, я ей читала твои стихи, и в ритмике того, что составляет твою мысль, ей открывалось столько родного и великого, что слезы текли из ее глаз, и она сидела потрясенная — и гордая. Это-то и было чувство названного «своего»; главного, слитого с простотой биологически доставшейся нам жизни.

Хочу рассказать тебе один, как говорится, пустячок.

За последнее время вышла целая литература в изд. Академии Наук (плюс в энциклопедии) об отце, как изобретателе кино (я все еще не выхожу и ее не видала). Кино, заметь! Ведут со мной переписку, просят фотопортретов. А таких «предизобретателей» было много. А модели не сохранились. Что же послужило историческим свидетельством? Представь: только папиных же несколько фраз в его неизданных Записках, о существовании которых никто никогда бы не узнал. Как случайно

они уцелели, сквозь революции, войны, осады, смерти и смерти, Сашкины руки и Сашкины судьбы! Но в хламе и пыли семейной рухляди, по которой бегали крысы, они лежали под броней истории спокойней, чем в пантеоне лени и стали³⁰.

Даже бессильная, беззащитная мысль, промелькнувшая без реализации — в зеленой молодости, но мысль творческая, манифестировала себя, вошла в историю техники, показала изобретателя.

Разве нет в этом великого утешенья? Разве нет вечности и ее кладовых, где истинное и великое не тлеет и не слепнет?

Конечно, работай и работай. Ты король, твое имя высечено. Ты в дядю, из не отдыхающих, но и дядя в какой-то мере отдыхал. Утомленье оборачивается разочарованьем; мысль свежей, когда приходит после перерыва. Но это азбучные истины, и ты извини мне трюизм.

Я напишу тебе, когда смогу выходить. Рада за твой комфорт. Не люблю я каменного века русских дач. Сердечно тебя целую.

Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 21 июля 1954

Дорогая Олюша, опять мне нечем отплатить тебе за твое молодое и полное силы чудное письмо. Не ходи никуда, высылаю тебе «Знамя». Но ты только не вздумай писать в ответ и утруждать себя разбором. Совсем даже не предполагается, что ты должна быть в восхищении. Посылаю тебе курьеза ради: любопытные страницы, где лени и стали нет и в помине. Потом для меня было радостью, что два сакраментальных слова: доктор Живаго попали в печать.

Здесь часть того (сверх немногого, имевшегося раньше), что я написал прошлым летом. Вдруг после больницы, санатория, трепета, ограничений, произошли вещи, непредусмотренные режимом, — волна счастья, еще раз прочистившегося слуха и открывшихся глаз, и тогда именно я заново пробежал всего Фауста перед окончательной редакцией и написал эти вещи, и еще несколько.

Спасибо тебе большое за письмо. Крепко целую тебя.

Твой Боря

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАК

Ленинград, 27 июля 1954

Дорогой мой Боря, извини меня, пишу в большой спешке — уезжаю, лечиться надо, мое здоровье — как в чулке спущенная петля.

Большое тебе сердечное спасибо — прежде всего за самый факт присылки журнала, а уж о «содержимом» и говорить нечего. Я понимаю — ты не для моего отзыва, и что тебе мой отзыв; да это нисколько и не отзыв; а только выражение тех чувств, о двойственности которых я тебе писала в прошлом письме.

В твоих стихах я снова нахожу и до максимума биографически-близкое, непередаваемо понятное — и тот «иконостас», ту ограду, которая отделяет профана (в античном смысле) от запретного. Я хочу сказать простую, наипростейшую вещь: что с искусством нельзя быть запанибрата, и метрическое свидетельство никаких прав не дает. Я всегда чтילה в тебе художника, с которым мне нельзя быть на короткой ноге, и даже именно потому, что мы родня.

Так вот, совсем по чужому. Я понимаю, как никто, что значит увидеть два слова в печатных буквах. Удивительно, как это бывает: дверь наглухо закрыта, а все же выдается день, когда появляется щель, и вдруг печатные буквы!

О герое тебе очень удалось в одной скупой строчке дать полную характеристику. Это вовсе не так легко, как кажется на взгляд.

В твоих стихах мне показалось много нового, так сказать, тебя нового. Мне показалось, что логика у тебя другая, что весь язык новый какой-то, другой, тяготеющий к огромной простоте, в реальной фактуре, в чеканке точной мысли. Но не знаю, почему — мне показалось, что еще ни один цикл твоих стихов так не приближал тебя к твоим молодым началам, так не возвращал к Близнецам в тучах, словно ты шел по кругу и в наибольшем уходе от робкого вступленья оказался, в своей зрелости, в двух шагах от своей юности. Если это так (наверное, я говорю чепуху), значит — очень хорошо. Хорошо, когда творец, подобно детскому воздушному шару, всегда привязан ниткой к

своей молодости и к своему детству, — что он «говорит себя» (как сказали бы греки) и держит единство со своей основой. Ты давно это напечатал, но никогда не поздно поцеловать и поздравить. Большой верой ты дышишь, большая твоя жизнь.

Прощаюсь с тобой на долгий срок. Думаю прожить на Карельском перешейке до глубокой осени. Люблю беспросветные дожди, падающие на лес молчаливых сосен. Они стоят в таком сплошном множестве, такие высокие и подобные друг другу, молчащие, что это производит впечатление иной высоты, достоинства, несокрушимого благородства. Бывало, истерзанная людьми, я спасалась в них духовно, и думала — какие они добрые! не мучают, не интригуют, не насилуют, а могут, вот так просто, расти и жить возле меня.

Прости меня, что я в последнее время так «нудила» тебя. Не поминай лихом, ведь ты знаешь сердце. Я очень утомлена, очень сорвана. Свои мысли я выражала вычурно, ибо напряженно: форма им не давалась, не хотела вытечь, как вода из узкого горлышка, — чем больше наклоняешь пузырек, тем затор сильнее. Я ненавижу эту свою манеру. Это стиль раннего Асеева, многозначительная вычурная недоговоренность с намеками на личность. Я не раз обижала твой вкус. Но, клянусь тебе — и свой собственный.

Работы у меня много, надо одно закончить, другое начать, а нога требует покоя, надо ее везти, возиться с такой чепухой.

Это называется спешить!!

Крепко обнимаю тебя. Будь здоров, будь счастлив.

Твоя Оля

Ой, все забываю рассказать тебе два факта «после театрального разезда» Гамлета Козинцевского:

1) Моя ученица спрашивает сынка, что он вынес из Гамлета. Он ответил всерьез: «Как что? Гамлет борется за крепкую семью. Я все понял».

2) Соседка спрашивает меня: «Скажите, Ольга Михайловна, что это там у Гамлета за птица без головы (— Ника Самофракийская). Некого было спросить. Публика недоумевала — почему птица в человеческий рост и без головы».

Вот теперь адье по-настоящему!

Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 31 июля 1954

Дорогая Оля!

Несколько слов еще совсем впопыхах в торопливость твоих дорожных сборов или, может быть, тебе вдогонку. Я знаю, что ты имеешь в виду, говоря о напряженности своих писем или обвиняя себя в вычурности. Но ведь ты клеветашь на себя. Чувство неокончателности мысли и, вследствие этого, неполной точности ее выражения так знакомо всем, кто имеет с этим дело! Я мог оставить твое письмо без ответа на этот раз, но не могу не защитить тебя от твоих собственных нападков.

И, — несколько совпадений. Ты случайно в конце письма назвала одно имя, — ты помнишь, кого? — («это стиль раннего Асеева»). У меня был разрыв со всем этим кругом и, шире, со всей средой, но истекшею зимой несколько человек так растрогали меня теплотой и определенностью своих изъяснений, что я не устоял и, между прочим, был как-то у него и его жены. Мы втроем провели вечер, я на память читал им все новое, часть которого потом попала в «Знамя». Кто-то плакал из них, я, честное слово, не помню, кто, но она сказала мужу (они на «вы»): Вы знаете, точно сняли пелену с «Сестры моей жизни». Это как раз и твое мнение.

А другое, — вместе с твоим письмом пришло от дочери повесившейся в 1941-м году Марины Цветаевой, из восемнадцатилетней ее ссылки, из Туруханска³¹. Мы с ней на ты, и очень большие друзья, я девочкой видел ее в 35 году в Париже. Это очень умная, пишущая страшно талантливые письма несчастная женщина, не потерявшая юмора и присутствия духа на протяжении нескончаемых своих испытаний. Так вот я хотел переправить тебе ее письмо, так вы в чем-то похожи, такие соседки по месту в моем сердце и так неоправданно строга она к себе и неведомо, чего требует от себя и хочет. Но пересылать это письмо было бы нескромно. Нет, Олечка, все хорошо. Хорошо даже и то, что грустно. Крепко целую тебя.

Твой Б.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 4 ноября 1954

Дорогой Боря!

У нас идет слух, что ты получил Нобелевскую премию.

Правда ли это? Иначе — откуда именно такой слух?

Мой вопрос, возможно, очень глуп. Но как же его не задать?

Жду с нетерпением твоей открытки.

Будь здоров!

Твоя Оля

Б. ПАСТЕРНАК – О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 ноября 1954

Дорогая моя Олюшка!

Как я рад бываю каждой твоей весточке, виду твоего почерка!

Такие же слухи ходят и здесь. Я — последний, кого они достигают, я узнаю о них после всех, из третьих рук. «Бедный Боря, — подумаешь ты, — какое нереальное, жалкое существование, если ему некуда обратиться по этому поводу и негде выяснить истину!»

Но ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь. И мне надо жить глухо и таинственно.

Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклой, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы

все это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому Бог миловал, эта опасность миновала.

Видимо, предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, читали. Так рассказывают.

Потом люди слышали по ВВС, будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но зная нравы, запросили согласия представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Хотя некоторые говорят, будто спор еще не кончен. Но ведь все это болтовня, хотя и получившая большое распространение.

Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин и, хотя бы по недоразумению, оказаться рядом с Хемингуэем.

Я горжусь одним: ни на минуту не изменило это течения часов моей простой, безмянной, никому неведомой трудовой жизни.

Есть ангел хранитель у меня в жизни. Вот что главное. Слава ему.

Крепко целую тебя, золото мое.

Твой Боря

P. S. Прости меня за явную для тебя торопливость тона. Чувство чего-то нависающего, какой-то предопределенной неожиданности не покидает меня, без вреда для меня, то есть не волнуя и не производя во мне опустошающего смятения, но все время поторапливая меня и держа все время начеку.

Я хорошо работаю. Да, и вот что интересно. Зина отдала дачу на зимний лад, по-царски, и я зиму в Переделкине.

О. ФРЕЙДЕНБЕРГ – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 17 ноября 1954

Боря, родной мой, твое письмо такое беглое, но оно совершенно потрясло меня каким-то эпическим величием твоего духа. Ты так мудр, благороден и высок, так велико твое пони-

манье жизни и истории, что человек не может, читая тебя, не потрясаться. Слезами могу ответить тебе. Не словами.

Ты мастер говорить то и так, как оно эмбрионально лежит в животе невысказанных дум, еще не довершенных событий. Платон назвал бы тебя повивальной бабкой. Ты писатель и есть. Но разве я могу найти эти сжатые формулировки, эту послушность слова, передающего всю суть хаоса фактов и мыслей? Хочется сказать тебе о тысяче вещей, и я ловлю себя на желаньи ввязаться в какие-то темы о передвигающихся материках, об Азии, идущей на Европу, об Ассурбанипалах и ГЭС'ах, о метро в университете, о малахитах и «дневном свете» во мраке ночи, о ночи при дневном свете — и черт знает, как начинает метаться моя мысль в той бутылке, где ей положено сидеть.

Я рада за тебя. До сих пор я знала о заочном обучении, теперь узнала, что на свете есть и заочное коронованье. Это лучший для тебя исход. Горечь, конечно, остается. Хотелось бы, чтоб хоть на юге солнце светило, раз у меня за окнами сейчас летит снег. Я так горда за тебя, за наших стариков! А помнишь, как я давеча предрекала тебе, что сейчас наступает момент «официального признанья»? Я слышала в воздухе шум крыльев, но не знала откуда он. Согласись, что и на расстояньи от твоей жизни я угадываю иногда такие вещи, которые тебе еще не видны. Если ты не самая последняя свинья, ты должен это признать.

Милый мой, дорогой! Никогда динамит³² не приводил к таким благим последствиям, как эта кандидатура на трон Аполлона. Что с того, что ты в Переделкине одиноко свершаешь свой невидимый подвиг, — где-то наборщики в передниках за то получают зарплату и кормят свои семьи, что набирают твое имя на всех языках мира. Ты способствуешь изжитию безработицы в Бельгии и в Париже. Машины с шумом вертятся, краска пахнет, листы торопливо фальцуются, — а ты в Переделкине завтракаешь с Зиной или жалуешься на прутья золотой клетки. Это, брат, единство действия и единство времени, хотя и при отсутствии единства места.

Я горда и счастлива твоим высоким оптимизмом. В тебе сидит старец Зосима³³ и дышит с тобой светом вечности. Боже, как это хорошо у Достоевского, что все ждут чуда при «успении» Зосимы, а его тело «пропахивает» и прованивает еще быстрее, чем у всех грешников. Соблазн получается полный; даже Алеша отказывается от своего учителя. Высокое через смердящее! Максимум света и богооткровенья через «дни нашей жизни»³⁴ и тлен.

Не видишь ты, сколько смысла в твоём Переделкине и в прутьях, поверх которых где-то за тридевять земель говорят о твоём чистом «я», никому не видимом. Так ведь и вершатся наши судьбы, а мы их не видим.

Милый брат мой (говоря стилем Зосимы), и я плачу и шучу. Мне давно хотелось открыться тебе. У меня утрата, и невознаграждаемая. Я потеряла себя.

Да, да, я совершенно убитый человек. Я зачахла и захирела от кислородного голодания. Mr. Vollivard никогда не был моим идеалом, хотя его местопребывание и восхищает туристов³⁵. Я на месте Байрона никогда не употребляла бы выражения «chainless Mind»*. Он не знал, с чем кушают реализм.

Этим исчерпываются все семейные сведенья обо мне.

Вчера была у меня Машура. Она своеобразный человек, в трех измерениях. Взяла с меня слово, что я передам тебе ее любовь, привет, большое сердечное тепло. Но это то же, что объяснение в любви по сборнику любовных писем. Наивно ужасно! Доскажи себе сам все самое хорошее, а я холодею от таких поручений.

Поскольку я разболталась и расписалась, добавлю тебе еще кое-что ни к селу, ни к городу. Не говори Зине, но я бы на ее месте никогда не простила бы мне того зимнего вечера, когда она зашла ко мне с Леной перед отъездом в Москву, в день своей тревоги. Ты, конечно, об этом знаешь. О моем «гостеприимстве» ты узнал много монструозного, и это была совершенная правда.

•

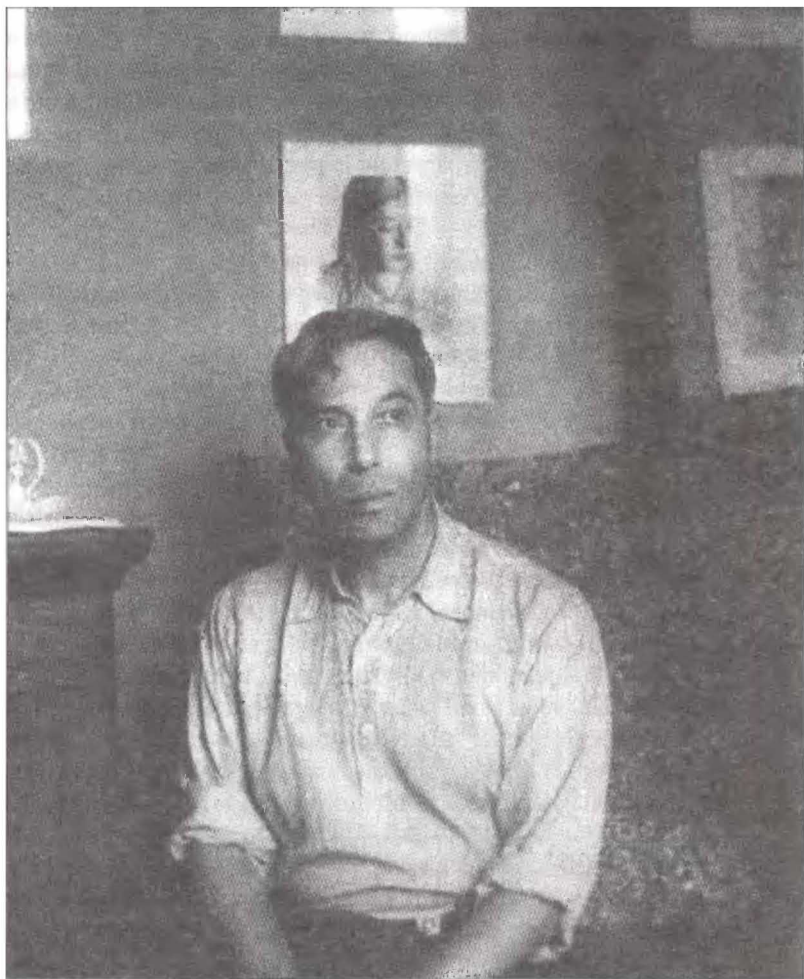
* Разум, не знающий цепей (стигл.).

Один мой знакомый раз сказал мне: «Никогда не осуждайте людей, а особенно советских».

Зине я предстала, как жалкий трус. А я вполне смела. Но мной владели обстоятельства, а не мои личные чувства. Давно я хотела сказать это — тебе. Зина же, субъективно, вполне права.

Обнимаю тебя. Если что у тебя откристаллизуется, напиши.

Твоя Оля



Б. Пастернак. Москва. 1948-1950 гг.

Фотография сделана З. Н. Пастернак в Московской квартире, где были недавно окантованы и развешены некоторые уцелевшие после войны рисунки Л. О. Пастернака. Чтобы окупить возможность продолжения работы над "Доктором Живаго", приходилось много переводить. В это время, кроме нескольких трагедий Шекспира, была переведена первая часть "Фауста" Гете, избранная лирика Петефи и многое другое. Оригинальных изданий у Пастернака на родине больше не было.



Эта фотография фиксирует замысел двойного портрета *Анны Осиповны* и *Ольги Фрейденберг*, который собирался написать *Л.О. Пастернак*. Сохранились графические и маслянные этюды. Отбирая отцовские рисунки для окантовки в 1956 году, *Б. Пастернак* выбрал один из них, надписав на обороте: "Тетя Ася и Олюшка, - обе уже покойные."

ЭПИЛОГ

М. МАРКОВА – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 23 июня 1955

Борюшка!

Считаю своим долгом тебе сообщить, что двадцать четвертого Олю отправляют в больницу. Она уже давно тяжело болела. О том, что она была больна — вы знали, так как к ней от вас приезжал молодой человек, и она его принять не могла, а по телефону ему сказала, что сильно больна¹ и т. д. Но вы никто на это не обратили внимания. А как бы оно ей было приятно, при ее одиночестве!

Если захочешь узнать о ней подробности — мой телефон А — 1-88-45, моя фамилия Маркова Мария Александровна и вообще — я Машура, если это имя тебе что-нибудь скажет. Звони мне часов в двенадцать ночи, всего лучше.

Будь здоров и дай Бог тебе никогда не испытать одиночества, как мне —

Машура

Б. ПАСТЕРНАК – М. МАРКОВОЙ

Москва, 26 июня 1955 года

Дорогая моя Машура!

Спасибо тебе, что ты догадалась написать мне. Письмо привезли мне только что из города на дачу. Ни о чем, что ты сообщешь мне в открытке, я понятия не имел, и никакого молодого человека в Ленинград мы не направляли, в первый раз об этом слышу и не знаю, о чем речь. Может быть, это кто-нибудь от Шуры и Ирины, но я тоже не имею об этом сведений. Ниже я вернусь еще к этой теме о моей отрешенности или отъединенности от всего, чтобы она не представлялась тебе в ложном свете.

Меня всегда беспокоили Олины желудочные неурядицы, я давно ими напуган. Я не знаю, жива ли еще ее приятельница, жилища того же дома, потерявшая дочь, о которой кто-то из

Шуриной семьи, ездивший к вам, рассказывал. По этим рассказам, близость Оли с этой женщиной, служила ей поддержкой и смягчала ее одиночество.

Я на Олины письма отвечал всегда мгновенно. Если бы даже она не была так умна и талантлива, и я ее и тебя не любил, все равно, вы — голоса прожитой мною жизни, которой я благодарен целиком, сверху донизу, во всех подробностях. Так что я твое замечание, что ты — Машура, если это имя мне что-нибудь говорит, принял с улыбкой, как милую шутку. Именно Оля, передававшая тебе мои расспросы и поклоны, подтверждала, как много оно мне говорит.

Я в последнее время ни с кем не переписываюсь и уклоняюсь от встреч даже с близкими, даже со старшим сыном и Шурой (отчего и не стали мне известны обстоятельства с бывшим в Ленинграде молодым человеком и обострившейся Олиной болезнью) не потому, что я настолько поглупел, что разважничался и что-то вообразил о себе, не вследствие мнимой и в природе совершенно не существующей какой-то именитости, а потому что с особенной торопливостью в этом 55 году, и в особенности сейчас летом, хочу довести до конца один объемистый труд, который не хотел бы оставлять без окончания. Это — вторая книга того самого романа, какие-то доли первой книги, которого ты читала. Вот второе доказательство того, что некоторое знакомство со значением слова «Машура» я имею. Я очень хорошо помню твои замечания. Ты в своем недовольстве вещь была не одинока. Большинству роман не нравится и вызывает возражения. Довольных им можно по пальцам перечесть.

Если к этому прибавить, что это труд только для души, который никогда или только в далеком будущем увидит свет, то есть что он не измеряется реальной надобностью и издательскими сроками, не служит источником заработка, но наоборот, пишется с большими перерывами, урывками, в ущерб выгоде заказной работы и в убыток, ты поймешь, что привести такую мечту в исполнение можно только насильственными мерами временного разобщения со всем окружающим, которые не имеют ничего общего с самонением.

Но довольно об этом. Я понимаю, какую угрозу может заключать род Олиной болезни. Но я столько раз и на собственном опыте убеждался, что скопившаяся и неотвратимая, казалось

бы, гроза, проходит, не разразившись, и опасность минует, что и тут не расстаюсь с надеждой на хороший исход. Напиши мне адрес Олиной больницы и сообщи, можно ли ей написать туда. Извещай меня, пожалуйста, такими же открытками по тому же городскому нашему адресу о состоянии ее здоровья.

Поцелуй ее и расскажи ей обо мне, если посетишь ее. Поговори с врачами и сообщи их мнение. Спасибо тебе за сообщенный номер телефона, но перезваниваться с тобой отсюда я не могу, а в городе почти не бываю.

Обнимаю тебя. Я здоров, очень много работаю, в ужасе от бездарной серости и растянутости своей рукописи (в ней больше шестисот страниц), но это не трагедия, то есть этой печали не достаточно, чтобы омрачить мое самочувствие. Я здоров, полон внутренней силы и просто боюсь сказать, как счастлив.

Твой Боря

М. МАРКОВА – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 2 июля 1955

Борюшка!

Я только что от Оли, после консилиума. Она в больнице. Профессора не предсказывают нам хорошего исхода. Состояние ее тяжелое, находится в прострации. Ничего не ест и не пьет и не всегда хочет разговаривать. Страшно ослабела.

Беспокоит, помимо всего прочего, участь ее трудов — рукописей. Ее желание было, чтоб спустя определенный промежуток времени они могли выйти в свет с ее именем. Я не знаю, что мне с ними делать. Все усугубляется тем, что квартира заперта, ключ у нее в больнице. Сама она готовится ко всему плохому, забыв о трудах всей своей жизни.

Навести ее на активные указания никто из нас не может и не решается. Нужно авторитетное влияние и очень *срочно*. Посоветуй, как мне быть, кроме тебя мне не с кем о ней посоветоваться.

Машура

Б. ПАСТЕРНАК – М. МАРКОВОЙ

Москва, 6 июля 1955

Дорогая Машура!

Как это все прискорбно и, судя по твоим словам, неотвратимо! Но только в этом и горе, в угрозе нависшего конца и утраты,

а ни в чем другом. Не создавай себе добавочных забот, ломая голову над неразрешимым.

Оля — профессор университета, даже при самом крайнем отщепенстве ее принадлежность к этой корпорации будет судьбой и ее трудов и ее памяти. Я не хочу сказать, что верю в ангельскую отзывчивость этого круга, но если бы даже тут что-то хотела сделать ты или я, наша готовность все равно приведет нас к границам и рамкам, поставленным организацией. Организации в любом случае, при твоём участии или без него, принадлежит инициатива и последнее слово. У Оли есть и были признательные ученики и ученицы, не может быть, чтобы у нее не было товарищей. То, что ты пишешь о ее ученых работах — дело их ведения, а не твоего.

Тебя может удивить, что я пишу обо всем этом так спокойно и обнаруживаю главное стремление устраниваться от этих забот и ничего не делать. Это не совсем так. Мне очень легко было бы спрятаться за перенесенный инфаркт, опираясь на практику, по которой от меня скрывают огорчения или неприятности, чтобы меня не волновать, или просят не ходить на погребения и отпевания. Но все это было бы враньем. Уклончивость моя (я ведь вот не ринулся в Ленинград по первой твоей открытке) зиждется на том, что между первым моим письмом и этим вторым к прежним моим делам прибавилась куча новых и все они неотложны, т. к. связаны с репертуаром двух театров Малого и Художественного² — текущего года и тут, пока инфаркт дает мне отсрочку, это сильнее меня, и я не могу отказываться от жизни и участия в ней.

Я вскользь скажу тебе другое. Не для Оли или вызванных ее болезнью надобностей, но лично для тебя, чтобы развязать тебе руки на те часы, которые ты отдаешь этому печальному обстоятельству и, значит, теряешь, я при первой возможности прошу позволения перевести тебе немного денег. Вчера или позавчера у меня был такой случай, но до твоей открытки, и деньги истрачены, и я его упустил. Но я думаю, не за горами новая возможность.

Тебя должны изумлять мои письма. должно казаться, что я отношусь без всякого чувства к Оле и ее судьбе, и так спокойно хороню ее заживо, — о как ты ошибаешься! Но я так много думал о собственном конце и конце всего любимого, и так давно готов ко всему, — что мы тут можем сделать?

Единственно, что во всей совокупности по отношению ко всем дорогим случаям и ко всей этой драгоценной обреченной утрате жизни мы можем сделать, это перелить всю нашу любовь в создание и выработку живого, в полезный труд, в творческую работу.

Целую тебя.

Твой Боря

А может быть мы напрасно оплакиваем с тобой эту чудную, благородную, близкую, так богато одаренную при жизни. Бог милостив, может быть, все обернется по-хорошему и нас ждет неожиданная радость?

М. МАРКОВА – Б. ПАСТЕРНАКУ

Телеграмма, Ленинград, 6 июля 1955

ОЛЯ СЕГОДНЯ СКОНЧАЛАСЬ – МАШУРА

Б. ПАСТЕРНАК – М. МАРКОВОЙ

Телеграмма, Москва, 7 июля 1955

ЭТОТ ПЕЧАЛЬНЫЙ УДАР ПОСТИГ НАС РАНЬШЕ, ЧЕМ Я ДУМАЛ. БЕДНАЯ ОЛЯ. К ТЕБЕ УШЛО ПИСЬМО СО СЛАБЫМИ НАДЕЖДАМИ. ОТВЕТ НАПИШИ, КОГДА БУДЕТ ВРЕМЯ. БЛАГОДАРИЮ ТЕБЯ ЗА ВСЕ – ЦЕЛУЮ БОРЯ.

М. МАРКОВА – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 10 июля 1955

Дорогой Борюшка!

Получила твое письмо, вернувшись с похорон. Впечатление от них было тяжелое. Обойтись без Университета я не смогла. Нельзя было достать место и дать объявление в газете, что я считала необходимым. И вот, представь себе – никто ни звука, ни о чем! Все прошло в полном молчании... Бедная Оля!

Похоронила я Олю на Богословском кладбище, но не на Академической площадке, туда попасть было невозможно. На днях поставлю раковину с надписью, и если хватит денег – решетку.

Квартира ее стоит три дня запечатанная, кто запечатал – не знаю, – вероятно ЖАКТ. Что будет с ней в дальнейшем – неизвестно. Завещания, по-видимому, у нее нет. Копии старых – в квартире. Пенсия за последние два месяца пропала, т. к. она ее не получала, желая сберечь для дачи, на которую собиралась

ехать после больницы. Наличные деньги, которые были в квартире, я и трачу на похороны и всевозможные взятки, их сопровождающие. Я знаю, что у нее есть сберкнижка, но неизвестно, кому завещан вклад и где она.

Бедная Оля! Как она хотела и всегда об этом говорила всем, чтоб ее добытые трудом деньги и вещи достались близким и родным ей людям. Она никак не ожидала, что с ней произойдет такая быстрая катастрофа и мечтала все оформить по приезду из больницы. И как всю жизнь ей не везло, не повезло и в этом! Все, что она имела, пойдет или не тому, кому она хотела (если первое завещание не ликвидировано) или пойдет в казну. Между прочим, ее диагноз: хронический гепатит и дистрофия печени. Она боялась рака и была уверена, что он у нее есть.

Как тяжело, что я так быстро теряю всех своих родных и близких. Правда, для тебя и Шуры я — *рагвенуе**, хотя Оля этого не находила; ведь я даже не знаю и меня не знают ваши семьи, несмотря на это, я все же пишу тебе подробно, как брату о твоей сестре. Она так мечтала видеть тебя!

Я не совсем поняла, что ты хотел сказать в своем письме относительно «развязыванья мне рук на те часы», которые я отдавала Оле.

Во-первых, ты вероятно думаешь, что я работаю, но в шестьдесят два года на работу не принимают, хотя я очень много хлопотала (285 р. это не прожиточный минимум)! Во-вторых — я все делала по чувству к Оле. Если ты предлагаешь мне помочь как брат, я это приму спокойно и с благодарностью, но если ты хочешь мне уплатить за труды, то очень больно и незаслуженно меня обидишь, усугубив еще больше мою тяжелую утрату. Ведь мы с ней были последние четыре-пять лет очень близки, предств — духовно близки.

Вспомни наше детство, мои летние вакации у вас на даче «Райки», бабушку³. Как все это далеко и не похоже на настоящие отношения!

Все, что будет дальше с Олиными делами, я тебе сообщу. А вообще, прошу — не порывай совсем со мною. Нас ведь осталось только трое!

Твоя Машура

* Выскачка (фр.)

Б. ПАСТЕРНАК – М. МАРКОВОЙ

Москва, 19 июля 1955 года

Дорогая Машура!

Отвечаю тебе страшно второпях, — я изнемогаю от срочной работы. Это будет еще долго, это всегда будет. Благодарю тебя за письмо. Как все это печально, еще печальнее, чем я думал.

Пусть тебя не ранят никакие непредвиденности. Оля была хранительницей семейных преданий, вещей, писем. Может быть часть их касается нас.

Я спешу в двух словах сказать тебе. У меня и в части, касающейся лично меня нет того, что называется обстановкой, библиотекой, собранием чего бы то ни было, архивом, святыней. Я не храню ни переписки, ни черновиков, не даю ничему накапливаться, мою комнату легче убирать, чем номер в гостинице. Я живу, как студент.

Когда мне что-нибудь дорого, оно дорого мне не обязательно в моих руках, а в любых, да и не в руках, а в живой человеческой памяти или в истории, так дороги мне все воспоминания, прошлое каждого, так дорого мне место, занимаемое в творческой истории века моим отцом, замечательным художником. Ничему этому не надо помогать, ни о чем печься и страдать. Либо оно есть само по себе, либо его не сделаешь никакими заботами.

Я рад, что ты проговорила о деньгах. Я писал тебе, что последнюю возможность я упустил и воспользуюсь ближайшей. Хотя это неопределенно, но обязательно будет в течение месяца.

Как тебе не стыдно писать такие глупости, как то, что ты для нас (кто это такие мы? я и жена? я и Шура? я и еще кто-нибудь?) рагвепие, что нас осталось трое. Ах, если бы ты знала, насколько дальше, веселее и проще все? Какие трое, какие рагвепие, какие Шуры? О совсем не этим я живу, а работой, требующейся жизнью и животворящей меня.

Обрываю это письмо неожиданно. От меня, значит, еще будет весточка. Будь здорова, целую тебя.

Твой Боря.

М. МАРКОВА – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 31 августа 1955

Дорогой Борюшка!

Сегодня я приехала с Милой⁴ — уезжала с ней отдыхать. В момент получения от тебя перевода меня дома не было. Большое тебе спасибо за них! Я также получила письмо от Петуховой,⁵ которое мне переслали на дачу. Я ей на него ответила. Дело в том, что найдено второе завещание на имя Р. Р. Орбели, по которому все без исключения переходит к ней.

Наследница, как будто бы высказала желание отдать картины дяди и Бразы в музей. Возможно ли это? Оля высказывала в свое время такое же желание. Если ты захочешь списаться с Орбели, я тебе сообщу ее адрес.

Олина книга⁶ находится у нее же, она хочет положить ее в консервацию. Если тебя будет интересовать — напиши, и я буду тебя держать в курсе дела.

Еще раз спасибо.

Машура

М. МАРКОВА – Б. ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 26 февраля 1956

Дорогой Боря!

Вот уже больше шести месяцев, что я тебе не писала. Уже Орбели вступила в права наследства. Ей удалось поместить большую чугунную модель линотипа Михаила Федоровича в Политехническом музее в Москве. Эта модель уже в пути. Портрет Михаила Федоровича, написанный Бразом⁷, будет висеть у нас в Музее связи, где есть еще целый ряд работ Михаила Федоровича, помещенных туда еще Олей. Картины дяди она хочет и хлопочет поместить в Русском музее. Но она хочет, чтобы картины висели на стенах и на виду, а не лежали бы в запаснике⁸. Если ей скажут, что сейчас нельзя их повесить, что нет мест и т.д., то она все полотна пока оставит у себя, и хлопоты будет продолжать. Таковы ее планы!

Но она хочет с тобой связаться и слышать твое мнение на этот предмет. Я ей дам твой адрес.

Вот и все, что тебя может интересовать. Если есть какие-либо вопросы — пиши, я немедленно отвечу. Будь здоров, родной.

Машура

Б. ПАСТЕРНАК – М. МАРКОВОЙ

30 сентября 1956

Дорогая моя Машура!

Спасибо тебе за твои теплые строки. Не думай, что я забыл тебя, или отношусь безразлично к папиной или Олиной памяти. Просто на просто я все время чем-нибудь да занят и считаю, что самая лучшая память об умерших — напряженная, близость с ними связанная и производительно наполненная деятельность остающихся. Да и устраивать там, по-моему, ничего не надо.

Спасибо тебе, что ты так живо отозвалась на неведомое мне, случайно услышанное обо мне известие. Главная моя судьба складывается все же и протекает так далеко в стороне от меня, что ни воздействовать на нее, ни в точности что-либо знать о ней, я не в состоянии⁹.

Она наверное не раз еще принесет мне неприятности, и поэтому я в нее не посвящаю даже своих домашних, чтобы не волновать их.

Но я здоров и счастлив, и мне очень хорошо, только немного сложно, как на луне или в четвертом измерении. Крепко целую и обнимаю тебя, моя хорошая, и еще раз благодарю тебя сердечно.

Твой Боря

ДУША

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем!
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урной,
Покоющей их прах.

Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.

Душа моя, скудельница,
Все, виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай
Все бывшее со мной,
Как сорок лет без малого
В погостный перегной.

*Б. Пастернак
Весна 1956 года*

Примечания

ВСТУПЛЕНИЕ

¹ Цит. по: *О.М. Фрейденберг. Осада человека*. Публ. Ю.М. Каган // *Минувшее. Исторический альманах*. 3. 1987. С. 8.

² Там же.

³ Анна Осиповна Фрейденберг, урожд. Пастернак 1860—1944.

⁴ Михаил Филиппович Фрейденберг 1858—1920.

⁵ Леонид Осипович Пастернак 1862—1945.

⁶ Розалия Исидоровна Пастернак, урожд. Кауфман 1867—1939.

⁷ Александр Леонидович Пастернак (1893—1983) — архитектор.

⁸ Александр Михайлович Фрейденберг (Михайлов; 1884—1938) — инженер.

⁹ Жозефина Леонидовна Пастернак (Жозя, Жоня) 1900—1993; Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер (1903—1989).

¹⁰ Клара Исидоровна (Клавдия, урожд. Кауфман; 1869—1949) — сестра Р.И. Пастернак, в первом браке Маргулиус-Маргальская, во втором Лапшова.

¹¹ *Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах*. М. 1989—1992. Т.4. С. 312—313. Далее: *Соб. соч.*

¹² *Соб. соч.* Т.5 С.59. Письмо 8 июня 1912.

¹³ Там же. С.69. Письмо 19 июня 1912.

¹⁴ Филипп Гозиассон (Hosiasson; 1898—1978) — французский художник.

¹⁵ *Б. Пастернак. Соб. соч.* Т.4. С. 225.

¹⁶ Цит. по: *Борис Пастернак — Ольга Фрейденберг. Письма и воспоминания // Дружба народов*. 1988. № 7. С. 203 (Предисловие, глава 2, написанная Н.В. Брагинской).

¹⁷ *О. Фрейденберг. Происхождение литературной интриги; Происхождение пародии; Что такое эсхатология // Семиотика. Труды по знаковым системам*. Тарту. 1973. Вып. 6. С. 486—514.

¹⁸ *Т.В. Цивьян. Рецензия на: О. Фрейденберг. Миф и литература древности*. М. 1978 // *Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка*. 1981. Т.40 № 2. С.175.

¹⁹ *Н.В. Брагинская. Предисловие к публикации // Дружба народов*. 1987. № 7. С.205.

²⁰ Цит. по: *Н.В. Брагинская. Предисловие // Там же*. С.205.

²¹ Вяч. Вс. Иванов. Рецензия на: О. Фрейденберг. Миф и литература древности. М. 1978 // Народы Азии и Африки. 1979. № 6. С. 220.

²² Мария Александровна Маркова (Машура Маргулиус; 1893—1960) — певица и драматическая актриса.

ГЛАВА I

¹ Под Одессой на Большом фонтане.

² Лето 1903 года в Оболенском под Малоярославцем.

³ А.Н. Скрябин (1875—1915) — композитор и его жена Вера Ивановна с детьми.

⁴ Герберт Спенсер (1820—1903) — философ и социолог, автор книги «Система синтетической философии» (1862—1896). Сэмюэль Смайлис (1812—1904) — автор книг по вопросам морали. Широкой известностью пользовалась его книга «Self-help», в русском переводе «Самодеятельность» (1866).

⁵ Ольга Фрейденберг через свою гимназическую подругу Елену Лифшиц познакомилась со всем ее семейством. Брат Матвей (Мотя) занимался с нею латинским языком, и очень ей нравился, сестра Роза была фельдшером, их кузен Борис, владелец аптеки у Чугунного моста, безуспешно ухаживал за Ольгой под общий смех и поощрение.

⁶ Баязетовая болезнь — вероятно, одно из выдуманных дурацких словечек и переделок, которыми полны письма этого времени, — (совмещение базедовой болезни щитовидной железы с именем героя средневекового эпоса — Баязета).

⁷ Мясницкая ул., 21 — адрес Училища живописи, ваяния и зодчества, в здании которого находилась квартира Пастернаков.

⁸ «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приходи и возьми ее». Эти слова героиня пьесы А. Чехова «Чайка» Нина Заречная взяла из книги Тригорина и использовала как признание в любви к нему. *Vus, ver, ven* — жаргонные вопросы: Was, wer, wenn (*нем.*) — что, кто, когда — постоянно обыгрывались О. Фрейденберг.

⁹ Синопское сражение произошло в 1853 году на северном побережье Турции, во время него эскадра адмирала П.С. Нахимова уничтожила турецкую эскадру.

¹⁰ Семен Яковлевич Надсон (1862—1887) — романтический поэт, пользовавшийся большой популярностью у молодежи начала века.

¹¹ Речь идет о романе Енса Петера Якобсена (1847—1885) «Нильс Луне». Пастернак и Фрейденберг читали его по-немецки, его русский перевод был издан только в 1911 году.

¹² Получив этот странный ответ от А.О. Фрейденберг, Борис Пастернак, выехав 2 июля из Москвы, проехал через Петербург в Меррекюль, не заходя к Фрейденбергам.

¹³ Обыгрываются предсмертные слова Юлия Цезаря, обращенные к Марку Юнию Бруту, замахнувшемуся на него кинжалом: «Et tu, Brute?» («И ты, Брут» — лат.) Источником является «Жизнеописание двенадцати цезарей» Гая Светония (II век), те же слова использованы в хронике Шекспира «Юлий Цезарь».

¹⁴ Леонтий Филиппович Магницкий (1669—1739) — автор первого учебника математики (1703). Михаил Леонтьевич Магницкий (1778—1844) — поэт и публицист круга Карамзина, был неудачливым деятелем народного просвещения при Голицыне, пострадавшим за близость к М.М. Сперанскому. Не понятно, какого из двух Магницких Пастернак имеет в виду, поскольку столетний юбилей не соотносится ни с одним, ни с другим.

¹⁵ Марка почтовой бумаги. Письмо написано на неровно вырванных тетрадных листах.

¹⁶ Юлий Дмитриевич Энгель (1867—1927) — теоретик музыки и композитор. Ученик С.И. Танеева, занимался с Борисом Пастернаком музыкальной композицией с 1904 по 1908 годы. С женой Антониной Константиновной и двумя дочерьми Адой и Верой, они пригласили Пастернаков в Меррекуль и сняли для них и себе две дачи рядом.

¹⁷ Тема заставы, границы города, встречается у Пастернака в ранних стихотворных фрагментах 1910—1913 годов («За ними пять слепых застав...»), развивается в дальнейшем и приобретает смысл почти религиозного отношения к городу как воплощению истории и вместилищу человеческих судеб (см. стихотворение «Пространство», 1927, 4-ю главу «Спекторского», 1928, «Город», 1940, «Земля», 1948). В «Охранной грамоте» ощущение города Пастернак определяет как источник поэтического вдохновения и движущую силу своего призвания.

¹⁸ Борис Пастернак, уезжая из Меррекуля, забыл взять ключи от московской квартиры. Его отец писал об этом своему другу П.Д. Эттингеру: «В последнюю минуту, рассеянный, он забыл взять ключ от квартиры и т.д. Никак его здесь удержать нельзя было — а как тут хорошо эти дни» (20 июля 1910. Архив ГМИИ). Открыл ему квартиру сторож Училища своим ключом.

¹⁹ Федор (Фридрих) Карлович Пастернак (1880—1976) — сын двоюродного брата Л.О. Пастернака, впоследствии (с 1924 года) — муж Жозефины Пастернак.

²⁰ Сергей Николаевич Дурылин (1887—1954) — поэт, потом священник и историк литературы, одобрявший первые поэтические опыты Пастернака, чем «переманил» его, как писал Пастернак в очерке «Люди и положения», «из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах» (Соб. соч. Т.4. С.317).

²¹ Рассуждения этого письма во многом пересекаются с положениями доклада «Символизм и бессмертие» (1913), в тезисах которого мы находим: «Чувство бессмертия сопровождает пережитое, когда в субъек-

тивности мы поучаемся видеть несколько не принадлежность личности, но свойство, принадлежащее качеству вообще» (Соб. соч. Т.4. С.682—683).

²² Исая Александрович Добровейн (1891—1953) — пианист и дирижер, учившийся в это время в консерватории на том же курсе, к которому был причислен Пастернак, занимавшийся экстерном, и вместе с которым он должен был в 1911 году сдавать выпускные экзамены, если бы не оставил занятия музыкой.

²³ Карл Евгеньевич Пастернак (1850—1915) — двоюродный брат Л.О. Пастернака.

²⁴ Семейное словечко, образованное от глагола посылать.

²⁵ Таблетки блоуди («бло»), содержащие железо и применяемые как укрепляющее средство от малокровия.

²⁶ Тоня — подруга О. Фрейденберг со времен Одессы, где они жили по соседству, и Оля очень жалела бедную девочку, которую обижали мать и пьяница-отец. Теперь она жила в Елизаветине под Москвой.

²⁷ Цитата из стихотворения М. Лермонтова «Дума» (1938):

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.

²⁸ Сохранились две прелюдии, написанные Б. Пастернаком в 1906 году *Gis-moll* и *Es-moll*.

²⁹ Письмо от 26 июля 1910, написанное в ироническом ключе.

³⁰ Речь идет о литературно-художественном кружке «Сердарда», к которому Пастернак примкнул в 1907 году на правах музыканта. Зимой 1909—1910 года датируются первые попытки писать стихи и прозу.

³¹ Морской житель — название игрушки, представляющей собой стеклянного чертика в пробирке с водой, затянутой резиновой пленкой. Здесь, — возможно, кто-то встреченный у моря в Меррекуле.

³² Бабушка Берта Самойловна Кауфман, мать Р.И. Пастернак.

³³ В письме от 25 июля: «Ты предупредил, что не напишешь мне из Москвы...» написано правильно, через — е.

³⁴ Чтобы не брать у родителей денег, Б. Пастернак еще в гимназии начал зарабатывать, давая уроки.

³⁵ Иван Тихонович Посошков (1652—1726) — сподвижник реформ Петра I в области развития промышленности и исследований полезных ископаемых, автор «Книги о скудости и богатстве», изданной через сто лет после написания, в 1824 году.

³⁶ О своей дружбе с учителем литературы Антоновым О. Фрейденберг писала в своих записках. «Завещание Владимира» — вероятно, име-

ется в виду «Поучение Владимира Мономаха» 1117 года. Письма Карамзина из Швейцарии — «Письма русского путешественника».

³⁷ Парафраз слов А. Пушкина из стихотворения «Осень» (1830): «Люблю я пышное природы увяданье...»

³⁸ «The rest is silence» — «Дальнейшее — молчанье» — предсмертные слова Гамлета из трагедии Шекспира. В своей переписке и Пастернак и Фрейденберг часто возвращаются к ним.

³⁹ Александр Львович Штих (1890—1962) — друг Пастернака с детских лет, летние месяцы его семья проводила в имении Майковых в Спасском по Ярославской железной дороге. Через два года Пастернак писал Штиху из Марбурга о «запоздавшем» на два года письме от Оли Фрейденберг.

⁴⁰ Вероятно, это Елена Виноград, двоюродная сестра А. Штиха, приехавшая с семьей в Москву из Иркутска.

⁴¹ На открытке изображены скалы Меррекюля.

⁴² Джованни Папини (1881—1956) — итальянский писатель и поэт, в молодости близкий футуризму.

⁴³ Квизисана — общедоступная столовая.

⁴⁴ Густав Густавович Шпет (1880—1937) — преподаватель философии в Университете, в семинаре у которого по Юму Пастернак занимался в 1910 году.

⁴⁵ Имеются в виду участники кружка «Сердарда».

⁴⁶ Парафраз слов М. Ломоносова из «Оды на восшествие на престол Елизаветы Петровны: «Науки юношей питают...».

⁴⁷ Б. Пастернак делил свою комнату с братом Александром.

⁴⁸ Неотправленная открытка с фотографией Анны Осиповны и Леонида Осиповича, стоящих рядом на фоне садовой скамейки у стены дома в Меррекюле.

⁴⁹ Набросок недописанного письма. Датируется весной 1911 года, когда Пастернак провожал в Одессу мать с заболевшими сестрами. Лето 1911 года Пастернаки провели в Одессе, Борис приехал к ним в июле, через некоторое время он внезапно сорвался и уехал в Москву.

⁵⁰ Первоначальный набросок письма 20 сентября 1911 года в ответ на несохранившееся от О. Фрейденберг с намерением приехать в Москву.

ГЛАВА II

¹ Герман Коген (1842—1918) — глава марбургской школы неокантианства.

² Г.В. Лейбницем (1646—1716) Пастернак занимался в семинариях ученика Когена — П. Наторпа (1854—1924), по вторникам и пятницам посещал семинарии Когена. Родители направлялись в Бад-Киссинген и по дороге остановились у друзей в Берлине.

³ Аберрация памяти. Судя по описанию своего отъезда из Франкфурта в письме начала июля из Глиона, О. Фрейденберг провожала Пастернака в Марбург, а потом вернулась в отель.

⁴ Ида Давыдовна Высоцкая (1890—1976) — дочь чаепрогонца и коллекционера, в которую Пастернак был влюблен.

⁵ Александром Штихом.

⁶ Имеется в виду объяснение с Идой Высоцкой, приезжавшей в Марбург в середине июня.

⁷ Речь идет о темах несохранившихся стихотворений, писавшихся в то время.

⁸ Гафиз (1317/25—1389/90) — персидский поэт. См. Гете «Книга Гафиза» в его цикле стихов «Западно-восточный диван».

⁹ Вставкой называлась ручка со стальным пером.

¹⁰ Citoyens — граждане (*фр.*).

¹¹ Минеральная вода.

¹² Цитата из утерянного письма Б. Пастернака.

¹³ Осип Исидорович Кауфман (1870—1941) — врач, брат Р.И. Пастернак.

¹⁴ Из Киссингена родители собирались поехать в Италию и звали Бориса с собой. Он считал, что ехать в таком душевном состоянии в Италию значит «в конец испортить ее» и рвался в Москву.

¹⁵ Б. Пастернак выехал из Марбурга 3 августа и с пересадками в Базеле и Милане, через Венецию и Флоренцию поехал в Пизу. «Борюшка приехал в русский пансион Марина-ди-Пиза тринадцатого к завтраку», — записал Л.О. Пастернак, радуясь свиданию с сыном.

¹⁶ Л.О. Пастернак ездил в Сиену на средневековый праздник Паллио, происходивший ежегодно 17 августа.

¹⁷ Письмо не было отослано и осталось в бумагах Пастернака.

¹⁸ Письмо не было отослано и осталось в бумагах Пастернака. Вероятно при нем должны были быть первые издания стихотворений Пастернака.

ГЛАВА III

¹ Сергей Александрович Жебелев (1867—1941) — историк, филолог-классик.

² Журналист, подписывавший свои фельетоны Василевский-Не-Буква.

³ Известные писатели, начинавшие как журналисты: Дионео — настоящая фамилия: Исаак Владимирович Шкловский (1865—1935). Семен Соломонович Юшкевич (1868—1928), Давид Яковлевич Айзман (1869—1922), Владимир Евгеньевич Жаботинский (1880—1940).

⁴ Александр Корнилович Бороздин (1863—1918) и Владимир Владимирович Буш (1888—1934) — специалисты по древнерусской литературе. Иван Иванович Толстой (1888—1959) — филолог-классик.

⁵ Академик Алексей Александрович Шахматов (1864—1920) — исследователь древне-русской литературы и славянского этногенеза.

⁶ То есть разговоры о родственниках, живущих в Берлине и их претензиях. Соломон и Яков Якобсоны — двоюродные братья О. Фрейденберг и Б. Пастернака.

⁷ Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881—1925) — популярный автор юмористических рассказов.

⁸ Речь идет об издательском заказе для О. Фрейденберг на перевод первого тома «Золотой Ветви» Дж. Фрезера «Козел отпущения». Для этого Пастернак хотел познакомить ее с главным редактором издательства «Всемирной литературы» А.Н. Тихоновым (Серебровым).

⁹ Журнал «Русский современник», в котором была опубликована повесть Пастернака «Воздушные пути».

¹⁰ Написанная к 1924 году диссертация «Происхождение греческого романа» так и осталась неопубликованной.

¹¹ Академик Николай Яковлевич Марр (1864—1934) — востоковед и лингвист, создатель яфетической теории.

¹² Анатолий Васильевич Луначарский (1875—1933) — Нарком просвещения; Михаил Николаевич Покровский (1868—1932) — заместитель Наркома просвещения.

¹³ Пастернак с помощью Саша Фрейденберга, занимавшегося нумизматикой, продал золотую медаль, полученную за окончание гимназии, чтобы расплатиться за дачу в Тайцах.

¹⁴ Из стихотворения Ф. Тютчева «Как птичка раннею зарей...»:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести.

¹⁵ Перевод комедии английского поэта Бена Джонсона (1573—1637) «Алхимик» был сделан в 1919 году. Издание в Харькове не состоялось.

¹⁶ Речь идет о постановке В. Сахновского в театре им. Комиссаржевской.

¹⁷ Юлиус Гозиассон — знакомый Фрейденбергов в Петербурге.

¹⁸ Михаил Петрович Кристи (1875—1965) — уполномоченный наркомпроса в Петрограде.

¹⁹ Пастернаки жили в родительской квартире, после их отъезда превратившейся в коммунальную. Одна из комнат была в прошлом году уступлена молодой чете, теперь она перешла трем студентам.

²⁰ Речь идет о заступничестве за Иосифа Филипповича Кунина, арестованного за причастность к молодежной меньшевистской организации. Пастернак добился его приезда в Москву из ссылки на операцию пиритонита, потом срок был заменен условным.

²¹ Александр Юстинович Малейн (1869–1938) – профессор классической философии.

²² Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий (1880–1937) – специалист по восточным языкам.

²³ Из стихотворения Ф. Тютчева

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

²⁴ То есть степени магистра – так называется первая ученая степень, равносильная нынешней кандидатской.

²⁵ Академик Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934) – востоковед, один из создателей русско-индологической школы.

²⁶ Письмо осталось неотправленным, сохранилось в тетради.

²⁷ Гарпагон – герой комедии Мольера «Скупой».

²⁸ Еврейский род, к которому по фамильному преданию восходит семейство Пастернаков.

ГЛАВА IV

¹ Имеются в виду переводы стихотворений Пастернака Е.А. Извольской, напечатанные в журнале «Соптегсе» (1925 № 5) и отзывы Д.П. Святополка-Мирского (Благонамеренный. 1926. № 1).

² В частности, неотвеченное письмо Р.М. Рильке и оборванная переписка с М. Цветаевой.

³ Брата Александра и его жены Ирины Николаевны Вильям (1898–1987).

⁴ Имеется в виду знакомство Е.В. Пастернак с Паулем Фейхтвангером, братом известного писателя, который делал ей предложение.

⁵ В этом состоянии больная прожила еще два года.

⁶ Адольф фон Гарнак – знаменитый историк раннего христианства, которому Л.О. Пастернак по просьбе О. Фрейденберг показывал присланный ею немецкий текст ее работы о Павле и Текле.

⁷ Несмотря на все усилия Л.О. Пастернака, работу не удалось напечатать также и в Германии.

⁸ Письмо, вероятно, не было отослано, остался отрывок, переписанный в тетрадь.

⁹ Платье для Ольги Фрейденберг было послано с подругой Лидии Е.Б. Перельман. «Боричка в субботу уехал в Ленинград, сообщила в Берлин Е.В. Пастернак 26 сентября, – для работы и повидаться с знакомыми, с тетей Асей и Олей, он туда собирался еще весной, но все не выхо-

дило. За два часа до отъезда догадались справиться у Жени Перельман об Олином платье, оно оказалось еще не отосланным, и я забежала к ней и платье попало к Боре в чемодан».

¹⁰ Пастернаки переехали в более удобную квартиру на Motz-strasse 60.

¹¹ Клару Исидоровну Маргулиус с дочерью Машурой и Анну Осиповну с Ольгой Фрейденберг.

¹² Имеется в виду поэт Николай Семенович Тихонов (1896—1979).

¹³ Р.Б. Канский — искусствовед, снимавший комнату у О. Фрейденберг.

¹⁴ В. Красильников. Борис Пастернак // Печать и революция. 1927. № 5.

¹⁵ Речь идет о персональной выставке Л.О. Пастернака в галерее В. Хартберга.

¹⁶ Е.В. Пастернак занималась во ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-технические мастерские).

¹⁷ Работа получила название «Поэтика сюжета и жанра».

¹⁸ И.Г. Лившиц — египтолог, снимавший комнату у О. Фрейденберг.

¹⁹ Речь идет о работе над автобиографической повестью «Охранная грамота», романе в стихах «Спекторский».

²⁰ Речь идет об уничтожении внутривластной оппозиции, захлестнувшей широкие круги общественности.

²¹ Имеется в виду катаракт глаза. Л.О. Пастернак сообщал сыну о полученном от сестры известии: «Очень, конечно, огорчил диагноз окулиста! Теория моя — родственности и наследственности. Все же ей не так трагично. Тема не из приятных» (Письмо 28 мая 1928. *Борис Пастернак*. Письма к родителям и сестрам. Stanford. 1998. Кн. I. С.185). Далее: Stanford.

²² Б. Пастернак так никогда больше и не увиделся с родителями.

²³ «Недосказанности» О. Фрейденберг касались ее отношений с И.Г. Франк-Каменецким, которые из уважения и дружбы переросли в глубокую сердечную привязанность.

²⁴ В связи с возможностью переиздания ранних стихотворений из «Близнеца в тучах» и «Поверх барьеров» Пастернак подверг их коренной переработке.

²⁵ Речь идет о главах из романа в стихах «Спекторский», опубликованных в № 1 (глава 5) и № 7 (главы 6—7) 1928 года в журнале «Красная новь».

²⁶ Этот чемодан привез Георгий Юрьевич Балтрушайтис, сын поэта, домашним учителем которого Б. Пастернак был летом 1914 года. «Если не за весь чемодан (может быть, в этом участвует мама), — писал Б. Пастернак 28 октября 1928 года сестре Жозефине, — то за главное надо, очевидно, благодарить г-бя. Это был полный сюрприз, и можешь себе

представить, как все обрадовались на другое утро. Дело в том, что доставил этот склад поздно вечером Жорж Балтрушайтис, — Шуры с Ириной то ли дома не было, то ли — спали, не помню. В Ленинград все послано». Stanford. Кн. I. С.194.

²⁷ Василий Васильевич Струве (1889—1965) — историк Востока, с 1935 г. — акадамик.

²⁸ Абрам Маркович Эфрос (1888—1954) — историк искусств и художественный критик, писавший в 1910-х годах под псевдонимом Росций.

²⁹ Речь идет о Шарле Вильдраке (1882—1971), с которым Пастернак познакомился в эти дни.

³⁰ Перед этой фразой в письме вычеркнутое место о подробностях болезни Фени.

³¹ Борис Васильевич Казанский (1889—1962) — филолог-классик.

³² Борис Яковлевич Бухштаб (1904—1985) — историк русской литературы, вскоре имел возможность показать Пастернаку сделанную часть своей работы. Теперь это начало опубликовано в «Литературном обозрении» (1987. № 9). Но издание книги тогда, в условиях критики «попутчиков», то есть писателей непролетарского происхождения, было нереально, что и было вероятной причиной того, что Пастернак отказался писать предисловие. «Автобиографически» и «о поэзии вообще» Пастернак писал в это время «Охранную грамоту», по выходе которой в свет в 1931 году он подвергся суровой критике в печати, — книга была изъята из библиотек и при его жизни не переиздавалась.

³³ Книга вышла в конце 1917 года и включала стихотворения 1914—1916 годов. Летом 1928 года была переработана для переиздания и вошла в состав сборника «Поверх барьеров. Стихи разных лет», который появился только осенью 1929 года.

³⁴ Из стихотворения А. Пушкина «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовью народной...», 1830):

Услышишь суд глупца ии смех толпы холодный, Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

³⁵ Абрам Моисеевич Деборин (1881—1963) — высокопоставленный марксист, автор работ по диалектическому материализму и истории философии.

³⁶ «Вершины славы» Пастернака, которые виделась О. Фрейденберг, не освобождали его от отчаяния (см. письмо 27 декабря 1928 года) и не давали никакого заработка (см. следующее письмо 8 февраля 1929).

³⁷ Начало года «великого перелома», то есть сплошной коллективизации деревни.

³⁸ Разговор идет о намерении преодолеть критическую черту в своей работе — «истекшее десятилетие», для чего было изучено множество книг о мировой и гражданской войнах и революции.

³⁹ Валериан Борисович Аптекарь — ученый секретарь секции материалистической лингвистики Комакадемии.

⁴⁰ У Пастернака было тяжелое воспаление десен, обнаруженная рентгеном киста разрушила челюстную кость. Но торопил он Ольгу Михайловну с докладом не из-за зубной боли, а потому что достаточно трезво понимал, что «красная профессура» не могла по существу оценить достоинства и глубину научного подхода и боялся, что излишняя подробность изложения может их только отпугнуть.

⁴¹ Владимир Максимович Фриче (1870—1929) — руководитель разных научных учреждений и специалист по проблемам социологии искусства.

⁴² Исаак Маркович Нусинов (1889—1950) — историк литературы вульгарно-социологического направления.

⁴³ РАНИОН — Российская ассоциация научных исследований по общественным наукам.

⁴⁴ Начало романа вышло под названием «Повесть» в «Новом мире» (1929. № 7).

⁴⁵ Маленький Женя и Ольга Михайловна очень подружились за эти несколько дней: «совершенно очарована Дудлем и не представляла, что он таков, как есть, — писала она Е.В. Пастернак 30 апреля. — В письме этого не расскажешь, но он редкостный дорогой мальчонка. Ужасно хотелось бы показать его маме». — Существованья ткань сквозная. *Борис Пастернак*. Переписка с Евгенией Пастернак. М. 1998. С.288. Прасковья Петровна Устинова — соседка по квартире, помогавшая Пастернакам с хозяйством.

⁴⁶ Речь Сталина «Головокружение от успехов» была произнесена 2 марта 1930 г. Б. Пастернак столкнулся с эшелонами «раскулаченных» в 1932 году под Свердловском.

⁴⁷ Генрих Густавович Нейгауз (1888—1964) — знаменитый пианист, и его жена Зинаида Николаевна (1896—1966) познакомились с Б. Пастернаком в конце 1928 года.

⁴⁸ Речь идет о повести норвежского писателя Кнута Гамсуна «Голод».

⁴⁹ С «Медным всадником» Пушкина Пастернак сопоставляет свой роман в стихах «Спекторский», договор на издание которого в Ленгизе был расторгнут из-за «неясности его общественных тенденций».

⁵⁰ Имеются в виду поэтесса Анна Дмитриевна Радлова (1891—1949) и скульптор Сарра Дмитриевна Лебедева (1892—1967) (урожденные Дармолатовы).

⁵¹ Хозяйкой дома была Зинаида Николаевна Нейгауз.

⁵² Розалия Осиповна Шапиро (1845?—1930) — родная сестра Л.О. Пастернака и А.О. Фрейдсберг.

ГЛАВА V

¹ Л.О. Пастернаку 4 апреля 1932 года исполнялось 70 лет. К этому дню была приурочена выставка его работ в галерее В. Хартберга в Берлине.

² Е.В. Пастернак с сыном с мая по декабрь 1931 года пробыли в Германии. За это время женою Б. Пастернака стала З.Н. Нейгауз.

³ После возвращения Е.В. Пастернак пришлось освободить для нее комнаты в квартире на Волхонке, и Б. Пастернаку с З.Н. Нейгауз и ее детьми негде было жить.

⁴ Зная мягкость и жалостливость характера Б. Пастернака Анна Осиповна предупреждала его, как мучительны будут для всех колебания в этом вопросе и возвращенья туда и обратно.

⁵ Александр Леонидович с женой и сыном Федей летом 1931 года переехали с Волхонки в новый дом на Пречистенском бульваре, в проектировании и строительстве которого он участвовал как архитектор.

⁶ Б. Пастернак приводил к Фрейденбергам З.Н. Нейгауз в октябре 1931 года, когда они приезжали в Ленинград в тщетной надежде найти себе квартиру.

⁷ Б. Пастернак был приглашен Свердловским обкомом партии для сбора материала о социалистической реконструкции Урала, он согласился поехать, потому что в этих местах должны были совершаться события писавшегося им романа. Обещанная для семьи дача на озере Шарташ долго не была готова, и они пробыли там очень недолго, не выдержав вида разрушенных деревень и умиравших с голода «раскулаченных» крестьян. Разругавшись с обкомом, Пастернак вернулся в Москву.

⁸ Владимир Иванович Лапшов — второй муж Клары Исидоровны (Клавдии), сестры Р.И. Пастернак.

⁹ Покойный муж Клары — Александр Лазаревич Маргулиус.

¹⁰ Чтобы расплатиться с долгами, возврата которых требовал теперь с Пастернака за свое гостеприимство Свердловский обком, был организован авторский вечер чтения в Ленинградской Капелле.

¹¹ Организацией вечера занимался Павел Ильич Лавут.

¹² Николай Николаевич Асеев.

¹³ Незадолго до отъезда в Ленинград Б. Пастернак с Зинаидой Николаевной поменялись комнатами с Е.В. Пастернак, которая переехала в отдельную квартиру на Тверском бульваре. В комнатах на Волхонке были выбиты все стекла взрывной волной во время разрушения храма Христа Спасителя в декабре 1931 года.

¹⁴ Освободившаяся после отъезда А.Л. Пастернака комната теперь была отведена Борису Леонидовичу для занятий.

¹⁵ О. Фрейденберг. Три сюжета или семантика одного // Язык и литература. Л. 1930. Т.5. С.33—60. О. Фрейденберг. Сюжетная семантика Одиссеи // Язык и литература. Л. 1930. Т.4. С.59—74.

¹⁶ Эрнст Кассирер (1874—1945) — немецкий философ, представитель марбургской школы неокантианства, ученик Г. Когена. В своих учениях выдвинул учение о «символических формах» языка, мифа и искусства в целом, на котором основывала свои мысли О. Фрейденберг.

¹⁷ Вместо: еврейство. Речь идет о приходе к власти Гитлера и проводимой им политике нацизма.

¹⁸ По этому письму и следующим видно полное единодушие Б. Пастернака и О. Фрейденберг в вопросе возвращения старших Пастернаков в Россию. Оба равно оценивали опасности и сложности такого переезда, разрабатывая форму ответов на их вопросы, — хотя впоследствии Ольга Михайловна писала о «наивности сыновей», убеждавших Л.О. Пастернака вернуться. «Но я умоляла его в условных выражениях (которые он понял и у нас образовался общий язык) не приезжать, и он послушал меня, спасшись от казни. Все его московские друзья были умерщвлены» (Цит. по: Дружба народов. 1988. № 8. С.241. Комментарий Н.В. Брагинской). Из переписки Б. Пастернака с родителями видно, как велись эти переговоры и в какое трудное положение попал Б. Пастернак, оправдываясь перед родителями, обиженными на сыновей, «не желавших» их возвращения. «Как поймут они меня, — писал он А.О. Фрейденберг 7 октября 1936 года, — если я, сын, стану их отговаривать». Ю.М. Славинский, официально занимавшийся вопросом возвращения художника, в разгаре переписки с ним был арестован. Кто еще из «его московских друзей, как пишет О. Фрейденберг, был умерщвлен», — неясно. Картины Пастернака были упакованы в ящики и стояли в советском полпредстве до 1938 года, когда были переправлены в Лондон вслед за перебравшимся туда семейством.

¹⁹ «Никто не обнимет необъятного» — из афоризмов Козьмы Прутова // *Козьма Прутков*. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы.

²⁰ Из стихотворения Ф. Тютчева «Silentium»:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь...

²¹ Блез Паскаль (1623—1662) — религиозный философ и математик, автор сборника «Мысли» (*Pensees*. 1669), в которых дается представление о бездне бесконечности и бездне ничтожества, между которыми находится человек.

²² Упоминание керосина служит обозначением темы бытовых неудобств, таких, как готовка еды на керосинках и примусах, которая ждет родителей в России, если они решат вернуться, и от которой они уезжали в 1921 году.

²³ *Важа Пшавела*. Змеед /Тбилиси. 1934.

²⁴ Нелады со здоровьем, начавшиеся в это время, заставили Пастернака вскоре отправиться в санаторий, причем шла речь о больнице для лечения «острой и запущенной неврастении».

²⁵ Речь идет о писавшемся тогда романе, работа над которым осталась незаконченной, рукописи погибли во время войны.

²⁶ Здесь сказывается недавнее знакомство с Н.И. Бухариным, работавшим тогда над проектом конституции.

²⁷ Чередуя пребывание в разных санаториях, нисколько не облегчивших его состояния, Пастернак по-прежнему находился в тяжелой нервной депрессии и никоим образом не мог откликнуться на радостное семейное событие.

²⁸ Попав в Ленинград на обратном пути из Парижа, куда был доставлен совсем больным, Пастернак остановился у Фрейденбергов, не известив жену, тревожившуюся за него.

²⁹ Грузинские лирики. Советский писатель. Москва. 1935.

³⁰ Летом 1936 года Пастернак приобрел дачу в поселке писателей в Переделкине, его соседями были Пильняк, Федин, Леонов и другие, неоднократно подвергавшиеся критическим нападениям в печати.

³¹ В своем выступлении на Общественном собрании писателей 13 марта 1936 года Пастернак выразил свое несогласие с общим тоном официальной печати, обвинявшей в формализме лучшие образцы советской прозы, требуя от критики подлинной любви к искусству и четкого понимания его задач.

³² Речь идет об авторе статьи в «Известиях» — Цецилии Лейтейзен.

³³ В приложении к «Поэтике сюжета и жанра» была перепечатана статья «Три сюжета или семантика одного», посвященная, в частности, сюжету «Укрощения строптивой» Шекспира, которую Пастернак получил и прочел еще в 1930 году.

³⁴ Собрание сочинений, готовившееся в Издательстве писателей в Ленинграде, было запрещено; из сборника прозы, печатавшегося в ГИХЛе, была изъята «Охранная грамота», обращение к Горькому о заступничестве не имело результатов, что лишило Пастернака душевной и материальной возможности продолжать работу над прозой.

³⁵ Имеются в виду «Несколько стихотворений», которые начинались стихотворением о Сталине, и цикл «Из летних записок», посвященный Грузии.

³⁶ В ходе судебного процесса над Каменевым и Зиновьевым против Бухарина были выдвинуты обвинения в причастности к террористической деятельности. Против него, Рыкова и Томского было начато следствие. Понимая, что это значит, Томский покончил с собой. Бухарин и Рыков были арестованы в феврале 1937 года, в марте расстреляны.

³⁷ Борис Михайлович Волин (1866—1957) — партийный функционер, с 1931 по 1935 год начальник Главлита, с 1937 — заместитель Наркома просвещения.

³⁸ Слова из городского «жестокоего романса» «Маруся отравилась».

³⁹ М.С. Лазуркин — юрист по образованию, один из главных гонителей О. Фрейденберг.

⁴⁰ Марк Семенович Живов (1893—1962) — заведующий литературным отделом «Известий», позже историк и переводчик польской литературы.

⁴¹ Имя Бухарина как главного редактора «Известий» исчезло со страниц газеты в середине января 1937 года одновременно с сообщением о возобновлении расследования его дела.

⁴² Статья О. Фрейденберг «Проблема фольклорного языка» была опубликована только в 1941 году (Ученые записки ЛГУ № 63. Серия филологических наук. Выпуск 7. С.41—69).

⁴³ Мария Малоземова — специалист по классической филологии, подруга О. Фрейденберг по гимназии Гедда.

⁴⁴ В своем докладе на Общемосковском собрании 16 декабря 1936 года генеральный секретарь Союза писателей В.П. Ставский обвинил Пастернака в клевете на советский народ, которую он нашел в его последних стихах. Отказ Пастернака высказаться по поводу книги Андре Жида «Возвращение из СССР» Ставский расценил как выражение «солидарности с явной подлой клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь».

⁴⁵ Лев Владимирович Щерба (1880—1944) — глава ленинградской школы языкознания и фонологии.

⁴⁶ Владимир Федорович Шишмарев (1875—1957) — филолог-романист, автор работ по истории французского языка.

ГЛАВА VI

¹ Мария Николаевна Филоненко.

² А.Л. Пастернак проектировал шлюз № 9 канала Москва-Волга. Строительство велось заключенными, и, проезжая на место работы, он вынужден был надевать страшную форму НКВД.

³ Стихотворение из «Летних записок» 1936 года. Нареканье вызвали строфы:

Народ, как дом без кром,
И мы не замечаем,
Что этот свод шатром,
Как воздух нескончаем...
Ты без него ничто.
Он как свое изделие
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

«Нельзя без возмущенья читать эти строки и говорить о них», — восклицал Ставский, очевидно разумея под долотом не тонкий отделочный инструмент, а тяжелый давящий пресс. (см.: Литературная газета. 20 декабря 1936).

⁴ Пастернак отказался дать свою подпись под письмом 16 писателей, требовавших «стереть с лица земли» Каменева и Зиновьева. Его подпись была поставлена без его ведома (Правда. 1936. 21 августа). Повторив через год тот же маневр с подписью под расстрелом военачальников, Ставский вынужден был отбиваться от возмущенного Пастернака, требовавшего печатного опровержения.

⁵ Теперь этот портрет, переданный М.Н. Филоненко, находится в собрании Русского музея.

⁶ Прекрасный глазной врач смог вернуть зрение Анне Осиповне.

⁷ 4 июля 1937 года под колесами грузовика погиб И.Г. Франк-Каме-нецкий.

⁸ Младший сын Б. Пастернака Леонид родился 1 января 1938 года; брак Е.В. Пастернак распался на следующий год.

⁹ В письме жирно вычеркнуты две строки.

¹⁰ 23 августа 1939 года в Лондоне скончалась мать Б.Пастернака.

¹¹ Речь идет о В.Э. Мейерхольде, который работал тогда в Александринском театре в Ленинграде, его аресте в мае 1939 года и последовавшем вскоре зверском убийстве его жены, актрисы З.Н. Райх.

¹² В показаниях Мейерхольда, полученных во время следствия, и от которых он отказался на суде, часто встречается имя Пастернака.

¹³ Близкая приятельница О. Фрейденберг.

¹⁴ Б. Пастернака, взволнованного ходом мировой войны и победами Гитлера, который захватил в мае 1939 года Бельгию и Голландию, удивляет спокойный тон отцовских открыток.

¹⁵ Перевод «Гамлета», напечатанный в журнале «Молодая гвардия» (1939. № 5-6), был рассчитан на театр Мейерхольда и должен был, по мнению Пастернака, рассматриваться «как русское оригинальное драматическое произведение, потому что помимо точности, равнострочности с подлинником и прочего, в нем больше всего той намеренной сво-

боды, без которой не бывает приближения к большим вещам» (Соб. соч. Т.4. С. 386).

¹⁶ Англичане решительно остановили попытки немецких войск высадиться на побережье Англии, выдерживая страшные бомбардировки Лондона и других городов и отвечая налетами своей авиации.

¹⁷ Постановка «Гамлета» во МХАТе не состоялась.

¹⁸ Софья Иосифовна Геникес (1866?—1940) — двоюродная сестра Б. Пастернака и О. Фрейденберг.

¹⁹ В 1939—1940 годах с заменой Ежова Берией некоторое количество заключенных было выпущено, что создавало ложную надежду на возвращение других.

²⁰ Титул Благодетеля (Эвергет) получали эллинистические цари. В данном случае этим именем Пастернак называет Сталина, избравшего своим идеалом Ивана Грозного, трилогию о котором начал писать А.Н. Толстой, С. Эйзенштейн писал сценарии и ставил фильмы, С. Прокофьев писал к ним музыку.

²¹ «Гамлет» в издании Гослита вышел в июне 1941 года.

²² День рождения Пастернака отмечался 11 февраля.

²³ Адриан Нейгауз (1925—1945). Речь идет о начале его заболевания костным туберкулезом, от которого он скончался через четыре года.

²⁴ Речь о захвате Гитлером Греции.

²⁵ Имеется в виду стихотворный цикл, писавшийся в это время. Позднее он получил название «Переделкино», в некоторых из этих стихотворений слышатся мотивы, первоначально записанные в письмах к О. Фрейденберг. Например, описание зимних поездок в Москву в письме от 15 ноября 1940 года стало содержанием стихотворения «На ранних поездах».

²⁶ Грузинский поэт Тицин Табидзе был арестован осенью 1937 года.

²⁷ «Характеры» Теофраста // Ученые записки ЛГУ № 63. Серия филологических наук. 1941. Выпуск 7. С.129—141.

²⁸ Варвара Семеновна Кауфман — жена брата Р.И. Пастернак и Клары — Осипа Исидоровича Кауфмана, который был известным врачом в городе Касимове. Он скончался весной 1941 года, Пастернак хотел выразить вдове свое соболезнование.

²⁹ Валентин Фердинандович Асмус (1894—1975) — историк философии, близкий друг Б. Пастернака.

³⁰ Издательство «Academia» специализировалось на издании памятников литературы.

³¹ О. Фрейденберг. Проблемы греческого фольклорного языка // Ученые записки ЛГУ № 63. Серия филологических наук. Выпуск 7. С.41—69). Вильгельм Гумбольдт (1767—1835) — философ и языковед, обосновал учение о языке, как формулируемом органе мысли.

³² Пастернак начал перевод «Ромео и Джульетты» Шекспира, но из-за начавшейся войны работа была окончена только зимой 1942 года.

³³ Начало войны помешало публикации этих стихотворений, они вышли только в составе книги «На ранних поездах» летом 1943 года.

ГЛАВА VII

¹ Евгений Борисович Пастернак, только что окончивший школу был послан со старшими классами на окопные работы в Смоленскую область.

² Начало войны застало Клару Исидоровну в Касимове у В.С. Кауфман, вдовы ее брата.

³ Экстракт этой работы был опубликован в 1946 году в «Трудах юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филологических наук» под названием «Происхождение эпического сравнения (на материале «Иллиады»)». Полностью она вошла главой в монографию «Гомеровские этюды», сохранившуюся в архиве О. Фрейденберг и еще не изданную.

⁴ Сын Александра Леонидовича Пастернака Федя.

⁵ Анна Андреевна Ахматова была вывезена в конце сентября из Ленинграда в Москву и остановилась у С.Я. Маршака. Пастернак предполагал устроить ее в квартире уехавшей в эвакуацию Евгении Владимировны на Тверском бульваре.

⁶ Первая строчка стихотворения А. Пушкина «Труд» (1830):

«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний...»

⁷ О. Фрейденберг. Происхождение литературной интриги // Научная сессия ЛГУ 1945 г. Тезисы докладов по секции филологических наук. Ленинград. 1945. С.497–512. Работа была включена автором в монографию «Паллиата», сохранившуюся в ее архиве.

⁸ Под фамилиями Пастернаков и Слейтеров, — Лидия была замужем за профессором Эллиотом Слейтером.

⁹ Предсмертные слова Гамлета.

¹⁰ Сергей Дмитриевич Спассий (1898–1956) — поэт и друг Б. Пастернака, жил в Ленинграде.

¹¹ Г.О. Шкапский — инженер, вместе со своей женой поэтессой Марией Шкапской был в эвакуации в Чистополе.

¹² Отвергнутые редакциями статьи, которые Пастернак писал в первые месяцы войны, погибли вместе с его архивом во время войны.

¹³ Сборник переводов из польского романтика Юлиуша Словацкого, сделанный в Чистополе, был отослан в издательство в Москву, где его потеряли. Опубликован только в 1972 году по рукописи, подаренной в 1943 году чистопольскому знакомому В.Д. Авдееву.

¹⁴ Пьеса была уничтожена автором после ее чтения друзьям, сохранились только две сцены (Соб. соч. Т.4. С.513–529).

¹⁵ Григорий Карпович Котошихин (ок. 1630—1667) — подьячий польского указа, бежал в Швецию, автор записок о жизни и нравах России XVIII века. Адам Олеарий (1603—1671) — немецкий путешественник, автор «Описания путешествия в Московию».

¹⁶ «А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер». — Охранная грамота // Соб. соч. Т.4. С.197.

¹⁷ Обыгрывание слов А.Пушкина из «Евгения Онегина» (конец 8-й главы):

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уже нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Саади — персидский поэт XIII века.

¹⁸ Софья Викторовна Полякова — филолог-классик, впоследствии византист.

¹⁹ Борис Пастернак. На ранних поездках. Советский писатель. Москва. 1943.

²⁰ Ирина Сергеевна Асмус 1893—1946.

²¹ Поэма получила название «Зарево», вступление было напечатано в «Правде», первая глава отвергнута редакцией, работа над ней прекращена.

²² Название пьесы Мориса Метерлинка на сюжет из средних веков.

²³ Цикл стихов «Художник», треть из которых О. Фрейденберг цитировала вскоре в своей работе о метафоре.

²⁴ Перевод предназначался для театра Революции, но спектакль не был поставлен.

²⁵ Желание поставить пьесу изъявили Камерный театр в Москве и «Красный факел» в Новосибирске.

ГЛАВА VIII

¹ Паллиата, или комедия плаща (от латинского слова паллио — плащ) — название жанра комедий, которые следовали греческим образцам и воспроизводили греческий образ жизни. Монография О. Фрейденберг осталась неопубликованной.

² Берта Львовна Галеркина — филолог-классик, преподаватель университета, преданная ученица О. Фрейденберг.

³ Иван Михайлович Майский (1884—1975) — советский посол в Англии.

⁴ Гитель Яковлевна Чечельницкая писала диссертацию о русских связях Р.М. Рильке. О.М. Фрейденберг посоветовала ей обратиться с

расспросами к Пастернаку о его участии в переписке Рильке с Цветаевой в 1926 году. Начавшаяся кампания по борьбе с космополитизмом не дала Чечельницкой возможности закончить работу.

⁵ Авторский вечер чтения проходил 28 мая 1945 года в Доме ученых. Вечер прошел с большим успехом, зал был переполнен.

⁶ *Кристофер Ренн*. Шекспир в переводах Пастернака // Британский союзник. 1945 № 22. С.8.

⁷ Некролог Л.О. Пастернака.

⁸ Пастернак был приглашен на юбилейные торжества 100-летия со дня смерти грузинского поэта Николая Бараташвили, стихи которого он незадолго до этого перевел на русский язык.

⁹ Фраза, взятая в угловые скобки, — вычеркнута.

¹⁰ Начало работы над романом «Доктор Живаго» (первоначальное название «Мальчики и девочки»).

¹¹ Речь идет о «Замечаниях к переводам Шекспировских трагедий», которые в качестве предисловия не были напечатаны.

¹² Театральный репертуар регулировался из Кремля, поэтому возникает ассоциация с придворным чином камер-юнкера. Пастернаковские переводы из Шекспира, постановками которых он надеялся обеспечить себе время для работы над романом, не попадали на сцену.

¹³ И.И. Толстой был учителем О. Фрейденберг в университете, благодаря которому она стала заниматься классической филологией. Но ее отношение к нему непрестанно колебалось от юношеской влюбленности до презрения.

¹⁴ Слова Треплева, обращенные к матери, в III действии пьесы А. Чехова «Чайка».

¹⁵ Виссарион Михайлович Саянов (1903—1959) — поэт и главный редактор журнала «Звезда». Борис Михайлович Лихарев — главный редактор журнала «Ленинград».

¹⁶ Хотя впрямую постановления партии не касались Пастернака, первый секретарь Союза писателей А.А. Фадеев обрушился на него в своем докладе 4 сентября 1946 года с обвинениями в отрыве от народа и предупреждением, что нельзя проявлять «угодничества» по отношению к Пастернаку, не признающему «нашей идеологии». В «уходе Пастернака в переводы от актуальной поэзии в дни войны» он видел «определенную позицию» (Литературная газета. 7 и 21 сентября 1946).

¹⁷ Чтобы оценить точность чтения и анализа Ольги Михайловны приведем некоторые цитаты из «Замечаний...», которые она имеет в виду. (Страницы указаны по собр. соч. Т.4.). *Биография в таверне* — речь идет о главе «Король Генрих Четвертый»: «Его <Шекспира> реализм увидел свет не в одиночестве рабочей комнаты, а в заряженной бытом, как порохом, неубранной утренней комнате гостиницы» (С.427). *Любовь шепотом* — в главе «Ромео и Джульетта»: «Речь Ромео и Джульетты —

образец настороженного и прерывающегося разговора тайком, вполголоса. Такой и должна быть ночью речь смертельного риска и молнения» (С.418). *Скоротись метафоризма* — в главе «Поэтический стиль Шекспира»: «Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач... Метафоризм — стенография большой личности, скоропись ее духа» (С.414).

¹⁸ «В сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает с безжалостностью послебайроновского себялюбивого отщепенца» (там же, С.417).

¹⁹ «Виктория» — роман норвежского писателя Кнута Гамсуна. В «прерывающемся разговоре тайком» Ромео и Джульетты Пасгернак увидел «будущую прелесть «Виктории» и «Войны и мира», ту же чарующую чистоту и непредвосхитимость» (Там же, С.418).

²⁰ Защиты диссертаций С.В. Поляковой и Б.Л. Галеркиной стали поводом открытой борьбы группировок на кафедре и сведением личных счетов. Качество работ соискателей не имело значения.

²¹ Оксфордский профессор С.М. Баура (Cecil Maurice Bowra) — специалист по классической литературе и автор книги «Greek lyric poetry from Alkman to Simonides» [Греческая лирика от Алкмана до Симонида] [OUP, 1936] сочетал в себе знания мировой поэзии с особым интересом и глубоким пониманием русской. Он написал книгу «The heritage of symbolism» («[Наследие символизма]: о Рильке, Валери, Блоке и Китсе»), составил две антологии русской поэзии («A book of Russian verse» 1945 и 1948), куда включил свои переводы Блока, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака и др.

²² Алкман — греческий лирик лидийского происхождения VII века до Р.Х.

²³ День великомученицы Екатерины отмечается 10 декабря по новому стилю.

²⁴ В архиве О.М. Фрейденберг сохранилась большая, но неоконченная работа «Сафо: к происхождению греческой лирики», писавшаяся в 1946—1947 годах.

²⁵ С.М. Баура в газете «Британский союзник» 3 февраля 1946 года поместил статью «Стихи Эренбурга и Пастернака», принимал участие в издании сборника прозы Пастернака, раз предлагал его кандидатуру на Нобелевскую премию.

²⁶ В.П. Друзин — главный редактор журнала «Звезда», сменивший В.Саянова после ждановского постановления.

²⁷ Парадные двери дома на набережной канала Грибоедова были забиты, пользовались черными, выходящими на ул. Плеханова.

²⁸ Александр Александрович Смирнов — ведущий советский шекспировед препятствовал изданию Шекспира в переводах Пастернака, подготовленному в издательстве «Искусство». Договор был заключен в

1945 году, двухтомник вышел только в 1949, без предисловия, которое Пастернак к нему написал, в 1958 году требовал исключения всех переводов Пастернака из собрания сочинений Шекспира.

²⁹ Из стихотворения «Скромный дом, но рюмка рому...» – цикл «Художник» (1935). Соб. соч. Т.2. С.9.

³⁰ Тезисы «Происхождение греческой лирики», посланные Пастернаку, были опубликованы в сборнике «Научная сессия ЛГУ 1946 г. Тезисы докладов по секции филологических наук. Ленинград. 1946. С.22–23. Полный текст статьи был опубликован Н.В. Брагинской в журнале «Вопросы литературы» (1973. № 11).

³¹ По просьбе редактора Ф.М. Левина для готовившегося в издательстве «Советский писатель» стихотворного сборника Б. Пастернака были написаны новые варианты некоторых мест в поэмах «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Сборник не вышел, отпечатанный тираж уничтожен.

³² Резкая статья А. Суркова «О поэзии Б. Пастернака», содержащая прямой политический донос, была напечатана в газете «Культура и жизнь» 21 марта 1947. Как пример отрешенности поэзии Пастернака от «общественных эмоций» Сурков приводил, в частности, строку из стихотворения 1917 года «Определение поэзии»:

Это — сладкий заглохший горох,
 Это — слезы вселенной в лопатках,
 Это — с пультов и флейт — Фигаро
 Низвергается градом на грядку.

³³ Федор Александрович Пастернак — сын Александра Леонидовича — биолог по профессии, был какое-то время в Ленинграде и заходил к О.М. Фрейденберг.

³⁴ Мария Николаевна Филоненко, жена брата О. Фрейденберг, освободилась после 10-лет лагерей и ссылки.

³⁵ Софья Викторовна Полякова.

³⁶ Шандор Петефи (1823–1849).

³⁷ Книга Бытия — первая книга Библии, рассказывающая о сотворении мира и человека.

³⁸ Одних уже нет, а те далече — парафраз слов А.Пушкина из последней главы «Евгения Онегина»: «Иных уж нет, а те далече...» Другая цитата взята из Ф. Тютчева из стихотворения «На кончину брата»:

Дни сочтены; утрат не перечить;
 Живая жизнь давно уж позади;
 Передового нет, и я, как есть,
 На роковой стою очереди.

³⁹ В этих словах выражено ясное сознание той опасности, которой подвергался Пастернак, работая над романом в страшное время возобновившихся гонений и репрессий. Под словами об ошибках имеются в виду аресты друзей, в сущности, не успевших высказаться полностью и до конца, погибших случайно, «по ошибке», а не за дело.

⁴⁰ Абберрация памяти: надо — летом 1910.

ГЛАВА IX

¹ О внезапной смерти Клары Исидоровны Лапшовой.

² Клара позировала Л.О. Пастернаку в костюме кормилицы с маленьким Борей на руках в 1891 году. Портрет не был окончен, сохранился в семейном собрании.

³ Речь об Ольге Всеволодовне Ивинской (1912—1995) и расставании с ней.

⁴ *C.M.Bowers. Second book of Russian verse. London. 1948; C.M.Bowers. Creative experiment. London. 1949.* [Творческий эксперимент] — Главы посвящены К.Кавафи, Аполинеру, Маяковскому, Пастернаку, Элиоту, Лорке и Альберти).

⁵ *О.Фрейденберг. Сафо // Доклады и сообщения Филологического института ЛГУ. Вып. I. Ленинград. 1949. С.190—198.*

⁶ Название известной картины Н.Ярошенко, на которой изображен тюремный вагон, и выглядывающие через решетку лица радуются на кляющих под окном воробьев.

⁷ Джозеф Джон Томсон (1856—1940) — английский физик, директор Кавендишской лаборатории, был избран иностранным членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Ему принадлежит открытие электрона и одной из моделей атома.

⁸ О. Фрейденберг неправильно прочла в письме Пастернака от 7 августа слова о «негласной популярности среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных». Поэтому определение «заспанных» (вместо «загнанных») показалось Пастернаку странным.

⁹ Речь идет об аресте О.В. Ивинской 9 октября 1949 года.

¹⁰ В конверте находились машинописные копии двух работ: 1) заметки М.Фрейденберга о полете на воздушном шаре из «Маяка», литературно-юмористического и художественного журнала, прибавления к «Одесскому вестнику» 2 августа 1881 г. (№ 30. С.463—466): «Второй полет над морем»; и 2) Тезисы выступления на тему: Изобретатель АТС — М.Ф. Фрейденберг.

¹¹ Зинаида Николаевна Пастернак приезжала в Ленинград с сыном Станиславом Нейгаузом, у которого были гастрели.

¹² См. воспоминания Е.Б. Пастернака об этом приезде во Вступлении.

¹³ Борис Николаевич Ливанов (1904—1972) — ведущий актер МХАТа и его жена Евгения Казимировна — многолетние друзья Б. Пастернака. О. Фрейденберг писала о впечатлении от его игры в утраченном письме, на которое отвечает Пастернак.

¹⁴ Валентина Михайловна Ходасевич (1894—1970) — художница, племянница знаменитого поэта.

¹⁵ «Ромео и Джульетта» в переводе Б. Пастернака были поставлены в Театре юного зрителя в Ленинграде. Спектакль видела О. Фрейденберг и писала о нем Пастернаку.

¹⁶ 20 октября 1952 года Б. Пастернака увезли в Боткинскую больницу с обширным инфарктом миокарда. Он пробыл там до 6 января.

¹⁷ Борис Михайлович Эйхенбаум (1886—1959) — историк литературы.

¹⁸ Через три года это чувство благодарного прощания с жизнью выразилось в стихотворении «В больнице»:

О, Господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной...

— Соб. соч. Т.2. С.102.

¹⁹ О.Фрейденберг. Образ и понятие. Надпись на рукописи книги: «Приходится начинать все с того же. С тюремных условий, в которых писалась работа. У меня нет права на научную книгу. А потому я писала на память. От научной мысли я изолирована, ученики и друзья отвернулись, аудитория отнята. В этих условиях я решила синтезировать свой тридцатисемилетний исследовательский опыт, чтоб на этом за-глохнуть. Прохожий! Помолись над этой работой за науку. Ольга Фрейденберг. 20 марта 1954». Полностью эта работа с научными комментариями Н.В. Брагинской опубликована в кн. *О.Фрейденберг* //: Миф и литература древности. 2-е издание. М. 1998. С.223—623.

²⁰ Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903) — драматург, автор драматической трилогии, третья часть которой «Смерть Тарелкина» (1869).

²¹ Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870—1920) — один из лидеров националистических объединений в Государственной думе. III отделение — орган политического надзора и сыска в России с 1826 по 1880 годы.

²² Почтмейстер Шпекин — персонаж «Ревизора» Гоголя, читавший чужие письма, отправляемые по почте.

²³ Мелос — по-гречески: песня, форма народно-песенного творчества, здесь: вставные песенные и хоровые элементы, прерывающие действие и диалоги.

²⁴ Переписка Пастернака с Григорием Михайловичем Козинцевым по поводу этой постановки, опубликована в журнале «Вопросы литературы». 1975. № 1.

²⁵ Козинцев сообщил Пастернаку, что исключает из своего спектакля «всю историю Фортинбраса» и не столько в целях сокращения растянувшегося действия, но и «по совести». «Мне не нравится конец трагедии», — писал он в письме 26 февраля 1954 года («Вопросы литературы». 1975. № 1. С.247). В ответ Пастернак отозвался: «Не вхожу в обсуждение придуманного Вами конца. Я привык к Шекспировскому, и он кажется мне естественным. Это гул продолжающейся общей жизни после тишины единичной кончины. Такие контрасты нередки у Шекспира под занавес. Намеренны у него и по умыслу ясны» (С.219).

²⁶ Сцена после прерванной королем «Мышеловки» (Фрейденберг называет ее «Гонзаго») — разговор Гамлета с Горацио, начинающийся стихами:

Пусть раненый олень ревет,
А уцелевший скачет...

²⁷ Вполне соответствуют этому также наблюдения Пастернака, неоднократно отмечавшего сходство шекспировского метаморфизма со стилем раннего Маяковского. См.: Заметки о Шекспире (1940—1942) // Собр. соч. Т.4. С.691, 896—897.

²⁸ *Борис Пастернак*. Стихи из романа в прозе «Доктор Живаго» // Знамя. 1954. № 4. С.92—95. Подборка из десяти стихотворений предварялась краткой заметкой автора о скором окончании работы над романом.

²⁹ Для концовки «Гамлета» вместо появления Фортинбраса, по замыслу Козинцева «воскресший» Гамлет читает 74-й сонет Шекспира, для чего он обратился к Пастернаку с просьбой перевести его для них, «если возможно строим наиболее приближенным к строю монологов Гамлета», добавив, что в противном случае придется взять перевод Маршака. Пастернак тут же прислал переведенный им для этого случая сонет, испутившись «кооперирования разноименных текстов», подчеркнув «безоговорочность этого условия». При этом он объяснил, что «глыбы камня, могильного креста, черепков разбитого ковша и вина — души», которые привнес в свой перевод Маршак, «в подлиннике нет и в помине». Но все-таки романтическую красоту Маршака Козинцев предпочел скупой обнаженности перевода Пастернака.

³⁰ В этой точной формулировке стиля эпохи, вероятно, сказалась появившаяся надпись на мавзолее: «Ленин Сталин». Восхищенный находкой Пастернак тут же подхватил ее в своем ответном письме.

³¹ Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975).

³² Альфред Нобель (1833—1896) учредил премию на проценты своего капитала, полученного от его изобретения динамита.

³³ Персонаж из романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

³⁴ «Дни нашей жизни» — название пьесы Леонида Андреева (1908).

³⁵ Швейцарский поэт Ф. Бонивар (1493—1670) был заключен в замок на берегу Женевского озера. Байрон сделал его героем своей поэмы «Шильонский узник».

ЭПИЛОГ

¹ Это был Вячеслав Всеволодович Иванов, передавший по просьбе Е.Б. Пастернака привет Ольге Михайловне. Она не смогла его принять.

² Для художественного театра Пастернаку был заказан перевод трагедии Шиллера «Мария Стюарт», в Малом ставили тогда «Отелло».

³ Машура с бабушкой Бертой Самойловной Кауфман приезжала к Пастернакам на дачу. Райки — имение Некрасова по Ярославской железной дороге, где Пастернаки проводили летние месяцы 1907—1909 годов.

⁴ Людмила Ивановна Маркова — дочь М.А. Марковой.

⁵ Тамара Николаевна Петухова — близкая приятельница О.М. Фрейденберг.

⁶ Речь идет о мемуарных записках и дневниках О.М. Фрейденберг.

⁷ Осип Эммануилович Браз (1872—1936) — известный художник, близкий друг Л.О. Пастернака и М.Ф. Фрейденберга с одесских времен. После революции эмигрировал в Париж.

⁸ Русский музей мог взять картины Л.О. Пастернака только в запасник, поэтому Р.Р. Орбели передала их в Одесскую картинную галерею, где они находятся в экспозиции. Портрет Саши Фрейденберга был отдан М.Н. Филоненко.

⁹ Имеется в виду издание романа «Доктор Живаго» в Италии.

П 19 Пожизненная привязанность. М.: АРТ-ФЛЕКС, 2000.—416 с.:илл.
ISBN 5-93253-004-9

Переписка между Б. Пастернаком и его двоюродной сестрой О. М. Фрейденберг охватывает период с 1910 по 1954 годы и исключительно соизмеримой одаренностью обоих корреспондентов, равных по силе и редкой душевной близости.

В невыносимых условиях времени, выпавшего на их долю, оба они изо всех сил стремились оставить достойный след своего существования в науке или литературе.

УДК 821.161.1-6Пастернак
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

В 1973 г. я обнаружила в сундуке с рукописями Ольги Фрейденберг, хранившимися у ее наследницы Р.Р.Орбели 129 писем Бориса Пастернака. Русудан Рубеновна не подозревала об их существовании.

Письма были переданы Е.Б.Пастернаку, и в результате в 1981 г. за границей появилась переведенная впоследствии на многие языки и вызвавшая большую прессу книга переписки Б.Пастернака и О.Фрейденберг (часть писем О.М.Фрейденберг Б.Л. Пастернаку сохранилась в его семье).

Никому не известная корреспондентка культовой фигуры Пастернака вызвала на Западе острый интерес. Вместо рядового человека, кузины, родственницы, которую случайная причастность к жизни великого человека выводит на миг из сумрака отшумевшей жизни, перед читателем предстал блестяще владеющий пером собеседник поэта, говорящий с ним на равных. И вовсе не на правах обитателя общей детской.

В Москве начала 80-х немногие экземпляры передавались из рук в руки, читались, как и другой "там-издат", за одну ночь. Энергия сопоставления и противопоставления этих двух родных и далеких людей вызывала горячие споры о том, кто в этом дуэте "сильнее", "правее", "ярче". Я не могла в них участвовать, мне всегда казалось: вот брат и сестра, но он - бессмертный бог, а она - смертная женщина, и смертную было жалче.

Н. В. Брагинская.